

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

2002

12

2002

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

В 2003 ГОДУ «НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

- СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ. Несколько мыслей о «евразийстве»
Н. С. Трубецкого (опыт беспристрастного взгляда);
АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Глаша (повесть);
АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);
ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А» (роман);
РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);
АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. День рождения Ирода Антипы (роман);
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);
МАРИЯ ВАТУТИНА. Имперский код (стихи);
АНДРЕЙ ВОЛОС. Новая повесть;
ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;
ИГОРЬ ДЕДКОВ. Из дневников 1987 — 1994 годов;
БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;
ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);
ЛЕОНИД ЗОРИН. Из жизни Рюмина (рассказы);
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые рассказы;
ЮРИЙ КАГРАМАНОВ. Похвала разведчикам, или Продолжение
войны другими средствами (статья из «исламского» цикла);
НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (шоковый роман);
ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО. Вечный календарь (роман);
МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);
ОЛЕГ ЛАРИН. Пейзаж из криков (повесть);
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ. День последнего жасмина (стихи);
ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новые рассказы;
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Чума (роман);
АНАТОЛИЙ НАЙМАН. Фисгармония (стихи);
ВЛАДИМИР НОВИКОВ. Моншер (роман);
ОЛЕГ ПАВЛОВ. Вниз по лестнице в небеса (рассказ);
МАРИНА ПАЛЕЙ. Вода и пламень (рассказ);

(См. на обороте)

ВИКТОР ПАНОВ. **И там жили** (из наследия);
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. **Заморозки** (повесть);
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ. **Крестный ход** (рассказ);
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. **Пустырь** (повесть);
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. **Третье дыхание** (повесть);
ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. **Филологические новеллы**;
ЕВГЕНИЙ РЕЙН. **Избранник** (роман);
МАРК РОЗОВСКИЙ. **Театральный человек** (документальное повествование);

ДИНА РУБИНА. **На солнечной стороне улицы** (роман); **Несколько торопливых слов любви** (новеллы);

ВАЛЕРИЙ СЕНДЕРОВ. **Солидаризм — третий путь Европы?** (эссе);

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. **Период** (роман);

АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. **Новая проза**;

АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. **Игры на свежем воздухе** (рассказы);

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. **Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания**;

ИРИНА СУРАТ. **Пушкин и Мандельштам** (параллели);

МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. **«Отдай мое»** (повесть);

АЛЕКСАНДР ТИТОВ. **Прощание с гармонистом** (роман);

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. **Сансаныч** (повесть);

АНТОН УТКИН. **Новый роман**;

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. **Теленовости** (продолжение цикла «Мелочи культуры»);

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. **Откос** (повесть);

ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ. **Питомник** (рассказы);

ГУСТАВ ШПЕТ. **«Я пишу как эхо Другого...»** (письма к жене);

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. **Смерть в операционной** (повесть);

а также стихи ТАТЬЯНЫ БЕК, ИРИНЫ ЕРМАКОВОЙ, СВЕТАНЫ КЕКОВОЙ, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ЛАРИСЫ МИЛЛЕР, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА; статьи, обзоры, эссе ДМИТРИЯ БЫКОВА, ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ДМИТРИЯ ШЕВАРОВА и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2002 и в 2003 годах: \$ 10,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»
с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2003». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на первое полугодие 2003 года — 414 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad Marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Нахимовский проспект, 51/21), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (763) 550-0961. Fax (763) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-09-37, факс (095) 318-08-81).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,

выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

СОДЕРЖАНИЕ

ЕВГЕНИЯ СМАГИНА — Города, стихи	7
ИРИНА СТЕКОЛ — Рассказы для Анны	12
ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ — Изнанка льда, стихи	31
РОМАН СЕНЧИН — Нубук, повесть. Окончание	35
АНАТОЛИЙ КОБЕНКОВ — Откуда свет... Стихи	96
АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ — Рассказы. Из «Книги для тех, кто любит читать»	100
ВАЛЕРИЙ ЧЕРЕШНЯ — Сиротство волхвов, стихи	109

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

А. А. РЕФОРМАТСКИЙ — Из «дебрей» памяти. Мемуарные зарисовки. Публикация, подготовка текста, предисловие и примечания М. А. Реформатской	113
АСЯ АДАМ — Три дня июня 1941. Минск	131

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ — Строгая проза науки	137
---	-----

МИР НАУКИ

Е. О. ЛАРИОНОВА, С. А. ФОМИЧЕВ — Нечто о «презумпции невиновности» онегинского текста	145
---	-----

ОПЫТЫ

ОЛЬГА ШАМБОРАНТ — Свидетельство о смерти	159
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

По ходу текста

МАРИЯ РЕМИЗОВА — Система Станиславского	166
---	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Дмитрий Бак. Письма мелким почерком, или Оправдание критики non-fiction	172
Евгения Свитнева. Конец Прекрасной Дамы	175
Михаил Эдельштейн. Записки аутсайдера	177
Алексей Гапоненков. В жанре интеллектуальной биографии	179
<hr/>	
КНИЖНАЯ ПОЛКА ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО	183
КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА	188
CD-ОБОЗРЕНИЕ МИХАИЛА БУТОВА	197
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	200

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	208
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	210
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 2002 ГОД	230
SUMMARY	240

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА,
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ЖУРНАЛА
СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА АВЕРИНЦЕВА
С 65-ЛЕТИЕМ!**

**ФОРУМ «НОВОГО МИРА»
<http://www.forum-nmir.da.ru>
<http://www.forum-novmir.da.ru>**

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, теле-радиовещания и средств массовых коммуникаций.

ЕВГЕНИЯ СМАГИНА



ГОРОДА

Покидая Рим

Мы улетаем рано утром,
Когда на горизонте плоском
Спят города, тысячегранны,
Огнем ночей утомлены;
И, уходя, обличьем смутным,
Отображеньем, отголоском
Несем с собой чужие страны,
Душистый дым, цветные сны.

Они живут неодолимо
И ожидают только срока:
Отвлечься, замолчать, забыться —
И вот в лицо задышит зной,
И терракотового Рима
Жизнелюбивое барокко
Растет, тревожится, клубится,
Играет пылью водяной.

И там, вокруг себя не глядя,
В фонтанной пылевой прохладе,
Не слыша медленного звона
Соборного, к листу склоняясь,
Забыв о ремесле и плате,
Как бы с самим собой в разладе,
Художник с площади Навона
Однажды нарисует нас.

И мы сойдем с того портрета,
Объем и краски обретая,
И без труда на их наречье
С прохожими заговорим.
Нас примет улица крутая,
Обнимет каменное лето,
Холмы поднимут нас на плечи,
И Вечный Рим... душистый дым...

Смагина Евгения Борисовна родилась в Москве. Окончила классическое отделение филологического факультета МГУ. Работает в Институте востоковедения РАН, занимается переводческой деятельностью и преподаванием. Публиковала стихи в журналах «Новый мир», «Знамя», «Грани» и др.

* *
*

Квадраты крыш разбросаны по склонам —
Цветной смальтой на холме зеленом.
Леса, селенья, пашни и стада
Ненастье пузырем облепит бычьим,
Предохраняя землю, как обычно,
От плесени и Страшного суда;
Но Джона Донна бронзовый глагол
Уж не смыкает с небесами дол.

Январский Понт раскачивает воды,
Линялые от стирок непогоды.
Пустые ветры веют из степей;
Покинутая лира намокает
И только сиплым звоном намекает,
Что пройдена еще одна ступень
И Публия Овидия рука
Не тронет струн, расстроенных слегка.

Налет времен густеет на сонете,
Как прозелень на бронзовой монете.
Что время дарит, нам легло на плечи,
Но всякому уменью есть предел —
Не нам дано заполнить тот пробел,
Манящее зиянье в русской речи,
И Бродского Иосифа печать
Страстям и гневу повелит молчать.

Insomnia

Зачем сидишь до полуночи...

Строка романа.

Не спи до полуночи,
безмолвствуй у окна.
Смотри: течет весна
по трубам водосточным.

Ручьи вдоль тротуаров,
прозрачный ток ветров —
времен немолчный шорох
и переулков кровь.

И снова нас поманит
в проем дворов и лет
московского романа
незамкнутый сюжет,

цепляясь за края
ландшафта в ветхой раме,
проулками, дворами,
той плотью бытия,

где, общность затая,
секрет любовный, кровный,
по линии неровной
проходит жизнь твоя —

по линии отрыва
листов черновика,
где все-то вкось да криво,
не впрок, не на века.

Туда, где, закрывая
всех снов и слов пробел,
осмыслит твой удел
бессмыслица живая —

твоя немая сказка,
исток твоих затей,
начало и развязка
в сетях твоих путей.

Не с ней ли входят косо
в фонарный светлый конус
апрель, дождем пронизанный,
и снегопад рябой;
ее ли птичий голос
звучит меж прутьев голых,
где ветви и карнизы
живут одной судьбой.

Покуда ночь пророчит
пути и времена
(хоть речь и не ясна
и общий смысл неточен)
и капля камень точит
под козырьком окна —
с небес падет весна,
не спи до полуночи.

Осенний вечер в Риге

Еще не успела дождями залиться
старинная часть прибалтийской столицы,
еще сувенирным отливом лоснится,
открыточным глянецом, цветной суетой.
Подсвеченной улицей правит до срока
вечерних досугов игра и морока;
дрожит погребок от тяжелого рока,
от тяжкого Рока, от жизни крутой.

В лучах синеватых смещаются краски,
танцует толпа и заходится в пляске,
барокко и готики ветхие сказки
к чему перелистывать им, молодым!
Что минуло — сгнуло, царствуй, Сегодня,
без бремени времени — только свободней,
и сумрак мигает, лукавая сводня,
и мальчик на девочку смотрит сквозь дым.

Играйте, сменяйтесь, лучи неживые,
пусть бедствует, слезы точка дождевые,
квартал по соседству — дома нежилые,
открыточной улицы дальний тупик.
Умрет и воскреснет и будет не первым
порядок вещей перекручен и прерван,
и музыка молотом лупит по нервам —
все тленно, и пена в стакане кипит.

Не в том даже дело, что мы постарели:
мы были другими уже с колыбели.
Иные канцоны поют менестрели,
у стрельчатых башен гитарой звеня.
И наши прозренья немногочисленны —
так здравствуй же, осень, веселье простое,
и город, блестящий чужой красотой,
и музыка злая, и жизнь не своя.

Романсеро старого Иерусалима

К ночи ветер молчаливый
Прилетит из блеклой дали,
Заглушив базарный говор
И сумятицу идей;
Ночью тёрны и оливы
Плачут горькими плодами,
И немеет Старый город,
Затворившись от людей.

Этот город жил так долго,
Что почти подобен дому
Лабиринт, где мы шагаем,
Улиц крытых хоровод,
Где звенит, витает голос
Из страны изгнания темной:
«Сном твоим, Ерушалаим,
Сном твоим душа живет».

Вы спросите Стену Плача,
Над какую бездной виснут
Наши беды и веселье,
Наше «здравствуй» и «прости»
В час, когда твердыню прячет
Ночь, исполненная смысла,
И горят над Цитаделью
Звезды, месяц и кресты.

А наутро снова встанет
Солнце каменное, злое,
Мы опять огнем пылаем,
Лихорадкой бытия;
И ступени улиц стонут,
Побелевшие от зноя:
«Тяжела, Ерушалаим,
Тяжела любовь твоя».

Нет, не зря пустые руки
Возводили Храм без храма:
В день урочный, может стать,
Здесь и мы пройдем на Суд
По дороге смертной муки,
Где торгуют пестрым хламом
И паломники из Штатов
Бутафорский крест несут.

И у врат, где синь и пропасть,
В свитке своего былого
Напоследок подправляя
Неприметные штрихи,
Мы оглянемся, попросим:
«Ты за нас замолви слово,
От любви, Ерушалаим,
От любви мои грехи».



ИРИНА СТЕКОЛ

*

РАССКАЗЫ ДЛЯ АННЫ

СОБАКА И ЖЕНЩИНА В ПРЕДЛАГАЕМЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Моя Анна падка на лесть. Я этим беззастенчиво пользуюсь. Укладывая ее по вечерам, рассыпаюсь в комплиментах:

— Ты моя милая, самая лучшая, любимая, самая любимая в мире...

Она блаженно улыбается, и я беспрепятственно стаскиваю с нее кофточку и блузку, натягиваю через голову ночную рубашку. Дальше — самый ответственный момент: опуская вниз полы рубашки, нужно одновременно стянуть к коленям брюки вместе с трусами. Как правило, это мне сходит с рук, благо брюки на резинке, и я наловчилась это делать молниеносно, так что она даже не успевает понять, в чем, собственно, дело. Иногда, правда, происходит заминка.

— Что вы делаете, — возмутилась она однажды, — что вы делаете, я же католичка!

Если она перед сном вдруг переходит на «вы», это тревожный сигнал. В последнюю минуту она может вывернуться у меня из рук и отправиться бродить по дому в одной ночной рубашке и босиком, как в старые добрые времена, до больницы, когда ее еще не пристегивали на ночь. Дуня, конечно, придет в восторг и кинется за ней, пыхтя и размахивая хвостом. Они чудно проведут время: Анна зажжет свет внизу, будет ходить от пианино к роялю — музыка, огни и дым коромыслом, — Дуня начнет лаять у входной двери, хотя прекрасно знает, что, пока Анна не ляжет, я с ней выйти не смогу.

Поэтому стягиваю брюки я всегда с замирающим сердцем. Дальше уже легче. Я усаживаю Анну на кровать, поближе к середине, и стаскиваю с нее брюки с трусами, туфли и носки. Иногда она спрашивает, показывая на пояс на кровати:

— А это что такое?

— Это же твое средство от боли в спине, — отвечаю я как можно небрежней и осыпаю ее очередной порцией похвал: дело в том, что теперь мне надо подхватить ее под коленки и опрокинуть на кровать, а перед этим спросить, можно ли мне ей помочь, и если она, разнеженная, кивнет, то остальное уже пустяки. Как только она оказалась в кровати, я поднимаю боковинку, застегиваю на Анне пояс и защелкиваю магнитный замок. Все! Теперь только надеть памперс. Но это проходит почти всегда гладко — она охотно ворочается с боку на бок, приподнимает попу и вообще ведет себя, как кроткий ангел. Я так и говорю:

— Ты мой ангел. Ты просто ангел у меня.

Затем я снимаю с нее очки, накрываю ее одеялом, опускаю жалюзи и снова наклоняюсь к ней:

— Спи спокойно, спи хорошо...

По-немецки здесь больше вариантов, и есть еще одно выражение, которое приблизительно означает «пусть тебе приснятся сладкие сны».

— Спи спокойно, я люблю тебя, спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — отвечает она сонно — снотворное уже начинает действовать — и берет меня за руку, — я тебя тоже люблю.

Оставленный сад жил своей жизнью. В конце января из-под снега, который долго лежал этой зимой — почти три недели — вдруг вылезли глянцевиные белые цветочки. Они заполнили весь сад и продержались около месяца. На смену им появились какие-то желтые и фиолетовые, с тугими листьями. Потом бледно-голубые. Они росли так густо, что некуда было поставить ногу. Попробовала узнать у Анны немецкое название — иногда бывало, что она внезапно вспоминала какие-то слова, — но она вспомнить не смогла и, как всегда в таких случаях, стала пространно и взволнованно объяснять, что если вот эту штучку поставить на ту штучку...

В июне возле ограды, в кустарнике, появилось несколько кустиков земляники. Созревшую я срывала и ставила в рюмку на кухонный стол.

Сливы порозовели, потом потемнели и начали падать. Их расклевывали птицы, иногда я подбирала несколько штук, мыла под садовым краном и давала Анне. Она ела неохотно, но, как всегда, очень благодарила:

— Ты такая милая. Спасибо большое. А чей же это сад?

— Это твой сад, Анна. Вспомни, это твой сад и твой дом.

— Да-да, конечно, только надо тут убрать, привести все в порядок.

— Завтра уберем. Встанем пораньше и все сделаем.

— Чудесно. Ты такая хорошая.

— Это ты хорошая.

— Нет, ты-ты-ты-ты-ты...

В эту игру она могла играть долго. Потом внимание переключалось, и она спешила в дом — переключать с места на место старые ноты, передвигать стулья или перелистывать телефонную книгу.

Мне хотелось остаться в саду, покурить и посмотреть, как в ветвях старой корявой яблони прыгают два дрозда, но я гасила сигарету и спешила за ней: оставлять ее без присмотра даже на пять минут было небезопасно. Однажды я зачиталась и перехватила ее возле плиты, где она уже включила две конфорки, на одну поставила пустую кастрюлю, а на другую — венок из зелени и искусственных цветов, который вешается на двери к Рождеству. В таких случаях единственное спасение — начать ее горячо хвалить и благодарить, будто она здорово отличилась:

— Анна, ну какой же ты молодец, как ты это замечательно придумала...

Она расцветала и терялась, а я потихоньку расставляла все по местам.

У Анны много одежды. В спальне — большой стенной шкаф, набитый кофточками, блузками, халатами, концертными платьями. Одно, темно-синее, мне нравится больше всех.

— Анна, расскажи, где ты бывала в таком красивом платье? На концертах, наверное? На концертах твоих учеников?

— Это же мой шкаф! — взволнованно говорит она. — Это мои вещи!

— Конечно твой. Тут все твое. Это ведь твой дом.

— Это мой дом, — успокаивается она. — Мой дом.

Ходит Анна всегда в брюках. Их у нас три пары: темно-синие, темно-серые и черные. Обычно она неделю ходит в одних, потом я ее переодеваю. Иногда приходится переодеваться вне очереди. Это всегда очень сложно.

— Анна, посмотри, у тебя грязные штаны. Чувствуешь, как воняет? Давай скорей мыться и переодеваться.

— Нет, — говорит она решительно, — нет. Это от вас, может быть, воняет, а от меня нет.

— Ну а чьи это штаны такие грязные? Кто это наделал в штаны?

— Не знаю, — говорит она, — понятия не имею.

Приходится раздевать и мыть ее насильно.

— Как вы смеете! — возмущается она. — Что вы делаете? Я в полицию заявлю!

И начинает плакать. Плачет она, как грудной ребенок, — ей наплевать, как она при этом выглядит. Верхняя губа задирается, обнажая вампирские клычки, нос морщится, и Анна становится похожа на обиженного кролика. У меня сердце сжимается от жалости, но не оставлять же ее до вечера обкаканной...

Из своих кофточек Анна больше всего любит серую, лохматую. Ее она не снимает, а остальные непременно за день раз десять снимет и запрячет так, что я ишу потом битый час.

— Где твоя кофта, Анна? Куда ты кофту дела?

— Die Jacke? Sie jagt. Кофта? На охоте. — Анна удачно сострила и очень довольна собой.

В серой она себе нравится. Прихорашивается у зеркала.

— Анна, сколько тебе лет?

Молчит.

— Сорок?

— Не-ет...

— А сколько? Двадцать пять?

— Нет, столько мне еще нет.

— Восемнадцать?

— Да, да, восемнадцать!

Дуня ненавидела кошек. Заметив на улице одну из соседских, она бросалась на калитку всем телом, калитка скрипела, черная Дунина шерсть ходила большими волнами, разинутая пасть аела, слюна оставляла лужицы на плитках садовой дорожки. Непонятно, почему кошек так влекло в этот заведомо опасный двор, но они частенько шмыгали под калитку, чтобы потом спастись от разъяренного чудовища через сад. Одну пеструю дуру Дуня все-таки настигла. Я выхватила кошку у нее из зубов в последнюю минуту. Разгоряченная погоней Дуня довольно ощутимо тяпнула меня за руку. Весь день после этого она выглядела больной, ничего не ела и судорожно вздыхала. Что это было — угрызения совести или тоска по ускользнувшей добыче?

Когда я впервые пришла в дом, Дуня встретила меня настороженно, даже огрызалась пару раз, если я пыталась ее погладить. Но потом поняла, что от меня зависит не только кормежка — к еде Дуня была более чем равнодушна, — но и гулянье.

Через улицу от нашего дома начиналось большое поле, вдоль него шла узкая тропинка — это называлось «гулять в полях» и ценилось выше, чем простое гулянье по соседней Дамашкештрассе. В полях было больше запахов и мусора, там встречались банки из-под кока-колы, которые можно было облизать, и даже обертки от пиццы, которые Дуня мгновенно сжирала, если я не успевала вмешаться. Это было особенно обидно, потому что битый час перед прогулкой я ползала перед ней на корточках, пытаюсь скормить ей хоть немного мяса, от которого она брезгливо отворачивалась.

Раньше мы ходили в поля каждый день, если не было сильного дождя. Тогда, в начале, мы еще гуляли все втроем. Впереди шла Анна, бормоча по-баварски, за ней пыхтела Дуня, то и дело сходя с тропинки в высокую траву в поисках гадости, которую можно сожрать, сзади я, держа в руках Дунин поводок. Если кто-то попадался нам навстречу, мы пытались уступить дорогу, и Анна однажды чуть не упала, поскольку застряла в влажной траве, но кончалось тем, что встречный сходил с тропинки в траву и провожал нас взглядом — я всегда оборачивалась.

Потом Анну положили в больницу, а когда она оттуда вышла, совместные прогулки закончились. Теперь я могла гулять с Дуней, только пока Анна была пристегнута к кровати. По утрам, если Анна уже проснулась и была спокойна, я не водила Дуню в поля, а прогуливала ее быстро по Дамашкештрассе, и у нее появилась привычка останавливаться на углу у поворота к полю, опускать голову и застыть в упрямой позе так, что ее невозможно было сдвинуть с места.

Вечерами же мы ходили в поля все лето, потом стало рано темнеть, и теперь мы могли ходить туда только в те редкие дни, когда Анна не просыпалась до нашего ухода. Но Дуня на всякий случай продолжала каждую прогулку останавливаться на углу и ждать чуда.

Я и сама любила ходить в поля. На дальней стороне поля была видна дорога, автомобильчики на ней выглядели игрушечными и нарядными, тропинка вилась под деревьями, в ветвях было полно дроздов, и небо было такое высокое.

У Анны красивые волосы. Мягкие, блестящие, совершенно перламутровые. Своей седине Анна иной раз удивляется:

— Я совсем себя не узнаю! А ты меня узнаешь?

— Конечно.

— А я тебе нравлюсь?

— Нравишься.

— А ты мне как нравишься!..

— Вот и хорошо. Значит, мы будем сейчас чай пить.

— Чай! Чудесно!

Чай пить — это очень важное дело. Чай мы пьем пять раз в день. Первый чай Анна пьет в постели. Обычно, когда я возвращаюсь с Дуней с утренней прогулки, Анна уже не спит. Она или поет тихонько, или плачет:

— Мама, мама, ты где, где ты, мамочка...

Это самый подходящий момент войти и сказать:

— Guten Morgen, soll ich sagen...

— Und ein schönes Kompliment! — должна ответить Анна.

Я не знаю целиком этот стишок. У нас в обиходе только первые две строчки: «С добрым утром, вам скажу я, и прекрасный комплимент!» Дальше что-то про жену учителя, у которой кофе убежал, а молоко подгорело.

Я надеваю Анне очки, ослабляю пояс, которым она пристегнута к кровати, сажаю повыше, поднимаю жалюзи и приношу поднос: чай и тосты с маслом, творогом и медом. Она иногда удивляется, что это белое под медом, но ест охотно. Пока она завтракает, я сижу рядом. Раньше я подавала ей поднос и уходила покурить, но в последнее время она стала теряться — то уронит тост на одеяло, то вообще забудет про хлеб и пьет пустой чай. Надо сидеть рядом и тихонько приговаривать:

— Теперь хлеб. Вот как хорошо. Это же вкусно, правда? А теперь чай. Еще глоток чаю. Прекрасно.

Как правило, Анна просыпается в хорошем настроении. Очаровательно мне улыбается, с удовольствием завтракает и выпивает полную чашку чая. В чае — три утренних лекарства, поэтому чай должен быть выпит до дна. Но бывают дни, когда Анна в хандре — все не по ней. Тогда она со мной на «вы» и очень суха. Однажды на мои уговоры допить чай сказала:

— Я, моя милая, не ребенок, которым вы можете руководить.

В таких случаях надо без возражений выйти из комнаты, переждать несколько минут и войти снова с тем же самым «Guten Morgen...». Иногда это дает замечательные результаты: утро начинается заново, и Анна расплывается в улыбке.

Я люблю смотреть на Анну за завтраком: она так старательно склоняется над подносом, очки сползают на кончик курносого носа, волосы выпадают на подбородок — прилежная седая девочка.

После завтрака должно пройти полчаса, пока действует лекарство, чтобы не было никаких сюрпризов при одевании. Она откидывается на подушку и лежит спокойно. Ей только надо знать, что я где-то рядом. Поэтому, если я сижу в смежной комнате на диване и ей меня не видно, я время от времени окликаю ее нашим всегдашним «Hallo-Hallo». «Hallo-Halli», — отвечает она.

Дом был старый. Облицованный белой плиткой, с высокой черепичной крышей и крыльцом сбоку, он был похож на детский рисунок. В Трудеринге, пригороде Мюнхена, много таких домов. Но только в нашем доме на всех окнах и на балконной двери были решетки.

Самая большая из нижних комнат — комната для занятий — была вся обшита деревом, даже потолок. В ней стоял рояль, шкафчики в углу были забиты книгами и нотами, перед старым большим диваном — низкий круглый стол и у противоположной от рояля стенке — пианино. Рядом с пианино — застекленный шкаф со всякой всячиной: шкатулками, плюшевыми игрушками, фарфоровыми фигурками, нарядными свечками, бронзовыми слониками... Этой мелочью был набит весь дом.

Основное занятие Анны было — без конца перебирать ноты и книги и переставлять все эти финтифлюшки. Она носила их сверху вниз, снизу вверх, водружала посреди стола в верхней комнате, прятала под подушку на кровати, засовывала себе под кофту... Я едва успевала расставлять их по местам. Чугунного ангела с острыми длинными крыльями я однажды обнаружила в кастрюле, куклу, обшитую дерюгой, в платье с оборками — в масленке, в холодильнике. Старые открытки, пожелтевшие афиши, программки концертов — дом был полон обломками прежней жизни.

Афиши и программки сообщали о выступлениях Йошико Кавамото — маленькой пианистки из Японии, воспитанницы профессора Анны Байрль. Круглое детское лицо сосредоточенно, сильные пальцы — на клавишах рояля. Восемь, десять, тринадцать лет.

Анна приносила мне программку, тыкала пальцем в фигурку за роялем, расплывалась в улыбке.

— Ах, это Йошико! — говорила я радостно.

— Да, да! Да, да! — кивала Анна.

— Очень красивая. А какая талантливая!

— Да! — Счастливая Анна прижималась к программке щекой.

Анна любит гулять.

— Анна, собирайся, пойдем гулять.

— Гулять! Замечательно! А остальные?

— А остальные подождут дома.

— Нет, пойдемте все вместе. Мама! Тилли! Гулять!..

— Вот видишь, они решили остаться дома.

— А собака?

— Собака тоже подождет. Я с ней вечером схожу.

— Ну, пойдем тогда.

И мы идем. Анна, нарядная, в наглаженной блузочке летом, в широком баварском пальто зимой, волосы блестят на солнце, радостно озирается по сторонам:

— Смотри, какой красивый палисадник! Ах, какие розы!

— Да, красиво, но твой сад еще лучше, — неизменно отвечаю я.

— Правда?

— Ну конечно.

Летом, в жару, мы любим гулять по Дамашкештрассе — вдоль нее растут мощные старые липы, под ними можно укрыться от солнца.

— Анна, ты помнишь, мы гуляли здесь с тобой прошлым летом, вот и еще год мы пережили.

— Да, мы гуляли, я помню, и с мамой.

— Ну да, с мамой. И с собакой.

— И с собакой.

Мы встречаем соседей. Они почтительно останавливаются.

— Добрый день, фрау Байрль.

— Добрый день. Как ваши дела?

— Спасибо, хорошо, а как ваши?

— Все в порядке.

Тут я раскланиваюсь.

— Извините, нам пора.

Еще минута, и Анна начнет объяснять, что надо эту штучку поставить на ту штучку, и весь благообразный разговор рухнет. Конечно, все они знают, что Анна больна, но я дорожу степенностью наших бесед со знакомыми и обрываю разговор, не доходя до опасного предела.

Иногда нам встречаются женщины с маленькими детьми.

— Деточка, детка моя, — говорит Анна и вся сияет.

— Идем, Анна.

— Деточка, малышка...

— Идем, идем!

В конце концов я увожу ее, но она еще долго оборачивается вслед.

Есть утренний маршрут, есть вечерний маршрут, есть маршрут к церкви. Церковь от нашего дома недалеко — звон колоколов доносится до нас утром и вечером.

Я открываю тяжелую дверь, пропускаю Анну вперед. Слева от двери чаша со святой водой. Я беру Анну за руку и окунаю ее пальцы в воду. Дальше она все делает сама — крестится, чертит пальцем маленькие крестики на лбу, на верхней губе и на груди. Церковь пуста. Мы подходим к первому ряду скамей. Перед тем как пройти к скамье, Анна делает книксен. Перед нами — огромное распятие, слева — статуя Божьей Матери с Младенцем. У Младенца маленькое нахмуренное лицо. Горят низкие свечки. Я встаю со скамьи, опускаю в жестяную коробку две марки и зажигаю две свечи. Потом возвращаюсь к Анне.

Когда я только появилась в доме, Анна пыталась давать мне уроки.

— Вы принесли ноты? — спрашивала она.

— Нет...

— Почему? Вот вам ноты.

И она давала мне прошлогодний телевизионный журнал. Я ставила его на пюпитр и садилась к роялю.

— Ну, начинайте.

— Фрау Байрль, я не умею играть.

— Почему?

— Я не училась.

— Ничего, я вас научу. Начинайте...

В конце концов я начинала играть гамму до мажор — единственное, что помнила. Анна дирижировала указательным пальцем, склонялась ко мне, прикрыв глаза, потом вскакивала, выпрямлялась, запрокидывала голову, дирижируя уже обеими руками, а я все играла — во всю длину клавиатуры...

Потом я использовала эту игру, если Анна начинала очень уж ретиво таскать из спальни одеяла и подушки, или по вечерам, если она плакала и я не могла ее отвлечь. Это помогало безотказно.

— Может быть, вы позанимаетесь со мной?

— О! Охотно!

И мы садились к роялю. И опять я играла бесконечные гаммы, и Анна в упоении размахивала руками.

Проходило время.

— Может быть, вы позанимаетесь со мной?

— Да, конечно...

Подошла к шкафу, достала из него зеленого японского льва с оскаленной мордой и сунула мне в руки:

— Вот, пожалуйста! — И испуганное румяное личико: — Вы это хотели?

— Это, это, спасибо.

Иногда она садилась к роялю сама. Долгий звук, другой, несколько разрозненных аккордов, потом, зацепившись за последнюю ноту: ...*фа, соль, ля, си, до, ре, ми, фа, соль, ля...* Все та же нескончаемая гамма до мажор.

Услышав звуки гамм, Дуня, где бы она ни находилась, вскакивала и, переваливаясь, бросалась под рояль. Плюхалась на пузо, опускала голову на лапы и могла лежать так бесконечно, взмахивая изредка хвостом. Там, под роялем, у нее вообще было любимое место.

Пол в комнате для занятий был паркетный. Широкие светлые дощечки, уложенные елочкой. С каждым днем Дуне становилось все трудней выбираться из-под рояля — толстые, с виду такие мощные лапы беспомощно разбегались на блестящем, гладком паркете. Чтобы помочь ей, нужно было подлезть под рояль и упереться ладонями в задние лапы.

Однажды я поняла, что так мы не выберемся: едва Дуня вставала на задние лапы, начинали проскальзывать передние. Я вылезла из-под рояля, подхватила ее под мышки и потянула вперед. Видимо, я причинила ей дикую боль. Она взвизгнула детским голосом и укусила меня за руку. Я еще разглядывала укус, когда Анна, схватив с пюпитра деревянную вешалку, которую она в этот день поставила на него вместо нот, во всю длину руки замахнулась на Дуню. Я отобрала у Анны вешалку, а Дуня в это время каким-то образом самостоятельно выбралась из-под рояля. Тяжело дыша, она улеглась на ковре возле кафельной печки.

Подождав, пока она успокоится, я пошла к ней мириться.

— Дуня хорошая, — говорила я, — Дуня не хотела, Дуня нечаянно. Ну, давай посмотрим, где болит.

И потихоньку щупала ее. Морда, передние лапы — ничего. Живот, грудь... Спина... Тут она вздрогнула и дернулась ко мне оскаленной мордой. Спина, конечно. Несчастье всех больших собак.

К нам стал ездить ветеринар.

Анна любит читать. В доме много книг. Биографии музыкантов, теория фортепьянной игры, разрозненные томики классиков, яркие книжки о зверушках, птицах и бабочках, молитвенники и много всего другого. Если Анну долго не слышно, значит, она сидит с книгой в желтом кресле у рояля.

— Что ты читаешь, Анна? Атлас автомобильных дорог? Как интересно! Только не держи его вверх ногами, ладно? Вот так. Мы выберем с тобой маршрут и летом непременно поедем куда-нибудь далеко. Хочешь в Давос, куда ты ездила с мамой перед войной?

В простенке большой комнаты висит фотография — женская фигурка на фоне гор. Анна часто останавливается перед фотографией и иногда начинает плакать. Я беру ее за руку и увожу.

Дуня лежит возле печки, хвост равномерно перекидывается налево и направо. В последнее время она почти не встает с места. Вывести ее на прогулку теперь становится все труднее. Иногда она падает посреди улицы и подолгу бьется телом об землю, пытаясь встать. Я пробую помочь, но любое прикосновение причиняет ей боль, и мне приходится просто стоять и ждать, когда она встанет. Прохожие смотрят на меня неприязненно, но что же я могу сделать?

Анна становится с каждым днем все молчаливее.

— Как дела, Анна?

— Не знаю...

Мы садимся пить чай. Анна больше не может правильно взять кусок тоста, я вкладываю его ей в руку. Вдруг она принимается пальцами собирать с тоста мед.

— Анна, что ты делаешь? Это не годится. Нужно есть аккуратно. Ты же всегда так красиво ела. Слышишь, Анна?

Молчит.

— Анна, ты слышишь меня?

— Не знаю...

— Ну, пойдем спать. Пойдем, моя милая, самая моя лучшая, самая любимая. Я так тебя люблю. А ты меня любишь?

— Эти люди...

— Какие люди?

— Те, что приходили. Они ушли?

— Ушли, ушли. Ну, давай раздеваться.

Утром приходит Йошико.

— Анна, посмотри, кто пришел! Это же Йошико! Твоя любимая Йошико! Ты рада?

— Я хочу домой.

— Что это она говорит?

— Это она так часто в последнее время... Анна, ты дома. Это твой дом.

— Это мой дом...

— Вы считаете, в последнее время хуже стало?

— Нет, не хуже, нет, нет!

— Но вы же сказали...

— Я просто ошиблась, она и раньше так говорила.

— Да? Ну ладно, подождем еще, посмотрим. Я для вас деньги принесла, посчитайте и распишитесь, пожалуйста.

— Спасибо, иду.

Уколы, которые делал Дуне ветеринар, перестали помогать. На вечерней прогулке она свалилась на мокрые листья и не могла подняться. Я стояла рядом и боялась к ней притронуться, чтобы не причинить боли. Лапы то выпрямлялись, то подгибались опять, хвост бился об землю. «Дуня, — говорила я, — Дунечка, ну попробуй еще разок, ну постарайся...» Наконец она встала и, шатаясь, добрела до дома. Придя домой, рухнула в передней, возле запертой двери комнаты Йошико, где обычно спала по ночам, и закричала от боли. Поесть я принесла ей туда. Она против обыкновения быстро съела все, что было в миске, и я немного успокоилась: пока собака ест, все еще не так страшно.

Ночью я проснулась от грохота. Посреди лестницы, распластавшись на ступеньках, лежала Дуня и смотрела на меня совершенно круглыми глазами. Она пыталась добраться до моей комнаты и скатилась уже с верхних ступенек. На руках я снесла ее вниз и положила возле печки, на коврик. Она даже не огрызалась.

Утром я не смогла вывести ее на прогулку. Она не поднимала головы. Я попробовала через час, потом еще через час... Вечером я позвонила ветеринару. Он обещал прийти к одиннадцати.

Я покормила Анну ужином, потом повела ее к Дуне.

— Анна, смотри, вот Дуня. Хорошая, хорошая Дуня. Погладь ее, Анна, погладь.

— Я уже все купила сегодня.

— Да, конечно, ты все купила, а теперь погладь Дуню. Смотри, вот так.

— Где мама?..

Наконец она наклонилась и коснулась Дуниной шерсти кончиками пальцев. Я увела Анну спать. Раздевалась она без возражений.

Я сидела возле Дуни на полу у печки. Вечернюю порцию она уже съела. Я принесла ей еще. Она и это съела. Я накрошила в миску собачье-

го печенья, которое давала ей изредка за хорошее поведение. Она быстро съела печенье и вылизала миску. Живот ее с утра заметно раздулся. «Дунечка, — говорила я ей, — ты сделай все дела прямо здесь, пописаи, покажи, а я все сразу уберу, ты не будешь лежать грязная, не бойся». Она смотрела на меня серьезно и спокойно.

Я сходила наверх и принесла старый молитвенник. «Каплям подобно дождевным, злии и малии дние мои, летним обхождением оскудевающе, помалу исчезают...» — читала я молитву на исход души.

Когда-то я спросила у одной знающей женщины, есть ли душа у собак. «Как у других — не знаю, а у моей есть», — сказала она.

В доме было тихо. Изредка что-то пощелкивало в отоплении. За окном раздалась сирена «скорой помощи». Вот она проехала, и снова тишина.

Звонок в дверь. Я прошла по садовой дорожке, открыла калитку. Ветеринар держал в руках маленький чемоданчик. «Так вы решились? — спросил он, входя. — И давно пора. Что ж ей мучиться».

Увидев ветеринара, Дуня попыталась отползти в сторону, но лапы не слушались, большое тело дергалось на полу, не двигаясь ни на сантиметр. Ветеринар подошел ближе. Дуня оскалила зубы и зарычала. Ветеринар открыл чемоданчик, покопался в нем и достал длинный широкий бинт.

— Вы сможете? Я сделаю петлю, накиньте ее на морду и затяните.

— Я сделаю, конечно. Только, очень вас прошу, введите ей сначала снотворное и выйдите из комнаты, пока она не заснет, а потом я вас позову, сделаете этот укол.

— Да вы не бойтесь, она ничего не почувствует.

— Но сначала снотворное, хорошо?

— Где у вас розетка?

Он достал из чемоданчика электрическую бритву. Длины шнура не хватило, и я пошла наверх за удлинителем. Заглянула к Анне. Она спала на боку, спокойно и глубоко дыша.

Сделанную из бинта широкую петлю я накинула на Дунину морду. Она сама помогла мне, просунув морду поглубже. Я затянула и завязала бинт. Ветеринар включил электробритву и начал выбривать переднюю лапу. Дуня зарычала и задергалась.

— Дунечка, — говорила я ей, — потерпи, это же не больно. Ты сейчас заснешь. Просто заснешь у печки, как всегда засыпаешь, а я буду тебя гладить. Потерпи, миленькая, ладно?

— Это как наркоз, она не почувствует ничего.

— Только сначала снотворное, да?

— Держите лапу крепко.

Он убрал бритву, достал шприц, иглу, пузырек с темно-желтой жидкостью, проколол резиновый колпачок, набрал жидкость в шприц.

Когда игла вошла в вену, Дуня даже не вздрогнула. Я сидела рядом на корточках и ждала, чтобы она заснула. И вдруг голова ее стала медленно опускаться.

— Если хотите успеть, погладьте ее сейчас, — сказал ветеринар.

— Это было не снотворное?

— Гладьте, гладьте.

Я опустила руку на Дунину большую голову. Она в последний раз дернулась под моей рукой и затихла.

— Дунечка, прости, — сказала я.

Ветеринар собирал в чемоданчик шприц и лекарство.

— Мне нужен большой плед или что-то в этом роде.

— Вы заберете ее с собой?

— А вы хотите оставить ее до утра?

— Я не могу.

Я нашла у Анны в шкафу пушистый плед, раскрашенный под тигра. Мы перекатали Дуню на плед, взяли каждый с двух концов и понесли

Дуню к машине. Нести было тяжело. Плед в середине сильно тянуло к земле. В последний раз я увидела свисающую из пледа черно-бело-рыжую лапу. Утром Анна спустилась вниз, огляделась вокруг.

— Что, Анна?

— А где моя... эта... эта...

— Что? — Вопреки всему, мне хотелось, чтобы она вспомнила.

— Я хочу в туалет...

Так мы остались вдвоем — Анна и я.

Анна любит смотреть телевизор. Особенно ей нравятся передачи про детей. Если на экране маленький ребенок, Анна подходит к телевизору и гладит ладошкой экран.

— Маленький мой, малышка...

Я ей не мешаю.

Если показывают что-нибудь страшное, я тут же меняю программу, потому что Анна очень пугается. Автомобильные катастрофы, землетрясения, наводнения — все это не для нас.

Однажды я не успела вовремя переключить программу, и Анна увидела ураган в Калифорнии. Она громко ахнула, и я принялась ее утешать:

— Это не у нас, Анна, это далеко, в Калифорнии.

— Какая разница? Человек есть человек. Mensch ist Mensch, — сказала она мне.

Спортивные передачи Анна смотрит без интереса, зато музыкальные — с большим удовольствием. Однажды я включила телевизор как раз посреди джазового концерта. Ярko одетый негр играл на саксофоне. Саксофон пел невысказанным голосом. Вдруг Анна вскочила с места, подошла вплотную к телевизору, начала пританцовывать, хлопать в ладоши и тоненько подпевать.

— И я тоже, — говорила она, — я тоже хочу!

— Разве ты любишь джаз, Анна?

— Ля-ля-ля, — пела она отчаянно.

Летом в Берлине Кристо упаковал Рейхстаг. Мы с Анной долго смотрели, как хлопала от ветра ткань на стенах Рейхстага, а в кафе по соседству столы, стулья и даже всякие лампы упаковали в оберточную бумагу. Анна встала, пошла в кухню, открыла помойное ведро, достала пачку из-под творога, грязную бумажную салфетку и, тщательно упаковав творожную пачку, аккуратно положила ее посреди стола.

Когда показывают мелодрамы, Анна остается равнодушной. Однажды актриса рыдала на экране, заламывая руки. Анна пристально смотрела на нее, потом встала, сказала презрительно: «У нее совсем нет проблем!» — и махнула рукой.

Телевизор у нас старый, он часто ломается. Тогда я вызываю мастера, и он увозит телевизор с собой. Анна садится в свое любимое кресло и недоуменно смотрит на пустой телевизионный столик. Она чувствует, что здесь чего-то не хватает, но чего — понять не может.

— Не расстраивайся, Анна, его скоро привезут, — говорю я.

— У меня здесь круглое, такое круглое...

— Что же это круглое у тебя?

— Надо проходить мимо.

— Ну, давай пройдем.

— А где дети?

— Да они давно спят. Пойдем и мы спать, хорошо?

— Хорошо. Сейчас каникулы?

— Да, Анна, у нас с тобой всегда каникулы. Пошли.

Снова наступила весна. Лили дожди, дули холодные ветры, из трубы дома напротив по утрам шел дым, но почки набухли, а потом распустились.

В этом году в саду не выросли цветы — им не удалось пробиться сквозь прошлогоднюю траву. От яблони отвалилось несколько сухих веток, они упали, перегородив дорожку. Дорожку вообще было почти не видно — между плитками выросла трава. В кустарнике завелись ежики. По ночам я ясно слышала их топоток и похрюкивание. Птицы селились в саду и нехотя вспархивали при виде человека. Анна не хотела больше заходить в сад — заглядывала за угол дома и спешила обратно.

— Анна, пойдем погуляем в саду. Почему ты не хочешь?

— Не знаю.

— Он немного запущен, но это ничего, мы завтра же все уберем.

— Он все принес?

— Да-да, он все принес, не беспокойся. Ну, пойдем домой.

Однажды рано утром пришла Йошико. Анна еще пила первый чай в постели.

— Как дела?

— Все хорошо.

— Я вчера говорила с врачами. Фрау Байрль сегодня переезжает в приют. Это специальный дом для таких больных, ей там будет хорошо. А вы сможете ее навещать?

— Уже сегодня?

— Да. Вы же видите, она ничего больше не понимает. Ей все равно, где она — дома или нет.

В руках у Йошико была большая клетчатая сумка.

Я начала собирать вещи. Положила брюки, синие и черные, — эту неделю Анна ходила в темно-серых. Положила блузочки, две остались неглаженными. Положила все три кофты — желтую, черную и Аннину любимую, серую пушистую. Концертные платья остались висеть в шкафу. Собрала белье, трусики и маечки. Упаковала домашние туфли и босоножки. Сложила пальто и курточку. Это было похоже на сборы в отпуск. Наступало лето, и мы с Анной отправлялись далеко-далеко... В Давос.

Йошико сидела возле кровати и разговаривала с Анной.

— Тебе там будет хорошо. Ты ведь хочешь в приют?

— Не знаю...

— Вот видите, — обратилась она ко мне.

— Я ведь ничего не говорю.

— Ну, в общем, это решенный вопрос. Ключи занесите, пожалуйста, фрау Эрмель. Деньги я вам сейчас отдам.

— Хорошо.

Анна слизывала мед с тоста.

— Доедай, Анна, — сказала я.

Йошико застегнула сумку и вышла из спальни.

Мы с Анной встали с кровати, пошли в ванную, помылись и вернулись в спальню — одеваться.

— Ты сейчас поедешь с Йошико, Анна. В Давос поедешь. Хочешь в Давос? Там горы...

— А ты? — вдруг спросила Анна.

Я оторопела. Так связно она давно не разговаривала.

— А я буду ждать тебя дома. Хорошо?

— Не знаю...

Йошико уже заглядывала в дверь спальни.

День был теплый. Анна в последний раз спустилась по лестнице, вышла на крыльцо, зажмурилась от солнечного света. Возле калитки стояла большая белая машина. Йошико укладывала сумку в багажник.

— До свидания, Анна. Дай я тебя поцелую.

Анна вырвалась от меня и засеменила к машине. Я пошла следом. Йошико открыла дверцу машины, Анна торопливо забралась внутрь.

— Осторожно, Йошико, руку не прищемите.

— Вижу, вижу.

— До свидания, Анна.

Дверца захлопнулась. Машина медленно тронулась с места. За стеклом белела Аннина ладошка. Она все махала мне, пока машина разворачивалась. Потом Анна села смиренно, и мне был виден только ее серебристый затылок. Машина завернула за угол.

Я вернулась в дом. Поднялась в кухню, помыла посуду, оставшуюся после завтрака. Собрала свои вещи, спустилась вниз. Постояла у холодной печки в большой комнате. Примятый ворс на ковре сохранял очертания Дуниного тела. На рояле лежал ржавый карманный фонарик, два карандаша и декоративная свечка. Я вспомнила, что забыла уложить Аннину теплую косынку. В саду пели птицы. Я вышла на крыльцо, заперла дверь, прошла по дорожке, заперла за собой калитку и отдала ключи соседке.

Недавно я была в Трудеринге. Подошла к белому забору. Сад был расчищен. Цвела слива. Жалюзи подняты. На окнах — новые занавески. На траве сидела кошка. Именно таких — толстых и рыжих — больше всего ненавидела Дуня. Я постояла, покурила и пошла к автобусу через поля, обычным нашим вечерним маршрутом. Справа от меня шагала маленькая сгорбленная фигурка в серой лохматой кофте. Слева раздавалось пыхтение Дуни.

ЖЕНЩИНА И СОБАКА В ПРЕДЛАГАЕМЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Я ставлю будильник на одиннадцать, но просыпаюсь раньше, в восемь, в полдевятого, принимаю таблетку транквилизатора — ее надо разжевать, чтобы скорее подействовала, — иду в туалет, гашу свет в кладовке (я всегда оставляю его на ночь), потом захожу в гостиную, вынимаю телефон из гнезда и прячу его в маленькой комнате в кресло, накрыв старым свитером. Жалюзи в гостиной всегда подняты, иначе мои цветы погибнут без света, а окна низко над тротуаром, поэтому проскакивать в маленькую комнату и обратно нужно быстро, чтобы никто ненароком не заглянул в окно — я сплю голая. Я возвращаюсь в постель, вставляю в уши восковые затычки, ложусь на живот, согнув левую ногу в колене, и начинаю молиться: «Господи, помоги мне уснуть и спокойно проспать до одиннадцати».

Главное — проделать все это автоматически, ни на мгновение не допустить до себя реальность, не произнести мысленно ни единого слова, а то не уснешь ни за что. В это время Дёма, спавший всю ночь на полу возле кровати, вспрыгивает на кровать и ложится ко мне в ноги. Иногда удается снова заснуть и даже доспать до звонка будильника. Это удача.

Когда звонит будильник, я встаю, иду в кухню, нажимаю кнопку на кофейной машине — заправлена она с вечера, — наливаю апельсиновый сок в стакан, приготовленный на подносе, там же чашка и молочник, приношу телефон, кладу его на поднос и несю все это в кровать, не дожидаясь, пока сварится кофе. Поднос у меня раскладной, на ножках и с бортиками, на нем удобно пристраивается книжка. Я раскрываю книгу на странице, заложенной с ночи, пью сок и стараюсь понять, что я читаю. Если кофейная машина недавно прочищалась, кофе варится быстро — прежде, чем я выпиваю сок. Я приношу термос-кофейник в спальню и ставлю на поднос. Дёма лежит на кровати и смотрит на меня. Он знает, что, пока я не выпью кофе, не приму душ и не оденусь, гулять идти нельзя, поэтому ждет спокойно.

В первые недели после переезда, выпив кофе, я сразу звонила кому-нибудь по телефону. Теперь я себе это запретила. Во-первых, из-за дороговизны телефона, а во-вторых, мое «кому-нибудь» — это всего два-три человека, и я больше не могу обременять их ежеутренними звонками. Из-

редка мне везет, и кто-то из них звонит сам. Тогда очень важно сразу взять правильный тон и, главное, не заплакать. Проверено, что если с утра заплачешь, так и будешь плакать весь день.

За кофе можно выкурить четыре сигареты из двадцати пяти, положенных на день. После кофе я должна помолиться. Молюсь я утром по правилу Серафима Саровского: три раза «Отче наш», три раза «Богородице...» и Символ веры. К этому я добавляю молитву о путешественниках, вставляя туда имя Ксюши. Она в Москве не путешествует, она там живет, но для меня если она не со мной — значит, в путешествии.

Дальше нужно приготовить Дёме завтрак и идти под душ. Мыться мне стало очень трудно — в это время начинаешь думать, поэтому под душем надо что-то читать. У меня есть старые журналы, которые не жаль забрызгать, их я и перелистываю в сотый раз. Пока я моюсь, Дёма лежит на коврике в ванной. Еда для него готова, но ест он неохотно, и пока я не сяду рядом с миской на корточки, накормить его не удастся. Одеваюсь я тоже с книжкой. Джинсы, которые я носила раньше и дома, и на улице, истрепались, и на прогулку приходится надевать черные брюки. Они у меня одни, их надо бы беречь, но купить новые джинсы я теперь не могу.

Балкона у меня нет, а в полуподвале моем всегда сумрачно и почти не видно неба, поэтому одеваться приходится наугад, и часто оказывается, что я оделась слишком тепло. Когда все уже были в майках, я все еще ходила по утрам в пальто.

Гуляем мы всегда по одному и тому же маршруту: из подъезда направо по нашей Кайзерштрассе, потом за угол по Рёмерштрассе и через перекресток на Пюндтерплац. Там есть небольшой сквер. Внутрь заходить с собаками нельзя, но с внешней стороны решеток — небольшие газоны, и мы гуляем по периметру вокруг сквера. Газоны загажены до отказа, потому что это место прогулок всех собак в округе.

Когда я переехала в эту квартиру, была зима. Сейчас зелено, трава на газонах стрижена и пахнет сеном, как всегда летом в Мюнхене. Я всю жизнь любила лето, а сейчас не дождусь, когда оно пройдет. После переезда и всего, что случилось, Дёма стал плохо переносить жару, задыхается на прогулке, а мне теперь все равно.

Во время прогулки мы встречаем местных собак, но я не подпускаю Дёму к ним, поэтому с хозяевами собак я не знакома. Знакома я только с продавцом кондитерской на углу, в которой я каждый день покупаю два ванильных круассана — это мой обед, — и с хозяйкой магазинчика, где продаются сигареты. Возле кондитерской, рядом со входом, есть табличка «Парковка для собак», и в стену вделан крюк. Я привязываю к нему поводок так, чтобы Дёма мог видеть меня через стеклянную дверь, тогда те несколько минут, которые я провожу в кондитерской — иногда я покупаю там еще минеральную воду и молоко, — он не лает.

В табачный магазин собакам входить разрешается. Всякий раз, когда мы туда заходим, Дёма получает от хозяйки собачье печенье, поэтому он рвется в эту дверь на каждой прогулке, даже на вечерней, когда все давно закрыто.

Самое сложное на прогулке — оттащить Дёму от всех мужчин, к которым он бросается издали, принимая их за Мотю. Кроме того, у последнего поворота к дому он начинает тянуть меня в противоположную сторону, по направлению к нашей старой квартире, — во время переезда я привела его сюда пешком, и он запомнил дорогу.

С утренней прогулки мы возвращаемся в час дня. Я сразу подхожу к телефону — посмотреть, нет ли чего на автоответчике, но, как правило, там ничего не бывает.

Дальше нужно подмести, расставить вчерашнюю и утреннюю посуду в посудомоечной машине и пропылесосить в гостиной и спальне. Мне не всегда удается заставить себя это сделать, поэтому в кухне постоянно валя-

ется по углам Дёмина шерсть. Иногда я нахожу ее даже на плите. Как она туда попадает? Может быть, это оттого, что я никогда не готовлю? В этой квартире я готовила только неделю в апреле, когда на мое пятидесятилетие приезжала Ксюша. Но и тогда готовить приходилось немного, потому что она ест самые простые блюда, которыми я кормила ее в детстве.

В ту неделю, пока Ксюша была со мной, мое существование как будто приобрело какой-то смысл, и даже стало казаться, что я смогу жить дальше. Но потом она уехала, и все стало по-прежнему. Звонит она редко, а сама я звонить ей не люблю: трубку почти всегда снимает Олег и говорит со мной так осторожно и участливо, что я сразу начинаю плакать. У Ксюши голос отстраненный и холодноватый — мне это легче. К тому же я знаю, что она никогда не любила Мотю.

После прогулки и уборки делать мне, собственно, нечего, и это значит, что наступает опасное время. Вначале, после переезда, я приносила из кладовки Мотин шарфик — единственное, что осталось в доме из его вещей, все остальные куда-то исчезли после похорон, может быть, их увезли Лариса с Лешей, — складывала шарфик на столе в кучку, нюхала его и представляла, что Мотя сейчас позвонит с работы. Он обычно звонил в это время. В прошлом году пятого сентября исполнилось одиннадцать лет с тех пор, как он переехал ко мне на Изумрудную. Почему-то это число приводило его в восторг, и каждый звонок он начинал со слов: «Одиннадцать годочков вместе живем, уже двенадцатый!..» Потом я пыталась вспомнить похороны: какие лежали цветы в изножье гроба, кто во что был одет, кто и что мне говорил, но из этого ничего не получалось. Накануне отъезда Ксюша заметила шарфик в кладовке, позвала меня и медленно сказала: «Мама, я его не выбрасываю, понимаешь? Хотя и должна бы. Я убираю его в комод, и больше его не доставай оттуда. Хорошо?» Я кивнула и больше его не доставала.

Теперь, приходя с прогулки, я часто сажусь перед туалетным столиком и начинаю разглядывать себя в увеличительном зеркале. Все происходит очень быстро. Сначала резче проявились от носа к углам рта складки, которые были у меня и раньше. Потом от углов рта вниз поползли глубокие борозды, как на трагической театральной маске. Подглазья отчеркнулись жесткими темными линиями — правый глаз почему-то сильнее. На скулах появились припухлости, которые раньше возникали после бессонной ночи и исчезали, если как следует выспаться, — теперь они не проходят, даже если мне удастся проспать восемь часов, а больше спать я все равно не могу из-за Дёминых прогулок. Однажды утром я заметила, что над левой бровью, перпендикулярно к ней, залегла широкая морщина, доходящая до середины лба. Спустя несколько часов она разгладилась. Я стала следить за ней. С каждым днем она держалась все дольше и через несколько недель осталась на лбу до вечера. Она выглядит как шрам, да так оно и есть.

Теперь я знаю, что морщины не появляются внезапно: сначала где-то сгущается тень, потом прорисовывается эскиз, словно выполненный тонкими карандашными линиями, и только позже — иногда спустя несколько месяцев — морщина определяется и застывает навсегда. Я смотрю в зеркало, и мне кажется, что все это временно, не навсегда, что однажды этот ужас исчезнет с моего лица, я опять увижу в зеркале прежнюю себя, и тогда снова начнется обычная жизнь. Я пытаюсь пальцами подтянуть кожу со щек к ушам — ведь всего каких-то несколько миллиметров. Удивительно, с какой зловещей последовательностью это происходит: как будто по ночам, пока я сплю, кто-то склоняется надо мной со скальпелем и уродует, уродует мое лицо.

Однажды я спросила у Леси с Ларисой, видят ли они то же, что я, и они наперебой начали уверять, что все дело в выражении лица и глаз, что, когда я немного приду в себя, у меня будет совсем другой вид, и по их голосам сразу было слышно, что они врут.

Ксюшу я тоже спрашивала. Она помолчала, потом нехотя ответила:

— Катастрофы я пока не вижу, но, конечно, неплохо было бы сделать подтяжку. Деньги только...

— А сколько? — спросила я.

— Тысяч десять, я думаю.

— Ясно...

— Подожди, вдруг у Олега что-то наладится. Поделай массаж. Утром, после душа.

— Утром я же с собакой тороплюсь.

— Ну, вечером. Не будешь все равно.

Я тоже знала, что не буду, но два раза попробовала. Это оказалось такой же бессмыслицей, как готовить самой себе обед. Самой приготовить и самой съесть, а после обеда убрать посуду. Единственное, что мне удается, — выкладывать круассаны на тарелку, а не есть их из бумажного пакета, как я делала вначале. Леша сказал, что, если я буду питаться одними круассанами и орехами, у меня начнутся мышечные судороги. Тогда я купила в аптеке витамины. К сожалению, я все время забываю их принимать. О транквилизаторе забыть невозможно: если его вовремя не принять, то ночью вообще не уснешь, ни в три, ни в четыре, а днем начнешь плакать и не сможешь остановиться. Однажды я плакала несколько часов подряд, а потом подошла к книжному шкафу и изо всех сил ударила головой об угол — шишка не прошла почти месяц — и только тогда вспомнила, что не приняла днем транквилизатор.

Когда возвращаешься с собакой с утренней прогулки и знаешь, что весь бессмысленный бесконечный день еще впереди, начинаешь мечтать, чтобы кто-нибудь пришел в гости или хотя бы позвонил по телефону, но за те восемь лет, что я прожила в Мюнхене, у меня появилось совсем немного знакомых, и даже те приятели, что были, разбежались от меня сразу после похорон, как будто я заболела какой-то заразной болезнью. Остались Леша с Ларисой, Ольга, Нина да еще два-три человека, и я ими очень дорожу. Только почему-то, если я заговариваю о Моте, все они сразу переводят разговор на другое. Несколько раз я пыталась поговорить о похоронах — ведь это так странно, что я ничего не могу припомнить, — но всякий раз кто-нибудь из них заводил речь о путевке в санаторий, которую предлагает мне мой врач, хотя поехать я все равно не могу: не с кем оставить собаку.

Я не только не могу никуда уехать, но даже не могу сходить в магазин или к врачу: в первые же дни после переезда стало ясно, что Дёма не может оставаться один в квартире. Стоило мне начать одеваться, чтобы выйти из дома, он принимался дрожать, а как только за мной защелкивался замок, раздавался истошный визг и дверь сотрясалась от ударов. Поначалу я думала, что он повизжит и успокоится, и пережидала, наблюдая за ним в окно, но он все бился телом о дверь, скреб лапами замок, а когда не мог больше визжать, начинал хрипло лаять и кашлять, и эти задущенные звуки были так страшны, что я бегом бежала домой. Увидев меня, он сразу переставал лаять и, все еще дрожа, прижимался к моим ногам.

Я предприняла еще несколько таких попыток, пробовала разговаривать с ним через дверь и строго, и ласково, но добилась только того, что он надолго сорвал голос и научился догадываться о моем уходе не тогда, когда я шла к вешалке за курткой, а в тот момент, когда я только начинала об этом думать. При Моте, в старой квартире, он подолгу оставался один, и все было в порядке. Просто теперь он решил, что его выкрали из дома и Мотя по-прежнему живет там, а теперь уйду туда и я — уйду и не вернусь, и он навсегда останется один в этом страшном чужом месте. По-видимому, для него ничего не значит, что здесь стоит наша прежняя мебель и вокруг привычные вещи. Он боится. А мне невозможно уйти, оставляя за

спиной отчаянный крик и удары маленького черного тела о дверь. Кроме того, соседи не станут терпеть эти дикие звуки, и нас выселят из квартиры.

Когда стало ясно, что я не могу выйти из дома, даже чтобы вынести мусор, я очень растерялась. Приходили то Ольга, то Лариса — посидеть с Дёмой, отпускали меня в магазин или в аптеку, но бесконечно так продолжаться не могло. Тогда Нина вызвала ко мне социального педагога из «Каритас». Пришла добрая смуглая женщина, и мы договорились, что по средам с Дёмой на час-полтора будет оставаться мальчик, проходящий в «Каритас» альтернативную военную службу. Дёме мальчик понравился, и теперь я всю неделю записываю на приколотом к кухонному полотенцу листке все, что нужно купить в среду, потому что забыть что-нибудь я не имею права.

Пойти вместе с Дёмой в магазин или в аптеку я не могу: при малейшем отклонении от привычного маршрута он начинает задыхаться. Теперь его даже нельзя возить к ветеринару, куда он ездил много раз в жизни, — через несколько недель после переезда подошло время делать очередную прививку, я посадила Дёму в такси, и у него в пути наступил коллапс. Хорошо, что это случилось уже на пороге клиники: наш врач прекратил прием, схватил Дёму на руки, добежал с ним до операционной, дал ему наркоз, начал искусственную вентиляцию легких и чудом откачал. Сажая нас в такси — Дёма еще не отошел от наркоза и висел черной тряпочкой, — ассистент ветеринара сказал, что собака, очевидно, перенесла тяжелый стресс и отныне может находиться только дома, но не одна, а с кем-то или гулять по отработанному маршруту не более получаса. Поэтому мы гуляем только вокруг сквера, а к церкви Святой Урсулы, где больше зелени, просторнее газоны и не так много собак, повести его я боюсь — туда нужно идти в противоположную от подъезда сторону.

Если бы была жива мама, она оставалась бы с Дёмой, и я могла бы спокойно идти в магазин или к врачу и, может быть, нашла бы какую-то подработку, чтобы не приходилось экономить на сигаретах и еде и можно было купить новые джинсы. Если бы со мной была мама, все вообще было бы по-другому. Но мама умерла за восемь месяцев до Моти. Перед смертью, уже с помутненным сознанием, она несколько раз сказала мне: «У нее недоброе лицо...» — а я не спросила, о ком она, — решила, что это бред. Теперь я часто думаю: может быть, она говорила об Анне — есть какая-то Анна, которая желает мне зла, и из-за нее все мои беды, но я не могу вспомнить, кто это. На Мотиных похоронах ее, по-моему, не было.

Странно, что мамины похороны я помню очень подробно. Мотя все время держал меня за руку и спрашивал шепотом: «Ты в порядке?» — и я кивала. На Ксюше была моя черная юбка, в которой я ходила в церковь, и черная майка с маленьким крокодилком слева на груди. Юбка была ей коротковата, и она ее все время одергивала. День был теплый, но, когда маму начали забрасывать землей, сбежались густые облака и задул холодный ветер, я испугалась, что Ксюша замерзнет, и хотела набросить на нее свой пиджак, но она дернула плечом, а я вспомнила, что мама в таких случаях всегда говорила «оставь ее в покое», и отошла.

Кадиш над мамой читал Леша — у него давно умерли родители, а человек, у которого они живы, читать кадиш не может. Наверное, над Мотей тоже читал он, но точно я не помню.

Мамина могила возле ограды, в самом дальнем конце кладбища, над ней растет рябина, а в головах — вечнозеленый куст. Пока Мотя был жив, я ездила на кладбище каждую неделю, иногда вместе с ним, мы привозили маме розы, в начале лета посадили на могиле бегонии, а к зиме Мотя выложил холмик еловыми лапами и поставил большую керамическую вазу с еловыми шишками и сухими цветами.

У Моти на могиле я после похорон ни разу не была, кажется, это недалеко от мамы — там ведь несколько рядов эмигрантских могил. Леша

говорит, чтобы я ни о чем не тревожилась: он следит за могилой, и там все в порядке. Я все равно не могу туда поехать — мне не с кем оставить собаку.

Когда в апреле приезжала Ксюша, она ездила на кладбище. Я хотела, чтобы на следующий день она посидела с Дёмой и я тоже могла бы съездить, но у нее были дела в городе. Она купила для мамы много мелких белых роз, которые мама любила. Я спросила у нее, подходила ли она к Мотиной могиле, но она промолчала. Когда Ксюша о чем-то не хочет говорить, ее невозможно заставить, и я больше не стала спрашивать.

Уезжая, Ксюша собиралась второпях и забыла свою новую длинную юбку в крупный горох. Я повесила ее в свой шкаф и теперь глажу каждый день, после того как съем круассаны: когда Ксюша приедет, она сразу сможет ее надеть.

Выгладив Ксюшину юбку, я сажусь читать. Читать нормальные книги я не могу и читаю только детективы. Мне приносит их Лариса, и два раза я заказывала книги по русскому каталогу, когда там объявляли распродажу. Почти все они плохие, но для меня главное — скользить глазами по строчкам. Читаю об убийствах, я пытаюсь понять, кто же убил Мотю, — ведь у нас не было врагов, а грабить его не было смысла: он ехал домой с Берлинского фестиваля, и у него было с собой тридцать марок. Кажется, следствие ничего не установило.

Некоторые книги я совсем не могу читать — те, в которых встречается имя Анна или действует рыжеволосая героиня. Мне становится страшно. Иногда мне снится женщина с пышными рыжими волосами и продолговатым бледным лицом. Она что-то делает мне во вред, но я не понимаю — что, и не знаю, как ее остановить.

Я знаю, что, когда приходит страх, надо молиться. Я открываю молитвенник на девяностом псалме — он помогает во время бедствия и при нападении врагов — и читаю его, дохожу до конца и снова читаю. «Не упоиши от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тме преходящие, от сряща и беса полуденного...» Я повторяю и повторяю эти слова, но страх не уходит, и я боюсь и ночного страха, и дневной стрелы, и особенно «вещи во тме преходящие», и у меня возникает странное чувство, что я что-то забыла. И я стучусь и стучусь в мертвые небеса.

За окном начинает темнеть, и я понимаю, что день идет к концу. Тогда я начинаю поливать цветы. Их у меня много: три пальмы-юкки, большой фикус, маленький фикус, «декабрист», хлебное дерево и несколько горшков фиалок. Цветы тоже плохо переносят переезд — им не хватает света, и у меня больше нет балкона, чтобы выставить их летом на воздух. Чтобы они не погибли, с ними надо побольше разговаривать, но я не могу и только говорю им: «Потерпите, потерпите...»

Потом я долго сижу и смотрю на лампу над столом, и мне кажется, что плафон в форме тюльпана, взамен разбитого зеленого, купил Мотя, хотя я понимаю, что этого не может быть: ведь я переехала в эту квартиру после похорон. Все это так странно. Потом наступает полночь.

Я кормлю Дёму, вывожу его на вечернюю прогулку, вернувшись, запираю дверь на два поворота ключа и на цепочку, засыпаю в кофейную машину кофе, готовлю на утро поднос, принимаю транквилизатор, моюсь и ложусь. Ложусь я всегда на самый край, чтобы во сне не оказаться случайно на Мотиной половине кровати. Пока действуют таблетки, проходит около часа, но я стараюсь не засыпать подольше. В это время я читаю, курю и ем орехи, и жизнь становится немного похожа на настоящую, потому что в прежней жизни я тоже курила и читала в постели и всегда что-нибудь ела. Когда строчки начинают сливаться, я гашу лампу — свет в спальню проникает из открытой двери кладовки, — говорю Дёме «спокойной ночи» и закрываю глаза. Темнота внутри меня начинает медленно кружиться, и я кружусь вместе с ней.

Вдруг раздается телефонный звонок — это позвонил Мотя. Он позвонил, когда мы вернулись с утренней прогулки. Голос звучал как чужой, но я сразу его узнала.

— Послушай, что же ты творишь? От меня люди шарахаются на улице! Шурик Фишер позвонил и спрашивает: «Это правда, что ты жив?» Почему я должен это выслушивать?

Я молчала.

— Ведь ты не сумасшедшая, я знаю. Ты не сумасшедшая! — заорал он вдруг.

— Нет, — сказала я.

— Ты никогда не желала принимать реальность, так теперь тебе придется ее принять, слышишь? Я не умер, ясно? Прекрати меня оплакивать как невинно убиенного! Меня не хоронили на еврейском кладбище, надо мной не читали кадиш, ничего этого не было, я ушел от тебя, пойми наконец.

— Нет, — сказала я.

— Что «нет»? Что «нет»?

— Нет. Ты не мог от меня уйти. Ты говорил, что никогда от меня не уйдешь.

— Мало ли что я говорил. Мало ли кто что говорит. Послушай, — сказал он ласково, — а что, если ты попробуешь посмотреть на все иначе? В конце концов, с твоей биографией... Ну, мужем больше — мужем меньше, подумаешь! Ты, может быть, еще раз выйдешь замуж.

— Нет, — тупо повторила я.

— Что опять «нет»?

— Тебя нет. Если бы ты был, сам подумай, разве ты допустил бы, чтобы мне было так плохо.

— Чем тебе так уж плохо? Все, что я должен был для тебя сделать, я сделал. Я снял тебе квартиру, все устроил, у тебя все есть, собака с тобой. Чего тебе не живется? Миллионы людей уходят от жен, и никто от этого не умирает и других не убивает.

— Я тебя не убивала. Просто этот винтик в очках, который раскручивается, и ты вечером его всегда завинчивал, а я без очков его не вижу, и надо на ощупь, и тогда я поняла, что ты умер, иначе такого никогда бы не случилось.

— Да сходи в оптику, тебе там заменят винтик. Анна не зря говорит, что твоя мнимая беспомощность — идеальный способ паразитировать на близких.

— Анна?

— Не прикидывайся идиоткой, все ты прекрасно понимаешь и помнишь.

— Да, помню, да. Анна. Конечно. Хорошо, я все поняла. Прости, я больше не буду.

И я положила трубку.

Встала, сняла тапочки, надела туфли, пристегнула Дёме поводок. Дёма удивился неурочной прогулке и уткнулся носом в дверь. Долго искала в кладовке совок, с которым ездила раньше на мамину могилу, не нашла и взяла в кухне лопатку для торта. Достала из нижнего ящика комода Мотин бежевый шарфик, накинула его на шею, сунула в карман ключи, вышла с Дёмой из дома и захлопнула дверь.

На улице светило солнце, и сквер был полон детьми. Я привязала Дёму к решетке, погладила его и попросила: «Не лай, пожалуйста, тебе все время будет меня видно». Вошла в сквер через низкие ворота, прошла в дальний угол, где в тени большого клена земля оставалась влажной после ночного дождя, села на корточки и начала копать землю лопаткой для торта. Ямка вырылась легко. Я сняла Мотин шарфик, свернула в трубочку и положила на дно ямки. Оглянулась на Дёму. Он сидел напряженно, до

отказа натянув поводок, но молчал. Я забросала ямку землей, выпрямилась и секунду постояла.

Солнечные лучи, проходя через резную листву клена, ложились сложным узором на чернеющий среди травы пяточок утопанной земли. Я вернулась к Дёме, отвязала поводок от решетки и пошла к дому. Было не жарко, и когда мы дошли до подъезда, Дёма почти не запыхался. Я слегка потянула его за поводок вперед, мимо нашего дома, он охотно подчинился, и через несколько минут мы были уже возле церкви.

Церковь была сложена из красного кирпича, с зеленым куполом и стройной колоколенкой. Четыре колонны по фасаду, затейливый фриз и яркая фреска на фронтоне. На фреске был изображен белый агнец, два ангела, справа и слева, протягивали к нему руки. Ангельские крылья покрывали цветной мозаичный орнамент.

Перед мраморными ступенями церкви начинался просторный газон, разделенный посредине дорожкой. По одну сторону от нее рос старый ясень, длинные сережки его почти касались травы. По другую — мощный куст жасмина, весь покрытый светящимися атласными соцветиями.

Дёма бросился к кусту, остановился, насторожил уши и попятился. Я подошла и заглянула под куст. Показалась узкая мордочка, блеснули на солнце серебряные кончики иголок. Под кустом сидел еж. Дёма тьякнул, сделал стойку и замер. И точно в такой же позе, чуть приподняв левую переднюю ножку с легким копытцем, замер на фронтоне церкви белый барашек с золотым нимбом над кудрявой головкой.



ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ

*

ИЗНАНКА ЛЬДА

Без тебя

Я живу тяжело и открыто.
Наполняется мой Колизей.
Я просеял сквозь крупное сито —
я отвеял неверных друзей.

Я живу далеко и забыто
в обаянии небытия —
без Тебя, без малейшего быта —
где вы, дочери и сыновья?

Понимаю Вас, Анна Андревна,
полной мерой этой беды.
Никого — на песочке арены,
только ближе и ближе — следы...

Сад Генриха Гейне

Свобода, солнышко, покой.
Зеленый домик над рекой.
Летит дыхание реки
сквозь яблоневый сад.

На белых яблонях висят
мои клеветники.

Под яблонями, как в раю,
гуляют клеветницы,
процеживая жизнь мою
сквозь зубы и ресницы.

Один тяжелый клеветник
подвешен прямо за язык.
Он принимает форму груши,
он производит звуки «му»,
когда я говорю ему:

не лезь в чужую душу.
 Не бди с фонариком в ноши.
 На мертвого не клевети.
 Не прикасайся к тайне.
 Не делай из нее хулу.
 Не стой с товаром на углу.
 Читай Христа и Хайнэ.

А на могиле у того,
 чьего перста не стоишь,
 у друга моего, —
 ты на колени встанешь.

Под солнечным обвалом

По причине суицида
 помрачнел палач.

На отвале антрацита
 процветает грач:
 иззелена-серебристым,
 голубым, гранатно-алым
 с беглым проблеском капризным —
 грач
 под солнечным обвалом!

Солнце давит и печет,
 опалая грачи крылья...

Это здесь, мне говорили,
 был **РАССТРЕЛЬНЫЙ ТУПИЧОК** —
 тупичок товарный, сорный,
 на окраине пустынной
 в сизой патине полынной,
 в синеве туманной, горной,
 в черном городе Рустави...

Но глаза мои устали,
 и себя уже сама
 не выдерживает тьма.

Неустанно

В келье стол, топчан и стул.
 Каменная тишь. Снаружи
 два на два — отдельный стук.
 — Да, войдите. Да!! Да ну же...

Гость стучит: кресты кладет,
 и без трех крестов надверных
 в эту келью не войдет
 ни один из благоверных.

Дверь тесовая, с волчком, —
 сотка, с проймами, сплошная...

Пролезает гость бочком,
крестит стены, объясняя,

что кропить и осенять
надлежит их неустанно —
неустанно изгонять
призраки СЛОНа и СТОНа¹.

Этап

Колченогие березки —
доходяги, недоростки —
ход понурый и кривой
кромкою береговой.

По-над мысом для порядку
им велят плясать вприсядку,
подбодря матерком,
скатываться кувырком...

Из последнего терпенья,
оставляя алый крап
на лишайниковой пене,
еле тащится этап.

В Зимний берег волны бьют,
и последние березки,
переломаны и плоски,
вжались в грунт и не встают.

Соловки,
мыс Колгуев.

Дочери Кате

Опилочная каменеет грязь,
и дремлют на приколе лесовозы.
В лесу свежо и тихо. Ободрясь,
душа опоминается от прозы.

Ломаю звонкий утренний ледок.
Октябрь — ноябрь. Серебряной порою
я наконец-то ничего не строю,
не затеваю. Нероботь, ходок.

Слежу, как льдом становится вода,
торчу над замерзающею лужей,
соображая битый час досужий,
как трудится внутри изнанка льда,

где в анкерные стяжки и прожилья
воплощены разумные усилия —
и черно-белый ледяной витраж
Катюшке в Рим пошлю — такая блажь.

¹ СЛОН — Соловецкий лагерь особого назначения; СТОН — Соловецкая тюрьма особого назначения.

Спаси и сохрани!

И вот — она. И с нею — он.
 Сошли по лестнице. Ступеней
 четырнадцать. Их счет сочтен.
 Капризы вечных совпадений:
 все числа, кратные семи,
 всегда мои — мои семиты...

— А руку все-таки сними.
 Да, с талии.
 — Что?!
 — Да сними ты...
 — Да как вы сме... Вы кто такой?

Моя рука с его рукой
 срастаются в рукопожатье.

— Твой брат. Мы более чем братья,
 кто мы, *любимая*?

Подъезд
 взгремел в семь ярусов. The rest
 is awful... Кровь? Как это пресно...
 Все это было... Неизвестно
 другое: что — она? она!..

Здесь прерывается созна...

— Мне жизни без тебя не надо! —
 кричу *оттуда*.

Тьма и чад.
 А наверху молчат. Молчат.
 Спускаюсь по ступеням Ада.
 А он? Он зверь... Горят ступни.

Молчат.
 — *Спаси и сохрани!*..

* *
 *

Серебряный тяжелый кубок
 похож на колокол молчащий.
 Кто я? Что я?
 Я без нее — обрубок
 кровоточащий.

А кровь, свежа и горяча,
 и рвет, и рвет фибриновые пути...
 Кто эта женщина?
 Дитя минуты.
 Несчастливая,
 ничья.



РОМАН СЕНЧИН



НУБУК

Повесть

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Девяносто восьмой мы встретили с Маринкой на Дворцовой площади. Толпы веселого полупьяного народа, здоровый морозец, хрустящий под ногами снег, красиво освещенный фонарями Зимний дворец. Салют, восторженные визги девчонок. Хлопки вылетающих пробок из бутылок шампанского, пластиковые стаканчики. Ледяные, чуть оплывшие от дневных оттепелей статуи...

Ближе к утру мы забрались в дальний угол кафешки на углу Невского и Мойки, пили крепленую «Изабеллу», ели тосты и целовались. Какой-то ошалевший, далеко уже не молодой пузатый дядя, по виду актер, громко и выразительно травил анекдоты, стоя в центре зала меж столиков, а благодарная публика хохотала до слез.

Да, Новый год мы с Маринкой отметили весело, хотя и скромно. Вообще-то можно было заказать номерок и место за праздничным столом где-нибудь в пансионате под Сестрорецком или даже в Павловске, но делать это надо было заранее, а последние дни декабря пролетели лихорадочно, скомканно... Честно говоря, и все четыре месяца в Питере тоже скомкались, запомнились отдельными вспышками событий; за эти месяцы я нигде не побывал — ни в театре, ни в музеях, не узнал о подготовительных курсах в Пединституте... Даже родителей забыл с Новым годом поздравить, и когда получил от них открытку как раз тридцать первого, пришлось бежать на телеграф, отправлять телеграмму...

Володька вернулся из Дубая бодрым, загорелым, полным сил и энергии. В первый же вечер привез меня к себе на Приморскую и долго крутил видеокассеты, где был запечатлен их отдых, аккуратные пляжи, отели, нереально синее небо, кристально чистое море. Девушки со сказочными формами...

— Во, гляди! — то и дело подскакивал Володька в кресле. — Этот мужик, Питер, миллионер из Австрии. Мировой мужик!.. Во, а здесь мы каждое утро апельсиновым сочком заряжались.

Я усмехнулся, а Володька, горячась, стал объяснять:

— Ты просто не знаешь, что такое апельсиновый сок настоящий! Наши, из пакетиков, — это просто дерьмо... И апельсины там с нашими не сравнить. Там из одного апельсина полный стакан сока выжать можно. При нас выжимали... Да вон, сам гляди!..

На экране смуглокожий симпатичный араб умело разрезает апельсин на две половины и прижимает одну половину к пластмассовой кочечке в

столе. Несколько секунд жужжания. Пустая шкурка летит куда-то под стол. Затем — то же самое со второй половиной. И готов стакан мутной золотистой жидкости.

Володька, мускулистый, голый, с вэдэвэшной наколкой на плече, широкими глотками осушает стакан, смачно крякает, как после водки, и говорит арабу: «Сэнкью взри мач!» (или нечто похожее). Араб обнажает в улыбке белоснежные зубы...

А Володька уже шагает к берегу. Камера, дергаясь, следует за ним, выхватывая глазом объектива то песок, то чуть прикрытую розоватым купальником чью-то девичью грудь, то кусок неба, то Володькины полосатые плавки...

— Блин, Джон вообще снимать не умеет! — беззлобно восклицал Володька. — Глаза можно вывернуть...

Но вот новый эпизод. Андрюха садится на водный мотоцикл, некоторое время в нерешительности покачивается на мелких волнах, а потом, резко выжав газ, уносится вдаль.

— Сейчас, ха-ха! Гляди, гляди!

Пролетев метров двести по прямой, Андрюха попытался развернуться, и мотоцикл, потеряв равновесие, падает набок; наездник слетает с сиденья, плюхается в воду.

Хохот Володьки и наяву, и там, на экране.

— Да, неплохо провели времечко. — Я услышал в своем голосе обиду и зависть.

— Непло-охо... А ты как? Где Новый год встретил?

— На Дворцовой, с Маринкой. Тоже, в общем, ничего.

— А у нас там в ресторане, в большом зале, — стал увлеченно рассказывать шеф, не спуская глаз с экрана, — елку поставили, искусственную, правда, сугробы сделали из пенопласта, что ли, игрушки всякие, конфетти... Кстати, в самом центре жили, в Дейре... район такой. И до залива — семь минут... Во, сейчас я!..

На экране в седло водного мотоцикла садится Володька. Машет рукой в камеру, улыбаясь, как пацаненок. Вот даванул на газ, и мотоцикл бешено рванулся прочь от берега.

— Гляди, как я научился!

И действительно, Володька выделывал на мотоцикле такие финты — прямо балет. Я и вслух сказал:

— Да-а, прямо мотоводный балет какой-то.

— А чего ты хочешь — почти тыщу на эту фигню потратил. Каждый день упражнялся часа по четыре.

— Тыщу чего? — не понял я; после деноминации и тысяча рублей стала суммой не мизерной.

От моего вопроса Володька как-то резко помрачнел, оживленное лицо стало кислым. Он отвалился на спинку кресла, вздохнул:

— Долларов, чего же еще... Вообще столько денег просрал. Копил, собирал — и вот за десять дней... Там-то, конечно, весело было, ни о чем не хотелось заморачиваться, а теперь...

Беспорядочно мечущийся глаз нашел Макса и Лору и успокоился. Те, заметив, что их снимают, обнялись, заулыбались голливудской улыбкой. Красивые, свежие, длинноногие...

— Ладно я, — тут же заворчал Володька, — я, в принципе, могу позволить себе, а вот этот клоун вообще обезумел. Знаешь, что делал?

Я усмехнулся:

— Откуда ж мне знать...

— Прикинь, заказывал персональный бассейн со своей Лорой, и по полдня они там торчали. А день — пятьсот баксов... И откуда деньги? Месяц назад чуть не на коленях нас с Дрюней просил тридцать тысяч одолжить, а теперь — круче миллионера.

Когда кончился очередной сюжетец, Володька погасил видак, телевизор и камеру, в которой и крутились маленькие кассеты.

— Надо фильм смонтировать. «Русские ребята в ОАЭ». Иногда вечером после рабочего дня приятно, наверное, будет повспоминать. — И, снова придав голосу деловитую бодрость, спросил: — Как товар? Привезли, все проверил?

— Ну да, — кивнул я, точно бы каждую неделю принимал фуры с обувью, — все нормально.

— Ла-адно... — Володька потянулся. — Надо снова впрягаться... Хм, во что там впрягаются — в хомут? в ярмо?

— Не знаю.

— Как не знаешь, ты ж из деревни.

Я обиделся:

— Извини, я лошадей не запрягал.

— Значит, впряжемся в ярмо... — И голос Володьки посерьезнел: — Я там, в Дубае, кое-какие справки навел. Что, как... Думаю представительство там открыть.

— Зачем?

— Потом объясню. Рано еще, сам еще не решил окончательно... Я же не просто отдыхать туда ездил...

— Зачем в Дубаях, — не мог я понять, — твоя обувь?

— Да речь уже не об обуви. Надо расширять бизнес, разрастаться...

Я пожал плечами, поднялся:

— Пойду покурую.

— Трави-ись. Хотя лучше б кальций пил — и кости укрепляются, и вообще состояние как-то лучше... — Володька взял с журнального столика бутылку «Бонаквы», плеснул в стакан. — Только, слышь, Ром, никому пока про мои планы. Все еще так, самому не ясно.

— Да конечно. Мне-то... — Я кашлянул и поправился: — Мое дело маленькое.

— Вот и плохо, что маленькое. Маленькими все хотят быть — удобно.

Я шмыгнул в прихожую, открыл дверь в подъезд. Володька, громко глотая, пил минералку.

Честно говоря, этот его план с каким-то там представительством в каком-то там нереально чистеньком курортном Дубае мне был не по душе. Напугал даже... Не могу утверждать, что я предчувствовал дальнейшие проблемы, да что там проблемы — катастрофу, просто я всегда ко всем нововведениям относился с тревогой. Отец, например, придумывал усовершенствование для полива огорода, а я, в душе по крайней мере, был против; мама предлагала переставить мебель в моей комнате — я же неизменно и наотрез отказывался, хотя умом понимал, что огород действительно поливать будет легче, комната после перестановки станет уютнее. Но главное, чтоб все было как было, привычно, а значит — надежно.

Так же и с планом Володьки. Бизнес его сейчас хоть и не особенно прибыльно, все же крутился, приносил кое-какие доходы, а сунешься во что-то другое — и можно напороться на неприятности, на проблемы...

Когда я вернулся, Володька просматривал газеты. Ироничным тоном процитировал мне астрологический прогноз из «Комсомолки» на наступивший год:

— «Тысяча девятьсот девяносто восьмой год, к сожалению, будет изобиловать техногенными авариями, природными катастрофами и социальными волнениями. Ожидается бум появления всяческих „пророков” и „ясновидцев”. В этом году как из рога изобилия потекут научные открытия, особенно сделанные в области медицины. А в конце августа грянут реформы, которые продолжатся до конца октября, и эти перемены потрясут каждого россиянина до глубины души». — Володька перевел взгляд на меня: — Слыхал?

А я отмахнулся:

— Такое можно про любой год писать — не ошибешься...

Позже, вспоминая этот вечер, я увидел, что он был преддверием наших проблем, а точнее сказать — катастрофы.

Нет, вообще-то все шло очень даже неплохо.

Во второй половине января Володька организовал несколько новых точек. Поступил очень даже мудро, открыв их в фойе крупных бюрократических учреждений. Там давно уже пристроились продавцы шоколада, косметики, бижутерии, газет и журналов, и имели они, чувствовалось, стабильный навар.

Истомленные сидением за столами служащие то и дело спускались в фойе, покупали кто конфет к чаю, кто «Мегаполис-экспресс», кто бусы из искусственного янтаря. И вот теперь постепенно стали присматриваться к туфелькам, сапогам, ботинкам. Некоторые и приобретали... Правда, продавцы жаловались, что перед тем, как купить, примеряли обувь по двадцать раз, всем отделом, долго и занудливо совещались, изнемогали от сомнений, но в итоге все-таки брали. Случалось, через день-другой, одумавшись, сдавали или меняли.

Чтоб клиенты не особенно донимали продавцов (встречались-то они ежедневно), Володька то и дело перекидывал своих работников из одного учреждения в другое. Новый же на все претензии, попытки сдать разонравившиеся туфли должен был отвечать: «Извините, ничем помочь не могу — я из другой фирмы».

Так или иначе, а эти новые точки вскоре стали приносить довольно ощутимую прибыль.

И в личной жизни у Володьки случилась радость — из Германии вернулась его любимая. Юлия.

На первый взгляд застенчивая, скромная школьница, без грамма краски на лице, светло-русые прямые волосы собраны в аккуратный хвост, и одета неброско, вроде бы по-простому, но эти неброские вещи, как отметил Андрюха (а он, в отличие от меня, в этом деле спец), стоят «огромные бабки»; даже водолазка — не меньше трех сотен долларов... И впечатление о Юлиной застенчивости и скромности оказалось обманчивым, как и одежда. При первом же разговоре я наткнулся на ее каменную уверенность в правоте каждого своего слова, и каждая встреча с ней подтверждала это.

По крайней мере разок в полчаса она не могла не высказать мысль, что Россия — помойка и бандитское логово, что здесь рано или поздно обязательно сделаешься алкашом или отупелым быдлом, а если захочешь жить по-человечески — получишь пулю в затылок.

— Ну и чего же ты, в таком случае, вернулась-то? — однажды, не выдержав, трясясь от раздражения, спросил Володька.

Юлия, твердо посмотрев ему прямо в глаза, ответила:

— Потому что не могу без тебя. — И сказала это не как-нибудь нежно, ласково, а до жути убежденно, точно подписала Володьке приговор.

Он же расцвел от этих ее слов, как мальчик-колокольчик. Впрочем, следующие слова любимой вряд ли доставили ему удовольствие:

— И я заставлю тебя уехать отсюда. Пойми, что здесь делать не-че-го.

Мы, помню, сидели за круглым столиком впятером (эта Юлия, Володька, Джон, Андрюха и я) в кабачке на Лиговке, довольно уютном, с хорошей кухней. Никто из нас, парней, думаю, не был особенным патриотом, но от столь железного «не-че-го», я заметил, всех четверых передернуло...

И все же приезд Юлии подействовал на Володьку благотворно. Он, ясное дело, не парил в облаках, оторвавшись от земной суеты, наоборот — еще сильнее впился в работу, словно стараясь доказать любимой, что и здесь можно жить и зарабатывать не хуже Германии.

«Эх, купить квартиру, жениться бы, и чтоб все путем... — время от времени мечтательно вздыхал он и тут же спохватывался: — Но сейчас на другое деньги нужны... на другое...»

Это «другое» — представительство в Дубае — всплывало время от времени скупым десятком слов. Я не просил Володьку развивать мысль, наоборот, старался перевести разговор, в глубине души надеясь, что это просто абстрактные планы, болтовня, рожденная эйфорией сперва от поездки на сказочный курорт, а позже — от счастливого возвращения любимой девушки Юли.

Но через Андрюху я узнал наконец, что Володька, оказывается, всерьез обсуждает открытие представительства с ним, Джоном, Владом, еще кое-какими своими партнерами, собирает необходимые двести пятьдесят тысяч долларов... Андрюха даже пытался мне объяснить, для чего нужно это представительство, правда, я мало что понимал. Повышение статуса, легализация, открытие счетов в иностранных банках, возможность через какое-то время получать большие кредиты, поставка спиртного в арабские страны...

«Я сам вряд ли в это дело войду, — говорил Андрюха, — вообще, наверное, буду завязывать с бизнесом, а Джон вроде согласен... В принципе-то верно Вэл мыслит, надо выходить на серьезный уровень, только опасно».

«Вот-вот! — соглашался, поддерживал я. — Правильно, не правильно, а опасно — это уж точно».

Наши отношения с Мариной потихоньку укреплялись, перерастали в нечто серьезное. Под конец февраля она переехала жить ко мне. Однокомнатка на Харченко за каких-то пару дней ее трудов превратилась в уютное, чистое гнездышко, и с работы я торопился домой, где меня ждал вкусный горячий ужин, а не кусок колбасы с хлебом, магазинные пельмени или в лучшем случае овощная смесь, которую я по-быстрому тушил с порезанными шпикачками...

Марина продолжала работать в буфете ДК Ленсовета, обычно возвращалась раньше меня; лишь когда там случались концерты или еще какие-нибудь представления, приезжала часов в одиннадцать. Именно в такие вечера заявлялся сосед Сергей Андреевич. Могу перекреститься, что он следил за нашей квартирой и, убедившись, что Марины нет (ее он почему-то побаивался, даже не здоровался со мной, когда встречал нас вместе), звонил в дверь и, осторожно улыбаясь, вытягивая из кармана бутылку «Сибирской», предлагал: «Пропустим?»

Иногда я отказывался сразу и твердо, иногда после сомнений и внутренней борьбы, а чаще соглашался почти с радостью. Не то чтобы меня радовали разговоры с ним и сама возможность выпить, нет, настоящее удовольствие доставляли приходы Марины.

Я сидел в одиночестве на кухоньке (Сергей Андреевич обычно исчезал минут за десять до ее возвращения), облокотившись о стол, вяло курил сигарету.

«У, ты уже дома, — раздеваясь, бодрым голосом произносила Марина. — Приветик!»

«Приве-ет», — кивал я и давил окурочку в пепельнице.

Она проходила на кухню, ставила на табуретку пакет с едой. Замечала пустую бутылку, рюмки:

«Опять выпивали? С этим... с соседом?» — но голос не злой, а даже слегка сочувствующий.

«Угу. Мировые проблемы решали...»

«А накурили-то! — Марина приоткрывала форточку, заглядывала в кастрюли и так по-женски расстраивалась: — И ничего не ели! Рома, ну как можно выпивать без закуски?! Ведь желудок испортишь...»

«Ну извини». — Я делал вид, что раздражаюсь, прикидывался более пьяным, чем бывал на самом деле.

Марина вставала надо мной, клала руки мне на плечи и шептала в ухо: «Ложись-ка спать, дорогой... Я тоже скоро приду. Хорошо?»

С ее помощью я поднимался и брел в комнату. Марина расправляла постель, помогала мне раздеться, укладывала. Целовала в щеку и снова шептала: «Я сейчас. Спи, любимый!»

Вообще она оказалась подругой что надо. На такой и жениться можно; в одном из писем родителям я намекнул, что встретил очень хорошую девушку, у нас с ней серьезные отношения... Стал подумывать, приглашать их на свадьбу или летом вместе с Маринкой приехать к ним. Официального предложения я ей пока не делал, но был уверен, что она согласится...

— Вот же дурень, а! Крет-ти-ин!

Володька метался по тесному офису, чудом не опрокидывая мебель.

— Что случилось-то? — Я ничего не мог понять.

— Макса, дурня, закрыли!

— В смысле?

— В прямом — в Крестах торчит теперь. Идиот...

Я бочком пробрался к своему привычному месту. Сел и тогда уж задал следующий вопрос:

— За что?

Володька упал в кресло, нервно крутнулся туда-сюда, бросил руки на стол.

— С наркотой запалился. И не просто... а с героином.

— Вроде не похож он на наркомана.

— Да он и не... Так, как все, вообще-то... Торгануть он решил героином, финансовое положение свое поправить.

— У-у...

— То-то я все гадал, как это с Фелей тогда уладил. Феля-то не из тех, кто долги прощает, а тут... Ё-мое, ну и крети-ин!.. — Володька горестно покачал головой; непонятно было, чего в нем сейчас больше — досады, жалости или злости. — И ведь кто бы еще, а Макс!.. Ведь его же там... Да-а, попал парень, попал по полной...

— А, эт самое, — осторожно произнес я, — может, через Андрюху попробовать? У него же знакомые есть...

— Да ты пойми — его с героином взяли. Прямо когда сдавал... с личным! Это сразу лет пять, не меньше.

— Н-да-а...

Мне сейчас представился почему-то не Макс, сидящий на нарах в тесной, вонючей, забитой небритыми, страшными уркаганами камере, а его девушка Лора. Как она без него? Что сейчас делает?.. Я, кажется, ни разу не видел их по отдельности... Нет, видел, конечно, но очень редко, да и невозможно их представить отдельно друг от друга — они действительно как одно целое. А теперь... Лет пять, не меньше...

Володька потянул к себе папку с бумагами, раскрыл было и тут же захлопнул. Простонал:

— Вечно что-нибудь. Работать надо, а тут... Ты, кстати, в СКК ездил?

— Да, конечно, — кивнул я и полез во внутренний карман куртки. — Двенадцать тысяч рублей. Вот...

Володька принял деньги, завернутые в копию доверенности. И тут же сорвал на мне раздражение:

— Сколько раз говорить, чтоб не мял документы! Заведи себе папку... — Помахал причудливо изогнутой бумажкой. — И на что это похоже?! Как задницу, блин, подтерли...

Вовремя заворковал телефон. Шеф резко дернулся, схватил трубку.

— Алло! Да!.. — Секунду-другую послушал, и лицо его посветлело: — Да, конечно, узнал. Доброе утро!.. Хм, правда, у нас тут не особенно доброе... Да проблемы опять... Да нет, так, свое...

Я догадался, что это Юлия, и пошел на склад. Тем более были там дела — «скотчевать коробки», как называл это Володька.

Дело в том, что нераспроданную обувь нам возвращали как попало, разные модели вперемешку в полуразвалившихся коробках, а то и просто в маленьких, где умещается лишь одна пара. И вот, чтоб сдать товар новым продавцам, нужно было рассортировать, по новой сложить обувь в нормальную тару и заклеить скотчем. Тогда уж можно отправлять... Работа физически не тяжелая, но медленная и утомительная. Надо следить, чтоб модель в коробке была одна, цвет, размер.

На днях нам вернули пар триста, и всё, конечно, кучей, как попало. Теперь нужно было разобраться, упаковать как положено и попытаться сбыть в другом месте... Володька вчера между делом сказал, что в Петрозаводск надо съездить и с грузом отправит, скорее всего, меня... На ходу обмолвился, но это не значит, что просто так, — он ничего не говорит просто так, не забывает...

— Что, пашешь? — шутливо, примирительно спросил, появляясь на складе.

— Да вроде. — Я сделал вид, что обижен за выговор насчет помятой доверенности; еще бы — привез целых двенадцать тысяч и в благодарность вот получил...

— Слушай, — Володька кашлянул, — мне тут надо съездить срочно на пару часов. Если кто звонить будет, скажи, что я на сотовом. Лады?

Я пожал плечами и тоном недовольного начальника разрешил:

— Ну давай.

Юля, наверное, вызвала. Надо ее куда-нибудь в солярий или в бутик свозить. Если б по делу, не стал бы Володька мяться и покашливать.

2

— И надолго?

— Ну как... Товар надо разбросать по точкам, деньги собрать. Пару дней займет, думаю...

Марина спрашивала меня об этом раз третий, но я не раздражался, а терпеливо объяснял. Да и спрашивала наверняка лишь затем, чтоб прижаться ко мне и тихонько признаться:

— Я очень буду ждать, дорогой.

Я обнимал ее и обещал:

— Я быстро.

Мы доехали вместе до «Садовой». Здесь нам надо было расставаться — мне наверх по эскалатору, на склад, а Марине переходить на «Сенную площадь» и ехать до своей «Петроградской», в ДК... Но прощаться в метро и мне и ей показалось как-то нехорошо, мы поднялись вместе и сейчас стояли на мосточке через канал Грибоедова.

Было совсем тепло, мягко надувал ароматный парной ветерок, и странным казалось, что вода канала еще подо льдом.

— Весна, совсем весна, — сладко вздохнула Марина. — Тоже бы поехать куда-нибудь. Вместе.

— Только не в командировку! — с шутливым испугом предупредил я.

— Да хоть в командировку, но вместе.

— Смотри, — показал я на лед, — какие проталины интересные. Полу-круглые, как чешуя.

Марина послушно заинтересовалась:

— Из-за чего так, интересно? Может, из-за течения?

— Какое тут течение... — Я пробежал взглядом по льду. Этих проталин было множество, они чуть блестели от лучей солнца... — Действительно, как рыба какая-то. Или нет — как змея. Извивается.

— Да, — кивнула Марина, — город прямой, правильный, только этот канал геометрию нарушает. — И она хихикнула.

— Ну, — я не согласился, — Мойка тоже кривая.

— Но ведь не настолько.

— Не настолько...

Я приподнял ее лицо и крепко поцеловал в губы; Марина с готовностью обхватила меня, прижалась и сама стала целовать мои губы, щеки, глаза, что-то еще успевая приговаривать.

Странное дело, а может, совсем и не странное — Марина стала другой с тех пор, как мы поселились под одной крышей. И наши отношения изменились. Теперь нас уже не тянуло вечерами в клуб, мы с удовольствием проводили свободное время дома. Я сидел в кресле перед телевизором, пил «Невское» или жиденький чай, Марина, забравшись с ногами на диван, вязала... Да, она любила вязать, и это было для нее точно какой-то разгрузкой, лечением от тяжести минувшего дня и в то же время зарядкой перед днем будущим... Время от времени я отрывался от экрана и смотрел на нее, такую уютную в тонком халатике, в белых шерстяных носках... Она позвякивала спицами, или сосредоточенно считала петли, беззвучно шевеля губами, или подвязывала цветную нитку для узора и, почувствовав мой взгляд, поднимала глаза, улыбалась, посылая воздушный поцелуй. Я отвечал ей тем же, по телу разливалась теплая, щекочущая волна, я потягивался, тихо стонал. Может, это и было счастьем...

Она называла меня «дорогой». Хм, старомодное словцо, но зато такое надежное, будто мы уже прожили в мире и согласии лет двадцать и еще проживем так же хорошо много-много...

— Что ж, — я отогнул рукав куртки, взглянул на часы, — надо идти. «Газель», наверно, пришла. Еще грузиться, инструкцию получить от шефа...

— А сколько уже? — со страхом и надеждой спросила Марина.

— Без пятнадцати десять.

— Ой, мне через десять минут надо за стойку! Все, — она торопливо чмокнула меня в щеку, — я побежала.

Я обнял ее, прижался к ее мягким, сладковатым от помады губам своими. Она, такая еще напряженная секунду назад, обмякла, прикрыла глаза...

— Роман, блин, ты где шатаешься?! — Володька встретил меня с коробкой в руках у ворот склада. — Мне, что ль, за тебя...

— С Маринкой прощался, — честно объяснил я.

Его раздражение сменилось улыбкой. Он передал коробку стоящему в будке грузовичка шоферу, хитровато прищурился:

— Отпустила?

— С трудом, с трудом...

— М-да, классная тебе девчонка попалась. Как же я раньше на нее внимания не обращал? Самая идеальная жена... Эх, лопухнулся! — Это он тоже сказал явно шутя; до того, как не вернулась его Юлия, он вообще предпочитал о девушках не поминать...

Загрузив «газель», он долго (и в который уж раз!) объяснял мне технологию сдачи товара, получения денег. Я с трудом изображал внимание — на деле-то я давно многое знал, многому научился, частенько в одиночку развозил обувь по питерским точкам, собирал денежки.

Почти весь путь до Петрозаводска молчали. Да и о чем говорить с незнакомым человеком, когда к тому же оглушительно несется из магнитофонных колоночек: «Таганка, Таганка, девчонка-хулиганка...» Оставалось

глядеть на дорогу, по сторонам, курить, пуская дым в щелку приопущенного стекла.

Вслед за бело-голубыми блочными девятиэтажками Веселого Поселка проплыли мимо чахлые, прозрачные рощицы, а потом трассу обступили, как стены, темно-зеленые, почти синие, высокие ели. Время от времени в этих стенах появлялись просветы, и тогда слева можно было разглядеть свободную еще, не сдавленную гранитом набережных Неву, а потом — и безбрежный простор Ладоги...

Честно говоря, я слегка волновался. Не оттого даже, что могу напутать с документами, а из-за другого.

Я уже бывал в Петрозаводске, точнее, не бывал, а жил целых пять месяцев, но практически не видел города; да и что можно увидеть в армии, если не дают увольнительных...

Меня призвали в погранвойска, в город Сортавала, что на юго-западе Карелии. Из Питера многих туда призывали. Сперва определили в собаководы (на комиссии я, дурак, рассказал, что у нас в семье всегда были собаки и я знаю, как с ними правильно обращаться), но оказалось, у собаководов самая тяжелая служба. Мало того что несешь, кроме всего прочего, ответственность за собаку и поднимаешься по тревоге первым, так еще на учебке из тебя делают настоящего Рэмбо — отжимания, марш-броски, кроссы целыми днями... Вместо Рембо я, наоборот, стал превращаться в скелет; написал просьбу перевести меня в простые стрелки и получил за это два наряда вне очереди... Когда стали набирать партию в поварскую школу, я чуть ли не первым вызвался учиться на повара.

Поварская школа находилась в Петрозаводске, на промышленной окраине, недалеко от Онежского озера, — из окон второго этажа нашей казармешки в ясную погоду его было хорошо видно, и при первом же удобном случае мы, салажата-первогодки, выстраивались у подоконников и молча тосковали...

В сам город нас не пускали, вместо увольнений водили на практику на какой-то огромный завод. Может, на тракторный или бумагоделательных машин... Поварихи жалели нас и кормили так, что обратно в часть мы плелись, как беременные на последнем месяце. Бывало, кто-нибудь выскакивал из строя и блевал коричневой мешаниной бывших вкусокостей.

В конце мая, окончив учебу, узнав, как варить макароны и гречневую кашу, зазубрив правила товарного соседства, мы разъехались по своим пограничным отрядам. Кто в тундровый Никель, кто в курортный Сестрорецк, кто в гиблые, окруженные топиями Реболы, а я в свою маленькую, по-фински аккуратную Сортавалу.

Сперва я занимал чуть не самую бладную должность в части — был хлеборезом, заведовал яйцами, сахаром, сливочным маслом. Вскоре растратил эти богатства, подкармливая «дедов», и меня отправили на заставу, где я проторчал почти полтора года, неделю поваря, неделю бродя с автоматом вдоль КСП, выезжая по тревоге ловить нарушителей, которыми оказывались в основном лоси, иногда — медведи...

Можно сказать, что в Петрозаводске прошла лучшая пора моей службы, и теперь, конечно, хотелось снова побывать там, посмотреть на город, который, правда, я совсем не знал.

Приехали мы под вечер. Забросили товар на две точки — в маленькие обувные магазинчики, — взяли взамен наторгованные деньги и несколько коробок залежавшейся обуви, а потом стали искать гостиницу.

Нашли неплохую в центре, сняли, как велел Володька, двухместный номер; «газель» поставили на ближайшей охраняемой площадке.

— Пойду прогуляюсь, — сказал я водителю, который сразу развалился на кровати поверх одеяла. — Я тут служил в армии несколько месяцев. Навещу, так сказать, места боевой славы.

— Давайте, давайте. — Водитель, хоть и был лет на двадцать старше меня, обращался на «вы». — Армия, когда служишь, каторгой кажется, а потом вспоминается как-то так... — Он не подобрал подходящего слова и вместо этого выразительно покрутил рукой.

— Н-да... — Я сделал вид, что согласен, хотя мне и через пять с лишним лет после дембеля армия не казалась чем-то привлекательным. А когда только вернулся домой, помню, мучился от одного и того же кошмара — снилось, что наша Республика Тува отделилась от России и теперь мне придется служить еще раз; во сне я прибежал в военкомат, доказывал, что служил при СССР, честно отпахал два года, а военком, толстый полковник-тувинец, безжалостно перебивал: «Завтра к десяти утра, с вещами. Иначе — возьмем с милицией!» Я просыпался, как говорится, в холодном поту и еще долго мысленно доказывал, что уже отслужил, а больше не выдержу... Только когда мы семьей уехали из Тувы, эти кошмары прекратились, зато теперь во сне я полон бесконечных грядки, выкашивал полянки в сосновом бору, гадая, успеет ли высохнуть сено до дождя или опять подгниет...

Центр столицы Карелии не произвел на меня впечатления. После Питера, конечно, многое может показаться убогим, скучным, сонным. А что Петрозаводск? Темноносные здания пятидесятих годов, обычные магазины, пыль, мусор. Обычный городок, один из сотен подобных... Я собрался было рвануть к поварской школе, даже выяснил у прохожих, как до нее добраться, а потом передумал. Далековато, да к тому же и целый день в «газели», затем — нервотрепка, не явная, но все же ощутимая, со сдачей товара, получением денег. Захотелось просто сесть за столик, выпить пивка.

Подвернулось кафе «Калевала». Я, конечно, зашел.

Обстановка — так, ничего, правда, тоже убогонько. Столы и стулья старые, деревянные, с почерневшим лаком, на каждом засаленный прибор для специй, салфетки в граненых стаканах... Людей немного. В основном воркующие парочки — парень и девушка.

Я сел за свободный стол. Посидел минут пять, ожидая официантку. Но она не появилась, да ее тут, как оказалось, и не было. Пришлось самому подойти к стойке бара, купить бокал «Балтики № 3», пакет чипсов.

Вернулся на место и расслабился... Да, доделаю завтра дела — осталось семь точек — и, может, в ночь рванем. Или уж послезавтра утром. Доложусь (тьфу ты, армейское словцо вот всплыло!), отчитаюсь перед Володькой, он, конечно, тщательно все проверит, а потом — к Маринке. Она вообще-то не любит, когда я торчу в буфете, наблюдаю за ее работой, — ей почему-то стыдно, — но после разлуки, думаю, перетерпит.

Приглашу ее куда-нибудь. В кино или в бильярд сыграть. Ей бильярд нравится... Или просто куплю торт, шампанское, посидим дома... Родителям надо бы письмо написать. От них чуть ли не каждую неделю приходят, а мне все не до того... Продолжают советовать в институт поступать. Может, действительно попытаться, тем более что Володька не против. На заочное, в Педагогической. Попытка не пытка, а я в любом случае ничего не теряю. Поступлю — хорошо, не поступлю — так и черт с ним...

«Ледовое побоище — тыща двести сорок второй, — машинально проверил я свои знания, — отмена крепостного права — тыща восемьсот шестьдесят первый»... Да, кое-что еще помню, но за этими датами мне сейчас ничего не увиделось. Никаких картинок, иллюстрирующих историческое событие, как бывало раньше, когда от одного словосочетания «Ледовое побоище» тут же в воображении возникали псы-рыцари в глухих шлемах с крестообразными прорезями для глаз и носа, Александр Невский с лицом актера Черкасова, произносящий громовым голосом: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!»; не было теперь и новгородских ратников с дубинами и топорами, черной воды Чудского озера... Остался просто заученный когда-то набор цифр — 1242.

При желании я, наверное, смог бы навспоминать штук двести исторически значимых фраз, только — зачем?.. И как буду учиться на историка, на учителя истории, если мне история давно уже неинтересна...

— Свободно?

Я дернулся от неожиданности, подвинул ближе к себе бокал с пивом.

— Да, конечно.

Напротив уселась девушка. Лет двадцати, может, чуть старше, светло-волосая, довольно симпатичная, но с унылым, кислым лицом. И свое мороженое она стала есть так уныло, что я не смог не предложить:

— Может, лучше пива выпьете? Или вина?

— А что такое? — Она подняла неожиданно темные для ее светлых волос и бледноватой кожи глаза; почти черные глаза.

— Да так, — усмехнулся я, почему-то смутившись, — что-то без радости вы это мороженое... хм... вкушаете.

Раз уж нет ни сил, ни желания гулять по городу, так хоть вот с девушкой петрозаводской пообщаться. Тем более если сама подседа.

— Ты угощаешь? — Она прищурилась подозрительно.

— Естественно. — И я похвалился: — Удачный сегодня вышел денек.

— Чего ж удачного?

Бокал мой был еще почти полон, девушка не особенно и понравилась, но что-то толкало изображать из себя крутого...

— Это, — ответил ей чуть игриво, не теряя, правда, серьезности делового человека, — коммерческая тайна... Ну так как — пива? Вина?

— Лучше вина, конечно. Крепленого. — И уже вслед мне послала уточнение: — Только не портвейн. «Изабеллу» или «Южную ночь».

Я опять усмехнулся.

«Изабелла» с красной этикеткой, шестнадцать градусов, в кафе «Калевала» нашлась. Я взял двести граммов и два бутерброда с сыром...

— Ну, давай за знакомство!

Девушка слегка оживилась, даже представилась:

— Меня, если что, Валей зовут.

— У, а меня — Роман.

Чокнулись, я пивом, она вином. Глотнули.

А она все-таки ничего. Наверно, карелочка... На том заводе, где мы проходили практику, были молоденькие поварихи и судомойки, и кое-кто из наших парней успевал с ними понежиться... Может, ввали, а может, и нет. И очень хвалили этих карелочек в плане секса... Для меня же, дурака, главным тогда было набить поплотнее желудок...

— Ты сама местная? — забросил я удочку. — Ну, в смысле — петрозаводская?

— Угу. — Лицо ее снова стало унылым. — А ты откуда?

— Из Питера. Здесь, так сказать, по делам. — Я допил «Балтику» и позирался по сторонам; захотелось курить, но пепельницы на столе не было, и из посетителей никто не курил. Пришлось спросить Валю: — Не знаешь, здесь курить-то можно?

— Можно. Только пепельницу надо у бармена взять.

— О'кей.

Я снова подошел к стойке, взял блюдце, которое играло роль пепельницы, заодно купил еще бокал «Балтики».

Несколько раз с удовольствием затянувшись «Бондом», признался девушке:

— А я тут служил целых полгода.

— Где? — Она не выражала особого интереса, спросила, кажется, так, из вежливости, но глаза ее смотрели как-то откровенно и жадно, будоража меня. Наверное, это казалось из-за несоответствия светлых от природы волос и кожи и темных, почти черных глаз...

— В поварской школе. — Но тут же уточнил: — Вообще-то меня сначала в Сортавалу призвали, в пограничные войска, а потом уже сюда перевели, учиться на повара. Вот учился...

— Хм, — девушка покривила губы, дескать, улыбнулась, — готовишь, значит, хорошо.

— Не жалуясь.

— А жена?

— Что — жена?

— Ну, жена рада, что хорошо готовишь?

Я глотнул свежего пива, пожал плечами:

— Может, и рада была бы, да нет ее. А если честно, главная задача армейского повара не во вкусоности, а чтобы у личного состава поноса не было... Представь, на заставе служит человек пятнадцать, и у всех понос от какого-нибудь борща вкуснейшего. Ведь так и границу можно без примотра оставить. Хотя и черт с ней... У тебя линзы, что ли?

Валя посмотрела на меня долгим, проникающим каким-то взглядом.

— Ага, линзы, с миллионеркой сидишь! — Она опять изобразила подобию улыбки, взяла бокал с вином, отпила.

— Линзы, кстати, давно уже не признак богатых. За пятьдесят рублей три пары можно купить. И разных цветов. А волосы у тебя от природы такие?

— Уху.

— Оригинально и красиво, — решил сделать я комплимент.

— Спасибо... Только мало это мне помогает по жизни.

— В каком смысле?

— Да в любом. Давай лучше выпьем.

— Давай, что ж...

Мы чокнулись, сделали по глотку.

— А ты чем занимаешься? — спросила Валя и тут же вспомнила: — А, это ведь у тебя коммерческая тайна.

— Да нет, почему... Обувью торгую. — Я отвалился на спинку стула, вздохнул устало, но и удовлетворенно. — Привез вот партию, теперь разбрасываю по магазинам. Весенне-летние модели.

— Спасибо, не даете нашим женщинам в кирзачах ходить.

Уловив в ее словах издевательство, я стал раздражаться:

— А что, плохо, что ли, им? Да без нас бы и ходили в каких-нибудь колодках фабрики «Скорород»... И хорош иронизировать. Нормально ведь сидим, общаемся.

Она снова взглянула на меня. Теперь в глазах почти извиняющееся выражение. И голос стал мягче, просто грустный:

— Я по жизни такая. Из-за этого и торчу здесь без копыя в кармане... и, — она поглядела на людей за соседними столами, — тошнит от всего, от всех.

— Н-да, тяжелый случай.

Не очень-то благодушная получается беседа после трудового дня... Я закурил. Валя тоже вытянула сигарету из пачки, но перед тем, как щелкнуть зажигалкой, для приличия спросила:

— Можно?

Я кивнул, конечно. Что еще оставалось?

— Я редко курю. Если выпью только или разволнуюсь, — посчитала она нужным оправдаться. — Сейчас вот что-то разволновалась. Как-то все...

— Надоело? — усмехнулся я.

— Ну да...

— А вот мне однажды надоело так, по-настоящему, я сел и приехал в Питер. Делом занялся... — Я понял, что меня понесло. — Теперь как белка кручусь, поездки вот, то-сё, зато нет времени депрессовать. Двести с лишним точек, где мой товар продается. Документация, поставщики, на-

логи, крыша... Но, понимаешь, хоть по вечерам с ног валюсь, сплю, бывает, по три часа, а в душе как-то так хорошо...

— Везунчик.

— Не глумись, — я поморщился, — я же серьезно...

— Глумятся знаешь над кем? Или над святыми, или над трупами.

— А ну тебя. — Мне стало обидно. — Села за мой столик, вино мое пьешь и начинаешь тут же... Иди вон, — я кивнул направо, где молча пили водку трое парней, почти превратившихся в мужиков, — их подкалывай. Посмотрим, как они реагировать станут. Вряд ли, думаю, рады будут...

— Ну все, извини. Просто не могу я иначе теперь. Я не со зла... — Она вздохнула, покрутила пальцами ножку почти пустого бокала. — Слушай, ты бы не мог еще бутербродик купить? Есть очень хочется.

Я посмотрел на нее; она не отвела глаза. Красивые, почти черные, горячие и какие-то грустные, одинокие, затравленные...

— Слушай, — предложил я, — давай как люди посидим? Там, я видел, пельмени есть, тефтели... Бутылку водки возьмем. Поговорим. У, как?

— Я не против. Водку с закуской можно. И... — она вроде собралась усмехнуться, но вовремя изменила усмешку на довольно-таки приветливую улыбку, — и поговорить тоже...

Я поднялся.

— Что возьмем — пельмени, тефтели?

— Лучше тефтели с пюре. И, если можно, салатик какой-нибудь...

Как добрались до гостиницы, не помню. Пришел в себя лишь в момент разговора с водителем. Точнее, вспоминая, как его имя. То ли Георгий, то ли Геннадий...

— Это, — я стоял в дверях, обеими руками держась за косяки, — это... Геннадий... Георгий... простите, забыл...

— Гена, — подсказал он, поднимаясь с кровати. — А что такое-то?

— Да надо... вы бы не могли... на полчаса... Нам тут надо...

— Я тебе не проститутка! — визгнула за моей спиной Валя и зашагала по коридору.

Я рванулся за ней, поймал руку.

— погоди, я не в том смысле... просто же поговорить.

Что-то мне все надо было с ней поговорить, и мы, кажется, долго говорили в кафе «Калевала», до самого закрытия, но из памяти выпало — о чем именно.

— погоди... пошли...

Она отдернула руку, и я чуть не упал. Я думал, она уйдет, даже в душе желал этого. Нет, она остановилась и со злобой и выжиданием уставилась на меня.

— Ну чего ты? — забормотал я миролюбиво. — Давай по-хорошему... И выпить еще осталось ведь.

Из номера вышел Геннадий, сказал, будто оправдываясь:

— Машину поглядеть надо.

— Да-да, хорошо, — мельком кивнул ему я и взял девушку за запястье. — Пошли, Валь, посидим.

Она пошла.

Выставил на журнальный столик бутылку «Праздничной», упал в кресло.

— Будь как дома!.. Нормальная конура? Даже вон телик есть. И душ...

Валя хмыкнула, присела на стул.

— Да лучше в кресло. Удобное... Или, — мне стало весело, — или, ха-ха, ко мне на колени!

— Давай лучше выпьем.

— Дава-ай!

Я плеснул водки в стоящие рядом с мутным графином стаканы.

— Поехали.

Глотнул, подавился, по подбородку потекли горячие ручейки.

— Ты что-то совсем, — с брезгливостью и, кажется, жалостью заметила Валя.

— Разучился, понимаешь, бухать... Эти «новые русские», они всё чаек, минералочку... До ста лет прожить собираются... У-у, — на меня вдруг нахлынула дикая злоба, — ненавижу!.. — Я еще раз налил водки и на этот раз выпил удачно. — Зна... знаешь, Валь, так омерзительно! Ведь спекулянты мы, дешевые спекулянты, правду про нас говорят. Там люди ботинки делают, пашут, а мы, сволочи!.. — Говорил я в тот момент совершенно искренне, даже готов был разрыдаться. — Домой хочу, в Сибирь. Помидоры рóстить... Мы с родителями своими руками... Из вот такой вот семечки... еще зимой, в ящиках на подоконнике... И потом радость такая, когда куст по грудь, весь в «бычьем сердце». Знаешь, какая радость!

— Может, ляжешь? — предложила Валя.

— А ну тебя... — Стало досадно и горько, что она не понимает. — Живем же как паразиты.

Лицо ее оказалось перед моим. Совсем рядом. Я понял — надо поцеловать. Ткнулся куда-то, где губы. Она не отстранилась. Я ткнулся еще и почувствовал мягкие подушечки ее губ. Попал.

— Ложись, не мотайся, — снова предложила она, но теперь в ее голосе не брезгливость, а почти явное предложение...

Я взял графин, сделал несколько глотков. Вода была кислая. Хотел хлопнуть графином об пол, но передумал, аккуратно поставил на стеклянный поднос. Приподнялся, спросил:

— А ты ляжешь со мной?

Увидел ее глаза, совсем трезвые, умные глаза. И не злые. Как точнее? — ободряющие.

— Давай ляжем вместе, — сказал я. — Мы ведь теперь не совсем чужие. Гоша ушел...

— Гена, — поправила она.

— Какая разница...

Я определил свою кровать — покрывало на ней не было измято, ведь шофер на ней не лежал.

— Давай, Валь...

Она подошла. Уже без куртки. В черном вязаном свитере, в короткой узкой юбке, черных колготках. Босиком. Значит, согласна... Я потянул ее к себе, уронил. Сунул руку под юбку. Она не сопротивлялась, она лежала на спине, лицом вверх, и смотрела своими черными глазами куда-то в потолок. Просто ждет? Ну и пусть, ну и хорошо, что такая попалась...

Колготки снимались с трудом.

— Приподнимись.

Она приподнялась.

— Давай ничего не говорить, — предложил я.

Она промолчала.

С правой ноги колготки сползли нормально, а снять с левой сил уже не хватило. Я стал стягивать трусы. Тоже черные... Я признался:

— Так все это долго.

Она опять не ответила. Она лежала как бревно и смотрела вверх. С Мариной это было совсем по-другому. Да и с Машей тоже... А зачем мне это сейчас? Если честно, мне этого сейчас и не хочется, хочется просто уснуть. Тихо-мирно...

Но у нее такая гладкая кожа. Такие мягкие и в то же время крепкие ноги. А глаза... Все дело в глазах... Я оказался над ней. Поймал ее взгляд. Она улыбнулась, сказала:

— Дурачок.

— Почему это?

Она потянула меня на себя. Мои локти подломились, ее ноги обхватили мою спину.

— Надо джинсы еще... — вспомнил я.

Она убрала ноги, я расстегнул молнию, кое-как приспустил штаны. Ее ноги опять сцепились у меня за спиной... Отвалиться бы в сторону, закутаться в одеяло... Завтра тяжелый день... Левой рукой я кое-как опирался в кровать, а правой путешествовал под ее свитером... Моя гладкая ладонь гладит ее еще более гладкую кожу... Вот что-то упругое. Лифчик. Я подлез под него, ощупал грудь, твердый штырек соска... Ее губы, они приоткрыты, видны два ряда зубов; глаза закрыты. Лицо стало бессмысленным и глуповатым, но и прекрасным, каким бывают лица ждущих счастья женщин... Я уже научился читать их лица...

Я начал двигаться. Она задышала... Мне захотелось сказать ей что-нибудь доброе. Но только что? И вообще — зачем? А зачем вообще созданы мы и они? Для этого... Маринка простит... Да и с чего узнает? Она не узнает... Да и хрен с ними со всеми...

— Ты уснул? — голос из-под меня.

— А? — Я спохватился и снова задвигался.

Но этот вопрос отрезвил. Затошнило, я услышал, как в животе булькает, катается туда-сюда какая-то жидкость, виски кололо... Я приподнялся на локте, посмотрел... Подо мной чужое, неприятное, недоброе лицо. Смотрит на меня. Ждет.

— Слушай, — спросил я, — зачем нам это?

— Не знаю.

— Давай, может, не будем?

— Ну давай.

Она легко спихнула меня и села. Я наблюдал, как она надевает трусы, колготки, как оправляет свою узкую юбку. Вот встала, отряхнулась, как курица.

Подошла к журнальному столику. Налила себе водки и выпила. Присела на стул, согнулась, начала обуваться. Я развернулся к стене, потянул на себя одеяло.

Как она ушла, не заметил.

Утром перво-наперво проверил деньги и документы. Все на месте. Слава богу, хоть в этом без проблем... На джинсах в районе прорехи (видимо, недостаточно их опустил) засохло беловатое пятно. Долго оттирал его в ванной. Не хватало еще, чтоб Маринка обнаружила...

Поборов тошноту, похмелился полсотней граммов «Праздничной», а остальное, чтоб не искушаться, вылил в раковину. Снова прилег на кровать. Водитель смотрел на меня с сочувствием, но без неприязни. Спасибо.

Сытно позавтракали в гостиничном ресторане и поехали по точкам. По пути я купил двухлитровую бутылку кока-колы. При похмелье хорошо помогает...

Геннадий помалкивал, я был ему благодарен за это. Зато как трудно было общаться с продавцами, пересчитывать деньги и обувь. Голова раскалывалась, сосуды в ней, казалось, вот-вот полопаются и кровь зальет мозги... Как там? — кровоизлияние в мозг.

За день мы управились и часов в шесть рванули до Питера. Вполне могли бы прибыть где-то к полночи, но по дороге, возле городка Лодейное Поле, «газель» стала чихать и в итоге заглохла. Пока Геннадий копался в карбюраторе, я связался с Володькой по шоферскому мобильнику (в отличие от меня, так сказать, начальника, у него телефон имелся!), объяснил, где мы, сказал, что дела сделаны. Шеф, было слышно, остался доволен сообщением. Только спросил, почему у меня голос тусклый такой. Я, конечно, ответил: «Устал все-таки».

Приехали часа в три ночи. Геннадий завез меня на Харченко, пообещал поставить машину надежно, чтоб не разворовали груз — вообще-то уже не нужные нам устарелые модели туфель и сапог, — и отправился в свое Обухово.

Звонить в дверь я не стал, открыл своим ключом. Осторожно разделся в прихожей, пробрался на цыпочках к дивану. Нырнул, как говорится, в нагретую постель. Обнял Марину.

— Дорогой, ты вернулся, — даже во сне любя меня, прошептала она и осторожно, кончиками пальцев, погладила мою небритую щеку.

Дыша, будто самым живительным ароматом, запахом ее волос, ее духов, ее тела, я крепко прижался к ней.

3

Андрюха подкурил новую сигарету от предыдущей — он действительно разволновался.

— ...И каждый день по мобиле названивает, все предъявляет — денех надо, передачи надо, адвоката. Еще и Лорку ехо содержать... Вообще, у нехо получается, што мы виноваты, што он в Крестах оказался. Самому надо было умней быть... А знаешь, сколько там звонок один стоит?.. Ему повезло еще, што крутые ехо к себе взяли в кхамеру, как гхендиректора. У них там моноблок стоит, девять человек вместо двенадцати. Сто долларов неделя. Уже лично я двести ему передал, и все мало. Привых жить как король. Знаешь, как он в Дубаях вел себя? Мы с Вэлом хренели просто, тем более знали же про ехо напруги. Месяц назад умолял в долх тридцать штук ему дать, а тут по польштухи в день за индивидуальный бассейн. Теперь вот на нарах... Дело ехо — пускай парится, идиот. И еще нас винит, што не помохли, заставили херычем торховать.

Я покачивал головой, делая вид, что внимательно, с участием слушаю, выжидая на самом деле, выискивая паузу в его монологе, чтоб поделиться своими проблемами.

— Вообще, ты знаешь, как у нехо все это получилось-то? — задал Андрюха очередной и не рассчитанный на ответ вопрос, потому что тут же стал объяснять: — Гхода два назад открыл Махс этот свой махазин. До тохо джинсами торховал, держал несколько палаток на рынках. Ну, болене шло, и тут стухнула ему моча в холову: махазин надо нормальный. Первоначально ему, ясно, башлей не хватило, штоб и за аренду платить, и за крышу, и ремонт в махазине сделать, и с поставщиками рассчитываться. Тем более и тратил на свои причуды немерено. Золотой мальчик, блин, из Твери...

Просторный зал клуба «Курьер» в этот час, в половине одиннадцатого, был безлюден и тих. Утренняя уборка, видимо, совсем недавно закончилась, густо, как в платном туалете, пахло моющими средствами, освежителем воздуха. В носу свербило, постоянно хотелось чихать... Вчера я позвонил Андрюхе и предложил встретиться, сказал, что у меня к нему разговор. Но он, наверно, забыл, что разговор-то у меня, и сразу же, купив по бокалу горького «Туборга», усевшись за столик, закурил, штокая и кхэкая, шарманку насчет Макса и связанных с ним заморочек...

— Ну и без кредитора, конешно, раскрутиться возможности у нехо, считай, не было. Помимо затрат и время ведь надо, штоб к махазину привыкли, узнали о нем. Место-то нормальное — Техноложка, прям на площади, справа кафе дешевое, слева клуб, но сам-то товар не для всех... для этих, экстремалов. — Андрюха, морщась, сделал затяжку докуренной до фильтра сигареты, сунул ее в пепельницу, глотнул пива. — И он, короше, ни с кем не посоветовавшись — да мы с ним тохда и не слишком-то в друханах были — взял у Феликса двадцать тыщ бахсов на ход за десять процентов. Вроде нормально, условия болене, но Фея этот — вон Вэл

ехо знает, оказалось, — на таких лохах и живет. Стольких уже, ховорят, утопил!..

На это восклицание я не мог не отреагировать, хотя бы ради приличия: — И как топит?

— Да как... очень просто. Очень просто и в нахлую. Хлавное, подвязки иметь, а Феля с РУОПом, ховорят, конхретно завязан... Ну вот, — Андрюха увлекся (еще бы — ведь будущий следователь!), — кохда Феля давал деньхи Махсу, он навязал ему и пайщика, Хришу, чтоб, десхать, иметь гхарантию, што Махс эти деньхи вернет. Хриша этот вложил в махазин чисто символическую сумму — три тыщи баксов, ну и процент имел тоже символический — пять процентов с чистохо дохода. А доходов-то махсовский махазин не давал пошти, на минус, в принципе, работал...

Я, тоже увлекаясь, спросил удивленно:

— А зачем тогда он был пайщиком? Три тысячи — тоже сумма.

— Ну ты што, Ромик! — Андрюха дернул плечами. — Права-то на махазин он формально имел равные с Махсом! Мох сам связываться с поставщиками, копать в документации, хотя и появлялся в махазине раз в месяц. У нехо свои дела какие-то, а может, это и был его бизнес — таким пайщиком у нескольких чуваков быть... Понимаешь, нет?

Не особенно понимая, я все же кивнул. Меня так и подмывало бросить: «Ладно, Дрюнь, мне это сейчас по барабану. У меня сейчас вот какие проблемы». И рассказать... Но пока я не решался. Осторожно мялся на стуле, крутил в руках полупустой бокал с выдохшимся «Туборгом» и слушал.

— И вот проходит ход, Махс отдал тысяч семь, а махазин до сих пор не раскручен, прибыли реальной нет. И Феликс начинает через Хришу давить на Махса: десхать, пора што-то решать. Или ассортимент менять, или передавать права на пользование друхому, тому же Хрише... Ну, Махсик, конечно, дурак, што так в этот экстрим уперся. Кому нужны ботинхи разноцветные, сари-фихары?.. А с друхой стороны, и такие махазины нужны. Я тоже по юности зарубался по всякому тахому. Помнишь же, как очки искал... как их?.. «лисички» назывались, што ли. Узкие такие, брейкеры такие носили...

Я опять покивал.

— Да-а, классное было времечко. Вот бы тохда дело начать, мы б с тобой сейчас не здесь торчали... А может, и вообще бы, — Андрюха невесело усмехнулся, — на Смоленском лежали бы... — Он глотнул пива, выбросил из пачки сигарету, закурил. — И Хриша, в общем, перебазарил с поставщиками, с теми, у кохо Махс махазин в аренду снимал, и в один прекрасный денех они разом все на Махса насели. Товар не продается, а который и продан, за тот не платится, и за аренду три месяца не платилось... Пора, десхать, што-то решать. Вот тохда Махс — помнишь? — нас собрал, просил денех. Мы не дали. И так сколько давали... Што, блин, на нехо, што ли, работать теперь? Я сам не королем живу... Махс тохда к парням со своей крыши обратился с деньхами помочь, а те: «Сейчас ничехо сделать не можем». Ну, ясно, эту ж крышу ему сам Феликс кохда-то и присоветовал. Одна цепочка... Вот Махс и додумался херычем торхануть. Тут подробностей я не знаю, но кажется, через тохо же Хришу-доброжелателя вышел на людей то ли из Литвы, то ли из Латвии, получил партию и расхидал здесь. Вместо тохо штоб от Феликса отвязаться, Хрише вернуть долю, махазин полностью на себя перевести, поехал, дурачок, с нами. Отдохнул, правда, конхретно, перед нарами... Ну, потом ехо прямо с поличным взяли, кохда как раз продавал, прямо с фольхой в руке. Может, конечно, и случайно, а скорей всехо, Феликс решил закрыть ехо нахлухо... В-вот.

Андрюха вздохнул, постучал сигаретой о бортик пепельницы; я уже приготовился заговорить о своем, но он опередил:

— Вчера спецом захлянул в бывший этот «Эхзот», а там вместо фихни маховской — продохты, водка. За две недели в обычный продохтовый пе-

ределали. Значит, заранее Хриша документы оформлял, готовился — это ж, штоб продохтовый махазин открыть, дело вообще-то долгое, волокита... И Машка с Ольхой там же. В холубых фартучках... Вид сделали, што не узнали.

Он усмехнулся. Я тоже. На мгновение захотелось тоже сходить посмотреть, как изменилась бывшая «волшебная лавка», поострить, сказануть такое что-нибудь бывшим «кислотнице» и «индианке», но новый приступ зуда вернул в настоящее... Я заерзал на стуле, почти с ненавистью посмотрел на продолжавшие шевелиться Андрюхины губы.

— А Махсик — в Кхрестах. Уже вот скоро как месяц... Но хто ему виноват? А мне што делать? Бли-ин... У меня своехо хватает — сессия на носу, место в прокуратуре светит, а тут дружок за наркоту попал. Меня ведь, Ромик, пасут, меня так пасут! — каждый шах в досье. Тем боле — я ж не местный, с меня двойной спрос, и вот почему-то именно я должен в Кхресты передачи возить, нанимать адвоката, деньхи передавать. — Андрюха в раздражении ударил по сигарете так, что вместе с пеплом вышиб из нее и уголек; бросил окурок в пепельницу. — Вэлу вон хорошо, он сразу плюнул и связываться не стал. И не хочет. А я как-то так не моху... и я же тепер у Махса во всем виноват. Но я ж не нянька ему, в самом-то деле... Скажи, тах или нет? — Не получив от меня ответа, Андрюха снова вздохнул, допил свое пиво. — Н-да, блин... Вэл еще с этими Дубаями. Мало ему, видишь ли, тесно... Чехо он, решил, кохда едет-то?

— Куда едет? — не понял я.

— Ну, туда. Доховор заключать.

— Не знаю. Мне он ничего не говорил.

— Может, передумал... — то ли спросил, то ли предположил с надеждой Андрюха. — И тах ведь из нас самый удачливый, раскрутился конкретнейше. Зачем дальше-то приключений искать?..

— Наверное, потому и ищет. Надоело на одном месте, одним и тем же заниматься... — Я почувствовал, что Андрюха слегка выговорился, и решил сказать о своем. К тому же зуд становился непереносимым, хотелось вскочить и побежать куда глаза глядят...

— Слушай, Андрей, я вот что хотел... Спросить хотел. Ты гонореей не болел случайно?

— А?

— Ты, говорю, триппером не болел?

Он растерянно уставился на меня, даже рот приоткрылся. Конечно, оглоушил я его этаким переходом. И я поспешил уточнить:

— Понимаешь, у меня, кажется... Вот, может, ты в курсе...

— Хм. — Андрюха отвел глаза, огляделся, будто опасаясь, что нас подслушивают. — Хм, да нет, у меня не было... Как умудрился-то? От Маринхи, что ль? Да на нее не похоже...

— В том-то и дело...

— Што? — не понял он моего ответа. — От нее?

— Да нет. В том-то и дело, что не от нее. Так... — Я долго готовился, оттягивал, слушал малоинтересную в моем положении историю с Максом, про себя подбирая слова, а тепер, когда начал, все слетело с языка, голова опустела, и я уже жалел, что заговорил, хотелось встать и уйти, спрятаться и больше никогда не видеть Андрюху.

И все-таки приходилось сидеть, вымучивать объяснения:

— В Петрозаводске, наверно... с одной там... Даже и не трахнул, а так просто... и уснул на ней... Через три дня началось... Сначала даже как-то так... приятно щекотало так, а потом стало жечь... и зуд... Даже сидеть вот невозможно. А чтоб поссать... Как его лечат, не знаешь?

Андрюха сунул в рот сигарету, предложил и мне. Закурили, стараясь не смотреть друг на друга.

— Што ж, хреново, — наконец произнес он, а я от этого чуть не сорвался с места, чуть не заорал ему в самую рожу: «Я сам знаю — хреново! Что делать-то, ты можешь сказать?!»

Но действительно — что он мог посоветовать, тем более если сам никогда не болел?.. Нет, он посоветовал, но не лучше этого «хреново», посоветовал самое банальнейшее:

— К венеролоху надо.

— Дрюня, это я знаю. Нам об этом еще в школе рассказывали... Но ведь таблетки какие-то есть, самому как-то можно...

— Да я не знаю, Ромик, — тоже стал раздражаться Андрюха. — В натуре, не в курсе... Кхстати, Джон как-то вроде болел. У него спроси. — И он — может, машинально, а может, чтоб дать мне понять: разговор, мол, окончен, — посмотрел на часы.

— Спасибо! — Я влил в себя остатки «Туборга» и поднялся. — Спасибо тебе, Андрей!

— А чехо ты злобишься-то? — изумился тот. — Я тебе по-нормальному гворю: я не знаю. Знал бы, сказал. И вообще, с презиком надо, если не уверен в бабе...

— Еще раз благодарю! — В этот момент не было для меня большего врага, чем Андрюха.

Медленно, ссутулившись, держа руки в карманах джинсов, я плелся по Большой Морской в сторону Невского... День только начинался, но уже стало не по-апрельски жарко и душно, и люди были одеты слишком легко. Особенно девушки. Точно бы истомившись за зиму в своих шубках и пуховиках, они при первой же возможности скинули их, обнажили стройные ноги, освободились от шапок, не застегивали куртки, выпячивая напоказ бугры груди. Инстинктивная потребность, чтоб ими любовались. Твари! У этой, или у той, или у обеих сразу, или у всех там между стройных ног — зараза. И каждой попадающей на глаза я шептал, шипел, посылал ненавидяще: «Гадина! Сучара поганая! Тварь!» — и, почти не стараясь скрыть, почесывал, поглаживал, успокаивал через карман зудящийся, набрякший, мокрый от слизи член...

Ущелье улицы кончилось. Площадь. Черная глыба Исаакия, слева простор Невы, скверы, справа — Николай Первый в дурацком шлеме с птичкой наверху...

Куда теперь?

Утром я позвонил Володьке и попросил: «Можно сегодня не приходить? Мне тут надо кое-какие вопросы срочно решить. Личного плана». Он разрешил. Да если б не разрешил, я все равно бы не смог работать. Ходить по складу, почесываться, думать об одном и том же, путать модели, размеры... Пойти домой? Там еще хуже. Одному быть хуже всего. А вечером вернется Маринка. Уставшая, но такая любящая, счастливая, что, я уверен, я не сдержусь и наконец наговорю ей что-нибудь, испорчу настроение...

Уже почти неделю я не нахожу себе места, а она ведет себя как ни в чем не бывало. Неужели до сих пор не чувствует?.. Первые трое суток все было нормально, и мы, после моего приезда из треклятого Петрозаводска, трахались каждый вечер, потом — на четвертую ночь — не трахались, и на следующий день я понял, что со мной что-то не то... А вдруг не от той из кафе «Калевала» у меня триппер? Может, Маринка тут с кем-нибудь?.. Да нет, она не могла... Хотя что — уломал ее какой-нибудь стриженный вроде Джона, увел на полчаса в темноту кулис... Или Володька, он ведь как-то полусушутя сетовал, что проглядел в свое время Маринку. Может, решил наверстать...

После того как я понял, что заболел, мы с ней не были, как говорится, близки. Мне стало не до того. Вечером я делал вид, что очень устал,

отворачивался к стене. Она пыталась меня расшевелить, я сонным голосом отвечал: «Мариш, давай лучше утром». А утром, раздражительный, не выспавшийся, долго мылся, пытаюсь освободиться от зуда, и потом старался скорее слинять из квартиры. Пускай думает что хочет...

Уже начались вопросы: «Ромашка, дорогой, у тебя все хорошо?» — «Да так», — пожимал я в ответ плечами. «А скажи, ты меня еще любишь?» — «Угу». Что еще ей сказать? Остается надеяться, что она не подхватила, что у нее все нормально. А мне надо срочно как-то лечиться...

Я перебрел площадь, и снова улица, темные дома с обеих сторон. Стало полегче, хоть какое-то подобие защиты, когда рядом стены... Фанерка рядом с одним из парадных. На ней красной краской, с подтеками, коряво выведено: «К 100-летию со дня рождения великого русского писателя В. В. Набокова здесь будет открыт музей»... Набоков, Набоков... Его книжку я купил в ноябре восемьдесят девятого, за несколько дней до того, как идти в армию, и отправил родителям. Купил, помню, за целых двадцать пять рублей. Почти стипендия пэтэушника. Да, Набоков тогда был в дефиците...

Вернувшись домой, я прочитал ту книжку. «Машенька», «Приглашение на казнь», что-то еще. Понравился мне очень рассказ «Подлец». Про человека, который убежал с дуэли... А потом приходят секунданты и смеются, радуются — оказалось, противник убежал еще раньше. И, так сказать, герой тоже радуется, смеется, а на самом деле ему это только кажется. На самом деле он забился в угол, и все для него кончено — он подлец...

Я стал приглядываться к каждой вывеске. Вдруг возьмет и попадетса «Кожно-венерологический диспансер»... Черт, да откуда он в центре города?! Такие учреждения обычно размещают на окраинах, чтоб нормальных людей не нервировать. Все эти венерички, туберкулезники, онкологии, лепрозории...

А вот и Невский. Суетливый, как всегда, деятельный, праздничный. Туристический. Сколько раз я исхаживал его от Московского вокзала до Дворцовой площади и обратно, и всегда настроение поднималось, всегда я укреплялся в чем-то таком, от чего хотелось жить, думать, смотреть на мир. А сейчас наоборот — только хуже. Еще бы... Вот бы так подбегать к каждому светлomu, жмурящемуся от солнца лицу и харкать прямо в глаза, в губы; вот бы остановиться посреди тротуара и спустить штаны. Пускай все увидят...

На той стороне, похожий на замок, Дом книги. Глобус на крыше окружен лесами. Вечно этот глобус реставрируют... Лучше б взял да рухнул. И чтоб я внизу... Я бы не отказался...

Не знаю, зачем я перешел проспект. Мысли зайти в магазин вроде не было, было желание оказаться под глобусом. И я даже постоял у дверей, задрав голову, но меня пихнули в плечо, и я шагнул вперед, в магазин... Я всегда любил книги, особенно в детстве, даже не столько любил читать, сколько просто листать, держать в руках, аккуратно выстраивать на полках. У нас дома была большая библиотека, во всех трех комнатах стояли высокие, от пола до потолка, стеллажи. В отцовском кабинете — специальная литература, энциклопедии, справочники, словари, многотомники Соловьева, Ключевского, еще разные исторические труды; в зале — художественная литература, наша и зарубежная, а в моей комнате — детские книги, сочинения Жюль Верна и ему подобных, затем перекочевавшие из кабинета отца многие исторические труды, а еще чуть позже — отдельная полка с книгами о Петербурге-Ленинграде...

Помню, в восемьдесят девятом я часто бывал здесь, в Доме книги, раза два-три заходил и в последние месяцы, даже купил «Чапаева и Пустоту» и мемуары Шелленберга, но вообще-то к чтению меня теперь особенно не тянуло. Тем более в эти дни. Какое тут чтение...

Я машинально, вместе с другими, поплыл по залу, таращась невидяще на сотни разноцветных корешков... «Медицина», ударило вдруг в глаза, и я, как к спасательной шлюпке, не замечая людей, кинулся к этой вывеске.

Так, так... «Общая терапия», «Хирургия», «Гомеопатия»... «Беременность. Неделя за неделей», «Сексуальная жизнь подростков», «Как увеличить размеры мужского полового члена», «Контрацепция. Естественный метод», «Кожные и венерические болезни».

Хватаю книжечку. Так, содержание... Предисловие, введение, общие вопросы дерматолога... Нет, дальше... Чесотка, экзема... Сифилис, гонорея. Страница 155.

Так, так... Угу. «Гонорея — инфекционное заболевание, возбудителем которого...» Дальше... Вот: «Гонорея у мужчин при остром течении свежей формы... начинается через 3 — 7 дней после заражения с ощущения жжения в мочеиспускательном канале...» Ага, у меня точно так же, все точно так же!..

Я перелистнул еще несколько страниц и нашел «Лечение гонореи». Глаза выхватили знакомое — «антибиотики», «бисептол». Так!.. Не отрываясь от книжки, я достал из кармана блокнот, ручку. Нашел чистый листок, стал записывать. Хоть что-то должно быть в аптеке... Бисептол наверняка... Так, так, а по сколько пить?..

Совсем рядом кто-то остановился. Я испуганно глянул, как застигнутый на месте преступления вор... Высокая девушка с гладкими розоватыми щеками. На свитерке табличка — крупными буквами написано «Ольга»... Наверняка хотела что-то спросить (они любят спрашивать: «Вам помочь?»), столкнулась со мной глазами и не решилась. Для вида поправила книжки на полке и отошла... Что, неужели у меня видок такой страшный? Да черт с ними со всеми... «Сульфазол, сульфидин, сульфатон, тробицин, бисептол...»

Уже на улице пришло в голову, что легче было просто купить эту книгу и не спеша прочитать. Но, с другой стороны, стыдно перед продавщицами, кассиршей, да и Марина если вдруг обнаружит... Зачем нормальному человеку книжки про такие болезни...

Подожел к складу без пятнадцати десять. Володькин «мерс» уже у дверей. Как обычно, раньше меня. И что, действительно, ему не живется спокойно? — торговля худо-бедно функционирует, любимая вернулась и вроде в последнее время не особо даже права качает, про прекрасную свою Германию не так часто проповедует... Нет, хоть полдесятого на работу заявишься, Володька уже там, да еще вот и представительство в Дубае открыть хочет. И ведь все его отговаривают, а ему отговоры, наоборот, только, кажется, решимости подбавляют.

Впрочем, дело его, я его лично не отговариваю. Он хозяин, я — подчиненный. Он решает, а я исполняю. Посильно.

Вчера вечером я наглотался бисептола и к приходу Марины уже был в постели. Не спал, конечно, притворялся, но, видимо, правдоподобно. Она молча разделась, осторожно коснулась моей щеки губами и тоже легла. Правда, долго ворочалась, даже чуть слышно постанывала. Может, на работе упахталась или критические дни начались. Не знаю... Утром была тихой, вяловатой какой-то, задумчивой; мне это было на руку. Выпили кофе, глядя заодно «Доброе утро», и пошли к метро. На станции «Сенная площадь» разошлись. Ей дальше, до «Петроградки», а мне наверх, к Никольскому двору. Я ее ни о чем не спрашивал, и она меня тоже, слава богу...

То ли бисептол подействовал, то ли сам внушил себе, но зуд и боль сегодня были явно слабее. Если это благодаря лекарству, то скоро — тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить, — все вернется в свою колею.

Открыл своим ключом наружную стальную дверь, вошел на склад. Коробок в последнее время у нас маловато — давно не делали новых зака-

зов, зато Володька занимается тем, что всю выколачивает из продавцов долги. Вот и сейчас слышу его негромкий, но внятный, раздраженный голос:

— Слушай, Татьяна, я же тебе сто раз по-хорошему объяснял: мне нужны мои деньги. Ты заказывала товар, я расплачиваюсь за него своими, тебе отдаю всего лишь под три процента. Тебе и матери, как родным. Остальным — за двенадцать. Мать мне платит исправно, а ты почему-то... — Пауза, Володька, видимо, слушает объяснения сестры; я стою в коридорчике между складом и офисом, входить как-то неловко — все-таки с сестрой ругается.

— Нет, вот, — снова его голос, но теперь спокойнее, зато еще внятнее, как обычно, когда в руках у него появляется документ, — вот слушай. Ты не заплатила мне ни копейки за три поставки. Семьдесят три тысячи... Да, рублей... новыми... И за прошлые недоплачено восемнадцать тысяч... Что? Ну что — возвращай товар тогда. Привози, я буду ждать... А, видишь, значит, его и нет, значит, разошелся. И тогда где деньги, Татьяна? Что? — Голос снова становится раздраженным, даже рычащим слегка: — А я не хочу входить в твое положение! Не могу, потому что я тоже должен платить. У меня поставки, у меня аренда, крыша, которая, кстати, и тебя прикрывает... Ты, кстати, спокойно работаешь? Без напрягов?.. Вот и прекрасно. Но за это деньги платятся. Мной, понимаешь?..

Черт с ними — я вошел. Володька на секунду будто забыл о трубке, глядел на меня, в глазах удивление и растерянность, как у разбуженного среди ночи человека. Но быстро оправился, деловито кивнул мне и продолжил. Правда, немного мягче:

— Думаешь, Тань, мне приятно это все тебе говорить? Мы же тем более не первый год работаем... Да, неприятно, очень стрёмно. Только пойми и меня — у меня дело, мне нужны деньги, чтобы его дальше крутить. Мало разве я для тебя сделал?.. Конечно, не стоит вспоминать, но кто, например, вам на свадьбу семь тыщ баксов взял и подарил? А?.. Ну, был бы твой Игорек нормальным парнем — жили б сейчас в своей квартире... Конечно, пускай я мелочный, я все припоминаю, но мне тоже жить надо. Я не хочу, как ваш дружок, дорогой Максик, в тюрягу влететь... Вот, да... — Володька, хмурясь, покивал на неслышимые мной слова сестры. — Вот, а чтоб не влететь, я должен крутиться, должен каждый рубль считать. Понимаешь, если белка на бегу в колесе вдруг остановится, то лапы стопроцентно переломает. Так что...

Ух ты, какие образы! Я незаметно для Володьки усмехнулся и включил чайник. Сел в кресло, покрутился... Когда вот так покручиваешься, зуд почти исчезает. Самое неприятное — находиться в спокойном состоянии. Или вдруг, так сказать, возбудиться от женщины... Как-то ночью я прижался к Марине, в полусне залез ей под рубашку, сжал груди в ладонях, и вдруг такая невыносимая боль проколола мне пах, что я вскрикнул. Я сел на кровати, скорчился; из-под мышек, по лбу, по вискам потекли струи холодного, прямо ледяного пота. И Марина, еще полминуты назад, тоже в полусне, наверное, готовая к любви, теперь перепуганная, обнимала меня: «Что? Что такое, дорогой? Тебе что-то приснилось, Ромашечка?»...

— Значит, у тебя сейчас денег нет? И товар в полном объеме ты мне вернуть не можешь? — Голос Володьки жутковато-спокойный, глаза сощурены, на скулах беловатые пятна. — Та-ак, понятно. Но ты хотя бы мне можешь объяснить как старшему брату, куда вы их... — он, думаю, с трудом удержался, чтоб не сказать «просрали», — ...куда вы их дели?

Чайник забулькал, слегка закачался, и когда, кажется, кипяток был готов разорвать пластмассовые его стенки, красная кнопка выщелкнулась, и бульканье медленно стихло. Я заварил пакетик «Липтона», открыл пачку печенья... Как вот быстро человек от отчаяния переходит почти что к счастью. Несколько таблеток, проглоченных вчера вечером и сегодня утром, зуд и боль чуть утихли, появилась надежда — и вот уже вроде как счастье.

— Ладно, Татьяна, тогда я с Игорем сам поговорю... Да почему же он не при делах?! Он твой муженек как-никак... Я знаю, что он тебя постоянно на всякую хрень толкает. Комбинатор гребаный! — У Володьки снова приступ рычания. — А я вам не этот... не меценат! Как хотите, так и выкручивайтесь, только через неделю я жду, — он заглянул в бумагу, — во семьдесят восемь тысяч рублей. И это — серьезно, Татьяна!.. Что?.. А, жалуйся, жалуйся. Мать меня поймет. Она, кстати, самый аккуратный мой партнер, а ты меня просто кидаешь. Да, да!.. Все, Игорьку привет! Рад буду с ним встретиться!

Трубка упала на стол с таким угрожающим хрустом, что Володька сам испугался. Схватил ее, потыкал кнопки, послушал. Выдохнул облегченно и положил трубку на телефон.

Не обращая на меня внимания, шеф начал копаться в бумагах. Я не решался пока что подавать голос. Пусть остынет, придет в себя. Стараясь не джиргать, стал пить горячий чай вприкуску с рассыпчатым шоколадным печеньем.

— Ну, разобрался с делами? — наконец обратил на меня внимание шеф. Я и не сразу понял, о чем он, и даже спросил:

— С какими? — Тут же спохватился, закивал энергично: — А, да, да! Все в порядке!.. Да это и не дела вообще-то... так, личное...

— Ясно, что личное. С Маринкой, что ли, проблемы?

Не думаю, что Андрюха уже раструбил о моей беде, а на мелкую ссору с девушкой списать вчерашний прогул — самое удобное дело. Уважительная причина. И я, сделав вид, что стесняюсь, все же кивнул:

— Ну да, вроде того...

— Помирились, надеюсь?

— Все нормально теперь, все нормально.

— Тогда вот тебе списочек. Надо проехаться, башли собрать. На многих точках ты и раньше бывал, так что не заблудишься.

Я встал, принял бумагу с адресами магазинов, киосков, палаток, фамилиями продавцов...

— Напротив некоторых, видишь, крестики, — продолжал Володька. — Это значит, что с ними я договорился, они тебя ждут. А остальные... Но в любом случае постарайся выбить за то, что наторговали. Держи еще накладные. — Он протянул мне на этот раз довольно толстую пачку сероватых бланков. — В углу карандашом будешь отмечать, сколько и за какие модели рассчитались... Вот заполни и пяток доверенностей — вдруг где начнут залупаться. Я расписался уже на всех... Ну, ясно?

— Да вроде. Работа привычная.

— Только жми на них сильнее — не стесняйся. А то обнаглели, с осени денег не вижу практически... Возьми тачку лучше всего, с водилой договорись рублей на триста, пускай катает. Деньги есть?

— Есть, есть. — Денег у меня и в самом деле был полон карман — на днях Володька выдал получку.

— Ну, гони тогда! И не стесняйся их, ради бога! Запомни, это они нам обязаны. — Он, видно, все еще был под впечатлением стычки с сестрой и опять стал распыливаться: — Они нам должны, а не мы. Я на них ишачить, на сук, не нанимался! И так даю на хлеб с маслом заработать... Ладно! — отмахнулся и от меня, и от своего негодования Володька. — Езжай... Жду с большой сумкой!

— Сейчас... — Я решил слегка остудить его пыл. — Чай только допью.

4

Двадцать седьмого апреля Володька улетел в Эмираты. Это число — двадцать седьмое апреля — я, наверно, запомню надолго. День получил-ся — не дай боже...

Да нет, в общем, все шло не так уж плохо, только вот вечер...

Началось обычно. Расстались с Мариной на «Сенной», чмокнув друг друга в щеку. Она была не особо веселой, хотя и не мрачней, чем все предыдущие дни. Но я старался этого не замечать, чтобы лишний раз не пугаться возможного; главное, что у меня вроде бы болезнь пошла на убыль. Поправлюсь и снова стану внимательным, любящим...

Прибыл на склад к положенным десяти часам, прикупив по пути пять бутылок «Балтики № 3», уселся за Володькин стол, включил компьютер, нашел любимую игру, где действие происходит в фашистской лаборатории по производству кровожадных монстров... Только начал истреблять пока еще охрану и мелких ученых, позвонил Джон, уточнил, улетел ли Володька.

— Не знаю, — сказал я, — по крайней мере здесь его нет.

— И дома автоответчик... Мобильник отключен...

— Ну, наверно, летит. — Я положил трубку.

Часов в двенадцать какой-то перепуганный паренек принес десять тысяч рублей и взамен попросил расписку, что я их получил.

— Должничок? — усмехнулся я.

— Типа того...

Я написал расписку и вернулся к компьютеру. До двух, торопливо глотая пиво, бился с фашистами и их монстрами, с трудом перебирался с уровня на уровень, не раз погибал, но не сдавался...

В два, как и договаривались, прикатил Андрюха. Я запер дверь, и мы поехали на Арсенальную. Андрюха, как все последнее время, матерился:

— Ну вот, бля, нянька и нянька стал! Больше у меня забот нету, как ему условия создавать. Помнишь ту посылку ему? Ту, прошлую?

— Помню, — соврал я. — И что?

— Вот записон в ответ получил. — Андрюха даже полез в карман, но нужно было как раз поворачивать, и он снова схватился за руль. — Вместо «спасибо» наоборот: тах друзья, мол, не поступают. По правилам передача может быть до двадцати пяти килохотаммов, а ты, дескать, Дрон, расщедрился аж на пятнадцать. — Записку он процитировал елейным голоском, затем опять перешел на досадливые восклицания: — А он смотрел, што я ему туда поналóжил?! Две банхи икры хотя бы!.. Маслины, штоб стручок ехо не завял, бананы, колбаса самая лучшая, за сто семьдесят... Х-хаденыш неблагодарный!.. И вот, — досадливый тон сменился каким-то недоуменным, — снова везу... Ну, в этот раз ровно двадцать пять, зато уж — махароны, соевая тушенка, рис, хорох, печенье овсяное. Пускай пожирует!..

Все эти нервничанья Андрюхи, Володьки, соседа Сергея Андреевича, который, правда, нервничал о глобальном — по поводу олигархов, чеченских заложников, разбившегося вертолета с семнадцатью спортсменами-парашютистами; да, все эти нервные монологи, и моя личная проблема вдобавок, порядком поднадоели, — я перебил Андрюху громким протяжным вздохом.

— Чехо ты-то?.. — Но он недоспросил, усмехнулся: — Уже принял на хрудь с утраца. Везе-от!

— Да пива бокал...

— Ладно хнать! Волю почуюл без хозяина?

— Да я и при нем не особо...

— Фу! — Андрюха то ли шутя, то ли всерьез сморщился, помахал рукой. — Воняет, как из «Жихулей»... Помнишь, кхстати, пивбар «Жихули» на Хрибоедова?

— Не довелось побывать.

— Клевое место было. И дешевое боле-мене, и не совсем хадюшник. Попили мы там с Вэлом конххретно... Эт потом ведь всякие там «Клео», «Планетарии» появились, а тохда мало мест было достойных...

Литейный проспект неожиданно, как-то даже пугающе резко кончился, и Андрюхина «девятка» выскочила на мост. У меня аж дух захватило от

открывшейся широты, голубой чистоты простора вокруг... К таким мгновенным переходам от скученности, вечного сумрака к обилию солнца и воздуха я не мог привыкнуть, они всегда меня ошеломляли — и в лесу, когда чащоба вдруг обрывается и оказываешься на краю бескрайнего (в тот момент уверен, что действительно бескрайнего) поля, и вот здесь, в Питере, где можно два часа бродить по темным каменным колодцам-дворам, мертвым переулочкам и, сделав шаг, будто очутиться в другом мире — на площади Ломоносова, например, или в Таврическом саду, или на берегу, в том самом месте, где Нева распадается на три рукава, заодно раздвигая и город... И такие контрасты необходимы, иначе заблудишься, задохнешься, заплесневеешь совсем...

Как в первый раз, я разглядывал Петропавловку с золоченой иглой шпиля, темно-серую рыбину «Авроры», которая словно бы хотела проглотить оранжевые поплавки-буйки, качающиеся у нее перед носом, Финляндский вокзал и его низенький, блеклый шпиль, Ленина на броневике... И вот мы уже пролетели мимо вокзала, и теперь перед нами горы темной, густой красноты, точно это взяли и вывалили на радость чайкам тонны и тонны обветренной, подвяленной солнцем говядины. Но это не мясо, а спаянные цементом ряды кирпичей, никогда не штукатуренных, не крашенных, не подновляемых. Это тюрьма Кресты.

После простора и шири, высокого чистого неба, чуть зазеленевших деревьев на площади перед вокзалом, рядом с беспокойной, живой Невой, эти застывшие холодные кирпично-мясные горы тюрьмы (а на первый взгляд — монастыря) — зрелище жутковатое. Так и тянет отвернуться, не смотреть, забыть. И я поморщился, а Андрюха, хмуро глядя в лобовое стекло, неразборчиво недовольно бормотнул. Резко крутнул руль влево.

«Девятка» пересекла полосы противоположного движения и въехала в закуток возле забора.

Заглушив мотор, Андрюха с минуту сидел, точно не решаясь покинуть кабину надежной машины, потом закурил и, досадливо крикнув, открыл дверцу.

Я помог ему занести тяжелые пакеты в будочку приема передач. Дежурный лейтенант в окошке по-доброму, как старым знакомым, сказал:

— Рано, ребята, приехали. Десять минут еще. — И, опережая наши возможные просьбы, оправдался: — Извините, распорядок.

Мы оставили пакеты на лавке и вышли на воздух. Курили, жмурясь от обилия солнца.

— Одна эта кхонура чехо стоит, — выдохнул дым Андрюха, — сразу жить не хочется.

Я оглянулся назад, в бетонный сумрак будки, и оттуда как раз пахло забытым, но очень знакомым, до озноба знакомым... А, да, так воняло в нашем гарнизонном пищеблоке на семьсот мест. Смесь из запахов заквашенной до тухлости капусты, хлорки, жаренного на комбижире минтая и еще чего-то многого, но неопределимого. Может, кирзовых сапог, или шинельного войлока, или переполненной помоями канализации, пота сотен немытых тел, жидкости, которой травят по ночам тараканов...

— В армии так воняло у нас, — сказал я, — в столовой.

— В армии... Там хотя бы знаешь: два хода отбарабанил — и дембель. А здесь можно под следствием лет пять проторчать. Армия. Армия — это еще ничево...

Агрессивно-недовольный тон Андрюхи подстегнул меня к спору:

— В армии дисбат есть. Говорят, хуже зоны.

— А ты хоть однохо видал, кохо на дисбат этот закрыли?

Я необдуманно и поспешно ответил:

— Нет, — и тут же получил за это:

— Ну и не надо тохда лялякать!

К нашей «девятке» подрулил широконосый, серебристого цвета «BMW». Достаточно старой модели, зато внушительный, барский какой-то... Из него неуклюже, тяжело выбралась не соответствующая машине маленькая, лет пятидесяти, ссохшаяся женщина в морщинистом, чуть ли не болоньевом плаще и бордовом берете с начесом. Открыла заднюю дверцу, вытнула здоровенную клеенчатую сумку... Тоже к кому-то с передачей.

Андрюха отщелкнул окурки и вернулся обратно в пещерку будки, а я потихоньку направился в сторону набережной... Достало меня, честно сказать, это Андрюхино ворчание и недовольство, кислая рожа последнего месяца; он ведь вон даже не интересуется, как я со своей болезнью, может, я зеленоватой слизью уже весь истек, может, у меня там все отгнило, — нет, конечно, у него проблемы куда существенней... А впрочем, и хорошо, что не спрашивает.

Сегодня первый день, когда я по-настоящему почувствовал себя здоровым. Нет, даже не так. Сегодня у меня такое состояние, какое было однажды в детстве, после воспаления легких. Несколько суток в полубреду, удушье, в горячем ядовитом тумане; потом — долгие дни поправки, куриный бульончик, постельный режим, короткие повышения температуры; и вот наконец... Просыпаешься с рассветом и, еще не открыв глаза, понимаешь, как мир тебе улыбается, и сам ты опять крепкий и сильный, ты дышишь всей грудью, кислород свободно вливается, растекается по тебе живительными ручьями. Глаза распахиваешь широко, будто и не спал, в мышцах приятная ломота, они требуют работы, они соскучились по движению. И вскакиваешь с кровати, и не можешь напрыгаться, нарезать, нарадоваться вернувшейся жизни. Так у меня и сегодня.

Погода как по заказу, под стать состоянию. Солнце палит на редкость, на диво щедро для Питера. Хотя весна ведь — она и в Питере будет весной. Берет свое... Вдобавок на набережной, по ту сторону проезжей части, стоят девушки. Чуть не шеренгой. Штук семь. Но видно, что они не одна компания. Две вот рядом, а остальные хоть и поблизости, но поодиночке.

Выстроились одинаково на бордюре и этим напоминают птиц на проводах. Смотрят тоже все, как одна, на Кресты, смотрят как-то странно — грустно и в то же время ободряюще улыбаясь. То одна, то другая по временам поднимает руку и что-то показывает знаками, как глухонемая. И лицо в эти моменты тоже становится как у глухонемой — до того выразительное, что как-то неловко видеть его.

Я зашел им за спины и прислонился к гранитной плите, под которой плескалась лениво, но безуданно Нева.

Но что Нева, когда рядом семь симпатичных, хорошо одетых, фигуристых самочек. И контраст между закопченно-красной громадой Крестов, колючей проволокой, ржавым куполом тюремной церкви и этими аппетитными, чистенькими на бордюре так вдруг меня возбудил, что стало больно стоять прямо. Я чуть согнулся, полуприсел на гранит. Но боль была иной, чем во время болезни, — это была здоровая боль не могущего удовлетвориться прямо сейчас мужчины. Вот он стоит рядом с самками, глазеет на них, а природа требует не стоять, не глазеть пассивно... И там, я это неожиданно ясно понял (точнее — всем собой, каждой своей клеткой почувствовал), там, за забором, во чреве похожих на куски заветрившейся говядины зданий, в тесных и душных норах, тоже здоровые, изнывающие по свободе и вот этим вот самкам мужчины. Они сейчас наверняка облепили окна (если, конечно, окна там позволяют видеть мир), они толкаются, скрипят зубами и смотрят, смотрят, сосут, целуют глазами то место набережной, где эта семерочка на бордюре, а за их спиной я, свободный (но лишь до определенного морально и законом предела), здоровый, с ломотой в мышцах и болью бесполезного сейчас возбуждения... Подойти, обнять первую попавшуюся и увести в «девятку», покатить с ней куда-нибудь в клуб и веселиться, радоваться жизни, весне, молодости, свободе.

Чтоб не распалиться попусту, я повернулся к Неве... Что ж, просто дождусь вечера, вот вернется с работы Маринка... Но и здесь тут же попало на глаза раздражающее. На том берегу, немного слева, вдалеке, виднелась церковь. Наверно, даже скорее собор. Высокий, вытянутый, нежно-голубой, он почти сливался с небом, был похож на красивое облако... Казалось, что собор завис над землей, слегка подрагивая, как наполненный водородом шар. Он был призрачен, нереален, пугающе легок...

«Ух ты, — первым делом пришло на ум ухмыльчато-ироничное, — видения начались!» Ухмылка не получилась, не защитила — наоборот, сдавила, зацарапала сердце такая тоска, что захотелось завывать, заскулить. Я крутнулся прочь от висящего над землей, подрагивающего собора, и снова передо мной Кресты, какие-то сети на стенах, черные узкие окна, спины, бедра, стройные ноги этих, на бордюре. Водят руками, что-то рассказывая, объясняя своим заточенным дружкам или мужьям... А как будет жестами, интересно, «люблю тебя», «жду», «не забуду»? И почему они уверены, что их видят, их жесты читают? Ведь там, за забором, в оконцах мясо-кирпичных коробок, — лишь чернота.

Я напряг зрение, прищурился, потянулся вперед, словно к кому-то любимому... Нет, действительно, ничего. Чернота.

Зато им оттуда наверняка видно не только нас, Неву, кусок города, но и тот собор-призрак, что висит, подрагивает в воздухе, беззвучно зовет. И как же им должно быть это невыносимо, если даже мне здесь, на свободе...

— Роман, ты хде? Ты едешь, нет? — спасительный голос Андрюхи.

Я с готовностью помчался к машине.

— Бли-ин, да-а... — не мог не произнести я, поеживаясь на мягком удобном сиденье, — тягостное, конечно, зрелище... Одно бы дело в тайге где-нибудь, в тундре, а то здесь, в центре Питера... Ты Ахматову не читал случайно?.. Вот у нее там так, оказывается, точно...

— Ладно, — осадил Андрюха выплеск моих эмоций, — хорэ. Давай лучше подумаем, как вечер похруче убить.

Теперь он был почти веселым, лицо посветлело; он напоминал человека, у которого, по пословице, гора спала с плеч. О причине такой перемены я, конечно, допытываться не стал, чтоб не провоцировать Андрюху на новую порцию сетований и жалоб. Может, просто хорошие вести от Макса или же, наоборот, никаких вестей, никаких новых просьб, упреков, нытья. И вот Андрюха засиял, он готов устроить нам праздничек.

— Можно куражнуть слегка, ясное дело, — отозвался я на его вопрос. — Напряженьице снять.

Мы начали обсуждать, строить планы на вечер. Первым делом, почти автоматически, заговорили о ночных клубах и очень быстро сошлись на том, что клубы уже надоели. После минуты раздумчивого молчания Андрюха вздохнул о шашлыке на природе.

— Во, во, кайф! — Мне идея понравилась. — Поставим тачку, сядем на электричку и куда-нибудь...

Андрюха был настроен реалистичней:

— Пока то да сё, пока мяса кхупим — стемнеет.

— Тогда на тачке давай, с ночевой. Костерок запалим, посидим, — размечтался я всерьез, даже сам удивился, — а утром вернемся. Пить обо не будем, так, винцо легкое.

— М-да, заманчиво, — почесал щеку Андрюха. — И как поедем, вдвоем?

— Ну, можно с девчонками. Я Маринку возьму... правда, у нее работа до десяти...

Заиграл рег-тайм, Андрюха вытащил из кармана черную плашечку мобильного.

— Алло... А, здорово!.. — послушал, кивнул: — Да он здесь, со мной. — И протянул мне телефон. — Танюха.

Прежде чем я успел поздороваться, в ухо полился торопливый, совсем не приветливый голос Володькиной сестры:

— Роман, мне срочно нужно забрать вещи со склада! Как скоро ты там окажешься? Желательно в течение получаса...

Я удивился:

— Какие вещи?

— Мои! У меня там дубленки, ремни брючные, портмоне двести штук. Когда ты подъедешь?

Голос слишком возбужденный и наглый, как у человека, решившегося на рискованный шаг... Я был в курсе, что деньги она Володьке до сих пор не отдала, — перед отъездом он опять психовал по этому поводу, и я, конечно, заявил довольно холодно:

— Володи сегодня нет в городе, а без его ведома я ничего со склада выносить не могу. Извини.

— Но это мои вещи! — оглушил меня крик. — Ты обязан!..

— Я обязан выполнять указания своего хозяина. — Да, лучше в такой ситуации принизить себя, чем потом получить люлей от Володьки...

— А я его сестра! И мне нужны мои вещи! На них есть покупатель, и он ждать не будет! — Татьяна сыпанула в ответ очередной порцией восклицаний. — На складе я оставила их на хранение!

— Тань, не кричи, — я сделал свой голос мягче, — он вернется послезавтра — и вы все решите.

— Я не могу ждать ни дня, понимаешь ты или нет! У меня покупатель! И через час я жду тебя возле склада. Ты слышишь? Ты обязан отдать!

— Я не обязан...

— Э, — Андрюха выдернул из моей руки телефон, — так вы все бабки изговорите. — Приставил его к уху: — Танюш, што там стряслось? Што за пожар? — Некоторое время слушал, серьезно глядя на дорогу, потом с усилием, с нескольких попыток, вторгся в ее монолог: — По... нет... Походи... Да твою-у... Походи, а то дам «отбой»!.. Слушай, он вообще-то прав. Ну, Ромка... Вэл ему стопроцентно вставит, если он отдаст, ты пойми. Ты вот што — ты свяжись с Вэлом, пускай он подтвердит... Да хоть мне пуск-кай звякнет, мы пока вместе тусуемся... Ну да... Все, до связи!

— Ушлая бабенка-то выросла, — усмехнулся, опустив мобильник обратно в карман. — Столько Вэлу уже нервов попортила...

— Да знаю, — слушался их скандалов, — подтвердил я.

— И ни фига ей не давай, ни на каких условиях! Пускай сами они разбираются... — И без перехода, но другим, бодром-праздничным голосом Андрюха озвучил дальнейший план действий: — Так, щас, значит, завернем на рынок, возьмем килохрама три бараньехо шашлычка, купим вина, овощей каких-нибудь — и в лес. Я одно место знаю, на Охте, мы туда еще в девяносто втором ходили... Почти вроде и хород, но и природа...

Он свернул с Лиговского проспекта на Московский.

— Только, это, давай Маринку твою не ждать? Сейчас подберем каких-нибудь посимпотней. На шашлычок, да с тахими орлами поведется любая. Ха-ха! Как, не против?

Я улыбнулся, кивнул — дескать, не против.

Но на природу, к костерчику на берегу Охты мы не попали. Получилось иначе.

Вроде сперва решительно пошагали к Андрюхиному киоску за бараниной и так же решительно, как по команде, остановились у ресторанчика «Терек». Из ресторанного дворика по рынку расползлся ароматный дымок.

— Зайдем глянем? — предложил я.

— Можно, — с готовностью согласился Андрюха. — Можно и проди-хустировать.

В итоге застряли в этом «Тереке» до закрытия, до полуночи. Выпили кувшина по три «Хванчкары», шашлыка съели бессчетно.

Андрюхину «девятку» бросили там же, где стояла, поймали частного. Он развез нас по домам.

В умиленно-добром настроении, представляя себя попировавшим горским князьком, с коробкой конфет и бутылкой «Мерло» я добрался до дому. Открыл дверь своим ключом и с порога позвал:

— Мари-иш, ты дома, солнышко? Иди встретить своего Ромашку!

Давно я так не изъяснялся, но сегодня ведь особенный день. Сегодня я снова стал полноценным мужчиной, и Марина снова стала мне по-настоящему необходима, желанна...

Она не выходила ко мне, хотя горел большой свет на кухне и торшер в комнате... Я еще раз позвал ее, недоумевая, поставил вино и конфеты на тумбочку и принялся разуваться... Может, мы просто утром второпях забыли выключить электричество, а я распинаюсь?.. Но тогда где же Маринка, ведь уже чуть не час ночи?

Тяжело переваливаясь с ноги на ногу, проковылял на кухню. Долго глядел на «Мерло», решая, выпить бокальчик или повременить; в животе была чугунная тяжесть, и в то же время казалось, что еще несколько глотков вина помогут избавиться от нее... Нет, все-таки погожу до прихода Маринки. Вместе с ней... Интересно, где она шляется? Ох, лучше лечь...

Заметил ее не сразу. Уже устроился на диване, стал вытягивать ноги, но они уперлись во что-то мягкое... нет — мягко-упруго-теплое. Живое.

Я приподнялся, помню, кряхтя, придерживая левой рукой готовый лопнуть живот... Она сидела в углу дивана в своей старой черной водолазке, которую давно не носила, в черной юбке; волосы, гладко зачесанные к затылку, как у классических «синих чулков», открывали строгое, окаменелое лицо. Она смотрела прямо перед собой, куда-то в район плитуса у противоположной стены.

— Ты чего такая? — трезвея, спросил я.

Она не ответила, даже не повернулась на мой голос, лишь губы дернулись, будто собираясь вот-вот расползтись... Секунда-другая малоприметной борьбы — и снова окаменелость.

— Марин?.. Эй, ты меня слышишь?

Откуда-то снизу, трудно, кое-как, пополз к непослушной голове страх. Но сильнее страха была досада — досада, что нельзя спокойно устроиться на диване, замереть, не спеша переваривать шашлычок, наблюдать, как играет во мне вино...

Я протянул руку и лишь чуть-чуть коснулся ее плеча. Она мгновенно вскочила и отпрыгнула от дивана. Ох, черт возьми!..

— Да что случилось-то, блин! — почти выкрикнул я. — Скажешь ты по-человечески?..

И эти мои полувыкрики оживили ее, она задрожала, как-то театрально сцепила пальцы, и вот короткими очередями полетели в меня слова-пульки и все попадали, дырявили череп, застревали в мозгу.

— Скажи... только не ври... только честно... Я думала, это у меня... что у меня женское... так бывает... Сходила в консультацию... анализы взяли... а сегодня... — ее голос стал тоньше, — сегодня сказали, что... что у меня... — Хруст пальцев. — Господи, как стыдно! — Она не воскликнула, а скорее пожаловалась, пожаловалась даже не мне, а этому своему Господу...

Я понял, что случилось, и теперь только ждал того самого, последнего, слова, чтоб убедиться. Просто ждал, не пытаясь, боясь представлять, что будет, что мне придется делать, говорить дальше.

А она смотрела на меня, ее губы прыгали и кривились; она, наверно, думала, что я не выдержу и сам скажу то последнее слово. Но я молчал. Досада сменилась злостью, злобой — ведь она возвращала меня, обнов-

ленного, полного сил, жажды жизни (отяжеление от вина и шашлыка, ясно, не в счет), возвращала в кошмар недельной давности...

— Скажи... ну скажи, — снова закусали мозг слова-пульки, — пожалуйста... Ты ведь понимаешь... Я вижу... Роман!.. Я тебя хорошо... хорошо знаю... Скажи...

— Что сказать? — делая голос раздраженным, но и не понимающим, спросил я.

— Скажи, у тебя ведь?.. — Ее руки молнией взлетели к лицу, ладони закрыли его, будто спрятали; и из-под ладоней, глуховато, не по-живому спокойно, она наконец выговорила: — Сегодня мне сказали, что у меня гонорея.

Пауза. Я взял с ночного столика сигарету и закурил.

Марина стояла посреди комнаты, во всем черном, босиком, прятала лицо под ладонями. Я помалкивал, я размеренно втягивал и выпускал дым. Ни о чем не думал, а просто ждал. Как перед телевизором, сидел и ждал, что будет дальше.

Кончилась сигарета. Я затыкал оплавленный фильтр в пепельнице. Марина продолжала стоять. Я не выдержал:

— Ну и что?..

— Что... Я жду от тебя... — Тот же не по-живому спокойный голос. — Я жду... Ведь это ты...

— Что — я? Почему?

— А... — Она сбросила руки с лица. — А кто?! — Глаза вцепились в меня то ли ненавидяще, то ли с надеждой. — Кто, скажи?! Кроме тебя, я больше... я больше ни с кем...

Я невольно усмехнулся, вспомнив, как во время болезни представлял ее в темном леноветовском закулисье с каким-нибудь гонорейным.

— Да, ни с кем! — взвизгнула она, поймав усмешку. — Слышишь, ты!.. Отвечай сейчас же... Роман, отвечай!

— Что отвечать?

— Ты... Это ты меня з-заразил?

И опять пауза. Мы смотрели друг на друга. Я не видел свое лицо, но надеялся, что оно утомленное и досадливое, как у нормального, слегка подпившего после работы, не совсем понимающего, в чем причина истерики, парня, а у нее зато были в глазах и ненависть, и надежда, и горе, и презрение — все в кучу... И лицо-то у нее, оказывается, совсем не симпатичное — вот исчезли выражения приветливости и радости, и оно сделалось почти безобразным.

— Отвечай, Роман.

— Нет, — твердо сказал я и вытряхнул из пачки новую сигарету.

Она зарыдала. Не упала на диван, или в кресло, или на пол, а осталась стоять. И ладонями больше не прикрывалась. Рыдала, как обиженная дошкольница.

Ну а что мне надо было сделать? Взять и сознаться? «Да, это я. Я переспал по пьяни в Петрозаводске — и вот. Прости, Марина! Прости, ради бога!» Так?.. И тогда уж точно начнется — вот какой я, оказывается, подлец, почему же раньше ей ничего не сказал... Да, раньше надо было поступать по-человечески, а теперь поздно. Поэтому лучше просто сказать:

— Ладно, Марин, ну, успокойся. Все будет нормально. Это легко лечится.

Тут же, будто она только и ждала, что я начну успокаивать, из нее полилось, полилось вперемешку со слезами:

— Я... я с ума сойду! Скажи мне честно. Я прошу, пожалуйста! Скажи, признайся... Ведь это же ты... Ты один. Один!.. Ведь я видела... просто замечать не хотела... Зачем теперь-то трусить? Рома-ан... Я же с ума сойду!.. Я-а... — Слезы пересилили, слова захлебнулись в них.

И тут я поддался, совершил ошибку. Признался.

— Да. Помнишь, ездил в Петрозаводск? В кафе там познакомился... ну и по пьяному делу... Случайно, даже и не хотел... Даже и не получилось. Так...

Я еще бормотал, а Марина уже сбрасывала в пакет бутылки с трюмо, вытаскивала из тумбочки свои трусы, лифчики. Казалось, она больше меня не слушает.

— Марин, перестань. Это лечится за неделю, — попытался я остановить ее. — Давай спокойно решим...

Она побежала в прихожую, шмыргая носом, моргая мокрыми глазами. Из пакета торчала кружевная окантовка чулка.

Я сунул сигарету в пепельницу, упал на подушку. Слушал возню одевающегося человека, полчаса назад еще родного, а теперь... И что это за театральность — в два часа ночи хватать вещички и уходить? На коленях, что ли, у нее прощения надо вымаливать? А потом всю жизнь упреки выслушивать при каждом удобном случае. Да пускай катится... И я ответил на звуки ее торопливого одевания:

— Ну и катись, идиотка!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Вернулся Володька до того изменившимся — и не поверишь, что уезжал на каких-то неполных четыре дня. Даже после январского тура он, кажется, выглядел куда менее отдохнувшим и готовым к новым свершениям.

Поздоровался со мной почти официально, как большой, не терпящий панибратства начальник со своим первым замом.

Устроился за столом, положил перед собой руки, поиграл пальцами.

— Присаживайся, — указал кивком на стул сбоку.

Я присел. Хотел было бросить ногу на ногу, но потом передумал.

— Как тут без меня?

— Да все вроде нормально, — стал я докладывать. — С трех точек принесли деньги. Лежат в верхнем ящике, в конверте. Там же и список, откуда.

Володька достал конверт, заглянул, кивнул удовлетворенно. Я продолжил:

— Приезжали из «Весты-М», взяли три коробки... Сейчас, — нашел в блокноте модели женских туфель, назвал. — Накладная тоже в конверте... Еще звонила твоя сестра, Татьяна. Требовала вернуть ей дубленки, еще там что-то...

— Да, я в курсе. — При упоминании о Татьяне шеф заметно помрачнел. — Правильно, что не отдал. Это имущество... хм... арестовано.

— Раз десять звонила, — решил я сгустить краски, — обзывала всяко, кричала. Я отвечал, конечно, что без тебя не имею права...

— Правильно, правильно. Молодец. А ты чего зеленый такой?

— Да так... — пожал я плечами, но Володька догадался:

— Бухал по полной, да? Или опять на личном фронте проблемы?

— Так, небольшие есть...

— Ничего, скоро в отпуск отпущу. Хочешь, езжай к родителям, — Володька прямо на глазах стал превращаться из большого начальника в доброго дядю-волшебника, — хочешь, на море. На Черном море хоть был?

— Нет пока. — Мне неловко, муторно сделалось от такой его доброты, и я быстро сменил тему разговора: — А ты как съездил? Решил вопрос?

— Реши-ыл... В следующий четверг переводим деньги. Представительство зарегистрировали на одного араба. Наш человек. Занимался бижутерией довольно успешно. Вот согласился стать нашим официальным директором.

— А при чем араб-то?

— Ну, там иначе нельзя. Только на местного жителя можно регистрировать. То-то у них каждый пятый — миллионер.

— Ясно, — вздохнул я; вообще-то хотелось услышать от Володьки более внятные объяснения, зачем ему все-таки представительство и почему именно в Дубае, и я уже собрался было спросить об этом, но Володька встряхнулся, хрустнул суставами пальцев и, точно решившись на нечто безрассудное, предложил:

— А давай-ка, что ли, по пивку! Весна как-никак!..

— У, всегда готов, — конечно же, согласился я. — Приезд обмоем, остальное...

В летнем кафе на берегу канала Грибоедова Володька голосом забубленного кутилы велел продавщице:

— Значит, три пакета фисташек, две «Балтики» третий номер и две нулевой.

Я сперва обалдел, а потом чуть не захохотал от этого — «нулевой». Какой контраст, действительно, между отчаянным тоном и двумя бутылками безалкогольной нулевки в итоге... Да, достойная встреча весны...

А весна с каждым днем крепла, расцвечивала мир веселыми красками; она распускалась, как огромный цветок. И каждый день был для меня мучением... Впервые я проводил весну в Питере, был свободен от лихорадочной работы на огороде, был при деньгах. Только — что толку...

Все свободное время я бродил по городу, даже зонтик купил, чтоб не мокнуть под частыми короткими ливнями; неспешным шагом я добирался в район Лахты и, как какой-нибудь путешественник, достигший края земли, задумчиво сидел на каменистом берегу залива, или бродил вдоль скучного, неживого Обводного канала, или же плутал в гаванях Морского порта.

Дел на складе почти не стало. Он опустел, как будто расширился, потемнел, открыв взгляд серые бетонные стены. Бухгалтерша по средам теперь не появлялась, Володька мотался по каким-то своим делам. Каждое утро я звонил ему и кисло спрашивал: «Я не нужен?» — и получал в ответ: «Нет, сегодня отдыхай. Если что, скину сообщение на пейджер». Да, сразу по приезде из Дубая Володька подарил мне пейджер, и я испугался, предвидя массу дел, поручений, мотание по точкам, а в итоге получилось как раз наоборот. Я гулял по улицам, дурея от безделья и одиночества, а пейджер молчал, лишь бесполезно оттягивая карман.

Природа, конечно, преподносила разные дни — то лил дождь, дул ветер, иногда почти снеговой, но в памяти оставались лишь солнечные, ласковые дни, такие, когда губы сами расплываются в улыбке, а плечи расправляются, выпячивают грудь вперед, и кажется, от одного воздуха становишься сытым и здоровым.

Хорошо (да что там — просто-напросто необходимо!) проводить такие дни с девушкой. Покупать ей цветы, говорить какую-нибудь романтическую чепуху, смешить, обнимать, прижимать к себе... Дышать, так сказать, весной и ее волосами... А ее вот не было.

Несколько раз я пытался поговорить с Мариной в буфете Ленсовета. Сперва перед тем тихонько стоял в дверях в полумраке и наблюдал.

С вежливой, профессиональной улыбкой она выслушивала от клиентов заказы, ловко подавала им кофе, тарелки с борщом и шницелем, уверенно стучала по клавишам кассы; чуть кокетничала со знакомыми... Она была такой же, как раньше, такой близкой, родной, и казалось — все наладится.

Наглядевшись, настроившись, я отлеплялся от двери, шагал к стойке. «Привет!» — и делал лицо радостным, наверное, симпатичным, она же, наоборот, каменела, сжималась, даже отступала от разделяющего нас барьера, будто к ней подходил не я, с кем она проспала в одной постели четыре с лишним месяца, а какой-то урод или бешеная собака.

«Марина, давай поговорим», — просил я. «Нет, — она коротко дергала головой, — не о чем. Все кончено». Это «все кончено» бесило меня — такое притворно-высокопарное, театральное, как ее черная одежда в ту ночь, как стихи какой-нибудь Гиппиус или Бальмонта. И после «все кончено» я не мог, ясное дело, говорить просительно, спокойно, я действительно бесился: «Слушай, мы ведь так хорошо и долго прожили вместе. Что, скажи, тебе было плохо?! И из-за какой-то случайности, пустяка!.. Ведь это со всеми может случиться...» Под мои слова она что-то там делала под стойкой, считала, кажется, на калькуляторе, опустив лицо, не обращая на меня никакого внимания... Так и подмывало схватить ее темные, густые волосы и найти глаза, говорить, видя их... Потом, конечно, подошел очередной клиент и лениво заявлял: «Тефтели с фри и салат. И кофе черное, двойное». И Марина преображалась, радовалась этому подошедшему, будто избавителю.

«Сука! Дура!» — выкрикивал я про себя и скорей уходил из буфета, из этого проклятого Ленсовета.

Я плелся по Каменноостровскому, безупречно, беспросветно прямому, как кладбищенская аллея, а потом, устав, находил скамейку и вспоминал, с приятной тоской и жалостью к себе, наше с Маринкой житье...

Как она возвращалась с работы и укладывала меня, пьяненького, «спатиньки», вспоминал ее ласки, ее, такую уютную, когда сидела с ногами в халатике на диване и вязала, постукивая спицами; вспоминал, как прощались по утрам на «Сенной»... Но хорошее невольно и как-то желанно сменялось другим. Вот одна из наших ссор из-за телевизора — по одной программе шел тягостнейший фильм «Английский пациент», который ей очень хотелось досмотреть, а по другой начался матч «Спартак» с «Интером»... Стали препираться вроде полшутя, а в итоге у нее дошло аж до слез. Убежала на кухню, пришлось успокаивать. Пока успокаивал, сам разозлился: «Этот фильм дурацкий будут еще сто раз повторять, а в футболе все здесь и сейчас». Она обозвала меня эгоистом, одиноличником, я плюнул и ушел смотреть матч. Потом не хотела со мной спать ложиться...

Или как мы делали субботние покупки в супермаркете. Я катил тележку, а она уверенно, по-хозяйски, складывала туда печенье, чай, кофе, пачки спагетти, банки консервов, йогурты, сыр, творог, фарш, рыбное филе, нарезку слабосоленой форели, гроздь бананов, лимоны, огурцы, «Утенка» для мытья унитаза, «Фейри», салфетки, рулоны туалетной бумаги. Да, нагружала тележку так уверенно, а платил, платил-то я — половину своей двухтысячной зарплаты она отдавала родителям... Или еще — одно время ей очень нравился боулинг, чуть не каждый вечер она тащила меня играть. А час стоил триста с лишним рублей, и платил опять же, само собой, я... Да и вообще, мало ли я ей делал хорошего, покупал, дарил всякого. Теперь же — «все кончено». Ишь ты как! Сука!..

Еще родители засыпали письмами. Посеяли уже редиски столько-то грядок, заложили парники, высадили в теплицах с подогревом помидоры, перец, ждут меня на лето, без меня не справиться с объемом работы. Ждут, конечно, с невестой...

Последние письма я лишь распечатывал, убеждался, что они живы-здоровы, и бросал в урну. Ответы писал на полстраницы и одно и то же: «У меня все по-прежнему... много работы... расширяем торговлю... питаюсь хорошо... Володька передает привет... погода стоит отличная... был опять в Эрмитаже, смотрел... передавайте привет тем-то и тем-то... приеду, как только Володька отпустит, а он обещал... Всего вам самого лучшего!»

Вечером, кое-как добравшись на отяжелевших ногах до дома, я стучался к соседу Сергею Андреевичу и предлагал, доставая из кармана бутылку водки: «Как, выпьем?» Он, по обыкновению, виновато улыбался и, конечно, кивал.

2

— Да ладно, Роман, не переживайте вы так! Всяко в жизни бывает, все еще образуется...

Впервые за семь с лишним месяцев наших с ним совместных вливаний и монологов соседа сегодня долго говорил один я. Рассказал про пять лет в деревне, про Володьку, который меня вытащил, про Петрозаводск и ту девку со светлыми волосами и черными глазами, про гонорею, Маринку, про несчастных самок возле Крестов, про себя, одинокого, нескладного, неправильного какого-то... Вот устал, замолчал, и Сергей Андреевич меня, как мог, успокаивал:

— Жизнь вообще штука сложная. По ней — как по минному полю: один шаг сделал — нормально, другой — может и шарaxнуть. А шарaxнет, так потом в себя приходишь черт знает сколько... Я вон как жизнь профукал, выть хочется... Квартирка-то однокомнатная, вдвоем с матерью давились, какая уж тут жена еще... А теперь ни матери, ни жены. Какой я теперь жених — полтинник почти...

— Я тоже не мальчик, — вставил я обидчивым тоном, искренне обидчивым, — тоже скоро может поздно быть...

Сосед отмахнулся:

— Бросьте, не смешите! Все у вас еще будет.

— Да уж не знаю, блин...

— Вот погодите. — Сергей Андреевич налил в стопочки, поднял свою и вместо того, чтоб выпить, начал торжественно-проповедническим голосом: — Вы сами можете этого не замечать, а я вижу. Да, вижу, насколько вы изменились. Были таким, извините, пришибленным, как жертва какая-то. Ходили так, с таким лицом — кислей не бывает, а теперь... Вон посмотрите на себя в зеркало, оцените — подарок стал, а не парень! И не мучайтесь, не страдайте. Все будет отлично. Их еще знаете, сколько будет — у-у. В двадцать пять лет-то!.. Давайте.

Я, морщась, чокнулся с ним, выпил, глотнул кока-колы. Может, он и прав, но как спокойно пережить этот момент, до следующей...

— Может, вы и правы, — сказал вслух, — только все-таки мы с ней почти как семья были... Кажется, любили друг друга.

— Любовь, Роман, — похрустывая огурцом, отозвался сосед, — это явление приходящее и уходящее. Жизнь слишком длинная штука, чтоб так... Только не подумайте, что я циник, просто я жизнь прожил. Не особо удачно, но все же — прожил. К тому же... Она вас младше была?

— Где-то на год... около года.

— Ну, видите! Сейчас — хорошо, а лет через пять станет теткой жирной, обрюзгшей, сами бы от нее убежали. И не спорьте, Роман, не спорьте! Я знаю. Я столько посмотрелся подобного... Может, и счастье, что у меня ничего подобного не было. Хм, не зажжешь — не обожжешься.

А я и не думал спорить, просто сидел и морщился. Сам не знал, отчего морщился. Все было противно: я сам, моя исповедь и успокоительные речи соседа, водка, которая падала в желудок раскаленными колобками, тарaxтение холодильника... И опьянение, хоть мы и кончали ноль семь «Сибирской», как назло, не приходило.

— У меня, Роман, проблема серьезнее, — изменил сосед голос с торжественно-проповеднического на расстроенный. — Вам сейчас, думаю, покажется ерундой... Вы позже поймете... Вы ведь неверующий?

— Нет.

— Ну, поверите еще. Поколотит вас житуха — и поверите... Так вот... сейчас...

Еще приняли граммов по пятьдесят. Сергей Андреевич потер ладонями свое лицо морщинистого подростка, выдохнул, пригнулся к столу, уперся в меня глазами и начал почти шепотом, точно бы по большому секрету:

— Знаете, почему Новый год мы справляем не в тот день, когда Рождество? У?.. Ну так вот слушайте, я объясню. — Сосед сделал короткую, психологическую, по его, наверное, мнению, паузу. — Рождество, как известно, — седьмого января, а новый год начинается четырнадцатого, ну, по старому стилю. Так? Чувствуете неувязочку?

Я покивал, не заражаясь, впрочем, его открытием; даже старался не вслушиваться, но шепот был слишком уж вкрадчивый.

— А все потому, что новый год начинается не с рождения Иисуса Христа, а с его обрезания. С обрезания! Слышите, Роман?

— Ну и что?

— Как — что? Как это — что?! — взвился Сергей Андреевич. — Это же унижительно! Для православного христианина — унижительно. Пусть они там в Тель-Авиве такое празднуют, а не мы, русские люди... Было же как хорошо — от сотворения мира, нет, Петр сделал... Мало горя принес, так еще это... В новый год входить под обрезание! — Сосед горько посмотрел в темноту окна, поиграл своими малоразвитыми желваками и то ли Петру, то ли городу, который Петр основал, то ли всему миру крикнул: — Ненавижу! Обманули же... Ведь сколько лет я думал об этом, гадал — почему, что за нонсенс-то: Новый год в один день, а рождение Сына Божьего в другой... А тут вдруг увидел случайно календарь церковных праздников. Смотрю, а там такое вот откровение... Чуть голова не лопнула!.. Что ж получается — если мы должны быть по образу и подобию, то и нам всем обрезаться нужно? Уподобляться иудеям, талибам всяким... Ведь доказано, что Иисус вне национальностей. Да, жил в земле еврейской, но... Зачем же праздновать, зачем новый год-то с обрезания начинать? Я русский, я православный, я не хочу! У-ух, Петр!.. — Сосед, видимо всерьез расхопившись, погрозил в окно кулаком. — Правильно, правильно — антихрист. И город... Вы чувствуете, Роман, как давит? А?

— Что давит?

— Да город, город. Аж плечам больно.

Я хмыкнул:

— Не замечал. Пока девушка была, вообще было отлично...

— Да это прах, Роман, девушки эти, половые дела. Другое должно мучить — вечное!.. Недаром предсказание есть, что простоит он триста лет и в две тысячи третьем году исчезнет. Снова только Нева, лес и болота... И правильно, правильно! Со всеми нами, грешными, со всем чтоб дерьмом... — Сосед подхватил бутылку, дрожащими пальцами открутил крышечку. — Пропустить надо срочно. Пропустить, чтобы — так!

— Не, — я отодвинул свою стопку, — я не согласен. Я Питер люблю.

— Люблю-у... Да вы просто не жили здесь еще, а я как-никак пятьдесят почти лет. Каждый день... И иду, а со всех сторон: жизнь профукана, жизнь профукана. Утопиться хочется.

— Ну, это ваши дела. Чего обобщать?

Сосед все больше меня раздражал. Как-то незаметно он перевел разговор с моих проблем на свои, а сегодня мне совершенно не хотелось его выслушивать, кивать, вставлять утешительные фразы. Я попытался перехватить инициативу:

— А мне повезло. — Сказал это громко и с вызовом (чего ныть, жаловаться, тем более — перед кем? — перед этим соловьем-неудачником, бывшим рядовым оформителем из БДТ). — Могло быть куда хуже. Родился бы на год раньше, вполне возможно, попал бы в Афган, на пару лет позже — в Чечню. Да и без них сколько было Абхазий, Бендер, Таджикистанов... И что Володька меня не забыл — тоже... С Маринкой... конечно, подло я с ней поступил. Я один виноват, на все сто. Но могло бы и хуже быть. Также — урок.

Сергей Андреевич не по-доброму усмехнулся, закивал:

— Да-да, конечно, повезло. А испытания, это вы верно, урок...

— А чего вы издеваетесь? — угадал я его тон.

— Нет, вы что, вовсе нет! — А сам смотрит с издевкой, смотрит как на идиота; как психиатр на заговорившего идиота.

— Что я, не вижу, что ли? Завидно вам, что у меня все в порядке?..

Эти события последнего месяца, выпитая водка, Маринка, которая не придет сейчас и не уложит спать и вообще никогда больше не придет, все, скопившееся во мне, разом собралось в колючий, горький комок и стало толкаться, корябать горло, выдавливать слезы из глаз. А сосед не понимал, продолжал улыбаться фальшиво, сладенько бормотать:

— Наоборот, Роман, я очень рад за вас. Конечно, что ж... Вы просто не так меня поняли...

Я разлил остатки «Сибирской» по стопкам.

— Надо хлопнуть.

— Вот-вот, — обрадовался Сергей Андреевич, — правильная мысль!

Потом, помню, долго сидели молча. Я глядел на клеенку, на аппетитные, шоколадного цвета, узоры. Эту клеенку месяца два назад купила Маринка, торжественно застелила ей стол. На ней по утрам мы пили кофе... Так случайно мы познакомились, так, почти между прочим, заглотив экстази, я взял и пригласил ее сходить куда-нибудь, а она согласилась. Прожили вместе столько времени, и хорошо ведь в целом прожили. Потом из-за нелепой случайности расстались... И я ведь знаю, просто уверен: ей без меня тоже плохо, только как... как сделать, чтобы мы снова были вместе? Я бы снова приносил ей шоколадки, цветы, катал бы за ней по супермаркету тележку, она бы говорила мне «дорогой» и уютно позвякивала бы спицами, прижималась ко мне в метро...

— Сегодня в новостях сообщили — в Ингушетии опять двух солдат убили, — укоризненный вздох соседа. — Не повезло вот ребятам...

Не поднимая глаз, я сунул кулак вперед; сосед подавился:

— О! — а потом завизжал, тонко, оглушительно: — Вы!.. Ты что делаешь?! Уй-й-й...

Я посмотрел. Сергей Андреевич, откинувшись к стене, средним пальцем правой руки прижимал губы к зубам, а из-под пальца выдавливалась кровь.

— 3-за что... за что ты меня ударил? — уже тихо и спокойно спросил он.

— И еще дам, — тоже спокойно ответил я.

Сосед поднялся и вышел из кухни. Я проверил бутылки и стопки, убедился, что водка кончилась, тоже встал.

Одетый в куртку, с ботинками в руке, Сергей Андреевич возился с замком. Я молча помог ему...

— Вижу, в каком ты состоянии, — оказавшись на площадке, сказал он, посасывая губу, — поэтому связываться с тобой сейчас не буду...

Я захлопнул дверь.

В кои веки попал на склад (нужно было загрузить в «газель» залежавшуюся обувь, отвести в «Сток» и выбросить кой-какой мусор) и нарвался на очередные проблемы.

Как раз в разгар довольно спешной погрузки явилась Лора, Максова подруга, посеревшая, подурневшая, в нелепой теперь яркой и пестрой одежде, и слезливо начала:

— Вы же друзья, Володя, надо помочь. Он же там сгниет просто-напросто...

Володька отмалчивался, почти не замечал ее, и это быстро вывело Лору из себя — она перешла на крик:

— Что, думаешь, ты застрахован? С тобой не может случиться? Не-ет, вот увидишь!..

— Да не ори! — Володька не выдержал. — Что я могу сделать? Конкретно? Что, побег из Крестов устроить?..

Не стесняясь грузчиков, водилы, она стала учить: надо дать следователю, он берет; надо дать адвокату; есть возможность заменить формулировку. Можно сделать так, что Макс не продавал героин, а сам его употреблял, а это — условный срок и год принудительного лечения...

— У меня сейчас нет денег, — послушав ее, устало перебил Володька. — Только что перевод сделал в банк. Видишь, в «Сток» шваль сдаю всякую, а раньше бы просто на свалку вывез.

Кажется, Лора собралась снова впасть в истерику, но ей помешали.

Перед воротами склада лихо для такой развалюхи, визгнув тормозами, остановился желтый, с синей полосой на боку допотопный «УАЗ».

— Всем оставаться на местах! — не успев вылезти, крикнул с переднего сиденья пузатый немолодой лейтенант.

Пока он выбирался, потеряв по пути фуражку, с заднего сиденья выскочили двое сержантов и с ними собачонка на поводке.

Володька, Лора, водила «газели», грузчики и я, само собой, окаменели от неожиданности. Один из грузчиков замер прямо с коробкой в руках, а на его щетинистой роже выразилось такое уныние, что казалось, это приехали брать именно его, грозу криминального Петербурга.

Лейтеха, поигрывая тощей папочкой вместо пистолета, подошел к воротам, поозирался, спросил довольно приветливо:

— Кто хозяин?

— Я, — хрипнул Володька и по-солдатски шагнул вперед.

— Угу, хорошо-о. — Лейтеха положил папочку, как на стол, на свое пузо, порылся в ней, протянул Володьке листок: — Вот ордер на обыск.

— У? — Тот принял его, пробежал взглядом, злобно глянул на Лору, потом снова уставился на милиционера. — Понятно, что ж...

Лейтеха стал еще приветливей, даже улыбнулся и махнул стоящим возле «уазика» сержантам:

— Давайте!

Обыска как такового вроде и не было. Просто сержанты поводили низкорослую, зато длинноухую и пушистую, какую-то ошалело бойкую собачонку по складу, дали понюхать каждого из нас; побывали с ней в офисе и через несколько минут вернулись.

— Ну, извините за беспокойство, — сказал в итоге лейтеха, дал расписаться Володьке в бумажках, даже чуть ли не пожал руку на прощанье.

Когда «уазик» тронулся, Володька заорал на Лору так, как я от него еще не слышал; тем более не слышал, чтоб он так орал на девушку:

— Вот, видела! Одни геморрой от вас! Сраный Макс, кретин, сучонок!

— При чем он-то здесь! — заорала и Лора.

Володька мотнул головой, точно приходя в себя, и сбавил громкость:

— По его делу приезжали потому что.

— С чего ты взял?

— С чего... В ордере было написано... А если б у меня что-то было? Всё, что ли, — тоже к нему туда ехать?!

Лора изумленно смотрела на него, кажется, мало что соображая. Володька покачался с каблуков на носки и обратно, поиграл желваками, повернулся ко мне:

— Заканчивай тут, проследи. — И ушел в офис.

Помявшись в воротах, Лора закурила тонкую коричневую сигарету, посмотрела на меня то ли с надеждой, то ли просто механически-жалобно, а потом поплелась пьяной походкой в сторону канала Грибоедова.

Как-то плавно, неторопливо май перетек в июнь. Я и не заметил, как наступило лето, хотя целыми днями, а то и ночами болтался по городу, видел радостных выпускников школ и институтов, шумно пьющих шампанское; видел зачарованных белыми ночами туристов, украшенные гирляндами разноцветных флажков корабли под стенами Зимнего.

Я тоже пил шампанское, вливался в компании парней и девчонок, принял участие в каком-то спонтанном поэтическом фестивале, прочитав в белесом сумраке, на Стрелке, давно, кажется, забытые мною стихи: «Столица спит. Трамваи не звенят. И пахнет воздух ночью и весною...», и даже кланялся аплодисментам... Несколько раз, под утро, я ехал на Старо-Невский, покупал проститутку посимпатичней и долго грубо тискал ее на своем диване, называя Мариной и слыша в ответ досадливые матерки... Но все-таки эти дни и ночи проходили незаметно, словно в полусне, и не было ни сил, ни какой-то зацепки, чтоб ухватиться за нее, вынырнуть, распахнуть глаза и почувствовать по-настоящему: вот это я, а это — асфальт, тротуар на Миллионной, например, улице, а это, к примеру, четвертое июня, день недели — четверг, и нужно сделать то-то и то-то... Письма родителям я давно не писал, белье не стирал, даже в ванну залезть не мог собраться, и стоило лишь немного вспотеть, как из-под рубахи начинало пахнуть кислым и терпким, как от обмочившегося бомжа в подземном переходе...

Продолжая постоянно думать и вспоминать о Маринке, я давно уже перестал заходить к ней на работу, зато, бродя по городу, бродя, не замечая где, постоянно оказывался перед ДК Ленсовета. Удивляясь, стоял минуту-другую перед дверью, а потом шел дальше, покупал в одном киоске пива, а в другом — дешевые эротические газетки, садился на укромную скамейку и подолгу разглядывал фотографии голых и полуголых девушек, читал статейки. Ни девушки, ни статейки не возбуждали, а, наоборот, вызывали тошноту... Лишь однажды я почувствовал нечто такое — зависть или скорее ностальгию.

Статья называлась «Оральные радости: секреты профессионалов». В «Секрете втором» говорилось: «Возьмите ... ртом и, не сжимая губ вокруг ствола, начните совершать вращающие движения головой... Вращательные движения лучше делать то по часовой стрелке, то против».

Не знаю, так или не совсем так делала это Маринка, но ее ласки подобного рода превращали мой не очень-то большой член в моем воображении во вселенную, в звездную бесконечность. И я летел по ней кружась, вольно раскинув руки и чувствовал вспышки вокруг и внутри себя, сладкие вспышки, от которых хотелось стонать и плакать, и, может, это было то, что называют оргазмом, счастьем, а не просто удовольствие от совокупления... Не знаю, но с другими у меня так не получалось, с другими, после Маринки, становилось даже противно. Может, действительно, чтоб испытать оргазм, нужно нечто сильное, вроде любви...

3

Шеф сидел за столом и, не двигаясь, тупо глядел в лист бумаги. На листе столбик из фамилий и после черточки — сумма.

«Ерохин — 1500

Бобышев — 3000

Рынкевич — 2000»...

В столбике фамилий семь-восемь, а внизу — та польская фирма, у которой Володька брал обувь под реализацию, и имя «Джон». Напротив фирмы — «28 000», напротив Джона — «70 000». Еще ниже — «Итого — 135 000 долларов».

— И не знаешь, от кого чего ждать, — наконец оторвал Володька взгляд от бумажки. — Может, Вадька Ерохин за полторы тысячи шею прогрызет или Боб за три... С этими, — он поставил галочку перед польской фирмой, — можно погодить. У них таких должников по всей Европе... И с Джоном тоже особый разговор...

Положив поверх списка чистый лист, Володька начал составлять новый список. Я стоял за его спиной, наблюдал.

Появляется «Макс — 30 000 (по крайней мере)», затем — «Татьяна — 3500; Стахеев — 2000»... Еще три фамилии и суммы — по полторы тысячи. — Итого, — считает шеф, — ровно сорокет. М-да... Но Макс отпадает, Татьяна... черт ее знает... Отдала, что могла... Вилы-вилы...

Он был убит, ошарашен, его будто ошпарили крутым кипятком, и в то же время я не верил в искренность его убитости; казалось, вот сейчас он засмеется довольно, скомкает бумажки и бросит в корзину. Потянется, захрустят кости. Он встанет, включит чайник и, подмигнув, объявит: «Все нормально, все путем! Началось, Роман, большое дело!»

Но нет, конечно нет, ведь мне это только кажется, это просто моя самозащита, самообман, чтоб тоже не убится, не обвариться кипятком нечаястья, краха...

Позавчера позвонили из Дубая и сообщили, что тот араб, на которого зарегистрировали представительство, снял деньги со счета в банке и исчез... Вчера весь день Володька висел на телефоне, наговорил с этим Дубаем наверняка кучу денег, а сегодня вот составляет списки, кому должен он, кто должен ему... И вчера и сегодня я рядом с ним, как верный оруженосец, хотя так хочется выйти на улицу и не возвращаться. Тем более — чем я могу помочь? Мое дело — разгрузить, погрузить, смотаться на точку, рассортировать коробки...

— Машина с квартирой вместе потянут в лучшем случае тысяч на двадцать... — полупшепотом продолжал соображать Володька, — склад можно пересдать, но это вообще копейки... Да-а, попал так попал...

Издали — стук кулаком в железо двери. Это к нам. Володька дернулся, на лице полудетская растерянность, почти испуг... С полминуты, как обложенные преступники, мы смотрели друг на друга, потом он, очнувшись, велел:

— Открой.

Я направился нехотя, зная, что ничего хорошего пришедший нам не принес, а скорей всего наоборот. И за дверью — Джон.

Они очень друг на друга похожи. Оба одинаково невысоки, ширококостны, крепки в походке, у обоих короткие русые волосы, оба предпочитают темные тона одежды; оба в общении обычно сдержанны, почти сухи... И сейчас, в момент беды, выражение их лиц тоже было схожим — и Джон, как и Володька, ошарашенно-мрачен, убит, шрам на его щеке сделался заметнее, розовее, чем обычно. Движения тоже будто у обваренного — вялые, в каждой мелочи чувствуется усилие. Так и кажется, что вот-вот целые куски мяса начнут отслаиваться, отваливаться от костей...

— Привет. — С невольной брезгливостью и, кажется, даже презрением я посторонился. — Проходи.

Джон тяжело перешагнул через порожек, потопал в офис.

Потом они с Володькой долго и нудно выясняли отношения. Не орали, не бесились, для этого у них, наверно, не было уже энергии, но их как бы спокойный тон пугал больше крика. Я сидел в уголке, пил чай, стараясь не чмокать; хотелось курить, и было страшно встать, пройти по помещеньицу — обнаружиться... Волей-неволей приходилось слушать.

— Есть шанс, что его найдут? — вроде совсем равнодушно спрашивал Джон.

Володька таким же голосом отвечал:

— Дали понять: если найдут, тем более с деньгами, то можно считать, что они на нас с неба упали.

— А как это все получилось? Как вот так он мог взять двести с лишним тыщ и уйти?

— Я перевел сумму в один банк, а он должен был снять ее и отнести в другой, буквально через дорогу. Я переводил ведь как физическое лицо, а этот банк принимает только от фирм... С ним был мой человек, и прямо у дверей банка этот... араб прыгнул в машину, и водила тут же рванул. Было все подготовлено. Человек сразу заявил, стали искать...

— Тэк-тэк... В общем, Вэл, я хочу, чтоб ты вернул мои семьдесят тысяч.

— Хм... — Володька на секунду покривил губы. — Я теряю почти в три раза больше... С таким же успехом я мог бы у тебя требовать мои двести.

— Но ты меня втянул в это дерьмо.

— А кто ж знал, что так получится?

Теперь усмехнулся Джон и тоже коротко, картонно:

— Вэл, мы не в детском саду.

— Слушай, я тебя не тянул. Предложил, дал расклад по этому делу, ты согласился. Вложил четверть суммы. Теперь начались напряги — и я у тебя стал крайним. У тебя своя голова есть.

— Да, ты меня убедил, что дело стоит того, что без палева. А получилось, что сразу...

— В любом случае мое положение в три раза хуже твоего. Я должен вон людям почти сорок тысяч, полякам — тридцать.

— Я тоже должен...

— Ладно, в общем-то, ничего пока на сто процентов не ясно. Завтра я лечу туда, буду разбираться на месте.

Джон скептически покачал головой:

— Давай, давай. — Потом вдруг прищурился: — Слушай, а почему у тебя склад пустой? Где товар? Сейчас же самое время торговать. И осень не за горами...

— А что? — И Володька тоже сузил глаза; оба они теперь напоминали зеркальное отражение друг друга — они вглядывались один в другого, стараясь что-то уловить, прочесть, разгадать. — Избавился от старья, освободил место. Все деньги вложил в это представительство, за офис там дал залог, за квартиру...

— Да? — Кажется, Джон не поверил ни слову. — Ты смотри, я тебя, если что, и под землей найду. Ловко ты придумал, кажется...

— Что — придумал?

— Так, посмотрим, — отвел Джон взгляд, покрутил головой, точно бы запоминая обстановку, затем поднял руку, сбросил из глубины рукава на запястье часы на свободном стальном браслете. — Поговорили.

— Поговорили... — Володька переменял позу, кресло жалобно поскрипело. — И, слушай, не надо меня ни в чем подозревать, выдумывать там... Мы оба попали в большое дерьмо и как-то будем выбираться.

— Ну-ну.

Володьку, кажется, вывело из себя это угрожающее нуканье, но он промолчал, лишь лицо его напряглось сильнее и глаза стали еще колючее.

Я мысленно торопил Джона уйти, ведь очевидно было — им обоим уже нет сил сдерживаться. А Джон продолжал сидеть, молчание затянулось, и казалось, оно обязано кончиться или дракой, неуклюжей, беспощадной, искренней дракой, или же улыбкой и таким же каким-нибудь искренним: «А помнишь, как повеселились мы в этом Дубае! Как на водном мотике рассекали! А Макс-то, помнишь, ха-ха!»

Но ни тот, ни другой не решились разрядиться. И вот Джон медленно, с выдохом встал, с минуту, в последнем раздумье, повозвышался над Володькой. Наконец пожелал:

— Ну, удачной поездки. Жду положительных результатов.

Володька ответил бессмысленным:

— Мгм...

Джон еще постоял. Я был уверен — вот сейчас мой шеф поднимется, подаст руку партнеру. Нет, он остался сидеть, Джон повернулся и, развалисто, крепко ставя на пол ноги, вышел из офиса. «Иди проводи», — взглядом сказал мне Володька.

Выпуская Джона на улицу, я опять невольно посторонился, будто имел дело с заразным больным...

Поездка Володьки в Дубай ничего не дала. Араба там искали и без него, помещение, которое он собирался снять под представительство — пять комнат в тридцатипятиэтажном небоскребе, — уже сдали другим, вернув Володьке какую-то часть залога... Он прибыл подавленный и молчаливый, тут же сменил мобильник на пейджер, чтоб не донимали звонками, нашел покупателя на «мерседес», стал все чаще поговаривать о продаже однокомнатки на Харченко.

— Может, не стоит? — осторожно отговаривал я, — все-таки недвижимость.

— А как по-другому... — вздыхал Володька. — Башли нужны. За трехкомнатку на полгода вперед заплачено, а там, может... Ничего, — он делал вид, что бодрится, — бог дает, бог берет. Прорвемся!

Из Польши прислали каталог обуви на сезон «осень — зима 1998 год» и напоминание, что «Торговый Дом „Премьер”» неполностью рассчитался за прошлые поставки. Это напоминание снова вывело Володьку из себя:

— Везде долги, сука, весь в говне! — рычал он, мечась по офису, как волк в зоопарковской клетке. — За два дня из человека в лоха превратился! Теперь я Макса понимаю — тоже тянет наркотой торганыть. При удаче можно через месяц со всеми геморроями развязаться.

— Не надо, — тихо, голосом младшего братика просил я.

— Да ясно, не надо. Туда только сунься, хрен вылезешь... Но надо что-то придумать, дело такое, чтоб быстро...

Он стал редко появляться в офисе, рыскал по городу, вел, как объяснял, переговоры с людьми, искал, наверное, это спасительное дело. «Чтоб быстро»... Зато мне приходилось сидеть на телефоне с утра до вечера, на все звонки я должен был деловито отвечать: «Владимира Дмитриевича сейчас нет. Уехал на встречу. Будет позже». И не просить человека представляться — видимо, Володьке было все равно, кто его ищет...

Дни моего торчания в офисе тянулись бесконечно, и каждая минута, каждый телефонный звонок жалили ожиданием новых неприятностей. Звонков за день было множество, некоторые люди, казалось, только тем и занимались, что набирали наш номер, спрашивали, появился ли Вэл, требовали передать ему, что это такой-то, такой-то, и волей-неволей к вечеру набирался внушительный список. И интересно, что звонили в большинстве совсем мне незнакомые, а Андрюха и другие Володькины друзья куда-то исчезли.

Слегка развлекался я, играя на компьютере в brutальные игры: бродил с дробовиком в руках по канализационным пещерам, истребляя бандитские группировки, пробирался в секретную фашистскую лабораторию и сражался там с монстрами, пытаюсь добраться до создавшего их профессора — злого гения.

Играть я как следует за эти месяцы так и не научился, поэтому ставил «бессмертие», набирал код доступа к любому оружию и ничего не боялся... Иногда вставлял диск купленной в Апраксином дворе эротической игры, гладил мышкой красивых женщин, а они в ответ шептали мне нежные слова по-английски и постепенно раздевались, раздвигали свои длинные, гладкие ноги, готовые заняться со мной, «самым опытным мужчиной на свете», любовью. Но этой фразой все и кончалось, а потом следовали новые испытания: причесать женщине волосы и не сделать больно, побрить лобок и не порезать кожу, обцеловать ее всю, не пропустив ни одной эрогенной точки...

Предвидя скорые напряжения и с зарплатой, я старался тратить как можно меньше. Сто пятьдесят долларов положил под обложку паспорта на черный день, питался пельменями и тушенкой, по клубам, конечно, теперь не ходил, с соседом с тех пор, как дал ему по губе, не пил. В квартиру я приходил лишь поспать — там становилось все неудобней, пахло холодным сигаретным дымом, чем-то уксусным; странно, что при Марин-

ке эти запахи не чувствовались, хотя я и курил так же, и выпивал, и носки грязные, бывало, неделями прятались под диваном. Но духи, крема, сам, наверное, запах девушки побеждал, а теперь, стоило только открыть дверь, нос щипало от вони холостяцкого жилья, вспоминалась армейская казарма, дешевый пивной павильон...

Оставалось играть на компьютере или бродить по проспектам, благо погода была на удивление — тепло, сухо, солнечно. Но, с другой стороны, сам бог велел радоваться погожим дням, праздновать, наслаждаться жизнью, а тут, того и гляди, заявятся какие-нибудь киллеры и за должок в пять тысяч баксов прихлопнут. И ведь прихлопнут меня в первую очередь — ведь я торчу в чертовом офисе, а Володька прячется неизвестно где...

То ли от нервов, то ли от бесконечных компьютерных кровопролитий даже снится стало, как я от кого-то отбиваюсь, убегаю, вползаю в сырые узкие щели. Но в отличие от игр у меня во снах не бывало бессмертия, и часто я просыпался оттого, что меня убивают. Я умирал во сне и, умирая, просыпался. Ощущение еще то!..

В один, как говорится, прекрасный вечер, вернувшись домой, я обнаружил там Володьку и пролетарского вида пожилого, но крепкого еще мужичка.

За десять месяцев я все-таки привык к квартире, считал ее почти что своей, и это неожиданное вторжение в нее Володьки (пусть и законного хозяина) и тем более еще кого-то, кто вел себя совсем не как гость, меня, ясно, ошарашило.

Кивнув Володьке, я шмыгнул на кухню, открыл принесенную с собой бутылку «Невского» и стал медленно пить, прислушиваясь к разговору в комнате.

— А с вещами-то как? — спросил баском мужичок и, кажется, пощелкал при этом ногтем по стенке шкафа.

— Одно вывезу, кое-что выброшу, — с готовностью ответил Володька, в голосе оправдывающаяся интонация, будто у провинившегося, но готового заглядеть вину школьника.

— Да не выкидывай, оставь, — снова загудел басок. — Мы тут с женой домик на даче поставили, а мебелишки нет. Так что чего не жалко, оставь, мы сами уж разберемся.

— О'кей...

Значит, все, Володька продает квартиру... Я глотнул пива, подавился, надсадно закашлялся. Блин, еще этого не хватало!.. Голоса смолкли, казалось, что и покупатель и продавец дружно прислушиваются, что там происходит на кухне... Прокашлявшись, я на всякий случай спрятал ополовиненную бутылку под стол. Потом допью.

— Ну ла-адно, — басок покупателя сделался мягким и теплым, — этаж хороший, район удобный. Опять же от метро — два шага... Значит, будем ждать вашего звонка.

— Да, в самые ближайшие дни, — заверил Володька.

— Хорошо бы, а то дочь с зятьком места себе не находят. Понятно же, как им с нами. Это вот раньше у моего бати такой домище в центре Перми стоял — пять семей жило, и встречались только утром за завтраком и вечером, после работы, когда ужинать надо было...

— Да, да...

— А у нас тут трехкомнатная теперь, и впятером — глаза друг дружке до того измозолили! Надо разъехаться, пока по-хорошему.

— М-да-а...

— Договорился, значит? — спросил я Володьку, когда мужичок ушел. Тот посмотрел на меня почти что со злобой:

— А что делать?

Я пожал плечами.

— Вот-вот, ты только плечиками и можешь жать... Бизнес, Роман, — это дело такое: шаг не туда — и все.

— Я уже слышал подобное. — Мне вспомнился сосед Сергей Андреевич и его рассуждения о жизни; Володька, спасибо, не стал рассуждать, а посыпал конкретными указаниями:

— Ты тут давай потихоньку собирайся. Бутылки вынеси, а то вон повсюду, мужик охренел. Газеты, хлам всякий, коробки на шкафу...

— Это твое, — вставил я.

— Да выбрасывай — нечего... С Маринкой-то у тебя как, окончательно?

— Мы давно разошлись.

— Ну, может, и к лучшему. Ко мне пока переедешь.

Я снова пожал плечами.

Посидели за кухонным столом друг напротив друга; Володька крутил в руках мою пачку «Бонда», даже открыл ее, заглянул внутрь, то ли собираясь взять и закурить, то ли считая сигареты. Потом закрыл, бросил на клеенку. Поднялся.

— Ладно, ехать надо. Завтра день не из легких...

— Давай.

— Ты, значит, утром в офис? — Шеф не то что спросил, а скорее напомнил.

— Уху. — Я кивнул и пошел к двери вслед за ним.

— Много было звонков?

— Достаточно. Целый лист исписал.

Володька обувал туфли при помощи ложечки. Я ожидал, что он потребует у меня список звонивших, но он не потребовал. Вместо этого дал новое указание:

— Всем, даже если вдруг мать или Татьяна будут звонить, говори, что уехал на два дня в... — он на секунду задумался, — в Тверь. Хорошо?

— Ладно, скажу, что в Тверь.

Уже выходя, Володька улыбнулся как-то по-старому, как когда-то в школьные времена, когда удавалось выйти сухим из рискованной проделки. Улыбнулся, сказал:

— Не кисни, Ромка, прорвемся!

— Да уж, — я тоже попытался изобразить улыбку, — надеюсь.

— Надеяться мало. Действовать надо.

Я чуть было привычно не пожал плечами — вовремя удержался, кивнул вместо этого. Дескать, готов действовать.

Такие сложные процедуры, как продажа машины, квартиры, у Володьки прошли необыкновенно легко и быстро, и уже через неделю я жил в его трехкомнатке на берегу Финского залива, а шеф мой катался по городу на метро или ловил частника.

Моя работа по-прежнему заключалась в снятии телефонной трубки и фразе: «Извините, Владимира Дмитриевича сейчас нет». Иногда я уже просто не реагировал на воркование телефона, а продолжал как ни в чем не бывало палить по фашистам или бандитам. Действительно, сколько можно быть дрессированным попкой?..

Ночевать на Приморскую я шел нехотя, через силу. Очень там было неуютно, и в первую очередь, конечно, из-за Володькиной Юли... И в обычном состоянии она была капризная, резкая, до тупости упертая в каждой своей реплике, а тут еще — неприятности... Вообще как сиамская кошка стала — шерсть то и дело дыбом поднимается, при любой возможности в глотку когтями вцепиться готова.

По утрам, когда мы с Володькой завтракали, она входила на кухню в розовой ворсистой пижаме, с кислющей, припухшей рожей, всклокоченными волосами и тут же традиционно лезла в холодильник. Покопавшись

там пару минут, досадливо хлопала дверцей, точно мы (а скорей всего — один я) съели что-то, что предназначалось ей. Иногда Володька спрашивал: «Юль, чего ты ищешь?» И она скрипучим, застоявшимся голосом задавала ответный вопрос: «А сока виноградного нет?» Володька лишь усмехался. «Купи вечером», — приказывала тогда любимая. «Если не забуду, — начинал раздражаться тот, — куплю». Голос Юли становился чище и властнее: «Не забудь, пожалуйста!».

Потом, сев на табурет закинув ногу на ногу и оголив свои белоснежные, до глянцевого блеска гладчайшие икры и колени, Юля принималась планировать грядущий день. И обязательно ей нужно было в какой-то бутик или в солярий или же в парикмахерскую и тому подобное. Сперва Володька обычно делал вид, что не слышит, но кончалось неизбежно тем, что ему приходилось выкладывать ей пятьсот рублей, а то и тысячу.

Провожая любящего на работу не на работу (да, совсем непонятно куда), Юля требовала, чтоб он возвращался как можно быстрее, жаловалась, что ей одиноко, что здесь негде бывать, и тут же упрекала, что он ее давно никуда не выводил, что она тупеет в четырех стенах. Володька же в оправдание лишь бормотал: «Видишь, какой период сейчас. Вот расхлебуюсь, заживем снова по полной программе...» — и медленно пятился в парадное, одновременно кивая последней за утро жалобе своей девушки: «Слышишь, я устала ждать! Я не могу!»

Если Володька не спешил, не тормозил тачку возле дома, на Кораблестроителей, мы вместе шагали к метро. Обычно всю дорогу, а это минут пятнадцать, молчали, хотя меня каждый раз подмывало дать ему чистосердечный дружеский совет: «Выгони ты ее, пускай катится. От нее же одни напряги, да она просто из тебя тряпку делает, а ты... Зачем, Вовка?!» Это я повторял раза четыре в неделю, но сказать, понятное дело, ни за что б не согласился. Тем более сам убедился, каково быть одному, точнее — без любимой. Пусть стерва, но если любишь... А так даже мыться нет сил, не то что вылезать из банкротства.

Меня Юля как бы не замечала. За все время жизни в одной квартире она напрямую не сказала мне ни слова, хотя часто взглядывала так, словно беззвучно выкрикивала: «Чего тебе здесь надо? Откуда ты свалился, ублюдок?! Ну-ка — собрал вещички и покатился!» И в своем взгляде я чувствовал то же самое, тот же самый крик, те же слова. И мне так сильно, что я даже видел это во сне, хотелось дать ей пощечину. Именно — ладонью с размаху хлестнуть по ее отполированному кремами и йогуртами личику фарфоровой куклы; и я гадал, раздастся ли шлепок как об мягкое или я отобью руку о фарфор... А как она себя поведет — завизжит? тоже постарается меня ударить? оторопеет?.. Я старался не оставаться с ней наедине, сразу по приходе (если Володьки еще не было дома) прятался в спортзальчике, где теперь, на перенесенном из кабинета диване, ночевал.

Думаю, наша взаимная с Юлей антипатия и подтолкнула меня к мысли о том, что пора смыться из Питера... Ночи три я провел в «Дизайне» — переделанной в гостиницу коммуналке — что в районе метро «Ломоносовская». Сутки там стояли всего полтинник, и это не особо било по моим финансам.

Я покупал бутылку пять пива, пару воблочек с икрой и до поздней ночи не спеша смаковал. В первую очередь смаковал одиночество, возможность делать что захочу, свободу пройтись по коридору, не боясь столкнуться со взглядом Юли, а потом лечь в постель, зная, что утром не услышу ее скрипучего, заспанного голоса... Володьке я слал сообщение на пейджер: «Сегодня к тебе прийти не могу. Личные обстоятельства». Получал от него в ответ какое-то унылое: «Желаю удачи». Может, ему тоже теперь хотелось повеселиться с девчонками. Любовь-то любовь, но в такой любви, как у него к Юле, уверен, приятного мало.

Да, я решил сваливать. Понял — лучше не будет, наши дела не поправятся. Деньги мои хоть и медленно, все же таяли с каждым днем. Голоса в трубке становились все агрессивнее, и в конце концов я вовсе отключил телефон. Приходил в офис, выдергивал провод из розетки и садился за компьютер. Зато разыскивающие Володьку стали являться непосредственно сами. Долбили в дверь так, что казалось, вот-вот она следит со своих стальных шарниров. Бывало, я удачно переживал эти долбления, бывало — не выдерживал и открывал. Долго убеждал визитеров, что Володьки нет и сегодня не будет, что связаться с ним пока невозможно. Обычно они все-таки верили и уезжали, но как-то я чуть было не попал в переplet. Какие-то мускулистые туполицые ребята, молча отстранив меня, прошли внутрь, оглядели склад, офис, а потом, угрожая сделать мне больно, узнали домашний Володькин телефон. Хотели еще и адрес, но я, видимо, убедил их, что не знаю... В тот вечер я добирался до трехкомнатки на Приморской, петляя по метро часа четыре, как отрывающийся от хвоста разведчик...

Выслушав мой рассказ, шеф обреченно вздохнул: «Бандиты. Кто, интересно, их нанял?.. Затягивается узелок. — А потом, помолчав, попросил: — Только Юльке не надо про это. О'кей?» — «Естественно», — ответил я.

Но что мне эта Юля, когда я теперь каждую минуту ожидал нового появления этих или других таких же. Мускулистых, молчаливых, туполицых. Только на этот раз они не станут церемониться, а просто возьмут и вышибут мне мозги. Я очень ярко представлял это дело.

Долго со всей мочи колотят в дверь. Не открыть невозможно, и я открываю. Мощным ударом меня швыряют в глубь склада, я падаю, ударяюсь обо что-то затылком, на несколько секунд вырубаясь. Хочу подняться — и получаю новый удар. И вот надо мной крепкое коротко стриженное существо, круглая голова, ничего не выражающие глаза. Ни искренней злости, ни сострадания. Посмотрело и ушло вверх, а вместо него — ствол аккуратного пистолетика. Черная дырочка, такая маленькая, но глубокая дырочка, что дна ее никогда не достичь. Бездонность, бездна... Вспышка, хлопок, толчок. Толчок, он сильнее самого сокрушительного удара, самого победного нокаута... Я не теряю сознания, я чувствую, с неживой уже ясностью чувствую, что мой череп, мой крепкий надежный череп раздроблен теперь на сотни, тысячи мелких осколков. Извилины мозга, по которым бегали разные мысли, пусть дурацкие, пусть ничтожные, подловатые мысли, превратились в бесформенную розоватую кашу... А коротко стриженные мчатся к кому-то на послушной машине, мчатся, чтоб сообщить: заказ выполнен.

Им заплатят обговоренную заранее сумму, и пускай потом выяснится, что они вальнули совсем не того, но мне-то уже какое дело? Я буду лежать на бетонном полу в луже своих мозгов, глядеть невидящими глазами на горящую лампочку. И свет не потревожит, я не сощурюсь, не отвернусь. Мне будет уже все равно. Для меня будет вечная тьма, и она никогда не кончится... Я не узнаю, приедут ли родители на мои похороны, где вообще меня закопают, сожгут в крематории или нет, что станет с Володькой, выйдет ли когда-нибудь на волю Макс. Для меня — лишь вечная тьма и полное равнодушие. И за что?

Поэтому, пока не поздно, лучше свалить. Пока это не случилось на самом деле.

Действительно, ждать хорошего было опасно и глупо, и однажды утром вместо офиса я поехал на вокзал. Отстоял длинную и неподатливую, как обычно летом, очередь к кассе, стараясь не задумываться, не сомневаться, и купил билет. Взял на возможно ближайший поезд — получилось на послезавтра, в десять вечера. Сначала от Питера до Москвы, а потом от

Москвы до Абакана... Теперь основной задачей было продержаться эти неполные трое суток. Уцелеть.

Я плелся от вокзала вверх по Невскому и представлял себя загнанным в угол шпионом. Повсюду слежка, засады, а до «часа X» еще так долго... Вот человек у киоска «Розпечатать» искоса поглядывает на меня, а вот другой — дескать, просто курит возле «Макдоналдса» (бывшего музыкального магазина «Сайгон»), да, вроде просто стоит и курит, а на самом-то деле...

День был жаркий и душный, хотя небо залито жидкой белесой мутью, каким-то безграничным облаком; и солнца не видно, но оно все равно пропекает, колет своими лучами-пиками. Листья на деревьях уже сделались темно-зелеными, потеряли свою весеннюю свежесть и нежность. Асфальт пыльный, сухой, а воздух все равно неистребимо парной и влажный. Да и что удивляться — столько воды вокруг... Вот и канал Грибоедова. Если пойти налево, через четверть часа я буду у Никольского двора. Могу отпереть дверь, сесть за компьютер, пострелять фашистов и служащих им монстров, разгромить одну-другую бандитскую группировку. Но могут прикончить и меня, и притом прикончить не в компьютере, а так — на самом деле. С билетом в кармане это было бы особенно глупо. И потому я прошел мимо канала. Дальше, вперед, к Неве.

Шагали навстречу и обгоняли меня деловитые питерцы, возбужденные туристы с камерами и фотоаппаратами; мороженщица не успевала вынимать из тележки-холодильника эскимо и пломбиры — к ней выстроилась вереница распотевших людей. На мосту через Мойку трещали и хохотали две девчонки лет пятнадцати, в коротких юбочках, без колготок... Гнали куда-то «Жигули», «мерседесы», джипы; затесавшийся меж ними троллейбус казался подышающим насекомым-мутантом.

Где и как убить время? Были бы деньги, засел бы где-нибудь в кафе в уголке, тянул бы до вечера бутылку сухого вина, как француз... Хе-хе, француз. Скоро снова свалюсь в деревню. Снова редиска, курицы, кролики, сборы на рынок, шкатулка, в которую кладутся пятьсот рублей, а через два дня забираются, потому что надо купить что-нибудь жизненно необходимое.

Нет, как было — не будет. Наверняка будет уже по-другому. Год я прожил как человек, кое-чему научился, спасибо Володьке, привык к городу, к пиву с фисташками, к клубам... Да, если б не этот прокол с представительством... На черта надо было менять? Чего не жилось?..

Под всегда тенистой, прохладной аркой Главного штаба стоит маленький, полненький парень лет тридцати пяти. Волосы рыжие, курчавые, но уже редкие. И весь он, хоть и вызывает симпатию, жалкий, нескладный; и песню тянет тоненьким голоском такую же, под свой облик:

В лунном сиянии снег серебрится,
Вдоль по дороженьке троечка мчится...
День, день, день...

Да, от такого любая умчится, такого ни одна не полюбит. И я вот тоже... Встал поблизости, закурил, но песня была уж слишком — аж плакать захотелось по всей этой не получившейся жизненке. Я пошел дальше...

А может, прав Джон, намекая, что Володька это все сам специально подстроил? Собрал деньги, перевел за границу, теперь вот продал машину, однокомнатку, а чтоб с кем-то по долгам расплачивался, я что-то не слышал. Возьмет и слиняет со своей Юлией в тот же Дубай или, скорее, в ее любимую Германию. Хм... А я останусь в хоромах на Морской набережной. Буду стоять в лоджии и задумчиво следить, как спускается солнце в залив. Гадать, куда делся хозяин, ждать его, вспоминать хорошие денечки спокойной работы... Догадуюсь, дождусь, доспоминаюсь — придут коротко стриженные, молча и ловко скинут с лоджии, как мусор... А потом где-нибудь в «Петербургских новостях» черкнут об очередном самоубийстве мелкого разорившегося предпринимателя...

Пошатываясь, добрел я до скамейки на Конюшенной площади. Долго смотрел на пестрые купола Спаса на крови... Когда-то по юности я глупо объявил всем своим знакомым и родителям, что уйду в монастырь. Было это лет в шестнадцать — я чувствовал свое взросление, превращение в мужчину, в самца, но не хотел. И тогда действительно подумывал о монастыре. Найти, постучаться в ворота, попросить приютить, спасти... Вот почти десять лет с тех пор минуло, много чего было, и как-то выдержал, пережил, частенько был даже доволен жизнью...

Пересчитал деньги. Сто долларов и триста рублей. Терпимо.

Ближе к вечеру послал Володьке на пейджер: «Ночевать не приду. У подруги», — и поехал в гостиницу «Дизайн».

Андрюха куда-то запропастился. Его мобильник женским голосом автоматически-вежливо сообщал: «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети».

Я названивал ему целый день, хотел занять сотни три-четыре, чтоб не представлять перед родителями голодранцем. Тем более — впереди четверо суток пути, надо тратиться на еду...

Вряд ли Андрюха чулкуется. Чего ему-то бояться? Хотя хрен их разберет. У Володьки вон моментом все рухнуло. Из князи в грязи... Представляю, как сейчас его сеструха Татьяна себя чувствует, как матушка переживает; в ДК Ленсовета ее прилавок пуст — не торгует. Наверняка боится.

Да, я побывал в Ленсовета. Долго бродил у дверей, не решаясь войти, опасаясь столкнуться с кем-нибудь из тех, кому мой шеф должен башли. Большинство ведь из них наверняка имеют здесь точки... Возьмут так под локоть, отведут в темный угол. «Где Вэл?» Я, конечно: «Сам не знаю. Ищу». Удар. Я скрючиваюсь. «Где Вэл?»... И опять ярко, болезненно, как глубокий глюк, представилась расправа надо мной, невиновным.

Наверно, я был похож на идиота, дрыгаясь перед входом в ДК, — то шагну вперед, возьмусь за ручку, то отскочу и пойду, почти помчусь прочь, то возвращаюсь, толчками, как бы против воли...

Но наконец я плюнул, вошел, быстро протолкался к малоприметной двери, заодно отметив, что кабинка Володькиной матери без товара, вид заброшенный... По лабиринтам коридоров, через сцену пробрался к буфету. Как шпион, из-за дверного косяка долго и зорко рассматривал сидевших за столиками. Вроде опасных нет. А Марина, как обычно, за стойкой. И как сил хватает вот так почти ежедневно, с утра до ночи?.. Я б на ее месте через пару недель сбежал. Да и ей — вот сейчас, когда она уверена, что никто не обращает внимания, — видно, очень не сладко. Расслабилась, и маска спала, лицо сделалось унылым, обмякшим, испитым. Но кто-то подошел — и снова обаятельная улыбка, преданный блеск в глазах... Что он там? А, взял салфетки, вернулся за стол; Маринка опять сдается усталости... Может, именно сегодняшний разговор все изменит? Может, она готова простить? Последний шанс... Извинюсь... Надо хотя бы для очистки совести.

Я отлепился от косяка, вытер потные ладони о штанины, направился к стойке.

— Здравствуй, — сказал тихо и душевно, и именно «здравствуй», а не эти легкомысленные «привет», «хай»; присел на высокую табуретку. — Знаешь, Марина, я уезжаю.

— Да-а? — Такое деланное изумление, что разговаривать сразу же захотелось.

— Вот, — уже с усилием продолжил я, — зашел попрощаться...

— Что ж... счастливо.

— Слушай, Марина. — Я не смотрел на нее, разглядывал эмблему пива «Невское» на длинном, из тонкого стекла бокале. — Ты прости меня, ладно?

— За что?

— Н-ну. — Я хотел поднять глаза, чтоб встретиться с ее глазами, ими попытаться ответить, досказать, но не получилось — слишком тяжело это было сделать, веки стали как каменные. — Ну, за то...

— За что? — теперь уже явно издевательское. Или не издевательское, а какое-то...

— Ну, ты понимаешь... за то...

Блин, как в детском саду! И я перескочил сразу к главному:

— Может, Марин, давай попробуем снова... А? Как ведь было у нас хорошо. Согласись... А, Марина? Давай... Я все сделаю...

Я почувствовал, как она приблизила свое лицо к моему, уловил запах ее волос; кажется, одна прядь даже коснулась моего уха, а может, это был ветерок от ее дыхания... И в самое ухо она проговорила:

— Пошел вон отсюда. Убирайся. Или я охранника позову.

Мне захотелось смахнуть со стойки бокал. Впрочем, что это даст? Я пожал плечами, сполз с табуретки... Не совсем красиво, конечно. Но извинился по крайней мере.

Теперь самой трудной задачей осталось забрать у Володьки вещи. Многое я был готов бросить, но сумку, бритву, кой-какую одежду необходимо увезти с собой. Не являться же родителям мало что с грошами какими-то, так еще и совсем с пустыми руками. Принимайте, мол, блудного сына... Да и денег бы не мешало выцыганить — все-таки я честно работал последние недели, рисковал, по улице хожу, как по вражескому лагерю, каждого прохожего опасаясь. Надо Володьке и насчет хотя бы пятисоточки намекнуть.

Очень долгодень, если нечем заняться, негде посидеть, отключиться, да еще к тому же с нетерпением ждешь завтра... Очень медленно, внушая себе, что просто гуляю, я прошел от «Петроградской» до Невы. Постоял на Троицком мосту, обдуваемый свежим ветерком, разглядывая загорающих на пляжке под стеной Петропавловской крепости. В основном молодежь, и девушки попадают с голой грудью; жалко, нет у меня бинокля... Потом бродил по Марсову полю, присаживался на каждую свободную скамейку и выкуривал на ней сигарету.

Перекусил котлетой с картофельным пюре в кафетерии на Белинского, а затем такой знакомой Садовой улицей как-то механически спустился к Сенной площади и здесь очнулся — дальше ведь, совсем рядом, уже был наш «Премьер», эпицентр опасности. Нет, куда-нибудь отсюда. Хватит.

Я свернул налево, на Московский проспект. За мной, будто убийцы, гнались обычные теперь уже фантазии: я подхожу к двери склада, а в это время из переулка медленно выезжает машина. Я оглядываюсь, понимаю, что это значит, торопливо кручу ключ в замке. Скорее заскочить, запереться, вызвать милицию! Но замок заело, а машина уже напротив меня. Из окошка высовывается ствол. Еле уловимые щелчки выстрелов из пистолета с глушителем...

Я почти бежал по Московскому. Нервы сдали совсем. Я готов был зарать...

Через каких-то десяток минут я оказался на трехугольной площади Технологического института... (Прямо какое-то путешествие по местам боевой славы напоследок!) Да, тут был «Экзот», знаменитый — в узких кругах — магазин, детище ныне парящегося в Крестах Максика... Помню — еще бы! — как Володька его поносил, отказывался помогать, называл придурком. Что ж, а теперь вот сам в шаге от того, чтоб загреметь. И меня еще утешает... Нет, единственный вариант — сваливать. Уехать далеко-далеко, отдохнуть, отдышаться.

Купил в ларьке бутылку русской «Баварии» за семь рублей. Выхлебал. Стало полегче. Попроще. Пиво отупляет очень даже надежно. Только б еще в туалет не хотелось...

«Бавария» взбодрила немного, но в магазин «Стоп-ка!», бывший «Экзот», я зайти не решился. Конечно, хотелось поглядеть на Олю с Машей, вообще как там стало теперь, только вдруг там враги Володьки, вдруг они узнают во мне его помощника... Ведь все же здесь связано между собой, все повязаны. Бежать, только бежать!

Отвернувшись к глухой, без окон, стене, я достал паспорт, проверил, на месте ли доллары и билеты. Две бледноцветные бумажки с портретом пожилого бородатого дядьки и цифрами «50» по бокам и две бумажки побольше размером, оранжеватые, с надписью «ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ». Да, все на месте, в порядке — тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить. И чуть больше чем через сутки я уже буду лежать на верхней полке, потягиваться до хруста костей, облегченно вздыхать. А потом усну глубоко и спокойно, надолго, как в детстве.

Приезжать домой (то есть — в трехкомнатку на Морской набережной) раньше Володьки тоже довольно опасно... Да, и здесь опасность... Мало ли что Юле в голову взбредет, чтоб от меня избавиться. Еще возьмет и разыграет попытку приставания с моей стороны. Ведь она же не знает, что сегодня увидит меня, наверное, в последний раз.

Сидим мы, например, с ней перед телевизором, все нормально, спокойно. Тут приходит Володька, и она в рыданиях бросается к нему: «Этот!.. Он меня чуть... Он хотел меня изнасиловать!» Вот тогда придется не только про деньги забыть, но и про вещи, скорее всего. Ведь он разбираться вряд ли станет — поверит этой и настучит по морде. И потом валяйся на верхней полке расписным красавцем... Тьфу, тьфу, тьфу!.. Одна херня что-то представляется... Нервы, нервы за какую-то пару недель посадил конкретно...

От нечего делать стал пересчитывать рекламки. Буквально на каждом столбе по Московскому проспекту висел один и тот же щиток: улыбающийся белый медведь с бутылкой кока-колы в лохматой лапе... Насчитал пятьдесят семь на одной стороне, и на другой щитки висели так же плотно. И, наверно, так вдоль всего проспекта... Попробуй тут не соблазниться на бутылочку коки... Но я из протеста купил еще русской «Баварии». Выпил ее, посмотрел на часы (оказалось, девятый час вечера) и занялся поиском ближайшего метро.

Мои опасения оправдались — Володька еще не вернулся. Открыла мне Юля, посмотрела, как на приبلудного пса, даже поморщилась и ушла в большую комнату. Разувшись, я хотел было выпить на кухне воды, но не решился, пробрался к себе, лег на диван.

Полежал немного, почувствовал — носки завоняли. Запах накатывался волнами, будто от ног к голове потягивал еле уловимый сквозняк. Так незаметный, а вот благодаря носкам... И еще под диваном лежат несколько пар, тоже грязные... Надо бы постирать... Представил, как зайду в ванную босиком, возьму тазик, насыплю в него порошок, воду пушу... Подходит, конечно, Юля и начинает: «А кто тебе разрешил тут хозяйничать? Ты порошок покупал? Ты за воду платишь?»

Нет, погожу, переживу. По крайней мере дожусь Володьку. Впрочем, через час-другой я покину этот дом. Постираю спокойно в «Дизайне». А завтра, уже через сутки, буду в поезде...

Как назло, дразня и смущая мой план, стало мечтаться, что Володька возвращается радостный и сияющий, с шампанским. Еще на пороге кричит: «Живет! Поймали подонка!» И все как прежде, нет — даже лучше. Меня посылают в Дубай работать при представительстве. Конечно, не руководить, а так, кем-нибудь неприметным, чтоб не надо было знать английский, общаться с деловыми людьми. Просто, как здесь, но только там... Море, вечное лето, девочки со всего мира, водные мотоциклы, теплый песочек...

— Слушай, Володь, — начал я, когда мы после невкусного, Юлей приготовленного подобия ужина остались на кухне вдвоем. — Я вот сказать хотел...

— Погоди, — перебил он. — Это от твоих носков опять так несет?

— Да вроде...

— Ну, сменить надо. То-то Юлька сидела куксилась.

Какие тут, блин, носки?! Я кивнул и скорее продолжил о важном:

— Вот сказать хотел... Я с девушкой познакомился. С месяц уже встречаемся... Вчера она предложила к ней переехать. Вот не знаю...

— Где живет? Как зовут?

Эти вопросы меня огоршили — я ожидал удивления, может, шуточки, а тут такая бесцветная деловитость... И я опасно долго не отвечал, просто не знал, что ответить. Зато потом сыпанул первым пришедшим на язык:

— Лена, в Веселом Поселке живет.

— Хм, и так прямо к себе зовет?

— Ну да. А что? — Я сделал вид, что обиделся его усмешке. — Она одна, отдельно от родителей. Попробуем, может, все нормально... Ты как?..

— А что мне-то... Дело твое. — Кажется, Володька поверил и отнесся к моему заявлению спокойно. — Сам решай. И когда собираешься?

Я вздохнул тяжело, давая понять, что процесс переезда мне не очень-то приятен, но другого выхода нет:

— Да сегодня бы надо... Она ждет... договорились.

— Симпатичная хоть?

— Так, ничего. Правда, старше меня на год, — приврал я для убедительности, — но так не заметно.

Володька опять усмехнулся, стал наливать в чашку заварку, а я, не теряя времени, пошел собирать вещи. И когда уже набил обе сумки, вспомнил про деньги. Попросить или нет?.. Да, надо... Да он просто обязан — я же работаю, рискую... Вернулся на кухню.

Володька, согнув плечи, сидел за столом, перед ним — пустая чашка.

— Извини, я еще хотел... если можно...

Он поднял на меня тяжелые, затравленные какие-то глаза:

— Что?

— Ну, насчет денег...

— Сколько?

— Пятьсот... или семьсот.

Володька взял с телефонной тумбочки бумажник, раскрыл. Запестрели разные дисконтные карты, золотые прямоугольнички с надписью «Гость клуба», Володькино фото на каком-то пропуске. А денег, насколько я смог заметить, там было не очень-то... Покопавшись в ячейках, он вытянул пятисотку, потом еще два столыника.

— Хватит?

— Угу... Спасибо, Володь.

Когда я притащил в прихожую свои сумки, он удивился:

— Ты все, что ли, собрал?

— Ну да.

— Гляди, разругаетесь — придется обратно ведь... Надсадишься так.

— Зачем так пессимистично, — улыбнулся я, больше обрадованный тем, что процесс ухода получается легче и глаже, чем я представлял.

— Ну что ж, — Володька протянул мне руку, — успехов на новом месте!

Я ответил на его пожатие крепким своим:

— Спасибо! — и, повернувшись в сторону большой комнаты, громко, с неприкрытым облегчением объявил: — До свидания!

Юля не отозвалась. Ну и хрен с ней, со стервой драной. В душе я пожелал ей всего наихудшего.

— Кстати, — неожиданно деловой тон Володьки после нашего достаточно теплого прощания насторожил, даже испугал, — ты завтра будешь на складе?

— Конечно! — Я поспешно кивнул.

— Посиди до обеда. Люди должны подъехать, компьютеры посмотреть, мебель...

— Зачем?

— Ну, продать думаю, — нехотя пояснил шеф, — все равно склад надо обратно сдавать... Посиди там, короче, до трех. Если не подъедут — свободен.

— Добро.

Володька открыл дверь, я повесил одну сумку на левое плечо, другую — на правое и, переваливаясь, как откормленный гусь, поплелся к лифту.

Уже на улице вспомнил, что забыл забрать носки из-под дивана. Неудобно. Хотя хрен с ними — пускай остаются на память...

5

Переночевал в «Дизайне»; на соседней кровати храпел какой-то командированный, и я то и дело просыпался от этого храпа, нет, даже не храпа, а беспрестанно меняющего тональность рычания... Часов в шесть у него зазвенел будильник, и лишь когда после завтрака и долгих сборов он покинул номер, я отключился по-настоящему.

Спал без снов и хорошо. Проснулся отдохнувшим, свежим до опустошенности. Посмотрел на часы — почти двенадцать. Вставать впервые за долгое время (может, даже со времен жизни с Мариной) совсем не хотелось, и я не вставал. Лежал и наслаждался тишиной, свободой, ярко освещенной, прямо, как говорится, залитой солнцем комнатой, хотя и убогой, — пять кроватей с полосатыми покрывалами, пять тумбочек, маленький шкаф без дверцы и на круглой палке пустые плечики, — да, убогой, зато моей почти на сутки. Почти моей. Только бы сосед-командированный подольше не возвращался да новых не подселили...

Надо купить еды в дорогу... Неподалеку от гостинички была кулинария, рядом — дешевое кафе с романтическим названием «Бахус», где я пару раз перекусывал... Нехотя, со стоном зевая и потягиваясь, я поднялся, оделся, сполоснул рожу в совмещенной с туалетом умывалке без ванны, как и положено в старинных квартирах.

Несколько раз в течение дня Володька присылал на пейджер: «Срочно сообщи, где находишься!», но я, естественно, молчал. Обнаружился вдруг Андрюха: «Надо встретиться. Позвони». Интересно... Только поздно. Вот если бы вчера. А теперь я уже не хотел никаких разговоров, общений, встреч, дел — ничего и никого, с кем связывал меня прошедший год. Год здесь. И остальное теперь лишь одно дело — уехать отсюда.

Чтоб чем-то занять себя, я долго бродил по магазину. Наконец купил десяток вареных яиц, полбуханки колбасного хлеба, несколько помидоров и длинный огурец, пачку кефира, копченый окорочок. Получился увесистый пакет. Да, мало мне сумок...

Прав Володька — с этими сумками немудрено надорваться. До вокзала не проблема доехать, но завтра предстоит целый день в Москве, а еще через три дня — Абакан, километровый переход с железнодорожного вокзала на автобусный, а там еще по деревне тащиться... Неужели я так скоро снова там окажусь?.. И все — снова как было?.. Посмотрим.

А огурцы, наверное, как раз для продажи пошли. И клубника «виктория»... Да, к самому базарному времени подспею... Как там родители без меня? Бросать на целый день избу, огород вряд ли решатся. Мама наверняка ездит одна, на автобусе... Я лег на кровать поверх покрывала... Вместо пятиместного номера перед глазами был теперь столько раз перекопан-

ный моими руками огород, ровные полосы грядок, блестящий на солнце целлофан теплиц, зеленые стены гороха... Совсем как в реальности я разглядывал кур и пытался определить, каких из старых родители оставили на этот год; я ощущал прохладу кроличьих ушей и гладкую шерстку... Видел пруд, избы на той стороне, цепь холмов за деревней, где растет дикая, несравнимая по сладости и ароматности с садовой клубника... Я, чистосердечно злясь на себя, пытался отогнать эти видения, хотя и догадывался — они необходимы, они готовят меня к той, прежней и будущей, жизни.

Ну, к черту! — я пока что в Питере, до деревни четыре дня и пять ночей пути. Надо жить настоящим.

Соскочил с кровати, занялся перебиранием вещей в сумках, пытаюсь найти то, что не жалко оставить. А то ведь действительно — надорвусь... Почти вся одежда новая, достаточно дорогая. Неплохо я, оказывается, прибарахлился. Конечно, выбрасывать жалко. Как-нибудь уж доволоку, зато года на три вперед об обновлениях думать не надо. Кроме обуви.

Хм, да, занимался торговлей обувью, а остался в уже потасканных летних туфлишках. Знал бы заранее, отправил бы родителям посылку: отцу зимние ботинки на меху, маме что-нибудь, себе про запас...

Часов в семь вечера вернулся сосед. Буркнул приветствие, с помощью кипятильника заварил чаю, порезал колбасу, хлеб. Молча и долго жевал, сидя спиной ко мне. А я складывал обратно в сумки свои пожитки, сунув в тумбочку (может, горничная потом подберет) малосимпатичную мне клетчатую рубаху и застиранные коричневые плавки с кармашком для денег...

Поезд отходил в половине одиннадцатого. Я кое-как дотерпел до половины девятого, валяясь на кровати и стараясь не размышлять, оценивать, правильно ли поступаю с отъездом, честно ли; не окажется ли этот шаг роковой ошибкой. Потом не выдержал и, погоняемый потребностью хоть как-то действовать, пошел к метро. Лучше так.

В центральном зале вокзала, перед выходом к платформам, пышный, пенный бюст Петра Первого. Раньше, лет десять назад, на этом месте была белая, напоминающая огромный бильярдный шар голова Ленина. Под ней, помню, по вечерам сидели неформалы и пели песни «Алисы» и «Зоопарка». Милиционеры то гоняли их, то стояли рядом и притопывали в такт рок-н-рольным рифам...

Мы с Володькой и еще парнями из нашего училища чуть не каждый вечер приезжали сюда, на Московский вокзал — «на Москарик», — покупали пирожки-тошнотики за семь копеек и пару бутылок «Жигулевского» на всю ораву (на большее обычно денег не набиралось) и бродили по вокзалу и его окрестностям.

В то время места здесь, кажется, было куда больше. Четыре зала ожидания, несколько, конечно, бесплатных еще туалетов; в одном из них — мужском, огромном, со множеством каких-то отсеков, закутков — можно было посмотреть «крокодильчика». Так называли женщин, которые за три рубля распахивали плащ или пальто и с минуту показывали давшему деньги свое голое тело, пританцовывая при этом, а мужчина, посмотрев, обычно запирался в кабинке. Иногда нам везло и удавалось зацепить взглядом кусок женского бедра, или грудь, или темное пятно волос под животом... В круглосуточном буфете вели интересные беседы загадочного вида люди, похожие на спившихся штирлицев, и то и дело слышались слова «совдепия», «гэбуха», «Посев», «самиздат», «Солженицын». Тогда, в восемьдесят девятом, это еще притягивало слух... Один из залов ожидания (а во все вход был свободный) оккупировали бомжи. Даже не божжи, а беженцы, хотя этого слова в то время не было в повседневном обиходе. Они разделили зал ожидания одеялами и шальями на отдельные как бы комнатки, на растянутых веревках сушилось белье, на свободном пятачке у входа играли дети, мужчины спали на скамейках. С виду национальность этих людей

была вроде какая-то азиатская, но они не напоминали таджиков или узбеков, а скорее были по облику ближе к русским и разговаривали по-русски. И несмотря на вонь прокисшей еды, немых тел, на вообще ужас такой жизни, многомесячной вокзальной жизни, виделась упорядоченность и стремление к оседлости... Я, бывало, подолгу стоял в дверях, наблюдал за беженцами и воображал себя путешественником, попавшим в поселение не изученного цивилизованным миром племени. Но войти и начать изучение боялся... Не знаю, кто это были. Да мало ли кто — была тогда Фергана, было Приднестровье, Нагорный Карабах, что-то еще, — лихорадкой било Союз по полной программе, переселялись народы вовсю.

На Московском вокзале есть два двора. Тот, что с левой стороны, если смотреть от платформ, ведет к метро, на Невский, на Лиговку, а тот, что с правой, теперь уставлен ларьками, торгующими пивом, чипсами, шавермой, сигаретами; тогда же вместо ларьков стояли лавочки под деревцами, и дворик был малолюдный, почти потайной.

Один парень из нашей компании (уже и не вспомнить, как его звали) утверждал, что там, в этом потайном дворике, снимаются проститутки.

Сколько раз мы наблюдали за девушками, сидящими на лавочках или гуляющими по подобию аллейки, но ничего похожего на проституцию не замечали. И вот наконец-то увидели сидящую одиноко молодую женщину. Именно женщину, а не какую-нибудь семнадцатилетнюю прошмандовку-токсикоманку. Она, эта женщина, была одета слишком легко и ярко для конца октября и вообще походила на проститутку, какими их рисовали в «Крокодиле» и показывали в кино... Мы, пяток пэтэушников, стояли в сторонке и тихо спорили, мечтали, хорохорились один перед другим. Главный вопрос был в том, сколько она берет. Одни говорили, что по десятке, другие утверждали — двадцать пять. И тут Володька заявил: «У меня есть трояк и еще мелочь. Давайте сбросимся и попробуем». Пока собирали и опять спорили, пока устанавливали очередь и гадали, поведет ли она нас к себе или придется на улице, где-нибудь в укромном месте, к ней подсел какой-то взрослый, амбалистый, в спортивном костюме, каких всегда много крутится на вокзалах, и сразу же приобнял; они поговорили, покивали друг другу и пошли... А мы еще часа два спорили, снял ли он ее или это просто ее чувак вернулся откуда-то.

Теперь все проще, все цивилизованней, но мне-то, кажется, остается лишь вспоминать. И о том, что было десять лет назад, и о последнем годе... Это, может, и к лучшему — вспоминать безопасней.

В Москве, благодаря чертовым сумкам, просидел целый день на Ленинградском вокзале. Целый день — это не пара часов.

Сперва погулял по большому залу вокруг головы вождя (и в Ленинграде и в Москве на вокзалах имени друг друга стояли одинаковые Ленины, только в Питере его сменили на первого императора, а в Москве вот оставили), но быстро устал, ошалел от суетни и, купив двухлитровую бутылку кока-колы, переключал с Ленинградского вокзала на Ярославский, укрылся в зале ожидания, где надо предъявлять при входе билет. Зато и удобства есть кое-какие — телевизор, относительное спокойствие, сиденья, в которых можно дремать.

Я устроился, достал кипу купленных в Питере газет, от нечего делать развернул «Невское время». Начал просматривать с последней, конечно, самой интересной, страницы... Про футбол статья, сканворд (поотгадываю позже), колонка анекдотов... А вот — на полстраницы — «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам», а ниже, в кавычках: *какой должна быть осенняя обувь...* И здесь достает эта обувь... Глаза выхватили из текста: «Ботинки, сапожки, туфли „Вивьен Ли“ можно смело назвать непреходящей классикой (нубук и кожа, черный цвет, плоские и высокие каблуки)».

Я не сразу и сообразил, что такое «нубук». Показалось, что издалека откуда-то, из другой совсем жизни слово... А, ну, вид кожи такой, как объяснял Володька. Красивая из нее обувь, только непрочная. Здесь же ее осенью носить рекомендуют. Хе-хе, чтоб скорее рвалась и чаще покупали новую — бизнесменам-то выгодно... Заказная, наверно, статья. Может, Володька когда-нибудь заказал, уплатил, ее и печатают, с некоторыми изменениями, время от времени. Ну а что? — вполне возможно... Нет, у нас не было в ассортименте моделей от «Вивьен Ли»...

Читать расхотелось. Попробовал разгадать сканворд, но сразу нарвался на трудный вопрос: «Отход при обработке льна», промучился с минуту, почувствовал, как портится настроение, и отложил газетенку. Лучше не спеша, с удовольствием, ни о чем не думая поест.

Соорудил на соседнем сиденье подобие стола. Очень вовремя кончился по телевизору сериал и, после рекламного блока, начались десятичасовые новости. «Двенадцать военнослужащих погибли и более двадцати ранены, — скороговоркой сообщала дикторша, — при взрыве хранилища боеприпасов в поселке Логином под Екатеринбургом».

— Внучок, — тихое, вкрадчивое и болезненно посвистывающее над ухом, — подай бабушке чего-нибудь.

Я повернулся на голос и тут же отшатнулся. И сморщенное, до коричневого то ли грязное, то ли загорелое лицо старухи тоже отшатнулось, а губы шевельнулись в уточнении:

— Покушать или денежку.

Несмотря на июнь, она была в пальто с истертым каракулевым воротником, в шерстяном платке. Правой рукой держала тряпичную, чем-то туго набитую сумку, а левую приподняла, будто приготовившись поскорее схватить то, что я ей подам.

— Со вчера не кушала, внучок, — так же тихо и вкрадчиво добавила старуха.

От нее терпко воняло давно не снимаемой, не раз, кажется, обмоченной одеждой, чем-то гниющим. Лицо, хоть и бомжатское, не было похоже на морды старых алкашей, да и глаза — ясные, живые... Чтоб скорей отвязалась, дал ей яйцо; она приняла, бережно спрятала в сумку, но не уходила и левую руку снова приподняла, пошевеливала сухими, узловатыми пальцами.

— Что еще? — Я стал нервничать — не получалось не замечать ее, спокойно приняться за завтрак.

— Мяска бы капельку. А, внучок?..

— Идите отсюда!

— Ну что ж так с бабушкой... А?..

Я оглянулся на двери. За столом-вахтой сидел парень в черной униформе, рядом с ним стоял, покуривая, второй.

— Идите, — громче и смелее сказал я старухе, — а то охрану сейчас позову!

Та укоризненно покачала головой:

— Ох-хо, бабушке...

И все же медленно поплелась дальше меж ровных рядов сидений.

Нормального человека просто так, с улицы, хрен сюда пустят, а такие вот — они повсюду. Такие везде пролезут, навоняют, аппетит испортят... Читал когда-то вроде бы у Соловьева: Петр Первый под страхом ссылки в Сибирь запретил нищим просить милостыню кроме как на паперти, а тех, кто давал ее, велел наказывать плетью. Мудро вообще-то...

Я в детстве не видел нищих, калек, выставляющих свои культы, требуя жалости и денег, — мой родной город Кызыл не для них. Он маленький, какая-никакая столица, он достаточно молодой (основан в тысяча девятьсот четырнадцатом сразу как город), энергичный, вдалеке от железной дороги...

Впервые я увидел просящего милостыню лет в двенадцать. В Красноярске.

Мы шли с отцом где-то в центре, возвращаясь с покупками в гостиницу (отец был в командировке, взял и меня, чтоб мир посмотрел), и снизу вдруг раздалось: «Товарищи, помогите, пожалуйста». Без вызова, без желаний обязательно привлечь, а как-то именно по-товарищески. Или это мне так сейчас вспоминается...

Я опустил глаза, приостановился. На доске с колесиками, с несколькими медалями на пиджаке, среди которых была темно-красного цвета звезда, как у Глеба Жеглова из «Места встречи...», сидел не старый еще, с седоватой щетиной человек. Он, казалось, просто поджал под себя ноги и теперь что-то бормочет с тротуара...

Отец дал ему зеленоватую бумажку-трехрублевку, а я — не подошедший для игровых автоматов (я перед тем играл в «Охотника», стрелял из ружья по уткам и зайцам) юбилейный пятнадцатик.

Он наверняка уже умер, этот инвалид, судя по медалям, воевавший на Великой Отечественной... И после некоторой паузы, когда калеками были в основном обморозившиеся алкаши, теперь опять появились безногие-безрукие с медалями. Стоило вот мне пройти с Ленинградского вокзала на Ярославский (а это метров двести, не больше), и я увидел целую компанию увечных парней в камуфляжах, беретах, с гитарами. Они пели что-то про холодные горы Чечни. Я протащился со своими сумками мимо, искося поглядывая на них, на лежащий на асфальте, напоминающий прямоугольную консервную банку, только большую, цинк из-под патронов. В него, наверное, надо было желающим класть деньги.

6

Трое суток в поезде — мучение по-любому, тем более, что сразу после Кирова началась жуткая жарница, а половина окон в вагоне не открывалась, так у меня вдобавок угрызения совести и душевный дискомфорт. Задумался в первую же ночь всерьез — а куда я еду? К чему возвращаюсь? Ведь наверняка все бы наладилось. Володька ведь не из таких, кто не поднимается. Вон рассказывал про то, как с лесозаводиком прогорел, аж гранату кидали в окно, и ничего — нашел новый бизнес. А я вот взял и сбежал при первой же неприятности.

Буквально за полчаса до отхода поезда я дал телеграммы бывшему шефу и родителям. Володьке сообщил, что вынужден срочно побывать дома по семейным обстоятельствам, а родителям — что приеду такого-то... Теперь представлялось, как родители прочитают это известие, удивятся, обрадуются, ясное дело, будут гадать, почему так неожиданно, почему из Москвы. А как Володька? Может, станет материть, назовет подонком, предателем, а может быть, наоборот, обрадуется, подумает, что я угадал то его желание, которое он не решался мне высказать напрямую...

Жизнь в вагоне мало отличалась от той, какую я наблюдал в прошлый раз. Копались в вещах, то и дело прятали и вынимали обратно поклажу, одни выходили, другие заходили; в соседней купешке всю вторую ночь орал младенец, а потом перестал; некоторое время меня дразнила девушка в легкой белой маечке и джинсовых шортах, когда же я собрался взять и познакомиться с ней, она исчезла. Где-то в районе Омска.

Зато две моих соседки мозолили глаза от самой Москвы до Ачинска.

Обе немолодые, полнотелые, мокрые от вагонной духоты, но какие-то слишком деятельные, даже, точнее, если употреблять высокопарное слово, — одержимые.

В первый день, от Кирова до Свердловска, они еще сдерживались, лишь ерзали на своих нижних полках, листали красочные буклетки, переговаривались полупшепотом:

- Ты уже приняла?
- Да, две штуки.
- А спину?
- Надо попозже.
- Угу-м...

На второй день, когда вместо хмурого, неприступного мужика четвертым пассажиром оказалась усталая, то и дело вздыхающая полустаруха, деятельные женщины, видимо найдя в ней подходящий объект, начали говорить в полный голос:

— Ты знаешь, Наташа, мне настолько легче стало, прямо как, хи-хи, девочка.

— Еще бы, через неделю результаты видны. Коренное обновление организма.

Беседовали они как бы между собой, хотя сразу видно было — лишь ради того, чтоб заинтересовать вздыхающую полустаруху. Но та упорно не клевала, сидела на краю полки, закрыв глаза, время от времени обтирая потное лицо платком.

— Умылась их мылом, и кожа сразу, сама чувствую, помягчела, — продолжалось наседание одержимых. — Заметно, Наташа?

— Еще как! И светлее стала, аж светишься!.. Ты еще, Анют, шампунь попробуй. Фантастически просто волосы укрепляет.

— Приеду, первым же делом...

Одна из них, помясистой, Анюта, играла роль начинающей, а другая, постройней, посимпатичней, Наташа, явно строила из себя редкостную специалистку.

Я спустился, сунул ноги в кожаные, дорогие сандалии (Володькин подарок) и больше от скуки, чем по необходимости пошел в тамбур курить. Да и немного посвежее там, хоть какое-то движение воздуха.

Долго смотрел в окошечко, где не спеша, но необратимо проплывали мимо и исчезали деревья, столбы, редкие необитаемые домишки у самых рельсов... И вчера были такие же точно пейзажи, такие же березы и сосны, кусты, такие же столбы и домишки, будто за ночь поезд не покрыл семисот километров.

Да, забрался... Вот торчат из травы бетонные пеньки с железными щитками наверху. На щитках цифры: «2385», через минуту — «2386», еще через минуту — «2387»... Сколько, интересно, от Москвы до Абакана? Тысячи четыре, не меньше... Еще, кажется, восемьсот от Москвы до Питера...

Мысли снова вернули к Володьке, Марине, Андрюхе, Невскому, ночным клубам, моей квартирке на Харченко. И чем дальше я от них от всех уезжал, тем крепче становилось чувство, что я совершил ошибку. Бес, как говорится, попутал... Ведь ничего же, ничего по-настоящему страшного не случилось, такие заморочки и напряжения в жизни случаются сплошь и рядом, а я, как маленький, трусливый мальчик-одуванчик при виде хулиганов, сразу же ноги в руки — и побежал. И куда?

Те приступы тоски и ностальгии, желанья увидеть наш домик, покопаться на огороде, покормить, погладить кроликов, вечером посидеть на завалинке, отгоняя сигаретным дымом комарье, полюбоваться, как закатывается за холмы уставшее целый день жарить солнце, теперь стали почти что реальностью — уже через сутки с небольшим я буду там, дома. Но я не хочу. Теперь я согласен погостить в деревне день-два, пусть неделю. Только ведь дело в том, что я наверняка возвращаюсь туда насовсем. Насовсем! И теперь понимаю это не только умом, но и всем нутром, душой, как принято выражаться...

Самое страшное, что в поезде, как, наверное, и в тюрьме, от мыслей не спрячешься — нечем отвлечься, некуда пойти, нет никаких занятий.

Или валяешься на полке, или стоишь вот в тамбуре и куришь до тошноты, до ломоты в груди.

— Можно полистать? — попросил я одержимых соседок, кивнув на стопочку буклетов.

— О, конечно, конечно, молодой человек! — тут же возрадовалась та, что изображала из себя специалистку. — С огромным удовольствием!

Я взял верхнюю брошюрку с миловидной узкоглазой девушкой на обложке и залез на свое место.

Из-за духоты, каши в голове, какой-то бесполезной сонливости, которая никак не перерастала в нормальный сон, читать не было никакой возможности. Я просто разглядывал фотографии бутыльков и тюбиков, улыбающихся свежеличных людей, выхватывал через силу отдельные фразы из набранного крупными буквами текста: «Идеология успеха... резервы здоровья... болезни мешают нам жить... лекарственная кладовая природы...»

Ясно, что ж, в духе времени — очередное чудодейственное средство, спасающее от всех болезней. А эти тетки — то ли его бескорыстные поклонницы, то ли... как их? — дилеры.

«Человеку с рождения до смерти, — кое-как, чтоб уж слишком быстро не возвращать буклетик обратно, все-таки стал читать я, — не полагается болеть вообще. Изначальная продолжительность его жизни — 120 лет. Но дело в том, что вода и воздух отравлены».

Я широко, до скрипа в челюстях, зевнул и, наклонившись, положил брошюру на стол.

— Ну как? — тут как тут вопрос специалистки.

— Да я как-то... извините... — беседовать желания не было, и я снова зевнул, — как-то в этих делах не разбираюсь.

— Это пока, пока не разбираетесь, — припугнула специалистка, — пока молоды. А ведь организм изнашивается! И состояние окружающей среды, продукты нашего питания провоцируют болезни. Гм... Можно задать вопрос, если уж вы заинтересовались?

Я неопределенно пожал плечами; специалистка приняла это, естественно, за согласие:

— Скажите, рыба часто входит в рацион вашего питания?

— Так, — я попытался напрячь мозги, — воблу иногда грызу сушеною...

— Значит, редко. Вот-вот! — возбудилась специалистка. — А чтобы удовлетворить потребность организма в кальции, нужно ежедневно съедать по две больших, граммов по триста каждая, рыбы. И желательно — свежих!

Она уставилась на меня большими, почти испуганными глазами, точно бы боялась, что сейчас мои хрупкие кости не выдержат и рассыпятся в труху. С полминуты смотрела, потом дернулась и погнала дальше, все сильнее повышая голос:

— Китайская гомеопатическая медицина — древнейшая в мире. Уже семь тысяч лет назад тибетские монахи... — Слова я слышал как бы изда-лека, лицо специалистки расплывалось, дрожало; я с трудом сдерживал зевки, глотал их, и это было так неприятно, хотя на мгновение оживляло... Нет, надо плюнуть и сдаться сну. Она, кажется, может балабонить до бесконечности. Зазомбирова-ли ее тибетские монахи через свой кальций.

— ...И вот совсем недавно доктору У Лань Ин удалось восстановить бесценные секреты! — Специалистка почти выкрикнула это. — Секреты биокальция, биомарганца, биойода и многих-многих других важнейших для правильной жизнедеятельности человеческого организма веществ!

— А спинулина! — восторженным шепотом подсказала вторая одержимая.

— О да, спинулина — это просто чудеснейшее средство для профилактики и лечения практически любых болезней. Она повышает, кстати, и умственную деятельность, физическую и, гм, половую крепость!.. Жаль, —

специалистка вздохнула, — многие пока не знают про уникальные возможности препаратов «Тяньши». Компания вышла на международный гомеопатический рынок всего три года назад. И тем не менее армия поклонников биологических... Я повторяю, — она даже вытянула указательный палец, — что в средствах «Тяньши» нет никаких химических соединений, только элементы живой природы!..

«А в органической химии, — попытался вспомнить я школьную программу, — разве нет живой природы?» Но не вспомнил, и снова в мои уши полился вдохновенный голос специалистки:

— Армия поклонников разработок доктора У Лань Ин стремительно растет. И результаты видны уже через два-три месяца. Вот, например, — она указала на свою соратницу, — у Анны к сорока пяти годам каких только болячек не было. И варикоз, и давление, и стенокардия... А теперь — никаких следов!

Специалистка погладила лежащую на столе брошюру, отдышалась, а затем снова подняла глаза на меня. И теперь в глазах не просто одухотворенность, но и нечто серьезно-тревожащее. Тревожащее меня.

— Извините, молодой человек, за, может быть, не очень корректный вопрос. Вы хорошо зарабатываете?

— М-гм, — я пожал плечами, — по крайней мере езжу вот не в купе.

— А где живете?

Сон как-то незаметно отхлынул.

— Н-ну, — снова замаялся я с ответом, — сейчас, думаю, под Абаканом буду.

— Абакан, Абакан. — Специалистка наморщила лоб. — В Абакане у нас вроде бы никого пока. Я не ошибаюсь, Ань?

— Да, да — никого.

— А что, — голос ее снова стал громче, живей, — молодой человек, не хотите ли попробовать себя на поприще просветителя?

Я насторожился:

— В каком смысле?

— В смысле пропагандирования продукции компании «Тяньши». Дело это и благородное, и, м-м, прибыльное. Мы вот с Аней сами из Енисейска. Сейчас едем с Первой общероссийской конференции друзей «Тяньши»... Так вот, город у нас небольшой, а поклонников доктора У Лань Ин более трех тысяч человек. Люди записываются в очередь на приобретение биопрепаратов! Представляет, молодой человек? И это всего за полтора года с тех пор, как у нас появились первые образцы... Так вот, если вы верите в возможности формул «Тяньши» и желаете хорошо зарабатывать...

— Вообще-то, — вспомнил я, — у меня друг, Владимир, пил таблетки кальция. И мне советовал. Только не знаю, этой фирмы или нет...

— Сейчас появляется множество препаратов, — закивала специалистка, — но только средства «Тяньши», и это уже доказано на самом высоком уровне, наиболее эффективные и безвредные. Стопроцентно природные формулы! За ними будущее!

Она вдруг перескочила на полку подо мной, с минуту я не видел ее, а затем ее лицо появилось перед моим. В двадцати сантиметрах.

— Вот, — подала мне два бутылка, тубик и бумажки, — примите подарок от доктора У Лань Ин. Биокальций, биойод и спинулина. В инструкциях все подробно описано.

— Как-то, — я искренне испугался, чувствуя, что разговор-то перешел на действие, — неудобно. Это же, наверно, дорого.

— Берите, берите! Попробуйте, убедитесь.

— Ну, спасибо...

Специалистка снова исчезла и тут же появилась с пачечкой буклетов в одной руке и визиткой в другой.

— Еще держите литературу, а это — мои координаты. Телефон в Енисейске, электронный адрес нашего отделения компании «Тяньши». И если решите, молодой человек, — она обаятельно улыбнулась, — звоните. Я искренне предупреждаю: вы не пожалеете. У нас очень хорошие заработки. Один парень за полгода скопил на «Жигули» самой новой модели!..

В следующие полтора дня совместного пути одержимые меня больше так яростно не обрабатывали. Они занимались другими, но я волей-неволей слышал про чудесные свойства всех этих биодел и даже тайком проглотил одну таблетку кальция. Может, действительно силы прибавятся... Но мысль о возможности хорошо навариться была, конечно, сильнее желания поправить свое самочувствие.

Валяясь на полке, я уже представлял, как сижу в своем офисе где-нибудь на центральной улице Абакана, у меня человек десять подчиненных — одни распространяют товар, другие считают башли. А я слежу, чтоб процесс шел без сучка, без задоринки... А вот у меня своя квартира, машина какая-нибудь престижная, после работы я торчу в клубе (надеюсь, в Абакане появились ночные клубы), отдыхаю по полной программе...

Когда прощались на вокзале Ачинска, специалистка напомнила, что популяризация препаратов «Тяньши» — дело очень благородное и прибыльное, и я твердо сказал:

— Через неделю обязательно позвоню.

Она улыбнулась мне как другу. Или, скорее, как любимому ученику.

После питерских дворцов и проспектов Абакан показался мне безрадостным, скучным; несколько оригинальных зданий не могли перебороть ряды однотипных кирпичных пятиэтажек. На вытопанных газонах, как клочки грязной ваты, лежали остатки отлетевшего тополиного пуха.

Вокруг рынка в самом центре города кипела торгашеская суета, валялись пустые коробки, в контейнерах что-то дымно горело...

Я перетасился со своими сумками с железнодорожного на автовокзал, купил билет до своей деревни, потом стакан кедровых орехов за два с половиной рубля и полдня просидел в ожидании автобуса, оглядывая знакомую привокзальную площадь, читая указатели остановок, где были названия близлежащих городков и деревень: Черногорск, Подсинее, Сорск, Шушенское, Таштып... Да-а, эт тебе не Петродворец, не Пушкин, не Парголово. Год не здесь вспоминался теперь далеким и безоблачным временем...

Вокруг сидели, стояли, бродили кругами другие ждущие автобуса. У одних пакеты с покупками, у других — пустые ведра из-под (судя по засохшему соку на стенках) жимолости и клубники. Эти вот расторговались удачно — уже до обеда могут вернуться домой... Я поглядывал на людей исподлобья, боясь встретиться со знакомыми, а то ведь начнутся распросы — как, что, надолго ли...

Я вспомнил, что не везу родителям никаких подарков. Хотел было пойти на рынок и купить какие-нибудь безделушки, но потом передумал: что там я могу найти, в такой толчее, с пудовой ношей. Наоборот, голова окончательно кругом пойдет...

Просто взял в ближайшем ларьке двухлитровую бутылку «Очаковского». День жаркий, а родители пиво любят. Наверное, будут рады.

Отец встретил меня на остановке возле сельмага. Улыбаясь, пожал руку, принял сумку. По пути домой не разговаривали, шли рядом, курили. Я не спрашивал — все равно сейчас все сам увижу, а по отцовскому лицу ясно, что дела у них более-менее, без бед.

Мама, конечно, высочила из калитки. Плача, обнимала, пыталась целовать, повторяла «наконец-то! наконец-то!», будто я вернулся из тюрьмы на пару лет позже окончания срока... Шайтан, сперва не узнав, залаял, стал рваться с цепи, а потом, после отцовских слов: «Ты чего? Это ж Ро-

ман! Роман приехал», — виновато завилал хвостом и радостно разинул пасть...

Стол был накрыт, и мы сразу же сели. Я выставил бутылку «Очаковки». Родители, как я и ожидал, обрадовались. Но пили не пиво, а настоящую на бруснике водку. Плотно закусывали голубцами, салатом из свежих огурцов с луком, жареными карасями, холодцом.

Немного захмелев, чуть привыкнув друг к другу, стали беседовать.

— И сколько здесь пробыть планируешь? — задал первый серьезный вопрос отец.

Я пожал плечами:

— Да пока не знаю. — И соврал на всякий случай: — С месяц, наверное.

— И хоть бы, хоть бы, — тут же скороговоркой отозвалась мама. — Такая страда сейчас — целыми днями на огороде. Только все рассадили окончательно, а помидоры уже полегли, грядки лебедой заросли — не видеть и что на них...

— По несколько часов на сбор клубники тратим, — добавил отец горделиво, — и все равно столько уже гнилой.

— Такой урожай хороший?! — Но по-настоящему я не изумился, не обрадовался, будто речь шла об урожае соседей...

— Да просто невиданный! Вот сплошь такие картошины! — указала мама на вазу, в которой уместилось с десятков огромных, замысловатой формы ягод. — Езжу чуть не каждый день с ними в город. Ведро — до пяти сот рублей!..

— Хорошо-о...

Выпили по рюмочке, пожевали. Мама продолжила хвалиться успехами:

— Сегодня вот двадцать третье июня, а у нас в шкатулке уже без мелочевки — две с половиной тысячи. Всего в этом сезоне пять заработали. Но надо учитывать, что ни цветная капуста, ни помидоры еще не подошли.

— Да-а, год нынче, кажется, на все плодородный будет, — удовлетворенно вздохнул и отец.

Потом снова заговорила мама, но на этот раз озабоченно:

— У вас-то с Володей как дела? Удачно? Мы тут как телеграмму получили — места не находили себе... Ты ее из Москвы ведь дал?

— Уху, — кивнул я. — Не успевал в Питере, дел много было... А вообще-то — нормально. Володька привет вам огромный передавал.

— Спасибо! Уж не знаем, как его благодарить. — У мамы аж слезы в глазах появились. — А тебе-то самому как там?

— Выглядишь ты, — заметил, не дал мне ответить отец, — вполне солидно.

— Стараюсь... — И что-то заставило намекнуть, что в Питер я могу через месяц и не укатить: — Подумываю здесь чем-нибудь заняться... В райцентре нашем или в Абакане.

— Да? — Мама насторожилась. — Чем?

Пришлось опять пожалть плечами:

— Пока не определился еще. Гомеопатией предлагают... Сейчас очень прибыльное дело наметилось... Познакомился тут с людьми из одной компании. «Тяньши» называется. Лидер в этой отрасли...

Родители слушали мое бормотание слишком внимательно и серьезно, а я не мог остановиться, точнее — боялся. Боялся услышать их реакцию.

— Дали несколько образцов. Биокальций, биоцинк, биойод... Выпил несколько таблеток... даже они не таблетки, а типа витаминов... Вот, например, чтобы удовлетворить потребность организма в кальции, нужно ежедневно съедать по две больших рыбины, но то же количество содержит две... ну, витаминки биокальция. — Я поймал себя на мысли: тренируюсь как будто. — Очень полезное, в общем, средство. Пока ехал, попробовал и сам почувствовал, как укрепляет... И Володька тот же кальций пьет постоянно...

— Н-да. — После того, как я выдохся, отец посмотрел на часы. — Половина шестого. Давайте еще выпьем чуть-чуть, и надо идти огород поливать. Пока закончим — уже и стемнеет.

Мама добавила в оправдание:

— Хотели днем, но такая жарница!.. А растениям вредно, когда в жару поливают...

— Давайте, давайте! — Я радостно закивал, чувствуя облегчение, что разговор не особенно вышел, по крайней мере пока, за рамки радости встречи. — Так соскучился по физической работе, по хозяйству нашему!

Оказалось, что я приехал вовремя. Буквально через полторы недели шахтеры на Кузбассе перекрыли Транссиб, так что ни один поезд не мог проскочить ни на восток, ни на запад. А еще через месяц долбанул кризис (то ли дефолт, то ли инфляция), и доллар с шести рублей за три дня подскочил до двадцати.

Как расхлебался со своими проблемами Володька, я не знаю. Может, так же, как и я, убежал куда-нибудь, а может, все это дело с банкротством он сам подстроил и сейчас отдыхает со своей Юлей в Германии или в Дубае.

Звонить ему я, конечно, боюсь. Да что это даст? Извиняться за свой побег, оправдываться, просить прощения?.. Хотя бывают моменты, когда невыносимо хочется вернуть все как было, и я последними словами матерю себя, что сбежал... Специалистке в Енисейск я тоже пока не звонил — тоже побаиваюсь принять окончательное решение. Откладываю каждый день, сомневаюсь, листаю буклетики. Иногда вспоминаю и пью эти биодела. Вроде действительно помогают... Наверное, ближе к осени — решусь.

Визитка специалистки лежит в паспорте. Надежное, кажется, место.



АНАТОЛИЙ КОБЕНКОВ

*

ОТКУДА СВЕТ...

* *

*

И рот разверст, и уши,
и сердце вразной —
для ласточки заблудшей
и тучки прилудной.

Прекрасно песнопенье,
решившееся в прыть
земное тяготенье
небесным перебить.

И что бывает лучше
земного, но слегка —
при ласточке и тучке
летающего стиха!

А от прилудной склоки —
и в глаз она, и в бровь —
загустевают строки,
и легкие, и кровь...

* *

*

...И если вышло так, что выпала дорога,
а между тем из рук не выпало перо —
куда мы денемся от грозных грез Ван Гога,
фонариков Сёра и пятен Писсарро?
И впрямь — куда ни глянь — где пляшут или пашут,
где от дождя бегут или бегут под дождь —
Винсент, Камиль и Жорж нам кисточками машут,
куда ни поглядишь — Винсент, Камиль и Жорж.
И мы вострим глаза и наостряем уши:
о чем шепнул Винсент, что Жорж недосказал,
что молвил нам Камиль? — и бродим, им послушны... —
не так ли Мельхиор, Каспар и Бальтазар,
разделавшись с вином и не доевши рыбы,
взглянули в небеса и, мудростью очей
из миллиона звезд единственную выбрав,
послушали ее и привязались к ней?

Кобенков Анатолий Иванович родился в 1948 году в Хабаровске. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор нескольких стихотворных сборников, выходивших в Сибири и в Москве. Организатор ежегодного Международного фестиваля поэзии на Байкале.

* *
*

Рыночных корпораций
замаргинальный пыл,
телекоммуникаций
ярмарочный распил...

Выйти из телебитвы,
вдох задержавши, сдуть
с крылышек предмолитвы
липкую телесуть,

пораспугать с разбега
поналомавших дров
буковок Гутенберга,
мошек и комаров,

и как с твоей пленкой
мать обошлась — порвать
видимое — печенкой,
кровушкой угадать,

где он, животворящий
душу и слово, чрез
ангела говорящий
предноосферный срез...

Два человека

Из наставлений Варваре

Человек поющий всегда красивей
человека думающего. Взгляните —
если первый, выбравшийся от Вакха,
от вина тяжелей виноградной кисти,
то зато при песне пушинки легче:
волооки сердце его и губы,
волооки печень его и ребра,
разве только ноги его безглазы,
но зато по сути своей вакхичны.

А теперь поющего мы оставим,
чтобы вздрогнуть, думающего наблюдая:
он сидит, набычившись, вроде Зевса,
перепуган мыслию, будто крысой,
в ожидании светлой мысли мрачен,
в ожидании чудной мысли страшен...

Если уж по правде, то мне милее
человек поющий — предпочитаю
не Сократа думающего — Орфея,
перебравшего лиру — по влажным струнам, —
будто мы перебрали с тобой землянику,
отчего все сущее — землянично,
то есть мы с тобою, а с нами — мама

и Сократ, который еще не знает,
что поющий прекрасен, ибо вакхичен,
а еще — орфеен и земляничен...

* *
*

...Сбить разлуку, лечь на дно,
вскрикнуть из-за телеграммы...
Всякий раз — когда темно —
быть фонариком для мамы.

Кроме точки и тире,
Ничего не выдать строчке.
На морозе в декабре
Варежкой быть при дочке.

Как в февраль из января,
выбегать во двор из спячки
и, с собачкой говоря,
быть на уровне собачки.

Темнота

Люди похожи на тех, к кому —
во сне или в жизни — они приходят:
пекарь — на булку, щипач — на тюрьму,
огурцеводка — на огородик,
кошка — на кошку, стихи — на стихи,
бабка — на дедку, а море — на сушу...
Все мы ходим на те пустыки,
которым где рот отворяем, где — душу;

в принципе, если подумать, все
всё получают не с бухты-баракты:
коли как следует о росе
поразмышлять, то уже не трактор
или трава, а скорее ты
станешь на солнышке переливаться...

Впрочем, здесь более темноты,
нежели света, а коль разбираться
в свете, то сущность его нечиста:
как он, бессовестный, отступает,
когда сочинившая нас темнота
на нас права свои предъявляет!

* *
*

У Андрея — куда ни пойдет он — Пушкин,
у Ильи — куда ни посмотрит — Блок,
у тебя Шопен не сходит с вертушки —
с позапрошлого года и царь, и бог...
Все при ком-то — молятся на кого-то,
все кого-то слушаются, а я,
как школяр при правилах, — при заботах,

к бытию не дотягиваюсь из жития.
 Но при этом мне холодно или жарко,
 высоко, просторно, а иногда
 мне не спится: Андрюшу, Илюшу жалко, —
 и тогда я еду в их города,
 нахожу дома их, и потому что
 раздается в комнатах их звонок,
 мой Андрюша думает: это Пушкин,
 а Илюша думает: это Блок...

* *
 *

Я устал, я путаю имена их:
 Аполлон Случевский? Оскар Минаев?

Велимир Крученых? Антон Случевский?
 Ариадна Мориц? — и если честно,

кто воскликнул «Чу!» и слезы не вытер —
 Афанасий Фруг иль Семен Никитин?

Кто позвал с утра, кто под вечер кликнул,
 кто мне пробкой хлопнул, калиткой скрипнул,

перевел часы да помял корону,
 позвонил жене, а потом — Харону?

Я уже не вспомню, кто преж Катулла
 подпилит мой разум, как ножку стула,

кто допреж Гомера и Марциалла
 говорил, что «Инбер здесь не стояло»?..

Я, конечно, мог бы припомнить имя
 тех, кто сердце мне выбил, кто душу вынул,

но зачем, коль сердце мое — игрушка,
 а душа — бродяжка и побирушка?

* *
 *

Вы скажете: темно,
 темнее не бывает,
 при том, что ни вино,
 ни жизнь не убывает.

Вы скажете: пора —
 и не пойдете дальше.
 Но долог бег пера,
 а крови — еще дольше.

Вы скажете, что нет
 и не бывало Бога,
 тогда — откуда свет,
 к кому — тогда — дорога?



АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ

*

РАССКАЗЫ

Из «Книги для тех, кто любит читать»

ГЕРОЙ АНИСИМОВ

13 марта 2002 года, в среду, в шесть с половиной часов вечера Анисимов ехал на эскалаторе станции метро «Тимирязевская» в городе Москве, возвращаясь с работы.

И увидел банановую кожуру, которая лежала внизу, слегка слева, ну то есть не там, где люди стоят, а там, где ходят. Кто-то ее, надо полагать, недавно бросил.

Это хорошо, подумал Анисимов, что я ее увидел и что я еду справа, а не иду слева. А если бы я шел слева и не увидел, я мог бы наступить, поскользнуться и жестоко упасть.

Какой подлый человек тот, кто бросил кожуру, подумал еще Анисимов.

Но ведь другой, подумал он тут же, не заметит — и наверняка поскользнется. Надо ее отбросить.

И он перестроился в левый ряд и, подъезжая, размахнулся ногой, чтобы отшвырнуть кожуру.

Но тут он вспомнил, что по случаю окончания рабочего дня немного выпил. Координация движений у него сомнительна. Он может сейчас сделать неточное движение, потерять равновесие, упасть и запросто раскрыть себе череп, потому что вокруг все жесткое и твердое.

В одно мгновение вся жизнь пронеслась перед мысленным взором Анисимова. Босоногое детство, горячая юность, дерзновенная молодость, мучительная зрелость. Он вспомнил, что работа ему давно надоела и он уже лет восемь подумывает о другой, но все как-то не складывается. И если он умрет сейчас, то и не сложится — вот что обидно! Он вспомнил, что жена его — стерва и гадина и давно надо уйти от нее, но если он погибнет сейчас, то так и останется ее мужем и она будет лить слезы на его похоронах, хотя, в сущности, своими руками загнала его в гроб. Он вспомнил, что дети его — сущие захребетники и паразиты и он все собирается популярно объяснить им, благодаря кому они могут жить весело, легко и обеспеченно. Но если он очокурится сейчас, то никто им не объяснит и они так и останутся не уважающими отца. Короче говоря, в это короткое мгновение Анисимов до боли ясно понял, что жизнь его не сложилась и, если он сейчас отдаст концы, так и не сложится, а если не отдаст, то еще есть шанс.

Поэтому Анисимов в последний момент не отшвырнул кожуру, а широким шагом перешагнул ее, спасая, давайте выразимся прямо, свою шкуру. Но слишком широк оказался шаг, Анисимов пошатнулся, накренился, нелепо взмахнул руками, словно дирижируя неведомым оркестром, упал,

Слаповский Алексей Иванович родился в 1957 году в Саратовской области. Закончил филологический факультет Саратовского университета. Прозаик, драматург. В «Новом мире» опубликован его роман «День денег» (1999, № 6). Живет в Москве.

грохнулся со всей силы спиной на то самое место, где лежала кожура, а головой на ступеньки, да так, что тут же умер, не приходя в сознание.

Пожалев Анисимова, вы тем не менее, конечно, спросите, за что я называл его героем в заглавии рассказа.

Очень просто.

Пусть он не совершил подвига, но ведь все-таки хотел! Он подумал об этом! А большинство, увидев кожуру в тот вечер, вообще ни о чем не подумало. Оставшееся же меньшинство в своем опять же большинстве подумало злорадно лишь о том, как хорошо, что они заметили кожуру и не наступили на нее. Были, возможно, отдельные сердобольные люди, подумавшие о других, кто может не заметить и наступить, но подумавшие отвлеченно, абстрактно и детерминированно. И лишь один Анисимов не только подумал, но и хотел принять меры. Какая вам разница, в конце концов, о чем мыслил тот, кто спас вас, а Анисимов именно спас кому-то если не жизнь, то здоровье.

Да, он сомневался, он даже в последний момент хотел уклониться от героической участи, но судьба назначила ему стать героем — и он стал им, поскольку от судьбы, как известно, не уйдешь.

ПУТЕШЕСТВИЕ ТЕХНОЛОГА ЛАПТЕВА

Технолог Лаптев проснулся и подумал: нет, наконец я должен ей это сказать!

А подумал он так о женщине Конягиной.

И он отправился на станцию, чтобы успеть на электричку в восемь двадцать пять, потому что ехать было далеко.

Но на станции обнаружил, что сегодня воскресенье и электричка в восемь двадцать пять отменена, а будет только в девять сорок. Вот до чего довели меня чувства, подумал Лаптев и стал ждать.

Чтобы скоротать время, он пошел к ларьку за бутылкой пива. Но продавщица сказала, что не только пива не даст, а он вообще должен ей двадцать семь рублей, имей совесть. У Лаптева было и больше, но если он отдаст двадцать семь рублей, ему не хватит на билет, а ведь ему нужно к Конягиной. Поэтому он быстро побежал домой, взял там двадцать семь рублей и отнес продавщице. И еле успел на электричку.

В электричке он ехал и смотрел в окно.

Но тут вошли хулиганы. Они стали хулиганить. Лаптев вышел в тамбур, ему не хотелось связываться с хулиганами, потому что они могли его избить или даже убить, а ведь ему нужно к Конягиной.

Но хулиганы тоже вышли в тамбур, стали пить, курить и ругаться матом. Тогда Лаптев хотел вернуться в вагон, но хулиганы его задержали и стали спрашивать: почему с нами не пьешь, может, мы тебе не нравимся? Лаптев сказал, что он выпьет. Ага, согласился на халяву, закричали хулиганы, ты сначала заплати, а потом пей! Нет, сказал Лаптев, тогда я не буду пить. Ага, закричали хулиганы, на халяву он согласен, а платить не согласен! Тогда просто давай деньги! Но Лаптев не мог дать денег, они ему самому были нужны, чтобы переехать с Киевского вокзала на Павелецкий и поехать дальше к Конягиной, которая жила далеко. Да и обратно надо на что-то возвращаться. И он сказал, что даст денег когда-нибудь потом, а сейчас не может. Но хулиганы не поверили и стали отнимать у него деньги. Он зажал карман и упорно не давал. Тут поезд остановился, двери открылись и хулиганы сказали, что сейчас они выкинут Лаптева, потому что им его и видеть-то противно. Лаптев подумал, что, если его выкинут, он неизвестно когда попадет к Конягиной. Пришлось ему самому выкидывать хулиганов. И он выкинул их, вздохнул с облегчением и поехал дальше.

Он переместился в метро с Киевского вокзала на Павелецкий, а там его остановили милиционеры, чтобы проверить документы. А Лаптев, как назло, не успел в связи с возрастом поменять фотографию. Он полгода назад это должен был сделать, но слишком был занят работой и мыслями о Конягиной. Он стал объяснять это милиционерам, а они повели его в пикет вымогать деньги. Всем нужны деньги, горько подумал Лаптев, но они мне и самому нужны. И по пути он вдруг рванулся и побежал. Он бежал очень быстро, а милиционеры скоро устали, потому что привыкли к мало-подвижной работе.

Но вот беда: Лаптев подвернул ногу.

Страдая и охая, он снял из-под рубашки футболку, забинтовал ногу и потащился к вокзалу, стараясь быть незаметным.

Наконец он сел в электричку и поехал.

Он проехал три станции, но тут вошла слепая старуха и пошла по вагону с протянутой рукой. Кто-то отвернулся, воспользовавшись, что старуха не видит, а кто-то дал на всякий случай. Лаптев бы и рад, но лишних не было. Тут вдруг старухе стало плохо, и она стала сгибаться и причитать, чтобы ее вывели и довели до станции, где у нее сноха. Все отвернулись, а Лаптев не выдержал, вывел старуху, довел до станции, а поезд в это время ушел. При этом снохи не оказалось, и Лаптеву пришлось вызывать «скорую помощь», ждать ее и утешать старуху, потому что она кричала, что сейчас умрет. «Скорая помощь» приехала и сказала, что у нее сердечный приступ и могла бы действительно умереть, впрочем, давно пора.

А Лаптев дождался следующей электрички и поехал опять к Конягиной.

Он доехал через полтора часа и стал еще ждать автобус. Автобус пришел, Лаптев влез, поехал, но через минут сорок автобус сломался посреди дороги.

Лаптев оценил степень поломки и пошел дальше пешком, потому что осталось всего семь километров. Правда, с вывихнутой ногой шлось трудно.

Но он все-таки дошел.

Уже смеркалось.

Он шел мимо дома, где во дворе была злая собака. Она увидела, что Лаптев идет тяжело, и подумала, что он что-то несет. А ее учили на воров, поэтому она зарычала, залаяла, бросилась на Лаптева и укусила его.

Лаптев берег здоровье больше, чем внешний вид. Поэтому оторвал рукав от рубашки и перевязал рану.

В девять часов вечера он позвонил в квартиру Конягиной.

Открыла ее мама и сказала, что Конягина ушла к соседу Мутину.

Лаптев пошел к соседу Мутину.

Мутин пил с друзьями. На вопрос о Конягиной он возмутился и полез на Лаптева, обзвав Конягину грязными словами. Пришлось ударить Мутина. Но его друзья накинудись на Лаптева, схватили и бросили с балкона третьего этажа.

Лаптев остался жив, но сломал вторую ногу. Он привязал к ней колышек и обмотал вторым рукавом рубахи.

И кое-как пошел опять к дому Конягиной.

Там он сказал ее маме, что ее у Мутина нет.

Ох, сказала мама, я забыла, она пошла к подруге Ситиной вышивать мулине.

Тогда Лаптев пошел к Ситиной.

Но Ситина сидела одна и не вышивала мулине, а, наоборот, смотрела телевизор и ничего не делала. Она пригласила Лаптева присоединиться. Но он ушел и пошел опять к маме Конягиной.

Ох, сказала мама, совсем я старая дура, оказывается, моя дочь все время была в ванной, а я и не знала!

Тут вышла и сама Конягина, вся чистая, розовая, прекрасная, и сказала: милый Лаптев, наконец-то.

Но Лаптев сказал: нет, Конягина, послушай. Ты мне надоела, я тебя больше видеть не хочу, и перестань меня преследовать.

Исполнив свой долг честного человека и мужчины, Лаптев удалился.

Он берег силы: ему предстоял еще долгий путь на родину.

ПО ВЕНАМ

Маришка бросила телефонную трубку и пошла в ванную. Стала рыться и искать, стараясь не шуметь: родители дома. Но ничего такого не было. Отец бреется одноразовыми бритвами, мать пользуется эпилятором. Сама дура, думала Маришка, сколько раз собиралась купить нормальные лезвия, чтобы были под рукой. Сейчас вот нужны — а нет. Она вышла и прошла в кухню.

— Спать не пора тебе? — спросила мать.

— Да, я только душ сейчас.

— Тогда спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Что-то она рано, подумала Маришка. И отец не сидит на кухне, как обычно, не курит, не пьет пиво и не смотрит телевизор. (Он смотрит здесь, потому что в комнате мать курить не разрешает.) Должно быть, решили заняться сексом. Обычно Маришке как-то смешно об этом было думать. Или неприятно? Нет, все-таки смешно. Или просто как-то странно? Мать, мама, мамусик (любит, когда Маришка так называет ее) вдруг превращается сразу в женщину — такую же, как сама Маришка, только старше, в полноватую женщину тридцати девяти лет с обвисшей грудью, рыхлой талией и широким задом, и вот она лежит сейчас, голая, в нескольких метрах отсюда, за двумя стенками, в сущности, рядом, лежит в темноте (света под дверь не видно, они выключают его сразу), а отец, высокий, ироничный, превратился в голого сорокапятилетнего костистого мужика с торчащими рыжеватыми волосами, особенно бородой, борода на голом теле всегда выглядит нелепо, Маришка это знает. Интересно, говорят они что-то друг другу или молча? Если отец умудряется шутить при этом, как при всем, что он делает, то он молодец. Если не шутит — значит... А что значит? Да ничего не значит.

Маришка, забыв, зачем пришла сюда, налила себе чаю, пила, глядя в чашку и представляя их. В подробностях. Потому что раньше все-таки было стеснительно, а теперь можно все. Потому что в последний раз.

Маришка фыркнула в чашку: надо же, чай пьет! Чтобы, что ли, пить не хотеть, когда будет уходить неизвестно куда? Дура — она во всем дура, сказала о себе мысленно Маришка с удовольствием откровенности. Я такая хорошая, а он со мной так? — клокотало в ней только что. А теперь все по-другому. Ни фига не хорошая, если честно, думает Маришка. Бываю нудной? Сколько угодно. Затрепала всех своими разборками. Давай выясним, давай поговорим. Проблемный человек это называется. А внешность? Ты бы сама себя сильно хотела, если бы женщиной была? Приглядишься внимательно. В папу — сухонькая, ножки тоненькие, носик остренький. В общем, ни кожи ни рожи, один гонор только. Да и не в хотении дело вообще. Нет просто смысла никакого. Не в том ведь ужас, что — ах, ах! — поссорились. Помиримся — будет хуже. Добьюсь ведь его, знаю ведь как. И сама его возненавижу. А отпустить не захочу. Детей рожу ему, идитоту. В двадцать пять буду на тридцать выглядеть. Целлюлит и все прочее. И так далее и тому подобное. Ужасно все скучно. Неохота. Ощущение такое, будто всю уже жизнь прожила. И — вспоминаю. Но — надоело вспоминать. До смерти.

Именно что до смерти.

Маришка выдвинула ящик, стала перебирать ножи, пробуя острие. Вот этот хорош. Как бритва. Выпить бы сейчас. Не для настроения, о настроении глупо думать, для анестезии. Тут же вспомнился дурацкий анекдот про человека, который собрался повеситься и увидел бутылку вина — и раздумал. Вот тоже, не успеешь ничего сделать — тут же анекдот выскакивает на эту тему. От одного этого стоит прекратиться всю эту канитель. Тоска.

Маришка тихо пошла в зал. Открыла то, что мать называет секретером, а отец баром. На самом деле это всего лишь отделение в шкафу. С дверкой. Голая правда прямых слов. Убиться просто. Купили этот шкаф год назад — и полгода разговоров друг с другом и гостями. Что похож на антикварный. Что у нас научились мебель делать. Что дерево — это дерево, а не дээспэ какая-нибудь. Что теперь под этот шкаф надо подобрать еще зеркало и часы, напольные часы, это стильно сейчас. Совсем недавно таких шкафов в помине не было, а теперь появились. Главное, дерево — это дерево, а не дээспэ какая-нибудь... Маришка увидела начатую бутылку водки. Чтобы не было лишних перемещений, тут же отвинтила пробку, сделала несколько больших и торопливых глотков, завинтила пробку, поставила бутылку без стука обратно, на цыпочках побежала в кухню, зажав рот. Села на стул и вся скукожилась, сморщилась. Было почему-то занятно, что она способна испытывать те же ощущения, что и раньше. Уже все по-другому должно быть, потому что она уже не здесь фактически. Она ведь такая: если что решила, слово держит.

Стало тепло и хорошо. Легко задышалось. Глаза увидели все ярко и четко. Сейчас бы закурить. И криминала нет: они знают, что она курит. Но не любят, когда на глазах. На балконе, в коридоре. А сейчас могут учуять запах, выйти, спросить: почему не спишь, почему сидишь тут куришь? Вот дела: даже у приговоренного преступника есть право перед казнью выкурить сигаретку. А у нее такого права нет. Смешно. Правда, никакой казни нет. Она ведь не казнит себя. Она просто решила. И очень твердо. Иначе действительно сойдешь с ума, а это хуже. Твердо, без порывов. Как бывает в порыве, она видела. Девочка Таня с дикими глазами ломанулась тоже в ванную, даже не закрываясь, схватила лезвие, там нормальное лезвие было, чирк по одной руке, чирк по другой. Шум, гам, радостная тревога (что-то настоящее случилось!), а она стоит и совершенно идиотски улыбается, глядя на свои руки. Обработали, забинтовали и только потом дали по морде.

Серьезные люди так не делают. Они делают просто и без шума. И без повода. Разговор по телефону — ерунда, если вдуматься. Она до этого решила. Бритву собиралась ведь купить? Собиралась. Значит... Сладостно-лениво было думать Маришке, что это значит. Да и можно теперь позволить себе не думать об этом. Все, в сущности, можно позволить. Но — одной. На пару люди позволяют себе гораздо меньше. В обществе — совсем мало. То есть вроде наоборот, всякие похабства, в том числе исторические, совершаются, как раз когда объединяется большое количество людей. Но речь не об этом, а о позволении высоком, вечном почти что. Ха, как занятно мыслить, не понимая собственных мыслей. Мик говорит: «Гармония души — когда к мелочам относишься как к великому, а к великому — как к мелочам». Где-то вычитал, наверно. И гордится. Глупый Мик. Глупые все. И останетесь здесь со своими глупостями. А я... и в низу живота горячо стало Маришке. Ожидание появилось. Предвкушение такое приятное. Не зря она подозревала, что есть в этом что-то эротическое. Сейчас проверим.

Она пошла в ванную, открыла воду, стала ждать, пока наполнится. Нож положила на стиральную машину.

Она сидела на краю и тупо глядела на воду. Что-то я даже ни о чем не думаю, очнулась она через некоторое время. Только о том, что неудобно и надоело сидеть на металлическом краю. Костлявой задницей своею. На

металлическом краю костлявой задницей своею. Стихи. Выйти и сочинить? Зачем? Нет в мире таких стихов, ради которых стоит откладывать. Ничего вообще нет такого. Маришка поймала себя на чувстве удовлетворения оттого, что наконец к ней пришли значительные и важные мысли, подобающие моменту, и усмехнулась. Кому какая разница, думает она что-либо перед этим или не думает? В том числе ей самой?

Ванна наполнялась, Маришку это не пугало. Наоборот, хотелось — скорей бы.

И вот — уже можно. Она легла, вытянулась, потянулась. Появилась уверенность, что все будет хорошо. Раньше это надо было сделать. Пальцы, берущие нож, чуть подрагивают. Но не от страха, от... слово есть хорошее, именно то. От вожделения, вот. Вожделею я, понятно? Кому понятно? А не важно. На самом деле ничьим пониманием не интересуюсь. Выйдите и закройте за собой дверь. Это только вам кажется, что вы остаетесь, а я уйду. Остаюсь как раз я, а вы идите себе дальше своей унылой дорогой. Езжайте, погромыхивая. Желтые дома станций. Традиционная окраска железнодорожных зданий, Маришка знает, поездила по белу свету.

Вот кабала инерции: Маришка почувствовала, что теперь обязана подумать о родителях. За маму, за папу. Почему обязана? Как почему: дочерний долг. Ладно, подумаю. Ну да, им плохо будет. Какое-то время. А потом горе свое понесут, как знамя. Сейчас-то у них ничего в руках нет, а будет очень интересное и даже в каком-то смысле замечательное горе. Они, обычные, сразу станут значительнее всех своих друзей и знакомых. Вам же всегда этого хотелось, разве нет? Так скажите спасибо мне, царство мне небесное, которого нет.

Маришка, неторопливо и с удовольствием размышляя, машинально водила кончиком лезвия по животу. Слегка так, нежно так. И, вот идиотизм, прямо возбудилась даже. Что ли взять душ и упругими струями доставить себе удовольствие? Ха. Протокол осмотра тела: «Судя по состоянию и консистенции... не важно, без подробностей... девушка занималась перед смертью одиноким сексом, предположительная причина самоубийства — неразделенная любовь».

Маришка отдернула нож от живота и резанула по руке и, не давая себе опомниться, тут же по другой. И тут же опустила в воду. Резко зашипало, потом, в воде, как-то заныло и потянуло, а потом стало как-то легко. И все легче, легче, легче... Я трахаюсь с богом по имени смерть, гениально подумала Маришка (она сейчас имела право называть себя и гениальной, и какой угодно). В животе опять стало горячо. Сейчас придет, подумала Маришка, невольно поторапливая, двигая ногами. Нож мешал и отвлекал, паскуда нож, который она уронила в воду. Она достала его и кинула на пол, на коврик, досадуя, что от этого красивые клубы крови смешались с водой и стали мутной заурадной жидкостью. И...

И вдруг — пустота. И не равнодушие даже, а скука. И не смертная, томлящая, от которой даже и хорошо с собой покончить, а никакая. Просто голая скука, когда и туда скучно, и сюда скучно, и назад, и вперед, и вверх, и вниз. Горячее в животе тоже ничем не кончилось, ни во что не превратилось, а тоже — в скуку. Облом. Не жмет, не тянет живот мой бедный, скучает, сука, и все дела. И надо бы, в общем-то, плюнуть на все и встать, но и это скучно. Хоть бы отчаяние, позвала Маришка, но и отчаяние не пришло на выручку, не явилось. А неровная муть кровяной воды кажется самым скучным зрелищем из всего, что Маришка видела в своей жизни. Обидно. Если смерть так уныла и безвкусна, то ради нее и жить-то не стоит, странно подумала Маришка. Но и от этого облегчения не было.

За дверью послышался голос отца. Скучный, сил нет. Потом голос мамы. Еще скучнее.

Господи, кому какая разница, что она делает, если ей самой все равно? И нелепое, тихое, и откуда, как будто не то, что за там, а когда бы, но бы не взялись рассеяно сеяно сели и шили шили шили бжючешеств...

ЦАПЛЯ

Орефьев перестал запира́ть дверь на ночь, чтобы, если он умрет во сне, не пришлось ее взламывать. А она металлическая, с тремя замками; два запирают саму дверь, а третий эти два. Воров же и грабителей он не боится. Он вообще перестал опасаться других людей с тех пор, как серьезно заболел. Он боится теперь только себя, вернее, собственного организма — да и то как-то уже привычно, почти спокойно. Или — обреченно. Правда, заодно Орефьев перестал получать от людей удовольствие, но, честно сказать, они его и раньше не очень-то радовали.

Проверив, не заперта ли дверь, он поливает цветы и растения, которыми украсило квартиру его семейство давным-давно, когда оно еще было.

После этого он пьет лекарства, в таблетках и жидкие, а потом с чувством исполненного долга смотрит телевизор, переключая с канала на канал, пока не наткнется на какое-нибудь старое кино, смотренное уже много раз.

Досмотрев кино, он ложится спать.

Ночью иногда спится, иногда нет, а иногда бывает приступ; Орефьев лежит и ждет, когда пройдет. «Скорую помощь» он вызывает крайне редко, ему всегда неловко перед усталыми врачами.

Вчерашняя ночь была средней: немного бессонницы — часа полтора, немного болей — обошлось без лекарств, потом сон без снов — и обычное хмурое и вялое пробуждение. Да еще дождь моросит третий день. Орефьев сел у окна пить чай и смотреть в окно. Там голые весенние деревья, легкий туман и пятиэтажный кирпичный дом; сколько помнит Орефьев себя, столько помнит его. Крыша дома когда-то была шиферной, а потом ее pokrыли жестью и покрасили в бурый цвет, она мокрая сейчас, но нигде не блестит: нет света, от которого блестеть. Трубы: восемь у гребня крыши и девять по краю. Орефьев часто задумывается об этой неравномерности, но ответа найти не может.

И тут он увидел птицу на одной из труб. И подумал: цапля. Ему показалось, что она высокая и стоит на одной ноге. И даже не удивился сначала: цапля так цапля. Чего только не увидишь в этом городе. Он даже отвернулся, чтобы спокойно допить чай, но тут же опять посмотрел за окно. Белая высокая птица на одной ноге. Точно, цапля. Откуда? Довольно долго Орефьев раздумывал над этим, а птица все торчала на трубе, словно давая Орефьеву время рассмотреть себя. Видно было плоховато, не помогли даже очки. Жаль, нет подозрной трубы. Как глупо растрочены время и деньги. Когда появились в изобилии новые вещи и возможность их иметь, семья обзавелась многим, в том числе, кстати, и металлической дверью, а вот подозрную трубу не пришло в голову купить, и это даже странно, учитывая, что Орефьев в детстве мечтал стать моряком, стоять на палубе и смотреть в подозрную трубу. И ведь он даже несколько раз видел бинокли и подозрные трубы в каких-то магазинах, поразившись доступным ценам на них, но вот не взял, выбирая срочное и насущное.

Орефьев, не желая бесплодно гадать, позвонил лучшему другу Сурилову.

— Кого я слышу! — весело сказал Сурилов. — Привет! Надеюсь, у тебя все в порядке?

Орефьев улыбнулся. Сурилов знает, что у него давно не все в порядке. Он ожидает жалоб, сетований или просьб (при этом, кстати, в помощи никогда не откажет). Сейчас он удивится глупому вопросу, а Орефьеву это заранее приятно, ибо глупые вопросы задают только здоровые и жизнелюбивые люди. Остальные или все знают, или молчат.

— Ты у нас умный, — сказал он Сурилову. — Ответь, пожалуйста, цапли в городе живут?

— В каком? — деловито спросил Сурилов.

— В нашем.

— Вряд ли. Ни разу не видел и не слышал.

— А я вижу. Напротив сидит на крыше.

— Ты что-то путаешь.

— Говорю тебе, цапля. Клюв длинный, высокая, на одной ноге стоит.

— Может, аист? Хотя аисты у нас тем более не живут. Или кулик какой-нибудь? Но кулики живут на болотах. И у них клюв такой тонкий и изогнутый, я в энциклопедии видел. У этой не такой?

— Вроде нет.

— Вроде? У тебя зрение минус или плюс?

— Минус пять.

— Ну, тогда ясно.

— Что тебе ясно? — рассердился Орефьев, радуясь своей сердитости.

— Слушай, тебе делать, что ли, нечего? — рассердился и Сурилов. Он, видимо, и впрямь подумал, что Орефьев сейчас совершенно здоров, а на здорового человека можно и рассердиться. — Ну пусть цапля — дальше-то что?

— Да ничего. Просто думаю, откуда взялась?

— Откуда взялась, туда и денется! — рассудил Сурилов. — А мне некогда, извини!

После этого Орефьев позвонил еще нескольким давним знакомым. Они сначала удивлялись забытому ими Сурилову, потом вопросу о цапле. Говорили разное. Прокофьев сказал: она от стаи отбилась. Валя Малышева сказала: если и залетела в город, все равно сдохнет, тут и люди-тодохнут от этой экологии, а цапля тем более сдохнет. Минин сказал, что у него авария и ему сейчас в милицию идти, не до цапель. Лукьяненко сказал, что он однажды на окраине города встретил лису. Но все, это было ясно, сомневались. Однако боялись свои сомнения высказать, чтобы не задеть Орефьева. И он понимал их, он рад был отметить в душе их сердоболье: значит, они все-таки не такие уж плохие люди.

Активней всех отреагировал Степенко Аркадий, потому что он был зоолог, а сейчас собачий ветеринар и изучал когда-то орнитологию. Не морочь мне голову, нервно сказал он, не может этого быть. Орефьев мягко настаивал. Аркадий, схватив книгу, горячо, как стихи, прочел оттуда про цапель, а заодно, чтобы прикончить недоразумения, про аистов, журавлей, куликов, фламинго и прочих птиц, имеющих привычку стоять на одной ноге. И никто из них, четко говорилось в книге, в городах не живет.

— Да что ты волнуешься? — спросил Орефьев. — Ну не цапля так не цапля.

— Но ты-то утверждаешь, что цапля!

— Мало ли что я утверждаю.

— То есть ты не уверен?

— Да нет, почему? Цапля, я же вижу.

— Твою-то мать! — выразился Аркадий. — Я вот сейчас приеду — и я не знаю, что я с тобой сделаю!

— Приезжай, убедишься!

— На дешевые розыгрыши не поддаюсь! — совсем разозлился Аркадий и бросил трубку.

Но через минуту сам позвонил.

— Слушай, зачем тебе это надо? Про каких-то цапель придумывает! Ты не свихнулся там совсем?

— Я не придумываю. Я не виноват, что она напротив сидит. На трубе.

— Идиот! — закричал Аркадий и опять бросил трубку.

И опять позвонил.

— Ладно, — сказал он. — Не будем по пустякам. Я действительно, может, заеду как-нибудь. Тебе ничего не надо?

Орефьев прекрасно его понял. Проявлением доброты Аркадий хочет выторговать себе спокойствие. Он как бы говорит: видишь, я с тобой по-человечески, будь же и ты человеком, скажи, что нет никакой цапли. Но Орефьев испытал странное маленькое наслаждение оттого, что может быть немилосердным, как все нормальные люди.

— Спасибо, Аркаша, у меня все есть. Разве что подзорную трубу или бинокль, чтобы цаплю рассмотреть!

— Ну ты дурак, ну и дурак же ты! — закричал Аркадий чуть не со слезами. — Кому ты сказки рассказываешь? Я профессионал! Я этими вопросами всю жизнь занимаюсь! Ни одной цапли в нашем городе и в наших местах не было никогда — и не будет! Понял меня? Думаешь, ты больной и тебе все можно? Я сам погибаюсь, между прочим, еще неизвестно, кто кого на свои похороны позовет! И все, не звони мне больше!

Орефьев посидел, подумал, улыбаясь, и пошел к окну. Сел и стал смотреть на белого голубя. Потому что это был голубь. Белый голубь. Это Орефьев понял буквально через мгновение после того, как ему показалось, что это цапля. Показалось спросонья, из-за тумана и плохого зрения, из-за того, что на фоне белесого неба голубь показался каким-то вытянутым и длинноклювым.

С одной стороны, Орефьев, получается, придумал цаплю, сыграл в то, чего нет. Но с другой, если он верил в цаплю хоть немного, значит, она была, вот эту цаплю он и защищал, за нее он и бился в телефонных разговорах, пережив несколько по-настоящему бурных и жизнедеятельных минут.

К тому же если уж возникла мысль о цапле на трубе городского дома, то почему бы не возникнуть и самой цапле? Что в этом невероятного?

Значит, может стать вероятным и другое невероятное. То есть, в сущности, все.



ВАЛЕРИЙ ЧЕРЕШНЯ

*

СИРОТСТВО ВОЛХВОВ

* *
*

Я видел смерть пчелы — она не легче,
чем смерть людей: крутясь от боли,
ползла, крылом земли касаясь,
другим — за равнодушную траву
цепляя.

В легкий мусор
пока не превратившееся тельце
сжималось и крылом еще дрожало,
уже не певчим.

Все же — легче.
Я думаю, что страха чуть поменьше.
И глупости. И жалости к себе.

Памяти В. Аллоя

...or not to be?

Не боли боишься. Все боли
Терпимы, доколе терпимы.
Боишься быть варваром воли,
Круша беспощадно, до голи.
А вдруг — неуничтожимым

Окажется все, даже тучи,
Что краем любви проходили,
И каждый случившийся случай,
И скучная банька паучья,
И что там еще нам сулили?

Боишься, игрушку ломая,
Опять не добраться до сути:
Поломка лежит дорогая,
Отчаянье, приступы мути,
И детство уходит, рыдая.

* *
*

Это значит: никто и нигде,
Никогда.
Это значит: круги по воде,
А вода,
Проступая сквозь войлок болот,
Доставая с небес,
Неизбежную песню поет,
Песню — плеск.

Так прислушайся к ритму ее:
Мерный кач
Как целебное пей мумие.
Мумий плач,
Их оскал, обращенный векам,
Темный вой...
По изгибу лежалых лекал
Ясен крой.

Ты прельщался волнением лихим:
Легкий взрыв
Опадает осадком сухим,
Сущность скрыв;
Но и штопора грубый бурав,
Злая ось,
Зависает в пустотах, не прав
Тем, что — сквозь.

И тогда остается пробел
Между волн,
Где спасительный плещет предел,
Счастьем полн.
Помнишь, в детстве играл в пустоту,
В суть ее:
Что там держит ребенок во рту?
Ни-че-го.

* *
*

В какой-то ласковой Италии
У глубокого фонтана,
Где утром небеса вставали и
Под ними ластилась Тоскана.

В какой-то ласковой и лодочной,
Где клавиши гондол с оркестром
Двойных дворцов играли точную,
Родную музыку Маэстро

В какой-то бережной, где ладили
Простор с уютом, блеск с ужимкой,
Где мы с тобой глазами гладили
Холмы со знаменитой дымкой.

Где плыл бульвар широколистьями,
Укрывшими зеленой плотью
Нас, взятых легкими и чистыми,
Как мошек, любящей щепотью.

На смерть...

1

Он не заметил перехода.
Проснулся — тот же снег кругом,
вот только странная свобода:
как будто совершило взлом
то непостижное, что тесно
болело из глубинной тьмы.
Теперь ему просторно, пресно
и не хватает той тюрьмы.

2

Чуть изменившиеся воздух,
вода и зимние цветы.
Что согревало стих и прозу
библейским ужасом тщеты?
Что различало вкус у хлеба
и смысла слабые следы?
Все — цвета северного неба
и вкуса питерской воды.

3

В пристрастиях, возможно, мы б сошлись:
и мне воруа ближе кровопийцы,
но здесь их столько, что уже убийцы
от вора в темноте не отличишь.
А тьмы хватает в дни, когда молчишь,
светает в десять, и душа в берлогу
надолго залегла. В комод полезть:
рубашки приготовлены к итогу,
как будто ты уже и вправду — персть.

4

Смерть — таинственный божок,
смерть — прекрасный пастушок,
что на дудочке играет,
странны песенки поет,
за собой туда ведет,
где никто не обитает
и не видно ни черта,
но — проведена черта.

5

То, что нам волю к говоренью
вложило в слабые тела,
простит избыточность горенья
за крохи чадного тепла,
за неразумие усилий
потраченных, чтоб впасть в свое,
за речь, которую любили,
и ужас пошлости ее.

6

Сиротство волхвов, идущих к младенцу,
сиротство младенца, лежащего в яслях,
и Девы, стоящей в дверях с полотенцем,
слегка обернувшись, спокойное счастье
уже не найдут своего песнопевца, —
разорвано время, пространство и сердце.
Он вышел в молчанье.

И ночь Рождества
не даст им согреться в приюте стиха.

В парке

Утка плывет — по глади пруда
Расширяется буква «А»
До неслышного плеска в дремучей тиши.
И колышутся камыши.

А в небесном лице, словно бельма слепца,
Кучевые курчавятся облака
И, как те же слепцы, бесконечно бредут,
Опрокидываясь в пруд.

Этих трав и просторов, холмов и равнин
Только ветер — единственный господин,
Только взгляд принимает к их скрытной судьбе,
Возвращаясь к тебе.

Посиди, посмотри, подыши, полетай,
Только вой равносильен всему, только лай,
Только ты равносильен, наполнившись всем,
Исчезая совсем.



ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

А. А. РЕФОРМАТСКИЙ

*

ИЗ «ДЕБРЕЙ» ПАМЯТИ

Мемуарные зарисовки

Об авторе публикуемых мемуарных заметок читатель, возможно, слышан, в особенности если он причастен к миру словесности. Александр Александрович Реформатский (1900 — 1978) — видный ученый-языковед, представитель московской лингвистической школы, известный своими научными исследованиями, преподавательской деятельностью, лекторским мастерством. Из-под его пера вышло немало работ по разным проблемам лингвистики, и среди них неоднократно переиздававшаяся книга «Введение в языковедение», включенная сейчас в серию «Классический учебник». По ней вступали и продолжают вступать на профессиональную стезю многие поколения филологов.

Его своеобразный тип ученого и человеческий облик нашли отражение в научных статьях коллег и мемуарных очерках слушателей лекций, учеников и близких. В их числе немало авторов «Нового мира» (К. Ваншенкин, Н. Коржавин, Ю. Трифонов, А. Турков)¹. Яркий портрет оставила писательница Н. Ильина² — ученица, а позднее жена Александра Александровича, автор публицистической и сатирической прозы, публиковавшейся на страницах «Нового мира» в эпоху А. Т. Твардовского. (Сам Александр Александрович здесь не печатался, хотя с Твардовским водил доброе знакомство и пользовался его душевным расположением.)

Почитателей Реформатского привлекал в его натуре языковой дар, раскрывающийся во всех сферах — научной и бытовой, письменной и устной, публичной и частной. Это дало повод создать корпус очерков³, описывающих Реформатского как языковую личность, как исследователя языка и одновременно его носителя, прочно привязанного к корням отечественной культуры. В этом году вышло научно-популярное сочинение А. В. Суперанской «Любители слова. Языкознание для детей», где главному персонажу — собирательному образу ученого-лингвиста — присвоено имя профессора Реформатского, как пишет автор, «в знак уважения его заслуг перед русской культурой». Если, вслед за Иосифом Бродским, считать, что лучшее, чем обладает каждая нация, это ее язык, то придется признать, что Реформатский удачно определил направление своих занятий. Лингвистика оказалась для него областью избранной и верховной, в ней сфокусировалось многое: и дарование ученого, и бесспорные потенции личного словесного творчества.

За исключением некоторых публикаций в ранние годы, Реформатский свои нелингвистические опусы к печати не готовил. Даже статьи, посвященные друзьям-коллегам (по случаю их юбилея или кончины), нередко далее стенгазеты не шли. Зато его домашний архив пополнялся из года в год: здесь оседали работы по поэтике (дань «формалистическим» увлечениям молодых лет), рукописный литературно-философский

Публикация, подготовка текста, предисловие и примечания М. А. РЕФОРМАТСКОЙ.

¹ «Воспоминания о Литинституте. 1933 — 1983». М., 1983; Турков Андрей. Старый дом, старый друг. — «Искусство кино», 1999, № 8, стр. 53; Коржавин Наум. В соблазнах кровавой эпохи. — «Дружба народов», 2000, № 12, стр. 24, 30.

² Ильина Н. Реформатский. — В кн.: «Дороги и судьбы». М., 1985, стр. 507 — 591.

³ «Опыт описания языковой личности. А. А. Реформатский». — В сб.: «Язык и личность». М., 1989, стр. 149 — 212. Полный список литературы о Реформатском приведен на стр. 151 — 152.

журнал «Дружина», составленный соучениками-филологами (Реформатский представлен там в разных ролях — от редактора и автора статей до прозаика и обозревателя музыкальной жизни Москвы за 1925 — 1926 годы). К тем же 20-м относятся повести и рассказы, способные, как полагают специалисты, расширить наши представления об общих процессах в литературе послереволюционного периода.

В тумбе письменного стола Александра Александровича остались многочисленные папки — настоящие бумажные дебри! Не по хаотичности содержащегося в них (сам автор все тщательно классифицировал по темам), а по обилию жанров и качественной разношерстности. Вынесенное в заголовок слово восходит к французскому «debris» — осколки, разрозненные фрагменты. Этим словом были маркированы тетради, которые Реформатский вел на протяжении 20 — 30-х годов. Он заносил туда выписки из лингвистической литературы и художественной классики, пришедшие в голову мысли и житейские наблюдения, анекдоты и реплики, услышанные на улице, диалектные словечки и неожиданные обороты речи, забавные эпизоды и хронику собственных путешествий. Многие из этих записей послужили исходным материалом для лекционных курсов, научных работ и мемуарных очерков. К последним Александра Александровича, как он сам выразился, «влекло нещадно», в особенности когда на него находила тоска и он был в разладе с миром. Даты его мемуарных очерков — конец 40-х — начало 50-х и конец 60-х — 70-е годы — периоды идеологической реакции. Обычно, покончив с дневными трудами и опрокинув — увы, не одну — заветную чарочку, он углублялся в свои тетради-debris в поисках нужных осколков минувшей жизни, сводил отдельные записи в связный текст или выстраивал своеобразную сюиту из разрозненных кусочков, подобно художнику, пишущему картину по натурным зарисовкам, или мозаичисту, складывающему панно из мелких камешков. Ему доставляло радость само погружение в это занятие, словно переносящее его в некогда пережитую атмосферу живого общения с дорогими его сердцу людьми.

Реформатский в последние свои годы писал: «Я ее [жизнь] прожил не без волнений, но, в общем, удачно. „Кривая“ меня много раз вывозила! А люди кругом были замечательные!»

К этим замечательным людям и относятся герои предлагаемых мемуарных зарисовок. Оба принадлежали к числу выдающихся деятелей культуры. Один — Дмитрий Николаевич Ушаков (1873 — 1942) — известен неутомимой работой на языковом поприще, увенчанной изданием знаменитого «Толкового словаря русского языка» (1935 — 1940), другой — Александр Давидович Древин (1889 — 1938) — живописец, поражающий необыкновенным интуитивным даром, экспрессией, тончайшей одухотворенностью. Ушакова чтили и признавали при жизни, Древина ценили коллеги, но официальная критика подвергала разносу. Настоящее признание пришло после смерти. Сейчас очевидно, что Древин, как и его жена Надежда Андреевна Удальцова (1886 — 1961), о которой с большой признью упоминается в мемуарах, относятся к центральным фигурам нашего художественного процесса.

С Ушаковым Реформатский был знаком со студенческих лет. Ученичество вскоре переросло в научное сотрудничество и почти сыновнюю привязанность. Для Александра Александровича квартира Ушакова в Сивцевом Вражке, почитавшаяся в Москве лингвистической Меккой, была родным домом. Их разлучила война. Ушаков, уехавший в Ташкент, не вынес тягот эвакуации, чуждого климата, отлученности от научной среды. Он умер в Ташкенте 17 апреля 1942 года. Древина Александр Александрович потерял еще раньше. С их последней встречи не прошло и месяца, как Александр Давидович был арестован и 26 февраля 1938 года расстрелян.

Герои очерков Реформатского олицетворяют собой две его главные страсти: любовь к слову, вылившуюся в его профессию языковеда, и любовь к природе, с которой он сживался во время охотничьих путешествий. Своими охотничьими рассказами он вписывается в традицию русской литературы от Аксакова и Тургенева до Пришвина, с которым был лично знаком. В занятиях охотой для этих людей был важен не результат, но самый процесс, переживание незабываемого наслаждения, которое доставляет весенняя тяга или охота на зайца по первому снегу. Когда в конце жизни Александру Александровичу изменили физические силы и охотничьи поездки прекратились, он не забывал впечатлений этих далеких дней: «А в березняках-то, поди, хорхают? А на

жнивьях-то, поди, чуфыкают? А жизнь-то прожита...» — писал он моей маме⁴, тоже увлеченной охотнице и его многолетней спутнице в охотничьих странствиях.

Заметки об Ушакове были частично использованы автором при написании статьи к столетию со дня рождения Дмитрия Николаевича⁵. Я сочла возможным дополнить архивный текст несколькими фразами из печатного варианта, заключив их в квадратные скобки. Очерк о Древине печатается с незначительными сокращениями по варианту, который был составлен Реформатским в 1974 году к вечеру памяти Александра Давидовича в московском клубе искусствоведов на Кузнецком мосту.

Дмитрий Николаевич Ушаков

Дмитрий Николаевич был самым очаровательным человеком, каких я встречал в жизни: живой, умный, изящный, точный, озорной — редкое сочетание качеств в одном человеке! И все это в соединении с исключительным благородством мыслей и чувств, с безупречной честностью в науке, в деятельности и в жизни.

И его любили не только мы, его ближайшие ученики, его близкие и домашние друзья, его любили и учителя, и ученые разных стран, и студенты, и простые люди.

Не любили его чиновники, сектанты марровского толка, завистники и мракобесы.

Располагал к себе Дмитрий Николаевич прежде всего своей внимательностью, простотой и «уважительностью» к любому, кто к нему приходил. Он ни к кому не относился наперед неуважительно, хотя умел острым прозвищем, колким юмором и пародией заклеить и дурака, и жулика, и полноценного мерзавца.

В Дмитрии Николаевиче было много «чеховского» — и его отвращение к фразе, его простота и изящество, его тонкий юмор. Недаром в его кабинете рядом с Пушкиным висел и портрет Чехова. Это были его любимые писатели.

И до чего же он понимал и чувствовал людей, и как его коробила любая фальшь и пошлость. А это тоже ведь «чеховское». К тому же Дмитрий Николаевич замечательно читал Чехова (в ВТО и в Институте русского языка АН СССР есть запись в его исполнении рассказа Чехова «Дачники», сделанная для артистов и чтецов). [Слушая эту запись, можно получить удовольствие от «музыки речи» исполнителя и его артистического дарования.] А какой он был рассказчик и собеседник! Великолепный мастер и знаток русской речи и талантливейший хозяин интонации и повествования. И все так просто и непринужденно.

Для нас, его ближайших учеников, он всегда был образцом и идеалом человека, учителя и друга. Когда Дмитрия Николаевича не стало, мы осиротели. Для меня Дмитрий Николаевич был гораздо ближе родного отца. После смерти Д. Н. я стал сиротой.

5/ХІІ 62.

1

Впервые услышал я о Дмитрии Николаевиче от моей матери¹, когда она в зрелых годах (40 с лишним!) решила получить высшее образование и поступила на Высшие женские курсы. И вот все сидела и учила: «Мыжжыла, атедзбыл...»² А как-то раз пришел я из театра и вижу — записка от мамы: «Сдала Дмитрию Николаевичу и на „весьма”. Мама».

⁴ Реформатская Надежда Васильевна (урожд. Вахмистрова; 1901 — 1985), литературовед, мемуарист. В 1923 — 1956 годах жена Реформатского.

⁵ Реформатский А. Дмитрий Николаевич Ушаков. (К столетию со дня рождения). — «Русский язык в школе», 1973, № 1, стр. 95 — 98.

2

Впервые лично я увидел Д. Н. в университетской, большим амфитеатром, аудитории на знаменитом и традиционном его «просеминарии» по русскому языку, где молодые лингвисты получали гораздо большее крещение, чем на лекциях по «Введению в языковедение», которое читал очень учено, но не слишком увлекающе высокообразованный В. К. Поржезинский³.

Здесь, у Д. Н. на просеминарии, говорилось обо всех языковедных вопросах; их ставил и сам Д. Н., ставили и наиболее «храбрые» из студентов. Лучшей школы для начинающих лингвистов трудно себе представить. Тут были и случаи прямых и переносных значений, и народные этимологии («Дрова-то выложены с проблемами»), и грамматические случаи «у куме» и «вода пить», и вопрос о «фрикативном» в русском литературном языке... Тут было и сходство и различие языков, и звуки и буквы, и «вещественное и формальное значение».

[Это было незабываемое «введение в науку о языке» и на живом, нам понятном материале!] И все это — как бы играя, в манере беседы и «рассказов кстати», причем любую ересь «храброго» первокурсника Д. Н. переносил удивительно уважительно.

3

Как в этом очаровательном просеминарии, так и в своих курсах, и в уже «серьезных» семинариях Д. Н. сохранял свой стиль и метод. Даже многие лекции переходили у него в исследовательскую беседу, когда он ставил вопрос и начинал нас опрашивать: как мы произносим, как мы понимаем, как «чувствуем» какую-нибудь форму.

Вот это поразительное чувство равенства, которое Д. Н. считал для себя обязательным с любым собеседником — будь он академик, учитель, студент или школьник — или даже непричастный к языковедению человек, — оставалось у него всегда.

4

Помню мой первый экзамен у Д. Н. — на паперти университетской церкви. Он дал вопросы, и лишь только я начал отвечать, как экзамен перешел в беседу, где мы по очереди ставили вопросы, и Д. Н. говорил и отвечал так, будто мы сидим у камина. Так было и во всех других случаях, когда я и мои товарищи приходили к Д. Н. экзаменоваться или советоваться о семинарских или о «кандидатских» работах и когда, гораздо позднее, мне приходилось вместе с Д. Н. принимать аспирантские экзамены. Последнее особенно показательно (это заставляет меня прыгнуть в 30-е годы, но хочется сразу досказать).

Помню, как мы принимали «фонетический вопрос» у аспиранта ИФЛИ В. Д. Левина⁴ (бывшего моего и Р. И. Аванесова ученика по Городскому пединституту), был и Г. О. Винокур — научный руководитель Левина. Дело было в Сивцевом Вражке, у Д. Н. на квартире. Левин рассказывал о классификациях русских согласных; рассказывал дельно, знаяще, с огоньком. Д. Н. был явно доволен. Но почему я именно здесь об этом говорю? Было четыре человека, разного возраста и положения, был серьезный вопрос, который всех интересовал, и как Д. Н. совершенно «на равных» говорил и думал. Он не поучал, не подвергал испытанию, а опять же беседовал, выяснял спорные места, ставил вопросы не только Левину, но и Винокуру, и мне, и себе. [Так незаметно экзамен перешел в дружескую беседу трех поколений лингвистов.] А потом, конечно, пили чай, знаменитый «ушаковский чай»!

5

Так же Д. Н. говорил и с «начальствами». В 1936 — 1937 годах мы с Д. Н. регулярно ходили к А. С. Бубнову⁵, тогдашнему наркому просвещения, на Чи-

стые пруды для постатейного чтения «Свода орфографических правил», составленного Орфографической комиссией Наркомпроса, где Д. Н. был председатель, а я — ученый секретарь. И тут Д. Н. «беседовал» так же, как дома, как со студентами и аспирантами или со своими друзьями. Бубнов это сразу понял, мы пили чаек, иногда А. С. отклонялся в воспоминания о революционных делах прошлого или при нас же отчитывал своих «начальников департаментов», причем и покрикивал иной раз: «Черт вас всех подери!» — и тому подобное, сильно грассируя. Так что у нас с Д. Н. остались самые приятные воспоминания от этих бесед.

6

С моей легкой руки все мы имели прозвища. Общее для нас было: «Ушаковские мальчишки», выдуманное какими-то зоилами, но нам это нравилось, и мы с гордостью носили эту кличку. [Вышло как в свое время ироническая кличка «могучая кучка»: не в насмешку, а во спасение.] А «внутри» были свои клички и прозвища. Сам Дмитрий Николаевич назывался *Шер-Метр*, причем обе половины сего наименования склонялись: Шер-Метр, Шера-Метра, Шеру-Метру и т. д., а ударение притом — наконецное. О самостоятельности обеих половин этого «шеронима» может свидетельствовать тот факт, что дочь моя Мария, будучи во младенчестве, называла Д. Н. — дедушка Шер.

С. И. Ожегов назывался — жидовин Ожеговер, с эпитетом «бабьскъ ходокъ» в свете его успехов в среде женского пола (по деловой линии Шер-Метр называл его Талейраном). Г. О. Винокур (имевший в более молодые годы сложносокращенное наименование ГригѳсВин) назывался Цвятюк, что шло и от его соответствующих качеств, и от реплики Достигаева в «Егоре Булычеве» на сообщение мадам Звонцовой прослушать анекдот: «Это такой цветок!» — «Хорош цвятюк!» У А. М. Сухотина была кличка Феодал, в силу его дворянского воспитания и особых талантов и интересов, иногда возникало и «анларжисман»⁶ Феодал-Титькин через песенку: «Сухотин, Сухотин — пташечка...» посредством ступени «Сухотин, Сухотин, Сухотитечкин...», откуда: Сухотитькин и просто Титькин. Р. И. Аванесов прозывался Крупный, т. к. в одной ведомости на «литербеторное снабжение» (паек по литере Б) Р. И. был поименован: «крупный профессор». А. Б. Шапиро именовался Обраменько Борищ (где намек на «Синтаксис» педагога Абраменко, коего как автор учебника заменил А. Б.). При этом фамилия А. Б. склонялась по 1-му склонению: у Шапиры, к Шапире, с Шапирой... М. В. Сергиевский был возведен в шотландский ранг яко: мак-Сим, а я имел два наименования: бытовое — Шерелев и «парадное» — Александр, глаголемый Сукин (по имени одного персонажа «Истории о Великом князе Московском» А. М. Курбского, о чем я писал «кандидатскую» работу Д. Н., оканчивая университет).

Когда Д. Н. исполнилось 65 лет, решили мы его «фетировать». Сложившись, послали нас с Винокуром по букинистам, где у известного нам Александра Сергеевича Бурдейнюка (что возле Художественного театра) купили мы шеститомный словарь польского языка Линде⁷, а попутно сочинили приветствие Д. Н. в виде пародии на строки Евангелия, помещенные в «Пособии для просеминария»⁸ Д. Н., по которому мы все учились. Начиналось дело с дательного самостоятельного, а «влъсви, пришедше поклонитися» учителю, были обозначены в вышеуказанных наименованиях.

Собрались сперва у меня, день Татьянин — 25 января 1938 года — выдался морозный, знойкий. Обсудили процедуру, кто могли, выпили с морозу и пошли. Каждый нес один том словаря Линде и готовил «слова». Так и вошли в любимый дом: Сивцев Вражек, 38. Там, конечно, нас ждали и прочее... До чего же мы любили этот дом! И как там было все «свое». Д. Н. чувствовал себя в этот вечер хорошо. Пришедший с нами милый человек Константин Александрович Аллавердов, выпив третью, встал и сказал: «Я буду краток. Уша-

ков — это культура! Пью!» — и выпил четвертую. Дальше пошли всякие тосты. Очень изящные тосты произнес Сухотин касательно способностей Д. Н. в области живописи и инженерии. Я что-то пытался тщетно изобразить вокруг темы: Д. Н. — наш учитель, а Бодуэн⁹ — заочный-де и тоже и между прочим — проче... Но запутался, и ничего не вышло (хорош был!). Тогда «взял слово» оный жидовин Ожегов (который перед тем в передней, приложившись к содержимому моего внутреннего кармана шубы, сильно плясал с престарелой соседкой Варварой Гавриловной), встал в позытуру и... откашлялся, многообещающе махнув рукой. И так, покачиваясь, «еще раз и еще много, много раз...». Д. Н. внимательно слушал и через 20 минут промолвил: «Пушка на колесах!» Сие наименование в дальнейшем также украсило чело С. И. А вечер-то все-таки был прекрасный! И запомнился навеки.

7

Когда я впервые в 1934 году пробовал читать курс «Введение в языковедение» и доходил до основ грамматики, то невольно пытался построить эту лекцию так, как ее читал Д. Н., а у него это была одна из самых блестящих лекций, где все рассуждение строилось на «модельных» (и бессмысленных) словах: велый, веловатый, веленький, велить, отвеливать, вельнуть, велее и т. п., т. е. это была своего рода «глокая куздра» Л. В. Щербы. Пытался и я так читать, и... ничего не выходило! Странно, думал я, ведь у Д. Н.-то выходило, да еще как выходило! А у меня вот не выходит... Пришел поплакаться к Д. Н. Он выслушал и говорит: «А вы, Шерелев, бросьте и передумайте все по-своему, так будет лучше!» Я последовал его совету, и действительно, вышло гораздо лучше. Эту мудрость я запомнил на всю жизнь и всегда внушал это своим ученикам.

8

Звонит как-то Д. Н. по телефону и рассказывает, что у одного преподавателя ИФЛИ, где Д. Н. заведовал кафедрой, Ожеговера (это С. И. Ожегов) какие-то недоразумения со студентами, и добавляет, что «он, студент-то, и всякий бывает, но его, сукиного сына, любить надо, тогда и дело пойдет на лад».

9

Д. Н. часто мне говорил: «Тот не лингвист, кто ни разу не увлекался фонетикой». Я не только охотно этому поверил, но и претворил завет моего учителя и в свою биографию, и в биографии моих учеников. Понаблюдав разных «лингвистов», я утвердился в мнении, что это правильно.

10

О том, как надо читать лекции, Д. Н. мне рассказал одну поучительную историю. «Читал нам Фортунатов готский язык, как всегда, на широком фоне сравнительного языковедения и обязательно „по-своему“, а не по чему-то писаному. Одна из этих лекций была особенно памятна по новизне и своеобразности трактовки вопросов. Приходим в следующий четверг, Фортунатов говорит: „Все, что я изложил вам в прошлой лекции, — неверно. Я это понял за неделю. Прошу зачеркнуть вашу запись, а я изложу вам эти вопросы сегодня совсем иначе“. И прочитал совершенно иную лекцию. „Вот, если даже в пустяке ошибешься на лекции, обязательно надо об этом сказать студентам, чтобы они ’зачеркнули’“».

11

В начале века образовалась Московская диалектологическая комиссия, ее председателем был Ф. Е. Корш, ученым секретарем и заместителем председателя — Д. Н. (после смерти Корша в 1915 году председателем стал Д. Н.).

Когда Ушаков приходил к Коршу подписывать протоколы и прочие «бумажки», Корш «входил в ритм» и, подписывая, почти приплясывал. «Наконец я понял, — говорил мне Д. Н., — что он приплясывает это на мотив „Кама-ринского“; он пританцовывал свою подпись „А-ка-де-мик пред-се-да-тель Федор Корш“».

12

В 1933 году при Научно-исследовательском институте ОГИЗа удалось организовать подготовку «Справочника корректора», где предполагался большой раздел орфографии. Составляли этот раздел я и Владимир Николаевич Сидоров, но 13 февраля 1934 года, в тот день, когда были спасены челюскинцы и в их числе О. Н. Комова¹⁰, Володина сестра, самого Володю изъяли и выслали. Его работу я передал А. М. Сухотину. Обоюдными усилиями удалось кое-что накопить и систематизировать. Но встал вопрос: «кто утвердит» наши параграфы к публикации?

Летом 1934 года, узнав, что в Академии наук затеяли орфографическую комиссию, я написал письмо возглавлявшему эту комиссию С. П. Обнорскому, интересуясь, в каком плане пойдет работа, какие будут рубрики и принципы унификации орфографии? С. П. Обнорский любезно мне ответил, но их система мне показалась неубедительной. Тогда я решил подбить на аналогичное предприятие Д. Н. Ушакова. Пошел к нему в октябре 1934 года, показал ему письмо Обнорского и высказал свои соображения. Д. Н. они показались убедительными, и так была в октябре 1934 года «решена» Орфографическая комиссия Наркомпроса. Получить санкции и средства взял на себя Д. Н. В качестве членов наметили А. Б. Шапиро, Р. И. Аванесова и экс-оффицио М. В. Сергиевского (он был в то время председателем Ученого комитета Наркомпроса, и дело должно было идти через него). Я предложил Д. Н. обязательно включить А. М. Сухотина. Д. Н. не был с ним знаком и сперва оставался в сомнении, но стоило мне только привести Сухотина лично в Ушаковым, как все сомнения пали, и в дальнейшем это знакомство перешло в очень трогательную привязанность.

Экспансивный Сухотин благоговел перед Д. Н. — ему невероятно импонировало изящество ума Д. Н., его моральные и человеческие качества, его остроумие. Д. Н. в свою очередь быстро понял и оценил «чудака феодала» с его энциклопедизмом, одаренностью, азартностью и редкостной точностью в работе. Маленькая гордость есть и у меня, что удалось познакомить этих двух замечательных людей.

13

В 1936 году один из «непременных членов» нашей комиссии — А. Б. Шапиро — подвергся неза заслуженной и несправедливой опале в наркомпросовских кругах в связи со своим учебником русского языка для средней школы. Д. Н. очень переживал все это, и когда вдруг оказалось, что на «примирительную» сессию в Ленинграде Наркомпрос командировал Д. Н. Сухотина, Сергиевского и меня, а Шапиро не получил командировки, то Д. Н. был совершенно возмущен, специально ездил к Бубнову, а позднее поднял бучу в Ленинграде и добился, чтобы Шапиро была немедленно выслана командировка, что и было сделано потщанием другого моего незабвенного учителя, чудака и остро- слова академика А. С. Орлова¹¹.

14

Для многих из нас, и, в частности, для меня, Д. Н. был и отцом духовным, и духовником. Бывало, нашкодишь и сам просишься прийти и покаяться. Д. Н. сразу чуял, в чем дело. Запрет дверь на ключ, сядет и пощипывает бородку: «Ну, рассказывай» — в таких случаях Д. Н. переходил на «ты». Изложишь все — тут уж ничего нельзя скрыть. Отутюжит Д. Н., доведет до сознания, а потом отопрет дверь и кричит: «Шура! Принеси-ка большую рюмку, надо Реформатскому дать». И Александра Николаевна¹² идет с бутербродами и с «большой рюмкой» для меня.

15

Любил Д. Н. шутку и был даже озорник. Бывало, зайдешь к нему, Д. Н. полеживает за ширмочкой в своей заветной комнате под сенью Пушкина и Чехова (его любимые писатели), он обрадуется и, прежде чем перейти к «делам», — сразу: «Вот, Шерелев, кстати — есть анекдот, распирает рассказать, а некому, а уж и анекдот!» И такое расскажет, да с жестами, с мимикой, не говоря уж об интонациях. Особенно памятен в его передаче анекдот о красноармейце, впервые попавшем в отпуск на Кавказ (вариант анекдота с фейерверком). Кое-что я зарегистрировал и инкорпировал в разделе анекдотов с пометкой: «Сообщил Д. Н. Ушаков».

А то раз ждали мы в этой же компании прихода С. П. Обнорского, и Д. Н. говорит: «Уж вы, Шерелев, при нем не больно „тово“...» Когда же пришел Обнорский и в пылу разговора речь зашла о замечаниях к «Своду орфографических правил» В. Д. Павлова-Шишкина¹³, Д. Н. первый «сорвался»: «А, это — Пауло-Сиськин!» (а мы так промеж себя звали сего мужа).

16

И с ним бывали анекдоты. Как-то раз в ИФЛИ на лекции Д. Н. получает записку, адресованную «Ушакову». Разворачивает и читает вслух: «Когда же ты, сволочь, отдашь мне три рубля?» Д. Н. остановился и наклонил голову... Записка эта была написана студенту Ушакову!

17

В молодости Д. Н. преподавал русский язык в Николаевском сиротском училище, что было на Солянке в том же доме, где и Воспитательный дом. Начальницей этого училища была в то время моя гран-тант (даже: гран-гран-тант — сестра моего прадеда) Наталия Адриановна Головачева. Д. Н. любил вспоминать, как он, тогда еще совсем молоденький, что-то процитировал ей из Фета, а она не моргнув глазом подхватила цитату и досказала все стихотворение до конца. «Вот память-то была!» — восхищался Д. Н. Так вот, в этом училище была одна классная дама, невероятно строгих правил. Шел раз юный Д. Н. по длинному коридору этого знаменитого дома, а где-то вдали навстречу выходит эта классная дама с выводком питомиц. И вдруг — спешно назад. Что за оказия? Оказалось: идет мужчина, это так неприлично! — Но позвольте, он ведь одетый! — Да, но под одеждой-то он все-таки голый!

18

Как-то, как и обычно, «заседались» мы у Д. Н. по делам Орфографической комиссии до свету. По обычаю в этом, скажем, четвертом часу Д. Н. ходил нас «провожать», т. е. мы с ним делали «кружок» и уже совсем «засветло» — расходились «по домам своим». Вот и тут вышли, я поглядел на дверь и говорю: «Шер — говорю — Метр! А на ловца и зверь бежит!» — «А что?» —

спрашивает Д. Н. «Да глядите на дверь-то вашу — диалектология!» А на двери мелом значилось: «Ябена мать».

19

Когда В. Д. Левин сдавал вступительные экзамены в аспирантуру ИФЛИ и когда очередь дошла до «экзамена по специальности» и Левин все «ответил» по билету, — тогда Д. Н., пощипав бородку, сказал: «Ну, разберем какой-нибудь случай, возьмем, например, БЛЯДЬ. Вот и расскажите об этом». Левин сперва помертвел от неожиданности, но, оправившись и объяснив «реальную суть дела», перешел к чередованиям: БЛУД, БЛУЖДАТЬ, ЗАБЛУЖДЕНИЕ, ОБЛЯДЕНЕНИЕ. Д. Н. был явно доволен находчивостью и сообразительностью абитуриента. Шер-Метр не ошибся: действительно В. Д. Левин позднее оказался знатоком этих вопросов.

20

Д. Н. любил контрверзы переводов. Например, как изящно болгары обозначают особый проход на зрелищные предприятия для женщин: «Взлаз на бабата». А как перевести на чешский латинскую поговорку «Арс лонга — вита бревис»? — «Штука длougа — живот кратек».

21

Были у Шера-Метра суждения и о личностях:

О Томашевском¹⁴: «Умница. Какая ясная голова!»

О Сидорове: «Володя — умница. У него — голова и сердце».

Кстати: в московском просторечии обычно говорили: «Рубен Ивавич и Володя Сидоров».

Об Аванесове: «Вот беда с Рубеном! Просишь что-нибудь сделать. Обещает, а по глазам вижу, что сам-то он знает, что не сделает. А дальше тянет и все отговаривается разными случаями и, главное, выискивает их, чтобы не сделать! И ведь не сделает...»

22

В конце 30-х годов, когда я «несбриваемо» отрастил бороду, я часто менял ее фасон, то из-за дурех парикмахерш, то из дурацких собственных умозрений. Д. Н. этого не одобрял. В один ясный и очень морозный январский день сидел я у Д. Н., и мы чего-то редактировали. Звонок. Пришел Л. В. Щерба, замерзший и благожелательный. Ввели его в Шера-Метровую комнату и сразу к печке-голландке — спину греть. Стоит этот долговязый Дон Кихот Лев Владимирович и трется спиной об печку, а маленький изящный Ушаков против него в кресле, положив ножку на ножку. Они друг друга очень любили. Первый начал Щерба: «Что-то у вас, А. А., опять другая борода?» Д. Н. в ответ: «Вот именно на этом ему и надо остановиться. Как вы думаете, Л. В.?» Щерба велел мне стать в профиль и в фас, подробно осмотрел и предложил Ушакову: «Ну что ж, Д. Н., утвердим так?» Д. Н. еще раз обошел меня вокруг и только после этого заключил: «Быть по сему, Шерелев». Вот почему я с тех пор не считаю себя вправе менять фасон бороды.

23

В тот день, когда К. Н. Игумнов¹⁵ получал орден (а в те времена у интеллигентов нетехнического толка это было редко), мы, как обычно, заседали у Д. Н. Пришел Игумнов, зашел в комнату Д. Н., показывает орден и «инструкцию орденоносцам», где тогда значились всякие «льготы», насчет «с передней

площадки» и чего «без очереди». Кроме того значилось еще и бесплатное посещение бани. Д. Н., вертя в руках «права» орденоносца, спрашивает Игумнова: «Ну, Константин Николаевич, вы, конечно, в женскую?»

24

[Д. Н. был необычайно хозяйственным человеком: все делал споро, кругло, аккуратно и добротнo.]

Д. Н. не выносил, когда при разворачивании пакетов резали веревки. «Постояй! Так нельзя. Я развяжу». И аккуратнейшим образом распутывал и развязывал. Но был еще более обратный случай: Д. Н. купил в кондитерской торт, а продавщица никак его не могла толком завязать. Д. Н. вежливо попросил дать это сделать ему, а когда он быстро и изящно это сделал, наблюдавший старый продавец сказал: «Ну, гражданин, вы без куска хлеба не останетесь!»

25

По другой своей ипостаси тех лет — по «Толковому словарю» — Д. Н. ввел для работы карточки на неплотной бумаге форматом примерно 8 на 10. Быстро все поняли их пригодность не только для вокабул и толкований словаря, но и для иных уединенных нужд, непосредственно со словарем не связанных. И окрестили их «ушаковками». Когда их в редакции словаря накапливалось достаточное количество, Д. Н. всенепременно звонил и докладывал: «Шерелев! Накопилось. Зайдите за „ушаковками“. Цалую!»

26

Когда Д. Н. возвращался из Болшева, где любил отдыхать, он привозил с собой много акварелей, до чего он был очень охоч, и устраивал в своей комнате «выставку». Бывало, звонишь ему: «Вы уже встали? Так можно прийти?» — «Погодите, Шерелев, полчаса: закончу экспозицию, тогда и приходите смотреть». Придешь, а Шер-Метр весь сияет и показывает: «Вот, главное, небеса. Смотрите, какой лиловый тон. Ведь можно не поверить, а это так. Я не вру в акварели». Действительно, его «небеса» были очаровательны. А еще — другая страсть — это осенние листья: желтые, красные, бронзовые, лиловые, бурые, с какими-то парадоксальными прожилками. И опять же и здесь Д. Н. ни на йоту «не врал». Чудесный он был акварелист, и эта его «страстишка» многое объясняла и в его облике ученого, например, его шедевр «Г фрикативное в русском языке», 1916¹⁶. [Этот стиль акварельной миниатюры был присущ Дмитрию Николаевичу органически и проявлялся во всем, будь то лекция, статья, обработка словарного абзаца или забавная поговорка, удачный каламбур или ладно скроенный анекдот.]

Давидыч

Памяти моего друга А. Д. Древина.

С Александром Давидовичем Древином¹⁷ я был знаком с 1925 года и до самой его кончины. И это было не просто «знакомство», а дружба, многолетняя и проверенная.

Познакомил меня с А. Д. Древином мой приятель А<лександр> Н<иколаевич> Никольский¹⁸: жена А. Д. Древина, художница Надежда Андреевна Удальцова¹⁹, была сестрой жены Шурки — Варвары Андреевны. И вот мы 15/VIII 1925 года поехали на охоту в деревню Шиболово на Волгуше, где жили тогда Древины (это от Влахернской²⁰ на восток через Парамоновский овраг километров семь). У Древина был в то время ирландский сеттер Чок, принадлежавший художнику Храковскому²¹, который сам не охотился, а давал Чока на охоту Древину.

С утра раненько пошли мы к Языковскому болоту. Там мы сразу напали на тетеревиный выводок, и каждый взял по штуке, а Древин еще подбил одного, которого мы найти не смогли. Ночевали мы на сеновале в деревне Сокольники, и ночью была страшная гроза, даже, как мы это увидели утром, и с градом. Под эту грозу мы с Александром Давидовичем, полеживая на сене, натолкнулись на общих знакомых, о чем и спорили. Это касалось О. М. Брика²², Маяковского, «ЛЕФа» (а когда-то Древин был с ними вместе в питерском объединении «Искусство коммуны»²³, но он «отошел» от них, а я, бывший член ОПОЯЗа и «старый», но младший приятель О. М. Брика, был на распутье, тоже вроде «отходил»²⁴, но тем для споров оказалось много). На следующее утро мы на обратном пути нашли в Языковском болоте подбитую накануне Давидычем тетерку и, обложив взятую дичь градом, вернулись в Шиболово к Надежде Андреевне. И с тех пор наша дружба с Древиными прошла через все виды охоты: мы ходили по выводкам, и стояли на весенней тяге, и гоняли зайцев и лис и по чернотропу, и по белой тропе, и это бывало и под Влахернской, и на Урале, и на Мологе, и в других местах.

Как-то раз в том же 1925 году в начале декабря гоняли мы в том же Языковском болоте беляка под тихохода, но удивительно верного по чутью и вязкости Гогу Александра Давидовича. Снег был уже глубокий, а заяц ушел в самую середину болота и там ходил одним и тем же небольшим кругом, а Гога, утопая в снегу, медленно его преследовал. А подойти поближе к пробитой ими тропе было невозможно, так как этот островок вокруг беляка опоясан кольцом воды, а мы были все в валенках. Несколко раз по мелькнувшим ушам мы перевидели зайца и несколько раз стреляли, но все бесполезно: заяц ходил, как по канаве в снегу, мелькали только уши, а наши выстрелы шли выше самого зайца. Давидыч от этой бесполезной бестолочи озверел и говорит мне: «Лексанич! Надо лезть через воду!» Мы с ним полезли, как были, вымокли по пояс, но зато на гонную тропу вылезли и встали в противоположных концах «острова». Заяц вышел на меня, и я его убил. Полезли мы с этим зайцем, мокрые, но довольные, опять через «опояску» воды, а наши друзья, моя жена Надежда Васильевна и Шурка Никольский уже разожгли костер, очистили и подогрели копчущек и налили нам сразу по стопке! А мы разоблачились вплоть до штанов и, подобно пляске индейцев в американских романах, начали скакать вокруг костра, чтобы согреться...

В эту зиму мы много ездили с Гогой и Найдой Древина и гоняли и под Влахернской, и под Дмитровом, причем один раз заяц из-под гона выскочил на мост через Яхрому и побежал по улице Дмитрова! И тем, конечно, спасся. Бывали у нас и удачные охоты, и «пустые»; как когда.

Весной 1926 года ездили на тягу в Шиболово, а осенью решили ехать на Урал. Но куда именно, мы точно не договорились и как-то разминулись, договорившись лишь, что на Чусовую. Они уехали раньше, а мы ждали письма с адресом, но его все не было, а пора было уже ехать! Я ходил во ВХУТЕМАС, что против почтамта, где преподавали Древин и Удальцова²⁵ и где они в том же доме, во дворе, жили в одной квартире с поэтом А. Е. Крученых, а по соседству жили в том же дворе Асеев, Лавинские²⁶, Храковский и многие еще художники и писатели. Во ВХУТЕМАСе у какого-то старичка-сторожа я узнал, что Древины действительно на Чусовой, за Висимо-Уткинском, что ближе всего к Нижнему Тагилу. Более точного этот старичок мне не мог сообщить. И мы решили все-таки ехать на Урал, что называется, «на ура»: и без точного адреса, и без собаки. Молоды мы тогда были и ничего не боялись!

От Свердловска мы попали в Нижний Тагил, откуда была узкоколейка до Висимо-Уткинска. Приехали мы на местный вокзальчик узкоколейки на краю города, скорее похожий на общественную уборную, чем на транспортный пункт. Решил я пойти на почту, чтобы хоть что-то разведать; вхожу — и кого же я там встречаю? Давидыча и Надежду Андреевну, которые пришли, чтобы отправить нам телеграмму с точным адресом! Вот какие бывают чудеса! При-

шли мы обратно на «станцию», наши обомлели, а Давидыч говорит: «Ведь это не поезд, а так, „самоварчик“, а к нему привязаны сидячие (то есть вагоны)».

Так вот мы и втюхались в эти «сидячие», а «самоварчик» все-таки запыхтел и повез нас мимо горы Белой по унылому пейзажу с маленькими сосенками на болоте. Но так или иначе, а он довез нас до Висимо-Уткинска, где мы смогли нанять у какого-то Петухова лошадь, а он нам показал молодую кобылку, которую недавно мишка приласкал и ободрал ей заднюю ногу до кости! Это была иллюстрация «воочию» к рассказам Давидыча о здешних медведях, чем он нас занимал, пока мы ехали в «сидячих» с «самоварчиком». Да, с медведями здесь шутить нельзя! Мы ехали в телеге, а Древины верхами, и чем дальше, тем интереснее становился лес: огромные, величественные сосны, лиственницы и пихты, под которыми люди и лошади кажутся маленькими, как на иллюстрациях к Жюльо Верну, но там это эвкалипты, которые не дают тени и не хранят влажность, а здесь и то, и другое в изобилии.

Перевалив «хребет» и пересеча обе Горевые и Большой и Малый Лебедь — это там речки так называются, бурливые, но не глубокие, так что можно их пересекать вброд, — мы в сумерках спустились в пойму Чусовой и прибыли в деревню Усть-Утку, где Древины занимали весь верхний этаж, а мы сняли комнату с отгороженным отсеком в том же доме на первом этаже. Давидыч привез с собой опять того же Чока, и мы ходили либо вчетвером с Чоком, либо с местными лайками. Так что и эта «проблема» как-то разрешилась.

На первых же днях разыгралась медвежья эпопея; медведи здесь по преимуществу «скотинники»: задирают скот, и поэтому для местного населения они бедствие. Тем более понятно желание Древина во что бы то ни стало добыть медведя. Он свел знакомство с местным старожилом и знатоком уральской охоты, Еремеем Кондратьевичем Долматовым. Ерема был малый хитрый, но охотник и знающий, и опытный. До нашего приезда он уже три раза водил Давидыча посидеть на медведя. А делается это там так: на месте, где лежит упавший, по-местному — задранная медведем корова. Наевшийся досыта медведь обычно не оставляет недоеденное туное, а, как здесь говорят, «квасит» упавший, то есть зарывает останки и заваливает их листвой, ветошкой, ветками и выходит доедать. Здесь-то и строят «лабаз», помост из жердей, прикрепленный к стволам пихты или сосны лыком, где и караулят приход медведя на заре. Влезают на лабаз прямо с лошади, чтобы не было следа, и натираются пихтой, чтобы отбить человеческий дух. Но походы Давидыча с Еремой пока что были безуспешны: медведь не выходил. А с нашим приездом — вдруг повезло. Сперва осторожно вылезла лисичка, но, почуяв медвежий дух, быстро скрылась в кустах; сорвались где-то неподалеку глухари и «залапали» своими могучими крыльями, а ты сиди, коли ждешь медведя, не шолохнувшись, хотя отчаянно жрут комары, а репудина в то время еще не выпускали — единственное средство от комаров! Медведь вышел бесшумно, как кошка, но его сразу наши охотники заметили и сразу стреляли оба, а когда он тяжело повернулся, Давидыч послал ему еще одну пулю, оказавшуюся смертельной, она прошла сквозь кишки и легкие и попала в сердце, а первые две, по черепу, не заделали мозга, а прошли наискосок по скулам. А. Д. хотел сейчас же бежать за ним в заросли, но Ерема его удержал: не дай бог, чтобы мишка был еще жив, но тяжело ранен, тогда с ним шутки плохи!

Наутро его обнаружили в кустах: он лежал во мху, и ушки наверх, что значило, что он мертв, а у живого уши прижаты, и тогда близко к нему не подходи! Когда его привезли в деревню, это было всенародное торжество. Пока его обдирали, мы наслышались множество всяких поверий, заклинаний и примет: кто медвежьего сальца просил для приворота сбежавшей жены, кто — чего. А весил он 11 пудов; медведь был крупный и тем более опасный для местных стад. (Вся эта статья была потом мною описана в ненапечатанном рассказе «Мишка», где, конечно, я многое и присочинил, хотя и писал от первого лица, но все, рассказанное мной, там основано и на личных впечатлениях, так как мы с Никольским тоже сидели потом на лабазу, но медведь не вышел.)

Вниз по Чусовой мы спускались на плоскодонке с шестью километра за полтора-два: туда — 10 минут, а обратно — почти два часа по системе старых волжских бурлаков: такое сильное течение. Там, на крутом перегибе Чусовой, был Красный Камень — очень чудесное место; его уже когда-то писал художник П. П. Верещагин²⁷, а тут за него взялся Древин, и это получился один из лучших его пейзажей. Я потом его видел на выставке в Москве, здесь на Кузнецком мосту (сейчас передан в Третьяковку).

Там, у Красного Камня, мы ставили перемет на пескарей, а вытаскивали и голавлей, и даже налимов, а на удочку ловили на перекатах хариусов, таких нежных, что приходилось их укладывать в мокрую крапиву, чтобы довести в целости до дома, но зато уха получалась отменная!

Ходить вчетвером под одну собаку и неудобно, и небезопасно: легко перестреляться. Поэтому мы то ходили все-таки под Чока с Давидычем, то с какой-нибудь местной лайкой (все они были не чистопородные, а вымески, но работали!). Но самое замечательное — это их хозяева, местные охотники. Ружья у них были допотопные, так называемые «крымки» (полагали, что они появились у нас со времен Крымской войны и Севастопольской обороны, а понастоящему это были ружья чешской фирмы «Крпка»). Но еще удивительнее были там рябчики. Сидит рябчик на ветке, стреляют по нему из «крымки»: раз осечка, два, три, а рябчик все сидит! Наконец с пятого выстрела его «сваливают». Таковы были там в то время охотничьи повадки.

Ходили мы с Древином и вверх по Чусовой на «глядень», откуда действительно открывался очень широкий огиад и на реку, и на горы. Ездили мы с Давидычем и в сосновые боры на речку Йокву с изумрудной бурливой водой; она течет между нависшими берегами, которые могут легко обвалиться. Шурка Никольский полетел там в воду, и ружье у него унесло течением метров за пять, такова сила водяной струи в тамошних речках! Ночевали там в «балагане» — это односкатный шалашик, крытый лапником и берестой, сквозь которые дождик свободно заливая спящих. Раз как-то, ежась под этими ласковыми дождевыми потоками (дождь еще только накрапывал и не разошелся), мы еще не встали; вдруг тут же загремели выстрелы, а это Давидыч стрелял из балагана в цель! Это с ним тогда «вполне бывало». На охоте мы там дважды переругались: один раз из-за лодки (ему понадобилась лодка, а мы с нее ловили рыбу), а другой раз из-за его деспотизма, когда ходили вместе под Чока. Но — и только. Охота на Чусовой — одно из самых моих замечательных воспоминаний 20-х годов.

Обратно с Урала мы с Древинами уехали врозь: они еще оставались, а нам пора было в Москву. И поехали мы с плотовщиками по Чусовой. Путешествие это незабываемо! По дороге мы стреляли уток, а на ночевках, когда плот не идет, а должен, как там говорят, «ыматься» к берегу, ловили ершей и ставили на них жерлицы; попадала и щука, которую мы варили тут же на плоту, а спали в шалаше, пособля хозяевам править «правилом», когда они просили нас им «подробить».

А в Москве мы с Древином больше общались, гоняя зайчиков; и до чего же он был неутомим и на лыжах, и «так» — по сугробам. Помню, как-то на обратном пути в поезде речь зашла о Рембрандте, и Древин в восторге говорил: «Ви подумайте, Лексанич, все чернó, выступает фигура Христа, а рядом пес (он говорил: пес, а не пёс) гадающий!²⁸ И Рембрандт этого не боялся! Какая смелость!» Тут мы не спорили: да, это гениально, это необыкновенно и дико смело!

Очень он любил французских импрессионистов, Сезанна и Ван-Гога (не потому ли и гончий его кобель — так произносил Давидыч — назывался Гога?). А еще любил Вламинка и Анри Руссо²⁹, про которого рассказывал, что в день своего рождения он явился к столу голый и со скрипкой, на которой замечательно играл... Так это или не так было на самом деле, но рассказ этот я очень любил.

Осенью 1931 года он ездил на Алтай, где караулил диких козлов («теке») и их писал. Этот период его творчества мне был как-то не по душе. А зайчиков под Гогу с Найдой мы опять погоняли.

В 1932 и 1933 годах мы с Никольским ездили на Мологу, где были чудесные моховые болота в бывших угодьях Мусиных-Пушкиных между Мологой и Шексной (по-местному: «Шохной», срвн. Пошехонье). Но в 1934 году я слег с тяжелым приступом ишиаса и пролежал почти три месяца, после чего мне запретили лезть в болота, но тут подвернулась удачная комбинация: брат моей жены Василий Васильевич³⁰ работал на Южном Урале по проводке высоковольтных линий, куда он пригласил Древинов и звал и нас. Древины уехали раньше. Поехали мы сначала через Златоуст, где была штаб-квартира В. В. Вахмистрова, а оттуда через Миасс на юго-запад в район рек Ирмелей (их две) и Уя в поселок Октябрьский. Пока Вася с Давидычем охотились под Верхне-Уральском, я был в Миассе в обществе с Надеждой Андреевной, с которой мы много ходили по окрестностям, в геологический заповедник, по озерам, по лесу. Говорили о многом и о разном: о живописи, о природе, о детях. Она была человек удивительно приятный в обращении, талантливый, интересный и умный. И говорить с ней было — золото.

6 августа вернулись из-под Верхне-Уральска и дядя Вася с Древином; охота у них вышла средняя. А через день мы все погрузились в полуторку и поехали в поселок Октябрьский (37 км от Миасса на юго-запад). Там мы с Древинами снимали совместно 1 1/2 чулана у лесника, бывшего партизана, а ныне законченного алкоголика К. И. Гордунова. В одном чулане располагались Древины с Адей³¹, а в другом лежали наши вещи; спать мы предпочитали на сеновале. <...>

Охота там была и разнообразная, и интересная: на запад, к «хребту», — лес, бор и глухарь, на восток — березы и тетерева, на юг — холмы и поляны, где много перепела и серых куропаток. И главное, для данного года мне — сухо! Ходили мы обычно на вечерние зори: а то ташиться по солнцепеку с дичью и устав в утреннее время — тяжело, а тут возвращаешься по звездам и по холодку. И утром спишь себе и оглядываешь погоду. Жили в нашем же поселке в то время еще знаменитый кинолог М. Д. Менделеева (дочь великого ученого и сестра жены Блока) и ее муж Б. М. Лазарев. И мы, и Древины водили с ними дружбу. Давидыч ходил с ней под ее знаменитую Липочку (по титулу «Олимпию — Норм-Нартуарт») и дивился ее анонсу. Собака была умна и великолепно дрессирована, но... на мой вкус несколько пресновата и скучновата в работе. А у Древина был в этот год впервые ирландец Милорд: крупный, породный, но трудный и злой.

Александр Давидович, как и всегда в жизни, был очень страстным, и поэтому успехи его на охоте были неровные: так, на Урале в 1934 году у него случилось: 18 выстрелов и 12 битых птиц, а иной раз — 36 выстрелов и 8 штук, даже и так: 25 выстрелов и 3 штуки.

Очень мил был сын их — Адя; волосы его напоминали оперение коростеля, и когда ему исполнилось 13 лет, я его приветствовал стишками, которые начинались так: «К нам сегодня на постель / прилетает коростель...» Очень забавно он сопровождал нас, когда мы ходили на юг по серым куропаткам. Он очень смешно подкидывал шапку при первом взлете выводка (говорят, что тогда куропатки ближе садятся, разлетевшись в разные стороны). Несмотря на различие возраста, я с ним явно дружил, и он мне очень нравился <...>.

В общем, жили мы с Древинами там очень дружно и охотились удачно.

Летом 1935 года Древины жили на Керженце, и Давидыч привез оттуда много зарисовок и готовых вещей. Керженец — ведь это места китежские, а вода в нем черная-черная. А течет он среди лесов и весь в завалах и полон изгибов и бочагов. Эти пейзажи оказались у Древина очень удачными; он в них нашел явно что-то «свое», а также много рассказывал о мастерах из Семенова, где делают плошки и ложки с яркой росписью, а ведь сначала это просто полено или болванка, по которой тамошние мастера ловко работают и часто только одним топором, а потом уж долизывают ножом. Был он у меня, когда я почему-то был в одиночестве, мы гуляли по новостроенному парапету набережной Москвы-реки и, конечно, сильно надрались от радости свидания. Дре-

вин у меня ночевал в этот раз. Я ему рассказывал еще о Мологе, и он решил обязательно к нам приехать в этот год.

Мы поехали в конце июля, а Древины приехали на пароходе 8/VIII. Я ходил их встречать, переправившись на другой берег Мологи, в Перемут. Откуда я проехал с ними задаром на пароходе до Лами, где нас ждала лошадь. Шурка Никольский в это время переехал уже в Ташкент и отпал; у нас гостила в то время Елена Васильевна³² со своей сучкой — пойнтером Спортихой; у нас был скучный тихоход, но верный пойнтер Най, а у Давидыча его красавец Милорд, с которым произошла одна довольно опасная история. Как-то на болоте (по бывшей гари от 1932 года) в кустах гонобобеля напали мы на выводок белых куропаток, и Давидыч красивым дуплетом выбил пару; подошел он, чтобы поднять битых, но Милорд как на него зарычит! Мы подходим и видим такую картину: Давидыч сидит на кочке с разорванным рукавом, а из руки у него хлещет кровь; против него оскаленный Милорд, а между ними — битые куропатки: он, извольте ли видеть, не пожелал отдать хозяину дичь и покусал его даже! Елена Васильевна как врач сейчас же оторвала от рукава Давидыча кусок материи, промыла рану и сделала необходимую перевязку. Зная бешеный характер Давидыча и злой нрав Милорда, я боялся, чтобы еще чего хуже не вышло: либо собака загрызет хозяина, либо хозяин ее убьет... Но все обошлось дальше благополучно: никто никого не прикончил. Но в таком униженном и печальном состоянии я Давидыча, слава богу, никогда больше не видал.

Потом ненадолго приезжал мой отец, профессор химии³³. Он не был охотником, но страстно любил собирать грибы, что и делал, ходя по нашим опушкам <...>.

Весной 1936 года была собачья выставка в садике у Андроньева монастыря. У Древина в то время не было собаки. Милорд помер от поздней чумы, которая перешла в 3-ю фазу, «нервную», и кончилась в результате общим параличом. А я выставял своего молодого Муската, который со своим братом Джоном получили «пополам» первый-второй призы на этой выставке, а Давидыч к «сезону» приобрел великолепного английского сеттера Ивика, с которыми мы и охотились в 1936 году.

Перед этим как-то зашли ко мне Давидыч и его приятель, тоже латыш (художник Якуб³⁴, которого Давидыч ласково звал «Кубик»). Я был один и очень обрадовался их приходу. Разговор был интересный, и была затронута еще одна тема: о женах охотников. Я им развил теорию «трех сортов» таких жен:

- 1) сами охотницы и помогают мужу в охоте;
- 2) сами не охотницы, но мужу в охоте помогают;
- 3) не только сами не охотницы, но и мешают в жизни мужу в охоте. Вот это уже — жены-сволочи!

Вот это уже — жены-сволочи!

А «Кубик», слегка подвыпив, трогательно говорит: «Нет! Моя Эльза не сволочь! Она — жена второго сорта». Мы много смеялись и дружественно провели этот вечер.

Осенью 1936 года у меня была очень сложная ситуация. Надежда Васильевна должна была родить в сентябре и была в добром здравии; поэтому мы решили, что я в августе поеду на Мологу с Давидычем, а она будет благоразумна в Москве. <...>

Я поехал на Мологу с Древинами <...> и с одним моим старым охотничьим другом Вячеславом Антоновичем Яловецким (в рассказе Пришвина «Запах фиалок» он фигурирует под названием «юрисконсульт Я.», каковым он действительно и был)³⁵. А Древины захватили с собой еще впоследствии известного художника Яшу Ромаса³⁶ с женой «Алешей».

Первый же наш выход вышел удачным: и Ивик, и Мускат великолепно обложили выводок, и мы вернулись с трофеями и довольные началом, а дома нас ждала телеграмма: «Преждевременно родился мальчик. Приезжайте». Мы то ли сдурю, то ли с радости выпили, а в 4 часа утра я уже бежал в Весьёгонск. <...>

В общем, Древины, Яловецкий и Ромас охотились то время, которое я провел в Москве. Мальчик наш умер через несколько дней. Надежда Василь-

евна была и физически, и психически совсем больна. Но чуть ей стало полегче, как нас потянуло опять на Мологу! И 27/VIII мы уехали. На подступах к Морозихе нас встречали Давидыч и Надежда Андреевна. И эта встреча, и дальнейшая забота их о Надежде Васильевне навеки останутся в памяти как образец подлинной дружбы и близости.

Ходили мы с Давидычем на охоту так: день под Ивика, день под Муската, чтобы собаки по очереди отдыхали.

Охота была и интересная, и добычливая. Обе собаки работали прекрасно. А у нас по белым куропаткам было такое правило: при первом вылете, когда они рассыпаются веером на фоне голубого неба и сосен, выбить одну-двух, чтобы они не улетали далеко, а размещались по ближним кустам и кочкам. Иной раз на два ружья нам удавалось выбить и трех, и даже четырех! Как-то в один день мне удалось убить крупного самца-куропача, очень эффектной окраски. Когда я его показал Давидычу, он залюбовался этим экземпляром и говорит: «Лексанич! Подарите его мне, я сделаю из этого натюрморт; у меня уже сразу есть план!» Конечно, я с удовольствием подарил ему этот трофей, а Давидыч в течение двух дней сделал обещанный натюрморт. Я потом еще видел его на выставке в Москве: коричневато-красная русская печь, а на золотом одушнике висит красавец куропач с бронзовыми крыльями и белым подперьем! А где же он сейчас? Даже Адя (скульптор Андрей Александрович Древин, сын Давидыча) мне не смог ответить.

Весной 1937 года Давидыч звал меня ехать под Няньдому на глухаринные тока с какой-то компанией охотников из латышского издательства «Прометей» (куда в 20-е годы я писал для какой-то их энциклопедии о философии, музыке и профдвижении (!), а также переводил для сборника «Ленин в европейской поэзии» стихи с немецкого, английского, французского и польского языков...). Но тут я стал отговаривать Давидыча: «Ведь вы же не знаете, какие они охотники и что за люди?» Но он все-таки поехал. А охотники они оказались в самом деле никудышные: надрались у костра, разложили тут же свои патронташи и заснули. А огонь-то подобрался к патронташам, и пошла пальба! Слава богу, никого не убило. А ведь могло и всякое быть! Очень боюсь, что эта поездка в роковой судьбе моего друга сыграла какую-то нехорошую роль.

После поездки в Армению³⁷, откуда мне писал Давидыч очень забавную открытку (она у меня цела), он позвал меня в одиночку посмотреть то, что он там написал. Я пришел, долго глядел, было это все очень интересно (пейзажи). А Давидыч еще спрашивает: «А на что это еще, Лексанич, похоже?» Я подумал и на риск отвечаю: «На японскую живопись!»; а он (громко): «Верно!»

В этот последний его год я часто встречался у него с художником Владимиром Евграфовичем Татлиным³⁸, которого очень любил Древин. В Татлине все поражало: от густых бровей и манеры пить водку до музыки, ведь он сам делал струнные инструменты типа домбры, под которую он хрипловатым басом замечательно проникновенно пел старинные русские песни, из которых мне особенно запомнилась песня про заросшую травой улицу, где жила милая... А рядом сидела и угощала нас в черном бархатном платье какая-то особенно вдохновенная и бесконечно милая Надежда Андреевна...

Сколько разных воспоминаний храню я об Александре Давидовиче Древине! Сколько дней, ночей, утр и вечеров мы провели вместе! И бывало это и в Москве, у них или у нас; бывало и под Москвой, где-нибудь на Волгуше или Кулбыже! Бывало и на Урале: на Чусовой и на юг от Миасса, в районе Ирмелей... И очень бывало на Мологе, в милой, ныне затопленной Морозихе и окрестных моховых болотах. Сколько мы могли друг другу поведать и всегда понимали друг друга.

За последние годы я как-то был на одной выставке в Музее восточных культур³⁹, где почему-то были выставлены и работы моих покойных друзей — Давидыча и Надежды Андреевны. Особенно сильное впечатление на меня произвел его «Белый домик»⁴⁰ в Средней Азии. Кажется, что тут? Домик и до-

мик. А оторваться нельзя. До чего же это было просто, неотразимо и незабвенно! Так в современной музыке мог писать только Равель.

А в последний раз видел я дорогого Давидыча 29/XII 1937 года на похоронах моего отца, куда пришел и он, и Надежда Андреевна. Я, конечно, и в уме не имел, что это наше последнее с ним свидание. Я был очень тронут их вниманием и ясно вижу, где они сидели и какие были у них глаза...

Мир праху моего дорогого друга Давидыча!

¹ Реформатская Екатерина Адриановна (урожд. Головачева; 1871 — 1942) окончила Высшие женские курсы в 1917 году, преподавательница литературы в средней школе.

² Приведены словосочетания «Мышь жила», «отец был» как примеры одной из фонетических закономерностей (ассимиляции согласных по звонкости).

³ Поржезинский Виктор Карлович (1870 — 1929) — русский и польский языковед.

⁴ Левин Виктор Давидович (1915 — 1996) и упоминаемые ниже Аванесов Рубен Иванович (1902 — 1982), Винокур Григорий Осипович (1896 — 1947), Ожегов Сергей Иванович (1900 — 1964), Сухотин Алексей Михайлович (1888 — 1942), Шапиро Абрам Борисович (1890 — 1966), Сергиевский Максим Владимирович (1892 — 1946), Алавердов Константин Александрович (1883 — 1946), Щерба Лев Владимирович (1880 — 1944), Фортунатов Филипп Федорович (1848 — 1914), Корш Федор Евгеньевич (1843 — 1915), Сидоров Владимир Николаевич (1903 — 1968), Обнорский Сергей Петрович (1888 — 1962) — русские языковеды, предшественники, учителя, друзья и коллеги Реформатского.

⁵ Бубнов Андрей Сергеевич (1884 — 1938) — государственный и партийный деятель. С 1929 года — нарком просвещения РСФСР.

⁶ «Анларжисман» (от франц. en élargissement) — расширительно.

⁷ Linde Samuel Bogumil. Słownik języka polskiego. 6 т. Warszawa, 1807 — 1814.

⁸ Ушаков Д. Для просеминария по русскому языку. Изд. 2-е. М., 1916, стр. 4. Приведена цитата из Остромирова Евангелия (1056 — 1057) — Мф. 2: 1 — 12.

⁹ Бодуэн де Куртене Иван Александрович (1845 — 1929) — русский и польский языковед.

¹⁰ Неточность: спасение Ольги Николаевны Комовой произошло на два месяца позже, 13 апреля 1934 года.

¹¹ Орлов Александр Сергеевич (1871 — 1947) — литературовед.

¹² Ушакова Александра Николаевна (урожд. Корш) — жена Ушакова.

¹³ Павлов-Шихкин Виктор Дмитриевич — языковед, автор популярных пособий по грамматике и стилистике, выходящих в 20-е — первой половине 30-х годов.

¹⁴ Томашевский Борис Викторович (1890 — 1957) — филолог, по первоначальной профессии математик.

¹⁵ Игумнов Константин Николаевич (1873 — 1948) — пианист, сосед по квартире Ушакова в Сивцевом Вражке, 38.

¹⁶ Современное издание: Ушаков Д. Звук «г» фрикативный в русском литературном языке в настоящее время. — В кн.: Ушаков Д. Н. Русский язык. М., 1995, стр. 178 — 179.

¹⁷ Реформатский склоняет фамилию Древин как иностранную (Древиньш, латышск.), по типу «был знаком с И. Берлином».

¹⁸ Никольский Александр Николаевич — до 1934 года сотрудник Медико-биологического института контроля сывороток и вакцин им. Л. А. Тарасевича.

¹⁹ Удальцова Надежда Андреевна (урожд. Прудковская; 1886 — 1961) стала женой Древина в 1920 году. О союзе этих художников см.: Удальцова Н. Жизнь русской кубистки. Дневники, статьи, воспоминания. М., 1994.

²⁰ Влакхернская (с 1936 года Турист) — станция по Савеловской железной дороге, в 55 км от Москвы.

²¹ Храковский Владимир Львович (1893 — ?) — живописец, график, член объединений «Московские живописцы» и «Общество московских художников» (ОМХ), участник оформления спектакля «Мистерия-Буфф» В. Маяковского в постановке В. Мейерхольда.

²² Брик Осип Максимович (1888 — 1945) — писатель, теоретик искусства. Реформатский слушал его лекции по поэтике в театральной школе при Театре РСФСР Первом в 1920 году. В 1922 году Брик оказал содействие в опубликовании его первой печат-

ной работы «Опыт анализа новеллистической композиции», вышедшей под грифом ОПОЯЗа.

²³ «Искусство коммуны» — не объединение, а газета (Петроград, 1918 — 1919), вокруг которой группировались кубофутуристы. Газета предшествовала литературно-художественному объединению и одноименному журналу «ЛЕФ». Древин поддерживал со многими членами этой группировки творческие и деловые контакты, однако с 1921 года у него наметились с ними серьезные расхождения по принципиальным вопросам развития живописи.

²⁴ Подробнее об «отходе» Реформатского от ОПОЯЗа см.: Реформатская М. «Как в ненастные дни собирались они часто». — «Литературное обозрение», 1997, № 3, стр. 60.

²⁵ Древин и Удальцова преподавали во ВХУТЕМАСе с 1920 по 1930 год.

²⁶ Лавинский Антон Михайлович (1893 — 1968) — скульптор, архитектор, дизайнер, член объединения ЛЕФ, преподаватель ВХУТЕМАСа. Лавинская Елизавета Андреевна (1901 — 1950) — художница.

²⁷ Верещагин Петр Петрович (1834 или 1838 — 1886) — исторический живописец, пейзажист. В Пермской картинной галерее находится его пейзаж «Река Чусовая. Камень „Остряк“» (1870-е годы).

²⁸ Очевидно, имеется в виду офорт Рембрандта «Милосердный самаритянин» (1633).

²⁹ С творчеством импрессионистов Древин познакомился еще в художественной школе в Риге, в классе В. Г. Пурвита. После переезда в 1915 году в Москву он становится частым посетителем коллекций С. И. Щукина и И. А. Морозова, где упомянутые мастера были обильно представлены. Пополнить впечатления о Морисе де Вламинке (1876 — 1958) он мог и в 1928 году на московской выставке «Современное французское искусство».

³⁰ Вахмистров Василий Васильевич (1892 — 1968) — охотовед, брат Н. В. Реформатской.

³¹ Адя — Древин Андрей Александрович (1921 — 1996), скульптор, график, сын Древина и Удальцовой.

³² Вахмистрова Елена Васильевна (1889 — 1968) — санитарный врач в Загорске, сестра Н. В. Реформатской.

³³ Реформатский Александр Николаевич (1866 — 1937).

³⁴ Якуб Вильгельм (1899 — конец 1930-х годов) — латышский художник.

³⁵ Яловецкий Вячеслав Антонович (? — 1943) — юрисконсульт в Загорске, знакомый Реформатских и М. М. Пришвина. Рассказ Пришвина «Аромат фиалок» впервые напечатан в 1928 году, позднее включен в цикл новелл и очерков «Календарь природы».

³⁶ Ромас Яков Дорофеевич (1902 — 1969) — живописец.

³⁷ Путешествия в Армению Древины совершили в 1933 — 1934 годах.

³⁸ Татлина Владимира Евграфовича (1885 — 1953) связывали с обоими художниками давние отношения, с Удальцовой — с 1911 года, с Древином — с 1918-го.

³⁹ Выставка «Старейшие советские художники о Средней Азии и Кавказе в Государственном музее народов Востока в Москве» (1970 — 1973).

⁴⁰ «Пейзаж с белым домом» — картина алтайской серии 1931 года.

АСЯ АДАМ

*

ТРИ ДНЯ ИЮНЯ 1941. МИНСК

В первые три дня войны был сокрушен старинный город Минск, столица Белоруссии. Драматизм и необычность этих дней, детали событий на долгие годы остались в памяти переживших.

Сколько ни твердили в печати и по радио, что война неизбежна, день 22 июня 1941 года, день начала войны, большинство жителей Минска восприняли как полную неожиданность, к которой были совершенно не подготовлены ни материально, ни психологически. Верили, что воевать придется на вражеской территории, а не на своей. После 19 сентября 1939 года, когда войска Красной Армии перешли западные рубежи и к нашей стране были присоединены Западная Белоруссия и Западная Украина, граница была отодвинута вглубь, на запад. Минчане стали безбоязненно выезжать в ранее закрытый пограничный район станции Погорелое.

Так хотелось дождаться лучшей жизни, что лозунг «Жить стало лучше, жить стало веселее» воспринимался как реальность. Особенно молодежью, которая и не знала, как может и должно быть по-другому.

Негласно, как-то не очень заметно для основной массы рядовых горожан из города в середине 30-х годов исчезали репрессированные; об арестах говорили только тайком, и многие верили во «врагов народа». Так же тихо скорбели о погибших на финской войне. Войне, как говорилось, необходимой для защиты границ Отечества.

В Минске появилось немало приезжих, военных и инженерно-технических специалистов. Ранее в город перебралось много сельских жителей. Между тем город оживлялся и обновлялся. Шло промышленное строительство. По городу впервые пустили трамвай. За короткий срок был построен Дом печати (Дом друку), где были размещены расширяемые издательства детской, учебной и политической литературы, возведено красивое здание Белорусской академии наук, величественное здание Дома правительства (Дома ураду) с памятником Ленину перед фасадом. Было возведено не менее грандиозное здание Оперного театра для только еще создававшейся труппы. Были построены корпуса Белорусского политехнического института, новое здание Дома офицеров, клуб «Пищевик», начато строительство Университетского городка. Все эти здания сохранились до сегодняшних дней.

Для проектирования и строительства новых зданий и сооружений, для преподавания и работы в город были привлечены видные специалисты из Москвы, Ленинграда и других крупных городов. Из Вильнюса вместе с историческим архивом переехала часть научных сотрудников, на строившийся радиозавод были приглашены специалисты с Виленского радиозавода. В Белорусский политехнический институт приглашались известные профессора и преподаватели из МВТУ им. Баумана и других ведущих вузов Москвы; они

Адам Ася Ефимовна — кандидат технических наук; урожденная минчанка; работала в авиационной промышленности; доцент Всесоюзного заочного машиностроительного института; ныне на пенсии. В настоящее время живет в Москве. Свои воспоминания она написала к 60-летию с начала Великой Отечественной войны, однако в наш журнал передала их позднее.

периодически приезжали в Минск. Приглашенным специалистам, как правило, создавались благоприятные материальные и бытовые условия, превосходившие скудный уровень жизни коренных минчан.

На месте ветхих деревянных домишек для приезжающих специалистов и военных строились современные дома. Надежда на получение благоустроенного жилища появилась и у коренных жителей города, впервые после всех послевоенных революционных передряг.

Облик города изменялся, но отчасти сохранялись его древние исторические здания и памятные места. Красный костел, словно изысканное старинное украшение, до сих пор стоит невдалеке от Дома правительства и памятника Ленину. Костел подлежал сносу, в нем пытались устроить клуб, но он все-таки остался нетронутым. По сей день на площади Свободы (Пляцу Воли) стоят древние православные соборы; в предвоенные годы в этих, тогда облупленных и плохо ухоженных, зданиях размещались профсоюзные организации. Лишь пустырь, образовавшийся после сноса православной церкви, зиял, как дыра. На нем ничего, кроме нескольких жалких парковых скамеек, так и не появилось. Скрашивало унылость этого места красивое здание бывшей женской гимназии, ставшей народной школой.

Достопримечательностью предвоенного Минска было место, отведенное под строительство Университетского городка. Оно до этого долго служило своего рода городским парком, летом там играли дети, устраивали гулянья и свидания молодые люди, не обходилось и без драк, пьяных разборок, убийств. А было это место заброшенным более пятидесяти лет назад еврейским кладбищем. Заросшее высокой травой и дикими плодовыми деревьями, скрывавшими ушедшие в землю небольшие надгробные памятники, это место давно утратило облик кладбища и уже не стесняло веселья и развлечений.

В середине 30-х годов кладбище стали сносить под стройплощадку. Городская еврейская община занялась перезахоронениями на действующее еврейское кладбище. Могилы раскапывались, останки складывались в специально сшитые белые мешки, на мешках черной краской наносились имена и даты, сохранившиеся на могильных камнях. Останки вывозились на катафалках и с молитвой хоронились в общей могиле...

Среди обновленного городского населения в первые же дни войны проявили себя вражеские соглашения, которые проникали в город вместе с приглашенными приезжими. Оказалось, что в пограничном городе, где столько говорилось о бдительности и борьбе с врагами народа, каким-то путем селились немецкие агенты, свободно владевшие русским языком и той или иной специальностью. Некоторые из них выдавали себя за евреев, которых в Минске, бывшей черте оседлости, было немало.

Так, по рассказам уцелевших минчан-очевидцев, вблизи вокзала, на Ленинградской улице, в одном из частных домов проживал некто Биргер, которого соседи считали евреем. Дом Биргера был отделен от заброшенного еврейского кладбища, сносимого под Университетский городок, высоким непроницаемым забором. Со стороны улицы к хорошо ухоженному дому примыкал небольшой сад. Дом казался необитаемым. Кроме самого хозяина и его малолетнего сына, никто на улице не появлялся. В этом доме незадолго до начала войны были замечены посетители в военной форме неопределенного образца. Как уже во время войны выяснилось, там собирались немецкие военные. В конце войны дом сгорел, а его территория была присоединена к Университетскому городку.

На той же улице пересуды соседей вызвал неожиданный брак молодого приезжего, красивого блондина, с привлекательной девушкой, жившей довольно замкнуто с матерью в небольшом деревянном домишке. О девушке соседям было известно, что она нигде не учится и не работает. Ее общительный молодой муж, одетый в неопределенную полувоенную форму, выдавал себя за сотрудника органов госбезопасности. Он легко входил в доверие к людям и даже предлагал хлопотать за репрессированных соседей. В годы войны подлинное лицо этой пары выяснилось — муж был немецким военным. А новый преподаватель английского языка Белорусского политехнического института

сразу же после оккупации города появился на улицах в офицерской немецкой форме. Своим бывшим студентам-евреям он рекомендовал уходить из города и якобы даже содействовал этому.

В немецкой форме появился в городе и бывший вожатый пионерского лагеря, который считался евреем. Этого молодого мужчину с неприметной внешностью от других пионервожатых, говоривших с белорусским или еврейским акцентом, отличала безукоризненная русская речь. Рассказывали, что он исчез из города, когда ему кто-то заметил, что он совсем не похож на еврея, на белоруса тем более, — а когда пришли немцы — вернулся.

Первый день. 22 июня 1941 года, в воскресенье, была прекрасная солнечная погода. Событием этого дня был дневной спектакль МХАТа «Школа злословия» с участием выдающихся актеров — Андровской, Яншина, Кторовы, Мас-сальского. К Дому Красной Армии, где в недавно построенном здании был один из лучших в городе театральных залов, направлялись минские театралы. Мало кто из горожан обращал внимание на отдаленные звуки взрывов — все уже привыкли к военным учениям и учебным тревогам. Время от времени по радио раздавались призывы:

— Граждане! Воздушная тревога! К городу приближаются вражеские бомбардировщики!

Но и эти призывы не воспринимались всерьез; некоторые от них даже отмахивались: мол, тоже нашли время для учений. Да и радио было не во всех квартирах.

В хорошем настроении, без всяких опасений обладатели дефицитных билетов отправлялись в театр.

А война уже шла на окраинах, и огромное, ни с чем не сравнимое горе надвигалось на город!

Спектакль начинался в 12 часов дня. Первый акт искрометной пьесы, разыгрываемой великолепными актерами, прошел с большим успехом. После антракта, когда зрители настроились на второй акт, поднялся и тут же закрылся занавес. Перед ним на авансцену вышел военный и, как казалось, будничным тоном заявил, что на нашу страну вероломно напали фашисты. В зале после его слов наступила тишина, а потом раздались приглушенные стоны и всхлипы. Военный уверенным голосом со сцены призвал к спокойствию, он коротко сообщил о выступлении по радио Молотова и попросил не поднимать панику. Затем он объявил, что военнообязанные должны направиться в свои военкоматы, а остальные могут оставаться в зале, так как спектакль будет продолжаться. И спектакль продолжился и закончился как положено!

На улицах тем временем стали собираться минчане в ожидании новых сообщений и каких-либо указаний от властей. Никаких новых сообщений не последовало, но жители были уверены, что завтра, в понедельник, все определится, партия и правительство обо всем позаботятся. Толпа возбужденной молодежи собралась у здания горкома комсомола на Ленинской улице, все готовы были выступить на защиту Отечества. К шумевшим вышел рядовой работник горкома и объявил:

— Военнообязанные должны направиться в свои военкоматы, об остальных мы подумаем, когда надо будет, вас вызовут, а сейчас расходитесь по домам.

Расходились неуверенно и неохотно. По радио продолжались сообщения о воздушных налетах, но налетов на город в этот день не было. Город затих к вечеру в состоянии тревоги и неопределенности.

Второй день. В понедельник 23 июня трамвай, основной городской транспорт, появился на улицах вовремя, и это упорядочило утреннюю городскую жизнь. Ночь прошла спокойно, но на рассвете снова послышались уже близкие разрывы бомб. Люди знали, что во многих зданиях, в новостройках, имеются бомбоубежища. Поэтому, оставив имущество и квартиры на произвол судьбы, многие пришли на работу со своими домочадцами и после рабочего дня остались в бомбоубежищах ночевать. В этот второй день уже стало из-

вестно, что еще вчера, в первый день войны, самолеты на городском аэродроме были разбиты бомбовыми ударами и не успели подняться в воздух.

Стало также известно (не из радиосообщений), что разбит Станкостроительный завод им. Кирова и что имеются человеческие жертвы. И тем, кто оставался на ночь в бомбоубежищах, и тем, кто вернулся вечером домой, было по-прежнему же не ясно, что предпринимать и как быть дальше. Некоторые обитатели деревянных домов перебирались к родственникам или друзьям в каменные дома, которые казались надежнее. Воздушные налеты на третий день развеяли эти надежды. Высящиеся каменные дома под ударами небольших бомб обрушивались в первую очередь, а деревянные и даже жалкие хибары на окраинах оставались целы, они были разрушены и сожжены много позднее, в наземных операциях.

Весь второй день прошел под непрерывный гул самолетов, летавших над городом, очевидно, для воздушной разведки. Городские власти вроде бы никак себя не проявляли, но по радио периодически звучали рекомендации не поддаваться панике, и горожане верили, что о них позаботятся, что Красная Армия их защитит.

Третий день. 24 июня, вторник, не только сокрушил надежды жителей на защиту, но оказался сокрушительным для города. Утро началось, как и накануне, с призывов по радио:

— Граждане, воздушная тревога! К городу приближаются вражеские бомбардировщики!

Гражданам все так же было не ясно, что делать. Но трамваи ходили, и работающие дисциплинированно направлялись на работу. Остальные обыватели, не забывая о воздушной тревоге, пытались заниматься своими повседневными делами.

Неопределенность разрешилась довольно скоро — на город обрушился шквал бомбовых ударов. Казалось, что бомбежка ведется целенаправленно по жилым домам, значительные правительственные новые здания почти не пострадали, уцелели и многие древние исторические постройки. Первые удары пришлись по центральным улицам. Самолеты летали низко над незащищенным городом, сбрасывая бомбы не очень большой разрушительной, но вполне устрашающей силы. Жители заметались, казалось, что укрыться негде, что самолеты летают над всеми улицами сразу. Организованных действий по обороне или самообороне, по эвакуации населения не было. Видимо, паника охватила и городское руководство.

В какой-то мере растерянность городских властей объяснялась тем, что в их составе было много новых людей, недавно направленных из центра взамен репрессированных. Они еще не успели освоиться с управлением городским хозяйством. И в этот же, третий, день войны многие руководящие работники, используя вверенный им транспорт, вывозили свои семьи вместе с домашним скарбом. Для таких семей встреча с немецкой оккупацией была бы особенно опасна. Находились и те, кто говорил своим подчиненным: «Предприятия (учреждения) больше не существует, я уже больше не директор (не начальник), поступайте сами как знаете». У людей, воспитанных на подчинении начальству, не приученных к самостоятельным решениям, такие слова вызывали чувство безысходности.

Спасались, как могли. Бросая жилища и имущество, часто прямо с мест работы горожане бежали куда глаза глядят. Вскоре определилось общее направление бегства от бомбежек: на окраины, к лесу. На восточной окраине собралась большая беспорядочная толпа, хорошо заметная летчикам, которые стали строчить по ней из пулеметов. Никем не управляемая, толпа бросилась в ближайший лес и далее на Могилевское шоссе, которое вело на восток. Встречным потоком на защиту города уже шли войска Красной Армии. Молодые солдатики кричали в толпу:

— Возвращайтесь домой, мы защитим вас!

В то же время встречными небольшими группами шли в Минск — как потом оказалось — мародеры! После дня ураганной бомбежки покинутые горожанами квартиры подвергались ограблению.

Однако минчане, неорганизованной толпой уходившие из города 24 июня 1941 года, именно они в большей своей части спасли себе жизнь. Шли пешком почти триста километров, прячась, как могли, от бомбежек и налетов, по пути приобретая какую-то еду и питье, — и, добравшись до организованной посадки в товарные вагоны, были направлены на восток в пункты эвакуации: в Куйбышев, Казань, Саратов, Среднюю Азию.

Оставленный город к вечеру третьего дня войны казался полностью опустевшим. Но это было не так. Вдали от центра и бомбовых налетов затаились люди, которые еще надеялись, что город отобьют войска Красной Армии.

Оставалось и немало жителей, почитавших немцев как культурную нацию и ожидавших их прихода. Как жестоко они потом были разочарованы! Тяжкая участь постигла многих из тех, кто не смог или не захотел убежать 24 июня...

Наш рассказ о событиях первых трех дней войны в Минске будет неполным без еще нескольких свидетельств очевидцев.

Рассказывали, что в центре города небольшая группа людей пряталась от бомбежки в нижнем этаже Центральной городской поликлиники. Помещение казалось надежно укрепленным массивными колоннами. На это здание бомбы не падали, но гул самолетов и удары по соседним зданиям держали людей в страхе. Вместе с тем в этом помещении бесстрашно обретались какие-то подозрительные типы, как бы обо всем уже осведомленные. Когда кто-то из прятавшихся сказал: «У, фашистские гады! По мирному городу палят!» — один из таких «типов» прикрикнул: «Молчите! Еще не такое увидите!»

Администрация поликлиники ожидала распоряжений своего начальства, указаний врачам и медсестрам, которые были военнообязанными. Никаких указаний не поступало. Вечером медперсонал и прятавшиеся присоединились к общей массе, уходившей из города по Могилевскому шоссе. Из бомбоубежищ Белорусской академии наук сотрудники, не возвращаясь домой, уходили в ту же сторону. Слух об общем спасительном направлении бегства распространился по городу.

Трагическая судьба постигла довольно известную в городе семью. В относительно безопасном месте укрылись четыре как на подбор молоденькие красавицы с родителями. Мать была после операции, а старшая дочь — с грудным ребенком. Ждали мужа старшей дочери, который ушел в военкомат и намеревался вывезти всю семью. Прождали напрасно. Из этой семьи, погибшей в гетто, спаслась лишь одна из сестер, которой удалось убежать в лес, в партизанский отряд. Таких семей, сгинувших в гетто, было много.

Еще один эпизод. Семья ответственного работника, за которой был прислан автомобиль, в тот же день вернулась с половины пути домой за тещиной швейной машинкой. Когда снова собрались ехать, автомобиль был конфискован военными. Семья с двумя маленькими детьми вынуждена была остаться и пережить оккупацию, потеряв из-за болезни одного ребенка.

Не обошлось и без комичных ситуаций. Некий солидный гражданин из числа командированных вышел из гостиницы в двух надетых один на другой дорогих заграничных костюмах и в габардиновом пальто поверх них. И это в жаркий летний день! В таком виде он передвигался от укрытия к укрытию. Прохожие смеялись, хоть и было не до смеха. А вот спасся ли он, неизвестно.

Организованно в этот день удалось уехать семьям москвичей, командированных на строительство и освоение авиационного завода. (После войны его территория и недостроенные корпуса были переданы Минскому автомобильному заводу.) Это был завод из числа тех, строительство которых в Минске, Могилеве и других городах было развернуто накануне войны для обеспечения возможных военных действий на вражеской территории. Завод проектировался и строился высококвалифицированными специалистами из Москвы и других центральных городов. Для строительства был выбран прекрасный участок вблизи леса.

Летом 1941 года в недостроенные корпуса уже свозилось новейшее импортное оборудование. Оно устанавливалось с размахом и техническим вкусом. Великолепные сосны, оставляемые строителями в интерьерах корпусов, обдуманно сошталась с расстановкой агрегатов. Освоение завода шло полным ходом, но фашисты налетели раньше, чем завод был готов к выпуску самолетов.

В первые же два дня встал вопрос о необходимости вывоза отсюда специальной и секретной документации. Сразу стало ясно, что оставаться в городе работающим и их семьям — опасно, хотя завод и размещался на окраине города, в тишине лесной зоны, а бомбардировщики, летавшие низко над заводом, казалось, его не замечали. На третий день уже были готовы автомобили для эвакуации москвичей и их семей. Небольшое количество мест было отведено минчанам.

И все же все произошло внезапно. 24 июня в начале рабочего дня над заводом появилась «туча», не менее двадцати бомбардировщиков. С земли, из окон корпусов, были видны их опознавательные знаки. Завод они не тронули, но их зловецкие намерения были очевидны.

— Ну, началось! — закричал кто-то из сотрудников, увидев «тучу», затмившую свет.

Прежде чем опомнились все остальные, была дана команда расходиться, а московским семьям готовиться к отъезду, немногим минчанам тоже. На сборы отводилось всего два часа. Последними к месту отъезда автомобилей примчались минчане. Они пытались за эти два часа доставить к пункту сбора свои семьи, метались по городу — и опоздали, машины уже тронулись в путь.

Опоздавшие стали кричать вслед проезжавшим автомобилям:

— Возьмите нас! Мы с этого завода!

Машины не останавливались.

Ход события изменил немецкий летчик, возвращавшийся после бомбежки города. Самолет стал кружить над колонной из пяти открытых грузовых автомобилей с людьми. Его маневры выглядели угрожающе, и, опасаясь обстрела, руководители колонны остановили автомобили, а отъезжающим приказали прятаться под ними. Покружив над автомобилями, самолет удалился. Очевидно, смертоносный груз и горючее были уже израсходованы. Предполагать, что летчик пожалел беглецов, после всего, что стало известно о бесчинствах фашистов, не приходится.

Самолет улетел, стало как-то очень тихо. Отъезжающие вместе с опоздавшими погрузились в машины. Автомобили ехали через Борисов, Вязьму, Смоленск на Москву. В Можайске автомобили были мобилизованы на военные нужды, а людей отправили в Москву на поезде, куда они прибыли 28 июня, когда Минск был уже фактически оккупирован.

В Москве авиационщики были приняты в Министерстве авиационной промышленности, их снабдили необходимыми документами, командировочными и подъемными и направили на работу в Казань и Куйбышев. Так для этой группы закончилось то, что им пришлось пережить на третий день войны в Минске.

3 июля 1944 года Минск был освобожден.

Город отстроили и восстановили сравнительно быстро.

Минчане считают, что этому способствовало энергичное и деловое руководство Петра Мироновича Машерова, комсомольского и затем партийного руководителя Белоруссии. О страданиях города и его жителей во время оккупации есть немало свидетельств, но это отдельная тема. Теперь Минск — современный европейский город. Его прежний провинциальный облик исчез. Но это город с совершенно другими людьми других поколений. Большинство тех, кто ушел пешком из города или уехал на грузовиках 24 июня 1941 года, не вернулись в него...



ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ

*

СТРОГАЯ ПРОЗА НАУКИ

Очень часто отличить собственно научное знание от псевдонауки весьма непросто. Более того, вполне научное утверждение может по мере накопления нового материала стать чем-то несуразным, а не вполне научное, гипотетическое, стать строго, научно обоснованным. Четкой границы здесь нет. Ошибиться может даже серьезный профессионал, хотя происходит это не так уж часто. Чем можно руководствоваться, пытаясь определить и отделить научное знание от плотного облака мифологии, которое его окружает?

Выработать критерий, указать полный список необходимых и достаточных условий научности, конечно, нельзя. И сейчас, и в будущем это вряд ли станет возможным — именно потому, что наука постоянно переступает через собственные границы, постоянно меняется. Но можно попытаться указать на некоторые особенности псевдонаучных текстов, которые позволяют с высокой степенью вероятности судить о том, что перед нами очередные фантастические построения, пытающиеся казаться научными.

Несмотря на то что очень многие глобальные научные программы не достигли заявленных целей, наука сохраняет огромный авторитет, и потому признак научности того или иного текста придает ему несомненный вес в глазах дилетанта. А ведь именно мнение дилетанта очень часто является определяющим в таких, например, вопросах, как выделение средств на финансирование научных программ. Но чтобы сделать разумный выбор из нескольких рекомендаций экспертов-специалистов, необходимо понимать существо проблемы, хотя бы в общих чертах. Поэтому в вопросе, что же все-таки наукой заведомо не является, разбираться необходимо.

Первым признаком того, что перед нами псевдонаука, является, как ни странно, яркость и новизна утверждений. Если человек опровергает всю существующую историю и хронологию, если он легко решает все проблемы развития человека и социума или, скажем, объявляет ошибкой теорию относительности и заодно квантовую механику и восстанавливает в правах теорию эфира, если он предлагает единый язык для описания всех возможных процессов и систем от теории информации до истории Верхнего и Среднего Египта, уже один этот размах и масштаб должны обязательно настораживать.

Яркость и новизна, конечно, сопутствуют любому настоящему открытию, но практически всегда эту новизну может почувствовать и оценить только очень ограниченный круг специалистов — людей, хорошо и подробно знакомых с проблемой, тех, кто так или иначе к этому открытию причастен.

Массовое сознание способно реагировать не на сами научные открытия, а на их популярные интерпретации — на знания, полученные из вторых-третьих рук. Физик, может быть, и напишет популярную историю своего открытия, но это далеко не первое дело, которым он озабочен. Гейзенберг описал свои интуиции квантовой механики через тридцать лет после того, как их пережил.

Только что совершенное открытие некрасиво, совсем как новорожденный младенец, которого еще не помыли, не одели, не крестили. Кто узнает в нем будущего героя и мыслителя? Да никто, только отец и мать будут верить в то, что их ребенку уготовано великое будущее.

Неяркость или неброскость, своего рода скромность настоящих глубоких достижений человечества объясняются довольно прозаически — логикой и методологией науки. Чем открытие глубже, чем серьезнее изменения, которые оно приносит в существующую структуру знания, тем более подробной и тщательной верификации оно требует. Научное открытие может стать хитом сезона только в том случае, когда оно уже как бы сделано заранее, когда результат угадан и ожидаем. Это в определенном смысле случилось с Эйнштейном.

Наука продвигается вперед черепашьям шагом, очень подолгу топчется на месте, трамбуя площадку, выясняя, можно ли здесь стоять? не болото ли? Иначе не может быть, поскольку главное качество любой научной работы — это обязательная верифицируемость результатов. Здесь не должно быть никаких умолчаний. Все, что мы принимаем как основополагающие аксиоматические утверждения, должно быть явно оговорено и/или подтверждено и тысячекратно перепроверено в эксперименте. Но и этого недостаточно. Необходимо единство языка, который использует та или другая научная дисциплина. То есть все выводы и допущения должны быть взаимосвязаны и должны в большей или меньшей степени подтверждать друг друга — поддерживать. Любое внешнее утверждение разрывает эту ткань и становится неверифицируемым — оно невыводимо, оно требует совершенно новой системы аксиом, или предпосылок, или экспериментальных данных.

Если математика, хотя бы в принципе, обладает заявленным единством языка, то о физике уже такого не скажешь. Здесь есть эксперимент — источник знаний о природе явления, и есть математический аппарат, и они далеко не так хорошо согласованы, как собственно математические знания. Но они влияют друг на друга и связаны через исследуемый объект. И здесь возможны и ошибки, и пробелы, и натяжки, и неизбежные упрощения. Физика — нестрогая наука, но физика — наука гораздо более живая, чем математика. Физическое сообщество потратило несколько столетий на наблюдения и размышления, чтобы выработать соглашения о том, какие данные теории и эксперимента и до какой степени достоверны.

Если математик по крайней мере гипотетически может сделать великое открытие, сидя в башне из слоновой кости (на практике так бывает очень редко), то физик не может работать в одиночку. Достоверность знания должно подтвердить все физическое сообщество. И только в этом случае новое знание получает право на существование в контексте науки, иначе оно будет отвергнуто.

Единство языка включает в себя строгость математического аппарата, технологию постановки эксперимента и кроме того — систему обсуждения и принятия нового знания — институты, семинары, диссертации, статьи. Все это не просто так, не для того, чтобы выстраивать карьерную лестницу (ну, скажем, не только для этого), и не для того, чтобы мешать гениальным самоучкам-одиночкам делать великие и величайшие открытия. Чем труднее вопросы, которые мы задаем природе, тем сложнее верификация знаний. Поэтому ждать, что откуда ни возьмись явится новый гений, вообще говоря, можно, но дожидаться нельзя.

Единство языка и обязательность верификации требуют минимизации обязательных исходных данных. Легендарная «брита Оккама» говорит именно об этом: «не умножайте сущности без необходимости». Но принятые сущности, аксиомы, исходные предпосылки не остаются неприкасаемыми — они всегда относительная граница, которую необходимо переступить.

Это требование прямо противоположно наличию «сокровенных знаний». А вот всякая псевдонаука просто-таки жить не может без сокровенного. Оно является в самых разных видах, но у него есть отчетливый признак — оно в

принципе не поддается проверке. Ссылки на степень посвященности здесь обычное дело. «Изыдите, профаны», а я потом выйду и скажу вам, баранам, о чем беседовал с богами.

Различие между сокровенным знанием и научной истиной хорошо сформулировал Айзек Азимов:

«...с научной точки зрения, начало имело место не только у Земли, но и у всей Вселенной. Не значит ли это, будто Библия и наука пришли к согласию в этом вопросе? Да, пришли, но согласие это непринципиальное... Библейские утверждения покоятся на авторитете. Коль скоро они воспринимаются как вдохновенное слово Божье, всякие доводы здесь прекращаются. Для разногласий просто нет места. Библейское утверждение окончательно и абсолютно на все времена. Ученый, напротив, связан обязательствами не принимать на веру ничего, что не было бы подкреплено приемлемыми доказательствами. Даже если существо вопроса кажется на первый взгляд очевидным, лучше все-таки — с доказательствами...

Итак, библейское утверждение, будто земля и небо когда-то имели начало, авторитетно и абсолютно, но не обладает принудительной силой. Научное утверждение, будто земля и небо имели начало, обладает ею, но вовсе не авторитетно и не абсолютно. Здесь таится глубочайшее расхождение позиций, которое куда более важно, чем внешнее сходство словесных формулировок»¹.

Библия — это пример знания, которое не поддается проверке в принципе. Но псевдонаука пользуется такими ссылками не часто, видимо, здесь слишком очевидно, что подход ненаучен. А вот ссылками на труднодоступные источники псевдонаучные тексты просто пестрят. Это замечательное «как известно» — и дальше глухая ссылка на авторитетное имя, на здравый смысл, на очевидность.

Владимир Низовцев в своей книге «Время и место физики XX века» пишет: «В течение едва ли не столетия источником идей для физиков (и не только) служат ребяческие суждения о фундаментальных вопросах физики, содержащиеся в школярском реферате Эйнштейна 1905 г.»² (это имеется в виду работа о Специальной теории относительности!). Или: «Школярство и волюнтаризм были характерной чертой работы Бора»³ (это уже о модели атома Бора — Резерфорда). Оказывается, все проблемы, возникшие перед физикой в начале века, уже были решены русским ученым Умовым в работе 1913 года. Низовцев пишет о том, что если бы работа Умова была вовремя прочитана и понята физиками, то рефераты помянутых школяров вспоминали бы сегодня как курьез. Ссылка на работы аккуратно указана: «Умов Н. А. Избранные сочинения. М. — Л., ГОИТТЛ, 1950», здесь все в порядке.

Только вот что же конкретно писал в своей абсолютно гениальной работе русский физик, проговорено как-то уж очень невнятно и вскользь. И закрадывается мысль: может, пойти в Ленинку, взять книгу Умова и познакомиться с его гениальной работой?

В старых книгах бывают удивительные находки. Многие идеи, разрабатываемые современными логиками — логикой норм и действий, логикой предпочтения, логикой полезности, — были напрямую инициированы внимательным перечитыванием Аристотелевой «Топики» и трудов Лейбница и Бенгтама. Это было не историческое комментирование, а попытка серьезного обсуждения идей философов, и она оказалась продуктивной.

Но Низовцев, по-моему, и не хочет, чтобы кто-то перечитывал Умова. Чтобы сделать такой научный труд актуальным, нужно все его результаты переоткрыть — согласовать с новыми экспериментальными данными и переписать на современном математическом языке. Низовцевым теория русского фи-

¹ Азимов Айзек. В начале. М., Изд-во политической литературы, 1989, стр. 34, 36.

² Низовцев В. В. Время и место физики XX века. М., «Эдиториал УРСС», 2000, стр. 95.

³ Там же, стр. 107.

зика и авторитет имени используются здесь так, как сказано у Боратынского о критике, «Уже кадящим мертвецу, чтобы живых задеть кадиллом»⁴.

Этот пример интересен именно тем, что автор использует внешне научный инструментарий — строгий ссылочный аппарат — в совершенно ненаучных целях. В любой науке существует корпус обязательных книг и знаний, с которыми глубоко знаком квалифицированный профессионал. Состав этого корпуса сильно меняется в зависимости от специализации, но есть работы актуальные (они могли появиться и четырьмястами лет назад), а есть работы, вышедшие из научного ссылочного оборота по тем или иным причинам, не последней из которых является сложность языка. Причем совсем не всегда те, что остались актуальны, чем-то существенно лучше забытых — им просто больше повезло.

Так вот, чтобы сохранить видимость научности, авторы текстов, подобные Низовцеву, в изобилии дают ссылки на забытые работы. Ведь что нужно сделать, чтобы опровергнуть нашего писателя? Нужно поднять старую, написанную непривычным, а потому трудным языком, возможно, очень нетривиальную работу, но зачем? Чтобы убедиться в том, что ничего того, что в ней приснилось Низовцеву, просто нет? Если бы Низовцев действительно хотел привлечь внимание научной общественности к старой работе Умова, он бы по крайней мере внятно ее пересказал, но он этого не делает — ему нужно не это. Ему необходим научный флер, а не наука как таковая. Тот флер, который делает его собственные крайне спорные утверждения солидными и авторитетными.

Другой замечательной особенностью псевдонауки является ее, так сказать, междисциплинарный характер. Иными словами, вали все в один котел: даосизм, психоанализ, физику, лирику, социологию, философию от античности до Ницше и дальше. Причем очень важно затушевывать границы, чтобы читатель не понимал, где иллюстрация, а где метафорическое доказательство, чаще всего по аналогии.

В своей знаменитой работе «Этногенез и биосфера Земли» Лев Гумилев пишет:

«В XVIII в. Лавуазье сформулировал закон сохранения вещества, который оказался не то что неверным, а скорее неточным. Сгорание в герметическом сосуде показало химику того времени неизменившийся вес только потому, что у него были недостаточно чуткие весы. На самом деле был потерян фотон, но уловить потерю Лавуазье не мог. Теперь физики знают, что при интенсивных термодинамических процессах идет утрата вещества, преобразующегося в световую энергию, а последняя уходит из своей системы в межгалактическую бездну. Это аннигиляция, которая не смерть, но страшнее смерти.

Так как процессы этногенеза имеют энергетическую природу, очевидно, что и на них распространяется эта закономерность. Древние мудрецы это знали. Они даже персонифицировали, как это было тогда принято, принцип аннигиляции и назвали его Люцифером, то есть „носящим свет” (правильнее будет неточный перевод — уносящий свет; куда? — в бездну!). А бездну сопоставили с адом — самым страшным из всего, что могли вообразить...

Современная физика тоже оперирует этим понятием, конечно, называя его по-своему — вакуум»⁵.

Зачем нужно Гумилеву это довольно-таки непрозрачное рассуждение? Он стремительно пронесится по очень разным областям человеческого знания: начав историей химии, продолжив знанием древних мудрецов (не правда ли, очень напоминает вездесущее «как известно?»), дальше про ад и про духа бездны, который оказывается, перевернувшись через голову, современным физическим вакуумом.

⁴ Боратынский Е. А. Полн. собр. соч. Под ред. и с примеч. Л. Гофмана. Т. 1. СПб., издание Разряда изящной словесности Императорской академии наук, 1914, стр. 165.

⁵ Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., Изд-во Ленинградского университета, 1989, стр. 442.

Картина, нарисованная Гумилевым, красива и зловеща. Чувствуешь себя виртуальной частицей, которая вот прямо сейчас и аннигилирует. Иллюстрируя свои идеи примером из области, обладающей своими законами и своей специфической верификацией, Гумилев как бы берет у физики ее строгость напрокат: если физические законы подтверждают найденные энтогенетические закономерности, то эти закономерности становятся убедительны, даже неопровержимы.

Но никогда никакая аналогия не была доказательством. У географии свои законы, у физики свои, и что бы там в физике микромира ни происходило, вряд ли это существенно для понимания этногенеза. Научное рассуждение так строиться не может. Даже если бы Гумилев абсолютно верно и обоснованно использовал все физические термины и теории, он все равно не имел бы права на заключение по аналогии. По аналогии мыслили в XV — XVI веках — но это мышление было как раз донаучным. У мыслителей того времени были серьезные основания для аналогий — они исходили из того, что все подобно всему, потому что подобно Творцу.

Когда я впервые читал «Этногенез...», я был им очарован. Ровно до того места, которое я разбирал только что. Когда мне стало понятно, что Гумилев легко и некритично использует понятия, в которых он, скажем так, не вполне компетентен, я перестал доверять и всей концепции.

Станислав Лем пишет в своем эссе «Artificial servility»: «Я сам некогда сочинял science fiction и стремился минимализировать нарушение элементарных и хорошо нам известных законов природы... А в картине „День независимости” проигнорировано и поправлено в угоду кассовому успеху кинематографистов огромное количество законов природы. Большинство событий в этом фильме противоречит очевидному. Например, громадные корабли extraterrestrials⁶ не могут зависнуть над Манхэттеном, потому что при таком приближении к Земле будет пересечена так называемая граница Роше. В результате любое достаточно большое тело будет разорвано гравитационными силами планеты... Говоря простым языком, кинематографисты пудрят нам мозги⁷. Я бы рад согласиться с Лемом, но в данном случае он поступает как самый натуральный псевдоученый — он использует магический авторитет термина (и своего имени, конечно) — это термин «граница Роше». Я должен сказать, что давление термина и имени оказалось и для меня достаточно убедительным — я не стал бы перепроверять утверждение Лема, тем более в Голливуде действительно не очень-то считаются с законами природы, если бы не скептическое замечание профессионального физика: «Что-то Лем здесь перегибает».

«Так называемая граница Роше», или предел Роше, или сфера Роше, — расстояние, на котором приливные силы, воздействующие на менее массивное тело, приближающееся к более массивному, становятся сильнее, чем силы внутреннего тяготения, не позволяющие телу распасться. «Граница Роше» не существует для тел сравнительно небольшого размера — мы ведь ходим по Земле, и она нас не разрывает на части. Лем утверждает, что космические корабли пришельцев не могли приблизиться к Манхэттену, то есть что их размер уже настолько велик, что приливные силы должны были их разорвать. То, что эти тела по крайней мере не превышали размерами сам Манхэттен, отчетливо видно в кадре. С астрономической точки зрения эти корабли инопланетян совсем небольшие — их размеры вполне обозримы с расстояния нескольких сотен метров (они висают чуть ли не над самыми небоскребами). Вот что пишет английский исследователь: «Закон Роше применим к телам, диаметр которых больше 360 км. Вычислено, что тела с почти одинаковой плотностью

⁶ Инопланетян (англ.).

⁷ Лем Станислав. Из книги «Мегабитовая бомба». — «Новый мир», 2000, № 7, стр. 165.

могут сблизиться не более чем на 2,45 радиуса большего тела, а затем гравитационные силы большего тела разорвут меньшее на части»⁸.

360 км — это близко к размеру третьего по величине астероида — Весты, чей диаметр 385 км. Это тело вполне астрономических размеров. Если бы Веста приблизилась к Земле и пересекла границу Роше, она была бы разорвана приливными силами, но корабли инопланетян в «Дне независимости» несравнимо меньше. Не думаю, что Станислав Лем намеренно искажил законы природы, за соблюдение которых в вымышленной реальности он так ратует. Его ошибка тоже связана с магией термина и невольно иллюстрирует построения псевдонауки. Термин или закон берется правильный, но искажается область его применения.

Единство языка, однозначность терминологии необходимы. Не для того их выдумали ученые, чтобы изображать из себя особо умных, а чтобы понимать друг друга однозначно. При использовании терминологии одной науки в границах другой нарушается контекст и слово значит совсем не то, что должно значить. Остается шелуха, оболочка, видимость научности, что-то по-гречески или по-латыни. Но смысл утрачен.

Наука развивается непрерывно — она не принимает никаких скачков. То, что Кун назвал научными революциями, — это наведение порядка — генеральная уборка по весне. Дом-то продолжает стоять, как и стоял, никто и не думает его сносить. Просто выбрасывают некоторое количество хлама, а то и не выбрасывают, а прячут на антресоли — авось пригодится.

Оттого что Рассел сформулировал свои парадоксы и, по словам Фреге, здание математики закачалось, инженеры не разучились рассчитывать пролеты мостов, используя метод виртуальных перемещений Лагранжа.

Аристарх Самосский, этот Коперник античности, предложил использовать гелиоцентрическую систему более чем за полтора тысячелетия до Коперника. Но его система не была принята античным мышлением. И дело здесь не в близорукости астрономов и математиков того времени. А именно в том, что они были настоящими серьезными учеными.

Аполлоний Пергский, разработавший систему описания видимого движения планет с помощью эпициклов, был подлинный ученый.

Гелиоцентрическую систему нельзя было принять не только потому, что она противоречила авторитетнейшим Платону и Аристотелю, на это бы греки пошли, но и потому, что гелиоцентрическая система противоречила двум фундаментальным наблюдаемым явлениям: неподвижности далеких звезд и Аристотелевой аксиоме, согласно которой «тяжелому естественно стремиться вниз».

Аристарх предложил считать, что звезды настолько удалены от Земли, что вся система Солнце — Земля кажется с их удаления точкой, и потому звезды не движутся, если смотреть на них с Земли. Аристарх был гений. Но греки очень настороженно относились ко всякому проявлению актуальной бесконечности, даже к ее гипотетической возможности. Тот же Аристотель утверждал, что актуальной бесконечности нет в природе. А в системе Аристарха пришлось бы считать звезды практически бесконечно удаленными. Со второй аксиомой было еще хуже: если Земля вращается вокруг Солнца, почему она на него не падает? Предъявить хрустальную сферу, к которой она прикреплена, было довольно затруднительно.

Гипотеза Аристарха требовала введения дополнительных аксиом: что Земля — не всякое тяжелое тело, а специальное, такое, каких на самой Земле

⁸ Graham A., Fisher M. Ed. A Possible Flood, Ice-Age and Earth Division Mechanism. Creation Science Movement (UK), Pamphlet 288. («Возможные механизмы Потопа, оледенения и разделения земной коры». Перевод с английского Яна Шапира. Цит. по: <http://www.ecc.crimea.ua/~new/docs/geo/mechanism.html>).

нет, — остальные-то падают. И признания того, что Космос практически неограниченно велик.

Греки предпочли нормальное, скромное — в точности научное решение, которое не требовало коренной ломки представлений о природе. Но они сохранили гипотезу Аристарха — о ней мы знаем от Архимеда из его «Псаммита», и Копернику, искавшему аналогии и подтверждения своим идеям, было легче решиться их сформулировать и опубликовать, так как прецедент уже был создан.

Пауль Фейерабенд пишет в своей знаменитой работе «Против методологического принуждения» (у работы характерный подзаголовок «Очерк анархистской теории познания»). «В наших школах не довольствуются просто историческим изложением физических (астрономических, исторических и т. п.) фактов и принципов. Не говорят так: существовали люди, которые верили, что Земля вращается вокруг Солнца, а другие считали ее полой сферой, содержащей Солнце. А провозглашают: Земля вращается вокруг Солнца, а все остальное — глупость»⁹. Философа такая ситуация категорически не устраивает. Он видит в ней методологическое принуждение, диктатуру ученых, которые более всего заинтересованы в сохранении власти и влияния. Философ предлагает знаменитый принцип анархической теории познания: все допустимо и все равноправно — физика, астрономия, история или астрология, натуральная магия, легенды — каждый выбирает по себе, и каждый прав. Любое ограничение приводит к неизбежной стагнации и умиранию науки. Наука — это только один из мифов, но миф чрезвычайно влиятельный, и его давно следует поставить на подобающее место. А то, что действительно необходимо человечеству, философ предлагает решать не специалистам и ученым — они все равно между собой не договорятся и никогда не примут верного решения, поскольку они лица заинтересованные; что делать и куда направлять усилия и средства, должны решать частные лица, своего рода суд присяжных. «Для такого исследования никто не подходит лучше постороннего человека, т. е. смышленного и любознательного дилетанта»¹⁰.

Сам Фейерабенд, конечно, не дилетант — он эрудированный и глубокий мыслитель, методолог и историк науки, и чтобы оспаривать его аргументацию, необходимо погрузиться в детали и частности — в первую очередь коперниканской революции и роли Галилея в ней. Здесь, конечно, нет смысла этим заниматься. Но необходимо отметить следующее: все, что предлагает применять в методологии и практике науки Фейерабенд, уже реализовано, начиная от принципа «все допустимо» вплоть до столь любимого философом специфического суда присяжных, состоящего из смышленных и любознательных. Но реализовано не в науке, а в искусстве, где действительно неприемлемы никакие ограничения, любая идеология важна и существенна, ничто не стареет и не утрачивает своей ценности, и даже окончательную оценку ставит читатель или зритель, тот самый любознательный дилетант.

Но наука и искусство исходят из разных первичных предпосылок. Наука начинается с предположения, что *мир существует и единственен*. Если это предположение верно, то Земля и Солнце в самом деле есть, а Земля вращается вокруг Солнца. Мы можем заблуждаться, но мы не можем одновременно признавать это положение и то, что Солнце находится в центре Земли. Мы вынуждены выбирать. А как только мы оказываемся в ситуации выбора, мы вынуждены принимать одну альтернативу и отвергать все остальные. Это — диктатура, тирания науки, которую так не любит Фейерабенд. Искусство же совершенно не заботится о том, насколько его построения соотносятся с действительно существующим единственным миром, потому что вовсе не предпо-

⁹ Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1990, стр. 128.

¹⁰ Там же, стр. 135.

лагает ни его существования, ни тем более единственности. И у искусства есть на то свои основания.

Псевдонаука, которая эксплуатирует научный авторитет в своих если не корыстных, то уж, во всяком случае, далеких от познания целях, конечно, науку дискредитирует, но с этим ничего не поделаешь. Нужно просто в каждом конкретном случае быть внимательным и аккуратным.

Если перед вами разворачивают картину мира, которая агрессивно и безапелляционно отвергает все известные и принятые представления, если в ней используются все виды знаний и искусств одновременно, если при малейшем затруднении автор ссылается на сокровенное, то вероятнее всего — это псевдонаука, как бы ни был подробен ссылочный аппарат, сколь ни темны термины и какое бы количество математических формул ни встретилось на страницах.



Е. О. ЛАРИОНОВА, С. А. ФОМИЧЕВ

*

НЕЧТО О «ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ» ОНЕГИНСКОГО ТЕКСТА

Текстология требует особой скромности и такта; идеологическая ангажированность для нее губительна.

М. И. Шапир.

Ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН, лауреат премии Европейской академии Максим Шапир получил грант Российского фонда фундаментальных исследований для изучения текстологии «Евгения Онегина». Он выяснил, что «текст, перепечатаваемый под таким названием многомиллионными тиражами, не соответствует ни одной из прижизненных публикаций романа» (стр. 147), удивился и решил не только поделиться своими наблюдениями с читателями «Нового мира»¹, но и пресечь «традицию вольного обращения с подлинником», которую, по его мнению, «продолжают издания, называемые „научными“ и „академическими“» (стр. 148).

Главным виновником современного искажения пушкинского текста объявлен Б. В. Томашевский, который в 1937 году подготовил текст «Евгения Онегина» с полным сводом вариантов и редакций для академического собрания сочинений. Со странной горячностью М. И. Шапир набрасывается на давно покойного ученого, одного из основателей современного пушкиноведения, по свидетельству всех современников, человека необычайного таланта, пронизательности, научной добросовестности и принципиальности, филологический авторитет которого никогда никем не ставился под сомнение. М. И. Шапир обвиняет Томашевского и в идеологической ангажированности, и в приспособленчестве, и в выполнении социального заказа, и в отсутствии исследовательских «скромности и такта», и т. д. и т. п. Окончательный приговор, вынесенный пушкинисту, звучит взвешенно и сурово: «Его огромные заслуги перед пушкинистикой, и в частности перед пушкинской текстологией, не отменяют многих плачевных последствий его деятельности на этом поприще» (стр. 160). Оставив пока в стороне вопросы этические, попробуем разобратся в сути выдвинутых обвинений.

Ларионова Екатерина Олеговна — литературовед, родилась в 1967 году, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела пушкиноведения Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН, автор статей, посвященных пушкинской эпохе и творчеству Пушкина.

Фомичев Сергей Александрович — литературовед, родился в 1937 году, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН, в течение многих лет был заведующим отдела пушкиноведения ИРЛИ РАН и ученым секретарем Пушкинской комиссии РАН, автор многочисленных статей о Пушкине и книг «Поэзия Пушкина. Творческая эволюция» (Л., 1986), «Графика Пушкина» (СПб., 1993), «Праздник жизни. Этюды о Пушкине» (СПб., 1995), «Служение муз. О лирике Пушкина» (СПб., 2001); научный руководитель проекта «Пушкин А. С. Рабочие тетради. [В 8-ми томах. Факсимиле]» (СПб. — Лондон, 1995 — 1997).

¹ «Новый мир», 2002, № 6, стр. 147 — 165. Этот же текст под другим заглавием («„Евгений Онегин“». Проблема аутентичного текста») и с некоторыми дополнительными примечаниями напечатан в «Известиях Академии наук» («Серия литературы и языка», 2002, т. 61, № 3). Ссылки на страницы новоявленного текста.

Одно из главных состоит в том, что, готовя для академического издания критический текст «Онегина», Томашевский неверно избрал основной источник — первое полное издание романа 1833 года. Как известно, при жизни Пушкина его роман в стихах первоначально печатался с 1825 по 1832 год по главам (1-я и 2-я главы были переизданы соответственно в 1829 и 1830 годах), а в 1833 и 1837 годах дважды вышел в полном виде. Казалось бы, последняя авторская воля должна быть безусловно отражена изданием 1837 года. Так, в частности, думает и М. И. Шапир. Дело, однако, обстоит не совсем просто. Издание 1837 года делалось в большой спешке и, судя по всему, имело чисто коммерческий характер. В конце октября Пушкин еще вел переговоры о переиздании своего романа в стихах с содержанием Гутенберговой типографии Б. А. Враским², а уже 27 ноября 1836 года было дано цензурное разрешение на книгу, которая должна была печататься И. И. Глазуновым. Существует предположение, что печатание книги началось даже раньше официальной ее подачи в цензуру³. Достаточно также вспомнить, как складывался у Пушкина этот месяц после получения 4 ноября пасквильного «диплома роконосца», чтобы понять: издание 1837 года поэт просто не имел возможности заниматься, почему и текст его оказался искажен многими типографскими огрехами. Помимо обычных (грамматических) опечаток появились и грубые смысловые искажения, например: «Не ты ль, с *отравой* и любовью, / Слова надежды мне шепнул»⁴ вместо: «...с *отрадой* и любовью...» (гл. 3, Письмо Татьяны); «Явленьем *медленных* гостей» вместо: «Явленьем *медленным* гостей» (гл. 8, VI, 11); «К хозяйке *дома* приближалась» вместо: «К хозяйке *дама* приближалась» (гл. 8, XIV, 3); «Его встревожен *первый* сон» вместо: «Его встревожен *поздний* сон» (гл. 8, XXI, 4); «Вся сия *ироическая* строфа не что иное, как тонкая похвала прекрасным нашим соотечественницам» вместо: «...*ироическая* строфа...» (примечание 7); «...в *Оде* Баратынского» вместо: «...в *Эде* Баратынского» (примечание 28) и др.

Издание 1833 года тоже далеко не было свободно от опечаток, но ни одна из них, ни грамматическая, ни пунктуационная, ни смысловая, не была в 1837 году исправлена. Так, вслед за изданием 1833 года в 1837-м напечатано: «Child-Norald» вместо: «Child-Narold» (гл. 1, XXXVIII, 9); «Провел в бездействии, в *тиши*» вместо: «Провел в бездействии, в *тени*» (гл. 1, LV, 13)⁵; «...*странные* рассказы / Зимою, в темноте ночей, / Пленяли больше сердце ей» вместо: «...*страшные* рассказы...» (гл. 2, XXVII, 6); «Прими ж *мое благодаренье*» вместо: «Прими ж *мои благодаренья*» при рифме «творенья» (гл. 2, XL, 9)⁶; «Еще предвижу *затрудненье*» вместо: «Еще предвижу *затрудненья*» при рифме

² См. письмо Враского к Пушкину от 29 октября 1836 года: Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 16. [М. — Л.], 1949, стр. 178 (в дальнейшем ссылки на Большое академическое издание ограничиваются указанием тома и страницы).

³ См.: Смирнов-Сокольский Н. П. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962, стр. 392 — 393.

⁴ Здесь и далее курсив наш.

⁵ В беловом автографе гл. 1 стихи написаны правильно: «Провел в бездействии, в тени / Мои счастливейшие дни» (Архив Пушкинского дома, ф. 244, оп. 1, в дальнейшем ПД, 930, л. 26). Л. С. Пушкин, переписывая с этого автографа первую главу при подготовке ее к печати, в этом месте ошибся: «Провел в бездействии, в *тиши*...» (ПД 153, л. 27). Пушкин, просматривая сделанную братом копию, не заметил ошибки, искажающей стих и нарушающей рифму, в результате чего эта ошибка появилась уже в первом издании главы и далее переходила из одного издания в другое. Случай, кстати, показательный, чтобы судить о том, насколько внимательно Пушкин относился к корректурам.

⁶ Опечатка, также идущая еще от первого отдельного издания главы. В первом беловом автографе: «...*мое благодаренья*» (ПД 931, л. 25); во втором беловом автографе — рукописи, переписанной уже после всех исправлений для отсылки Вяземскому в Москву, Пушкин сначала ошибся: «...*мое благодаренье*», но сразу же в рукописи исправил стих (ПД 932, л. 5). Возможно, опечатка в отдельном издании главы появилась вследствие небрежного чтения рукописи. В предшествовавшей отдельному изданию публикации отрывков главы в «Северных цветах» на 1826 год (отдел «Поэзия», стр. 61 — 62), сделанной Дельвигом с той же рукописи ПД 932 (см. его письмо к Пушкину от начала февраля 1826 года. Т. 13, стр. 260), стих напечатан правильно.

«без сомненья» (гл. 3, XXVI, 1)⁷; «Я шлюсь на нас, мои поэты» вместо: «Я шлюсь на вас, мои поэты» (гл. 3, XXVII, 5); «То в *высшем* суждено совете» вместо: «То в *вышнем* суждено совете» (гл. 3, Письмо Татьяны); «Татьяна верила преданью / Простонародной старине» вместо: «...Простонародной старины» (гл. 5, V, 2); «Не *шевелится*, не дохнет» вместо: «Не *шевелинется*, не дохнет» (гл. 5, XV, 4)⁸; «...*проворной* / Онегин с Ольгой пошел» вместо: «...*проворно* / Онегин с Ольгой пошел» (гл. 5, XLIII, XLIV, 3)⁹, «Вугол» вместо: «Вугол» (эпиграф к гл. 8) и многое другое.

Внимательное сопоставление текстов изданий 1833 и 1837 годов со всей убедительностью подтверждает, что издание 1837 года Пушкин не готовил. Вся авторская работа над ним свелась к двум композиционным распоряжениям. Посвящение «Не мысля гордый свет забавить...», первоначально в отдельном издании четвертой и пятой глав напечатанное в качестве обращения к П. А. Плетневу, а в издании 1833 года помещенное в примечания под номером 23, было перенесено Пушкиным и заняло место перед текстом романа¹⁰. То, что эта правка носила характер чисто композиционного указания¹¹, подтверждается опечаткой в шестом стихе посвящения, механически перешедшей в издание 1837 года из издания 1833-го: «Святоисполненной мечты» вместо: «Святой исполненной мечты». Общее число примечаний сократилось до 44. Кроме этого, Пушкин изменил примечание 11, дав в нем просто отсылку к первому изданию «Евгения Онегин»¹². Таким образом, два композиционных изменения, сделанных в издании 1837 года; надо учесть, что же касается самого текста романа, то последним текстом, подготовленным автором, следует признать текст издания 1833 года. Общее текстологическое решение Томашевского так и сформулировано (по необходимости кратко): «Печатается по изданию 1833 года с расположением текста по изданию 1837 года, цензурные и типографские искажения издания 1833 года исправлены по автографам и предшествующим изданиям (отдельных глав и отрывков)» (т. 6, стр. 660). Это абсолютное обоснованное решение, со всей очевидностью следующее из анализа изданий 1833 и 1837 годов, М. И. Шапир почему-то объявляет контаминацией двух редакций романа. Заметим сразу, что за грозно звучащей фразой не стоит реального содержания. Мы сталкиваемся здесь с изрядной путаницей в текстологической терминологии. Дело в том, что понятие «редакция», относящееся к сфере текстологической аксиоматики, вопреки мнению М. И. Шапира, не тождественно понятию «источник текста». Сплошь и рядом произведение несколько раз перепечатывается автором, даже и с изменениями, но в од-

⁷ Аналогичный случай: опечатка, идущая еще от отдельного издания главы. Неискаженное чтение в беловом автографе: ПД 933, л. 16 об.

⁸ Та же опечатка в отдельном издании. Неискаженное чтение в автографах: черновом (ПД 835, л. 83) и беловом (ПД 935, л. 36).

⁹ Этот случай тоже очень показателен: ошибка, допущенная в отдельном издании главы, была исправлена в списке опечаток, приложенном к главе шестой, что, однако, не отразилось в тексте обоих полных изданий романа.

¹⁰ Само это изменение было, несомненно, чрезвычайно важным: теперь посвящение было обращено не к конкретному адресату, но к читателю вообще, переключаясь с заключительными строками романа:

Кто б ни был ты, о мой читатель,
Друг, недруг, я хочу с тобой
Расстаться нынче как приятель... (гл. 8, XLIX)

¹¹ Она, как и изменение примечания 11, о котором речь ниже, не предполагает даже обращения самого автора к тексту романа. Пушкин вполне мог дать устные указания лицу, непосредственно занимавшемуся изданием.

¹² Историю этого примечания рассказывает и М. И. Шапир (стр. 156). В отдельном издании первой главы стих «Под небом Африки моей» был снабжен пространством автобиографическим примечанием, посвященным биографии А. П. Ганнибала. В издании 1833 года Пушкин сократил примечание, оставив только первую фразу: «Автор, со стороны матери, происхождения Африканского». В издании 1837 года напечатано: «См. первое издание Евгения Онегина». В последние годы жизни Пушкин был уже не склонен вызывающе хвалиться своим «африканским происхождением».

ной и той же редакции. Количественный и качественный предел смысловой, композиционной, стилистической правки, при которой можно говорить о появлении *новой редакции*, разумеется, для каждого произведения свой. Для романа в стихах эта правка должна быть достаточно велика и, уж во всяком случае, не сводима к появлению посвящения перед текстом и изменению одной фразы в примечаниях. Издания 1833 и 1837 годов представляют одну и ту же редакцию полного текста романа «Евгений Онегин».

Что же касается большого числа словесных «новаций», отмечаемых М. И. Шапиром в издании 1837 года, то, поскольку сопоставление изданий убеждает, что в 1837 году Пушкин текста не готовил, а перепечатывал с издания 1833 года¹³, эти «новации» при ближайшем рассмотрении должны быть признаны просто опечатками. Нет ничего удивительного, что среди десятков опечаток издания 1837 года встречается три-четыре, выглядящие вполне осмысленно, но, согласимся, довольно странно представить, что в ноябре 1836 года, перепечатывая роман с издания, содержащего большое число искажений, нарушения рифмы и смысла, Пушкин, оставив все это без внимания, заменил лишь «покойника» на «покойного», а «Филипьевну» на «Филатьевну». Нам, во всяком случае, это представляется весьма маловероятным, несмотря на пространные филологические экскурсы М. И. Шапира по поводу указанных «поправок» (стр. 156 — 157).

М. И. Шапир выдвигает некий принцип (отметим его пристрастие к юридической терминологии) «презумпции невиновности текста». «Суть его, — рассуждает он, — крайне проста: в авторитетном источнике, избираемом за основу, исправлять (да и то с оговорками) можно явные или весьма вероятные опiski и опечатки, а все прочие спорные и сомнительные места должны оставаться предметом обстоятельного текстологического комментария. Не гарантируя текст от искажений, этот принцип сведет их к минимуму» (стр. 165). Во-первых, здесь, по сути дела, признается, что полностью «невинность соблюсти», к сожалению, невозможно. Во-вторых, М. И. Шапир вполне адекватно формулирует здесь принципы подготовки «критического текста», которыми испокон века руководствуется любой квалифицированный текстолог. Вопрос только в том, чтобы правильно выделить в тексте эти самые «явные или весьма вероятные опiski и опечатки». Один исследователь замечает дефект, чужеродное вторжение, порчу авторского текста там, где другому, менее искусственному, кажется все вроде бы и в порядке. О справедливости последнего утверждения свидетельствуют и некоторые недоумения М. И. Шапира.

Занятия текстологией, а особенно имеющей богатую исследовательскую традицию пушкинской текстологией, предполагают прежде всего внимательный анализ научных решений своих предшественников, не *априорное* отрицание их логики, а попытку ее найти и понять. Будь это сделано в данном случае, М. И. Шапир увидел бы, что, вопреки его первоначальным наблюдениям, Б. В. Томашевский не ввел в подготовленный им текст ни одного лексического разночтения из издания 1837 года. В своей работе Томашевский руководствовался совершенно определенными принципами. Отвергнув изда-

¹³ Менее всего в опровержение этого вывода можно ссылаться на юбилейно-рекламный обзор издательской деятельности Глазуновых (см. стр. 156 статьи М. И. Шапира). Как будто от владельцев издательства, выпустившего последнюю прижизненную книгу Пушкина, можно было бы ждать других заявлений. Цена же утверждению наследников Глазунова, что Пушкин «самым тщательным образом» держал корректуру, видна из той же цитаты, на которую ссылается и М. И. Шапир, но взятой чуть шире. Об издании 1837 года сказано: «Оно исполнено было так тщательно, так, как не издавались ни прежде, ни после того сочинения Пушкина. Корректурных ошибок не осталось ни одной; последнюю корректуру самым тщательным образом просматривал сам Пушкин» («Краткий обзор книжной торговли и издательской деятельности Глазуновых за сто лет. 1782 — 1882». СПб., 1883, стр. 69). Тот факт, что печатание романа, вероятно, было начато еще до получения цензурного разрешения, также говорит в пользу неизменности текста 1833 года: только при простой *перепечатке* романа к повторному цензурованию можно было отнестись как к формальности.

ние 1837 года как источник и печатая онегинский текст по изданию 1833 года, исследователь помнил, что и в нем было достаточно много опечаток. Отдельные опечатки и искажения текста «кочевали», как уже говорилось, из издания в издание еще с поглавных публикаций. Из приведенных нами выше примеров можно видеть, насколько небрежен и невнимателен был Пушкин в вопросах подготовки своих изданий, даже в тех случаях, когда наверняка занимался их подготовкой. Поэтому в своих текстологических решениях Томашевский каждый раз должен был исходить из всей совокупности источников текста, как печатных, так и рукописных, проанализированных и представленных им в отделе «Другие редакции и варианты», более чем вдвое превышающем размер основного корпуса.

Остановимся подробнее на некоторых его решениях. В издании 1833 года ст. 8 — 9 строфы XV первой главы выглядели: «Онегин едет на бульвар, / И так гуляет на просторе...» — чтение, которое М. И. Шапир сам признает опечаткой (стр. 158). В издании 1837 года ошибка оказалась исправленной: «И там...» Однако вряд ли это было исправлением автора, как было показано, к тексту романа в 1836 году вообще не обращавшегося. Частоту смешений при наборе слов «так» и «там» не отрицает и М. И. Шапир (стр. 158), так что, видимо, перед нами просто очередная опечатка издания 1837 года, случайно восстановившая правильное чтение. Томашевский же, вопреки мнению М. И. Шапира, ориентировался в своем выборе не на издание 1837 года, а на всю предшествующую историю ст. 9, читавшегося: «И там гуляет на просторе...» в черновом автографе (ПД 834, л. 9 об.), беловом автографе (ПД 930, л. 9), копии, снятой с белового автографа Л. С. Пушкиным при подготовке главы к печати (ПД 153, л. 9 об.) и обоих отдельных изданиях главы (1825 и 1829). Точно так же, на наш взгляд, совершенно обоснованно, Томашевский счел опечаткой появившееся в издании 1833 года чтение: «Так каждый вечер убивать» (гл. 3, I, 7) и исправил его на: «Там каждый вечер убивать» в соответствии с отдельным изданием третьей главы и двумя пушкинскими автографами, черновым (ПД 834, л. 48 об.) и беловым (ПД 933, л. 2).

Сказанное в полной мере относится к такому фрагменту:

Медведь промолвил: здесь мой кум:
Погрейся у него немножко!
(гл. 5, XV, 11 — 12)

Томашевский, исходя из белового автографа (ПД 835, л. 36) и отдельного издания четвертой и пятой глав, имел все основания усомниться в написании *примолвил*, появившемся в издании 1833 года¹⁴.

Стихи «Все те же ль вы? другие ль девы, / Сменив, не заменили вас?» напечатаны Томашевским в академическом издании в соответствии с двумя автографами Пушкина, черновым (ПД 835, л. 20 об.) и беловым (ПД 153, л. 30 об.), и двумя отдельными изданиями первой главы. Смысл стиха, таким образом, был определен еще на стадии черновика. Мнение М. И. Шапира (стр. 161), что чтение «Все те же ль вы...» в издании 1833 года не было опечаткой, а возникло в результате сознательной авторской правки, даже подкрепленное авторитетом академика М. Л. Гаспарова, звучит очень неубедительно. Такого рода мелочная «каламбурная» правка менее всего вписывается в накопленные текстологами на сегодняшний день наблюдения о работе Пушкина с поэтическим словом.

Автографы Пушкина становились для Томашевского решающим аргументом во всех сомнительных случаях, что при вынужденном недоверии к печат-

¹⁴ «Словарь языка Пушкина» (Т. 3. М., 1959, стр. 750) фиксирует употребление глагола «примолвить» в двух значениях: «сказать, промолвить в добавление к сказанному» и, «сделав что-н., сказать, промолвить». В интересующем нас случае речь должна идти о втором значении, однако стоит отметить, что в нем глагол «примолвить» фиксируется у Пушкина лишь в форме дееспричастия.

ным текстам «Евгения Онегина» приходится признать совершенно оправданным принципом. Опираясь на автографы, исследователю удалось в подготовленном им тексте снять многие искажения, восстановить в целом ряде случаев авторские лексико-грамматические формы. Вот лишь некоторые примеры.

Гл. 1, XLV, 11: «В обоих сердца жар угас». Так читается стих в черновом (ПД 834, л. 17 об.) и беловом (ПД 930, л. 21 об.) автографах. При подготовке главы к печати, переписывая текст с автографа ПД 930, Л. С. Пушкин сделал ошибку: «В обоих сердца жар погас» (ПД 153, л. 22 об.), которая осталась Пушкиным незамеченной и перешла затем во все печатные издания (два отдельных первой главы, 1833 и 1837 годов). В академическом издании Томашевский на основании рукописей совершенно справедливо восстановил пушкинское чтение.

Гл. 2, VIII, 6: «За честь его *прять* оковы». Во всех прижизненных изданиях: «...*принять*». В академическом издании лексически более точное авторское чтение «*прять*» восстановлено на основании чернового (ПД 834, л. 26) и двух беловых (ПД 931, л. 5 об.; и ПД 932, л. 1 об.) автографов.

На основании пушкинских рукописей восстановлены нарушенные во всех прижизненных изданиях грамматические формы: «Меж *ими* все рождало споры» (гл. 2, XVI, 1)¹⁵ и «И между *ими* одичала» (гл. 8, V, 6)¹⁶, «Друзья-соседы, их отцы» (гл. 2, XXI, 8), но «Соседы съехались в возках» (гл. 5, XXV, 7)¹⁷; «Вообразаясь героиней» (гл. 2, X, 1)¹⁸; «К *противоречию* склонна» (гл. 5, VII, 4)¹⁹; «Выходят кольца чередою» (гл. 5, VIII, 6)²⁰; «Двойные окна, камелек» (гл. 8, XXXIX, 8)²¹; «Кусты *сирен* переломала» (гл. 3, XXXVIII, 12)²²; и т. д. Исправлены искажения текста, повторявшиеся из одного в другое во всех прижизненных изданиях: «Там скука, *тут* обман и бред» (гл. 1, XLV, 11)²³ вместо печатавшегося при жизни Пушкина «Там скука, *там* обман и бред»; «Читаю мало, *долго* сплю» (гл. 1, LV, 10)²⁴ вместо «Читаю мало, *много* сплю»; «Она *влюблялася* в романы» (гл. 2, XXIX, 3)²⁵ вместо «Она *влюбилась* в романы»; «Еще предвижу *затруднения*» (гл. 3, XXVI, 1)²⁶ вместо «Еще предвижу *затрудненье*»; и т. д.

Подготовка критического текста «Евгения Онегина» в принципе не сводится к проблеме, какое издание выбрать за основу, как это можно было бы подумать по статье М. И. Шапира. Работа же Б. В. Томашевского с рукописями вообще, кажется, осталась вне поля зрения его современного критика. М. И. Шапир считал излишним сообщить читателям «Нового мира», что именно Б. В. Томашевскому принадлежит заслуга впервые полностью прочитать и опубликовать в виде наглядной росписи весь свод вариантов, особенно трудно

¹⁵ Так в черновом (ПД 834, л. 29 об.), первом беловом (ПД 931, л. 11 об.), втором беловом (ПД 932, л. 2 об.) автографах и первом отдельном издании главы (1826), начиная со второго издания главы (1830) форма уже грамматически нивелирована: «Меж *ними*...»

¹⁶ Так в беловом автографе (ПД 937, л. 3 об.), во всех печатных изданиях: «И между *ними*...»

¹⁷ Рукописи: второй беловой автограф второй главы (ПД 932, л. 3; в черновом и первом беловом автографах это место читается по-другому) и соответственно черновой (ПД 836, л. 42 об.) и беловой (ПД 935, л. 41) автографы пятой главы. Во всех печатных изданиях с точностью до наоборот и грамматически неверно: «Друзья-соседи» и «Соседы съехались...».

¹⁸ Так в беловом автографе (ПД 933, л. 6 об.), во всех печатных изданиях: «Вообразаясь героиней».

¹⁹ Исправлено на основании написания в черновом (ПД 835, л. 81) и беловом (ПД 935, л. 32) автографах; во всех прижизненных изданиях: «К *противоречию*...»

²⁰ Так в черновом (ПД 835, л. 81) и беловом (ПД 935, л. 32 об.) автографах, в прижизненных изданиях: «*кольца*».

²¹ Так в автографе (ПД 937, л. 17), в прижизненных изданиях: «*окна*».

²² Так в автографе (ПД 933, л. 26 об.), в прижизненных изданиях: «Кусты *сирень*».

²³ Так в беловом автографе (ПД 930, л. 20 об.) и снятой с него при подготовке главы к печати копии Л. С. Пушкина (ПД 153, л. 21 об.).

²⁴ Так в черновом (ПД 834, л. 20 об.) и беловом (ПД 930, л. 26) автографах, а также в сделанной в ходе подготовки главы к печати копии Л. С. Пушкина (ПД 153, л. 27).

²⁵ Так в двух беловых автографах (ПД 931, л. 20 об. и ПД 932, л. 3 об.) и публикации отрывков в «Северных цветах» на 1826 год (отдел «Поэзия», стр. 60).

²⁶ Так в беловом автографе (ПД 933, л. 16 об.); черновая рукопись строфы неизвестна.

читаемых в черновых автографах. Конечно, возможны последующие отдельные корректировки частных текстологических решений Томашевского, однако всякий честный исследователь «Евгения Онегина» не может не испытывать благодарности редактору академического издания за его подвижнический труд. «Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? потому что зубки прорезались?» — пенял в свое время Пушкин Рылееву за резкий отзыв о Жуковском. Зачем торжествовать с детским тщеславием, найдя ошибку в великом труде своего предшественника?

Отметим опять же, что некоторые неточности (или незамеченные опечатки), вкравшиеся в академическое издание, были исправлены впоследствии самим Б. В. Томашевским. Так, М. И. Шапир (стр. 158) приводит пример «лексического разночтения» из издания 1837 года, которое, «нарушив выбранные принципы, Томашевский ввел в основной текст академического „Евгения Онегина“ (т. 6, стр. 45):

В то время был еще жених
Ее супруг, но по неволе;
Она вздыхала *по* другом...

(гл. 2, XXX, 8 — 10)».

М. И. Шапир справедливо указывает, что во всех автографах²⁷, в обоих изданиях второй главы и в издании 1833 года ст. 10 читается: «Она вздыхала *о* другом», что чтение «*по* другом» в издании 1837 года, вероятнее всего, является опечаткой и ни на каком основании не может быть принято в академическом издании. Критик не указывает только на то, что эта ошибка была задолго до него замечена и исправлена в так называемом малом академическом издании 1956 — 1958 годов под редакцией Б. В. Томашевского²⁸. «Там, где Пушкин начинает рассказ „о веселом празднике именин“ (5, XXV), — пишет М. И. Шапир в другом месте своей статьи, — в беловом автографе и в изданиях 1828, 1833 и 1837 годов говорится одно и то же: *Съ утра домъ Лариной гостями / Весь полонъ* <...> Несмотря на это в академическом собрании и в последующих изданиях набрано черным по белому: *дом Лариных*» (стр. 160). Ошибку академического издания критик заметил правильно, но умолчал, что и она была исправлена Томашевским все в том же десятилетии 1956 — 1958 годов (т. 5, стр. 110).

Не будем настаивать, что текст «Евгения Онегина», представленный в академическом издании, вообще свободен от каких бы то ни было ошибок и погрешностей. М. И. Шапир правильно отметил ошибку в строфе XLII гл. 6: «И шагом едет в чистом поле, / В *мечтанья* погрузясь, она...» (вместо: «...в *мечтанье*»). Так же, как и он, мы не беремся пока объяснить, почему Томашевский ввел в текст поправку Пушкина на экземпляре отдельного издания пятой главы («Слова: бор, буря, *ведьма*, ель»), не учтя аналогичную в третьей главе («*Читать журналы. Право страх*»)²⁹. Разумеется, раскрывая имена в тексте романа, следует использовать редакторские угловые скобки. Впрочем, думается, из основного текста «Евгения Онегина» в академическом издании они исчезли не без участия издательства Академии наук, прославившегося своей борьбой с такого рода текстологическими «излишествами». Но дают ли эти огрехи повод к столь грозным и беспепелляционным обвинениям? Едва ли. Нам, например, никогда не пришло бы в голову обвинить М. И. Шапира в исследовательской некомпетентности только на том основании, что он в своей статье

²⁷ К указанным М. И. Шапиром беловым автографам (ПД 931 и 932) пунктуальности ради стоит добавить и черновой автограф (ПД 834, л. 37), где также написано «о другом».

²⁸ См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, 2 изд. Т. 5. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1957, стр. 50.

²⁹ Можно предполагать, что Томашевский имел какие-то основания по-разному датировать или квалифицировать карандашные (к которым относится «ведьма») и чернильные (к которым относится «Читать журналы») поправки Пушкина на этом экземпляре.

приписал журнальную заметку М. П. Погодина С. П. Шевыреву (стр. 153, примеч. 32)³⁰. И уж совсем смешно упрекать любого из редакторов академического собрания сочинений в отсутствии обстоятельного текстологического комментария. Кто бы из ученых спорил о необходимости такового! Что, М. И. Шапир не знает, как в 1937 году было (не Томашевским же!) искалечено академическое издание, директивно лишенное всякого рода «обстоятельных комментариев»? Не понимает, что жесткое распоряжение «руководящих органов» на этот счет было, по сути дела, худшим проявлением советской цензуры?

Впрочем, о цензуре М. И. Шапир, вероятно, имеет особое мнение: он видит в ней «социальный фактор духовной культуры, который стоит в одном ряду с литературной критикой, общественным мнением, читательским спросом и т. д.» (стр. 148). «Устранение цензурного вмешательства, не санкционированное автором, превращает текстолога в сотрудника оруэлловского Министерства правды, ибо не отражает ничего, кроме изменения политической конъюнктуры: явление одной культурной эпохи подправляется с точки зрения другой, из-за чего текст теряет свою историческую достоверность» (стр. 148). При этом даже прямое указание Пушкина, свидетельствующее о вынужденности замены, об осознанном «насилии над текстом», критику не указ. Стих «Царей портреты на стенах» (гл. 2, II, 7) появился в черновой рукописи (ПД 834, л. 24 об.) и был повторен без всякой альтернативы в двух белых (ПД 931, л. 2 об. и ПД 932, л. 1). Однако, подозревая, что стих со словом «царей» может оказаться «непроходным», Пушкин в приготовленной для отправления друзьям в Петербург и Москву второй белой рукописи (ПД 932) сам предложил (на полях) поправку: «Портреты дедов». Адресат этой поправки был автором вполне ясно обозначен: «Дл<я> ценз<уры>»³¹. Можно с полной уверенностью предполагать, что, не будь цензуры, не было бы и поправки. Зачем же сегодня искусственно создавать цензурный барьер между пушкинским текстом и читателем? Почему же мы не можем восстановить изначально присутствовавший в тексте романа авторский вариант? И почему возвращение к подлинной пушкинской рукописи должно лишить онегинский текст его «исторической достоверности»? М. И. Шапир, похоже, не отдает себе отчета, куда его может привести святое уважение к цензуре³²: следующим шагом должно стать требование исключить из собраний сочинений Пушкина все его произведения, не печатавшиеся при жизни из цензурных соображений (оду «Вольность», послание к Чаадаеву «Любви, надежды, тихой славы...», ноэль «Ура! в Россию скачет...» и остальную политическую лирику и эпиграммы, «Гавриилиаду», «Медного всадника» и т. д.).

Случай со стихом «Царей портреты на стенах» не единственный. Аналогичный ему — в стихах:

Она меж делом и досугом

³⁰ Авторство Погодина следует из его собственного позднейшего свидетельства («Московский вестник», 1830, ч. 1, № 3, стр. 309 — 310). См. современное критическое издание: «Пушкин в прижизненной критике. 1828 — 1830». СПб., 2001, стр. 56, 353.

³¹ Автограф ПД 932, с указанием Пушкина на цензурный характер поправки в этом стихе, хранился в архиве Вяземских. Им воспользовался П. А. Ефремов при подготовке издания 1880 года, где вариант «Царей портреты на стенах» и был впервые введен в основной текст (см.: Пушкин А. С. Соч. Т. 3. Под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1880, стр. 29, 439). Другим издателям после Ефремова автограф был недоступен. Такая ситуация сохранялась до конца 1920-х годов, чем объясняется и отмеченный М. И. Шапиром (см. «Известия АН» «Серия литературы и языка», 2002, т. 61, № 3, стр. 4) факт, что в изданиях этого времени под редакцией М. Л. Гофмана, Б. В. Томашевского и К. И. Халабаева сохранялся печатный вариант: «Портреты дедов на стенах». Всегда следует учитывать, какой объем материала и в какой момент был доступен нашим предшественникам.

³² Напомним также, что речь идет о первой половине — середине 1820-х годов, времени подлинного мракобесия и самого абсурдного цензурного произвола, вызывавшего у современников и ярость, и отчаянье, и даже смех.

Открыла тайну, как супругом
Самодержавно управлять...

(гл. 2, XXXII, 5 — 7)

М. И. Шапир признает, что слово «Самодержавно» было заменено, вероятно, по настоянию цензора (стр. 150). В первом издании главы появился неудачный (и, возможно, даже не авторский) вариант ст. 7: «Как Простакова управлять»; в списке опечаток, приложенном к отдельному изданию шестой главы, Пушкин предложил паллиативный вариант: «Единовластно». В таком виде стих и печатался во втором издании второй главы (1830) и в полных изданиях романа 1833 и 1837 годов. Но ведь цензурный фактор продолжал действовать, и от многократных повторений в печати слово «Единовластно» не перестало быть цензурной заменой. Так что вопрос более чем спорный, что отражает авторскую волю — предложенное с оглядкой на цензуру «единовластно» или существующее во всех автографах «самодержавно».

Аналогичный случай (который М. И. Шапир почему-то во внимание не принимает) — в стихе «И раб судьбу благословил»³³, в печатных текстах поправленном: «Мужик судьбу благословил».

Аналогичной же цензурной заменой посчитал Томашевский вариант «Где каждый, критикой дыша», сменивший в печати первоначальное чтение: «Где каждый, вольностью дыша» (гл. 1, XVII, 10). Строка «Где каждый вольностью дыша» появилась уже в черновом автографе³⁴ (причем никаких пробных вариантов, варьировавших бы слово «вольность», не было). В таком же виде стих перешел в беловой автограф ПД 930. Здесь к слову «вольностью» был приписан вариант: «критикой». Поправка была предложена, очевидно, в то время, когда с «рабочего» автографа ПД 930 Л. С. Пушкин делал «чистую» рукопись уже для печати³⁵, и, естественно, учтена в этой копии. Томашевский имел определенные основания трактовать поправку как вынужденную цензурную замену: в конце Александровского царствования слово «вольность», да еще в театральном контексте, легко могло вызвать нарекания цензора, цензура с готовностью перетолковывала в политическом смысле даже самые невинные места³⁶. Кроме того, в лексико-грамматическом отношении весьма сомнительное выражение «дышать критикой» очевидно уступает употребительному галлицизму «дышать свободой / вольностью» — «respirer l'air de la liberté»³⁷.

Теперь что касается последнего из разобранных М. И. Шапиром примеров восполнения цензурных купюр — характеристики Ленского во второй главе (VIII, 10 — 14). В обоих отдельных изданиях главы ст. 9 — 14 были сняты. На вероятность прямого цензурного вмешательства указывает, в частности, отсутствие рядов точек на месте пропуска в первом отдельном издании главы (1826): согласно существовавшей цензурной практике, окончательно узаконенной § 63 нового, так называемого «чугунного», цензурного устава, утвержденного 10 июня 1826 года, следовало наблюдать, «чтобы не дозволенные цензурою места не были заменяемы точками, могущими дать повод к неосновательным догадкам и превратным толкам»³⁸. В полном издании романа 1833 года

³³ Черновой автограф: ПД 834, л. 24 об.; первый беловой автограф: ПД 931, л. 3 об.; второй беловой автограф: ПД 932, л. 1.

³⁴ ПД 834, л. 10.

³⁵ Рукопись ПД 153. Первые пять строф переписал сам Пушкин, после чего препоручил работу брату.

³⁶ Вся строфа XVII могла достаточно сложно корреспондировать с эпизодом высылки из Петербурга П. А. Катенина, поводом для которой явился скандал на представлении трагедии Озерова «Поликсена»: демонстрация против актрисы Азаричевой. Резкая реакция властей на поведение Катенина определялась, по-видимому, именно его политической неблагонадежностью.

³⁷ См.: Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. — В кн.: «Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 1995, стр. 565.

³⁸ «Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год». СПб., 1862, стр. 144. Ср. примечание в конце отдельного издания первой главы (1825): «NB. Все пропуски в сем сочинении, означенные точками, сделаны самим автором».

Пушкин восстановил ст. 9 и обозначил следующие пять стихов строками то-чек. Не только Томашевский, но и другие исследователи признавали здесь безусловную цензурную купюру. Сошлемся, например, на мнение Ю. М. Лотмана: «Такой отрывочный текст не имел никакого иного смысла, кроме единственного — указать читателю на значимость для автора пропущенных стихов»³⁹. Кроме того, на экземпляре поглавного издания «Евгения Онегина», где было намечено восстановление ст. 9, он выглядит точно так, как в беловых автографах (ПД 931; ПД 932): «Что есть избранные судьбами». Поэтому есть все основания полагать, что чтение: «Что есть избранные судьбою» появилось в издании 1833 года просто вследствие опечатки⁴⁰.

М. И. Шапир, кажется, интересуется также, почему не перенесены в основной текст авторские рассуждения о возможной судьбе Ленского в гл. 6 («Исполня жизнь свою отравой...» и т. д.). В печатных изданиях главы этой строфы нет, а следующая имеет сдвоенный номер (XXXVIII. XXXIX). Автографы шестой главы не сохранились, указанная строфа известна лишь в копии Одоевского, выписавшего ее и некоторые другие строфы при разборе бумаг Пушкина. Рукопись, откуда делал выписки Одоевский, неизвестна и им не была описана. На вопрос М. И. Шапира ответил еще первый публикатор этой строфы Я. К. Грот: «Выписанные здесь строфы принадлежат, очевидно, к первоначальным редакциям соответствующих глав. Некоторые из этих строф были целиком забракованы Пушкиным при окончательной отделке главы, и таким образом заменяющие их в напечатанном тексте заглавные цифры означают действительные пропуски»⁴¹.

Иногда нельзя с уверенностью решить, была ли вызвана переработка текста цензурными требованиями, произошла ли независимо от них по чисто художественным соображениям, или имело место сочетание цензурного фактора с эстетическим. Редакция Большого академического издания приняла решение давать в этих случаях альтернативный вариант текста также в основном корпусе, под строкой. Этот принцип, не привычный для современного читателя, находит объяснение и оправдание в отсутствии развернутого текстологического комментария. В «Евгении Онегине» вариативное чтение дано под строкой в двух местах: приведены чтения беловых рукописей для ст. 1 — 4 IV строфы восьмой главы и для ст. 1 — 4 XLIII строфы четвертой главы, где к стихам:

В глуши что делать в эту пору?
Гулять? Деревня той порой
Невольно докучает взору
Однообразной наготой, —

под строкой указан вариант белой рукописи:

В глуши что делать в это время?
Гулять? — Но голы все места,
Как лысое Сатурна темя
Иль крепостная нищета.

³⁹ Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий, стр. 593. В отличие от М. И. Шапира, Ю. М. Лотман, кстати, считал, что предложенное Ю. Н. Тыняновым сопоставление со стихотворением Кюхельбекера «Поэты» «мало что разъясняет», и в дискуссионном вопросе о смысле этих намеренно зашифрованных стихов полностью солидаризировался с мнением Томашевского, предполагавшего в них политический смысл.

⁴⁰ Нет никаких оснований считать, что окончание причастия (избранныя вместо грамматически верного избранные) в печати появилось в результате сознательной правки Пушкина. В данной конечной позиции начертание -я и -е в пушкинских рукописях настолько сходно, что ошибка набора вполне объяснима.

⁴¹ Грот Я. К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб., 1887, стр. 213. Томашевский, кстати, нигде не относил эти строфы к «беловой редакции», как пишет М. И. Шапир (стр. 151). В академическом издании копия Одоевского опубликована в разделе «Варианты беловых рукописей», редакция же ее никак не квалифицирована, именно по недостатку сведений. Здесь еще один пример неразличения М. И. Шапиром понятий «редакция» и «источник», о чем нам уже пришлось писать выше.

Последний случай вызывает у М. И. Шапира новые обвинения в адрес Томашевского, на этот раз — в идеологизированности и тенденциозности: «Томашевский <...> не мог допустить, чтобы остались непрочитанными строки, содержащие социальную критику» (стр. 150). Во-первых, упреки в чрезмерной идеологизированности сами по себе звучат по меньшей мере странно по отношению к редактору, не включившему в основной текст романа «Евгений Онегин» десятую, так называемую «декабристскую» главу. Во-вторых, подстрочные вариативные чтения, как мы уже сказали, были не индивидуальным изобретением Томашевского, а принципом, проведенным по всему изданию. Такие же подстрочные варианты к местам возможных цензурных замен в академическом издании см., например, в стихотворениях «Уединение» («Блажен, кто в отдаленной сени...») (т. 2, стр. 99; текст подготовлен Т. Г. Цявловской), «К Овидию» (т. 2, стр. 221; текст подготовлен М. А. и Т. Г. Цявловскими), «Полководец» (т. 3, стр. 379; текст подготовлен Н. В. Измайловым), в поэме «Руслан и Людмила» (т. 4, стр. 28, 51, 59; текст подготовлен С. М. Бонди). Подстрочные варианты, естественно, во всех случаях отличаются большей социальной и политической заостренностью. Это не относится, пожалуй, лишь к «Руслану и Людмиле», где под строкой процитированы слишком фривольные и эротические окрашенные места из издания 1820 года, во втором издании поэмы Пушкиным измененные или исключенные. Интересно, в чем должен быть обвинен С. М. Бонди, который, вероятно, также «не мог допустить», чтобы эти места остались непрочитанными, а потому и вынес их в основной корпус тома?

Свой критический разбор онегинского текста М. И. Шапир иллюстрирует текстологическими примерами из других областей. Он упрекает в непоследовательности текстологов-пушкинистов, якобы сохранивших, вопреки своим принципам, в тексте стихотворения «И дале мы пошли — и страх обнял меня...» «цензурный вариант»: «Тут звучно лопнул он — я взоры потупил» вместо первоначального чтения: «Тут звучно пернул он — я взоры потупил» (стр. 148 — 149). На самом деле обличающий пример выбран критиком крайне неудачно. Стихотворение «И дале мы пошли — и страх обнял меня...», шутивное подражание Данту, сохранилось лишь в сильно правленной рукописи (ПД 182). Пушкин не завершил над ним работу и не собирался его печатать, так что говорить о каких-либо «цензурных заменах» в данном случае вообще бессмысленно. О неоконченности работы свидетельствуют, в частности, оставшиеся в автографе так называемые «параллельные» варианты одной и той же строки. Указанный М. И. Шапиром стих первоначально читался: «И мимо я пошел и взоры потупил»; затем Пушкин поправил его: «И с горя пернул он — я взоры потупил»; затем на свободном месте на полях наметил еще один вариант первого полустихия: «Тут звучно лопнул он». Предыдущий вариант остался в рукописи невычеркнутым. Это может говорить о том, что окончательный выбор между двумя вариантами стиха поэтом не был еще сделан. Н. В. Измайлов, готовивший стихотворение для третьего тома академического собрания сочинений, в полном соответствии со всеми текстологическими правилами включил в текст, печатаемый в основном корпусе тома, *последний по времени появившийся в рукописи* вариант («Тут звучно лопнул он — я взоры потупил»), а в разделе «Другие редакции и варианты» указал, что предшествующий вариант («Тут звучно пернул он — я взоры потупил») остался в рукописи незачеркнутым (т. 3, кн. 2, стр. 881). Это единственно правильное текстологическое решение, и остается только удивляться, почему оно осталось непонятым М. И. Шапиру⁴².

⁴² М. И. Шапир в данном случае, вероятно, слишком доверился мнению М. А. Цявловского. Утверждение Цявловского о «вынужденной цензурными соображениями» редакции указанного стиха, цитируемое М. И. Шапиром, неверно по уже изложенным нами соображениям. Впрочем, Цявловский текстом стихотворения «И дале мы пошли — и страх обнял меня...» специально не занимался и упоминает его «по случаю». Для академического собрания сочинений текст был подготовлен Н. В. Измайловым, данный раздел третьего тома редактировался Т. Г. Цявловской (это следует и из отметок об использовании автографа).

Второй пример — со стихотворением «Телега жизни» — содержит еще более серьезную текстологическую ошибку. «Редакторы академического собрания сочинений, — пишет М. И. Шапир, — сделали в „Телеге жизни” купюру:

С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать
И, презирая лень и негу,
Кричим: пошел!.....

Стоит отметить, что в своем пуризме текстологи переусердствовали: пунктуационно строфа оформлена так, будто она не имеет окончания, при том что в других местах то же самое выражение обозначено прочерками в угловых скобках: <----->» (стр. 149). Стоит между тем отметить, что в академическом собрании сочинений стихотворение напечатано в точном соответствии с текстом «Стихотворений Александра Пушкина» 1829 года — последней прижизненной публикации, текст которой готовился самим Пушкиным⁴³. (Заметим, что это, в частности, полностью соответствует и тем текстологическим принципам, которые выдвигает М. И. Шапир.) Пунктуация четвертого стиха строфы, таким образом, авторская. Первоначальный же текст стихотворения с «русским титулом», содержащийся в письме Пушкина к Вяземскому от 29 ноября 1824 года, отражен в разделе «Другие редакции и варианты» второго тома и напечатан полностью в составе письма (в обоих случаях obscene выражение оформлено в соответствии с принятыми в издании принципами, нужным количеством прочерков в угловых скобках) (т. 2, кн. 2, стр. 821; т. 13, стр. 126).

М. И. Шапир, несомненно, не мог не обратить внимания еще и на тот факт, что на протяжении 1930-х годов текст пушкинского романа в стихах готовился для разных изданий независимо от Томашевского и другими исследователями. Их текстологические решения не всегда одинаковы, однако в целом ряде разбираемых М. И. Шапиром случаев цензурных купюр они совпадают. Стихи «Где каждый, вольностью дыша», «Царей портреты на стенах», «Самодержавно управлять» появились не только в тексте «Евгения Онегина», редактировавшемся Томашевским. Точно так же их напечатали М. А. Цявловский⁴⁴, С. М. Бонди в подготовленном им комментированном издании романа⁴⁵, дважды Г. О. Винокур в предшествовавших большему академическому изданию девятитомнике и шеститомнике издательства «Academia»⁴⁶. Кажется, число «идеологически ангажированных» пушкинистов стремительно возрастает. Впрочем, это и не удивительно. Мы вряд ли ошибемся, если скажем, что едва ли не основная цель статьи М. И. Шапира — убедить в несостоятельности, политической продажности и некомпетентности классической пушкинистики. И, к сожалению, перед нами не просто школьническая борьба неопита с «корифеями отечественной текстологии». В рассказанной М. И. Шапиром истории о злодеях пушкинистах, сокрывших от народа подлинного Пушкина, угадываются хорошо знакомые контуры одного из самых устойчивых идеологических «мифов» — «мифа о враге». Этот миф всегда был и всегда останется

⁴³ «Стихотворения Александра Пушкина». СПб., 1829. Ч. 1, стр. 180. Пушкин не только пунктуационно оформил стих, но и заменил в нем глагол (в первоначальном варианте не «пошел», а «валяй»).

⁴⁴ Пушкин А. С. Евгений Онегин. Текст подгот. М. А. Цявловский. [М. — Л.], «Academia», 1933, стр. 22, 52, 70.

⁴⁵ Пушкин А. С. Евгений Онегин. Ред. текста, примеч. и объяснительные статьи С. Бонди. М. — Л., Изд-во детской литературы, 1936, стр. 15, 40, 56. В гл. 2, VIII, 9 — 14 Бонди печатал: «Что есть избранные судьбами» и пять строк точек, а под строкой приводил текст белого автографа.

⁴⁶ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 9-ти томах. Т. 5. Под общ. ред. Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского. М. — Л., «Academia», 1935, стр. 19, 44, 61; Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 6-ти томах. Т. 3. Под общ. ред. М. А. Цявловского. М. — Л., «Academia», 1936, стр. 16, 33, 44.

одним из самых распространенных и любимых стереотипов массового сознания. Этот миф всегда упрощает и искажает действительность и, как пытались мы показать в своих возражениях, всегда рушится как картонный домик при свете знания и непредвзятого рассуждения. Вот только мы не беремся ответить на вопрос, чем руководствуется в данной ситуации современный критик — сам ли он находится во власти массовых стереотипов или беззащитно эксплуатирует их с какими-то целями.

Осталось сказать несколько слов о проблеме орфографии и пунктуации, которую М. И. Шапир кратко, хотя и по-прежнему гневно, по привычке и здесь придавая своим суждениям политическую остроту, затрагивает в конце своей статьи. Справедливости ради следует напомнить, что провозглашаемая М. И. Шапиром программа в общих чертах была намечена еще в статье Ю. М. Лотмана 1987 года: «Все черты языка Пушкина, включая и разнобои в написаниях, сохраняются. Высокомерному представлению о „неграмотности“ Пушкина или его „невнимании к языку“ противопоставляется мнение, что Пушкин руководствовался соображениями более тонкими и глубокими, чем те, которые может предположить современный исследователь со своими приблизительными знаниями»⁴⁷. На практике, увы, этот красивый тезис оказывается неосуществимым. Так, требования к орфографической и пунктуационной идентичности воспроизведения пушкинского текста ориентированы Лотманом на соблюдение норм тех прижизненных изданий Пушкина, в подготовке которых поэт сам принимал деятельное участие. Однако при этом как-то было упущено из виду, что сколько-нибудь достоверных сведений на этот счет не сохранилось. Восстановление «пушкинской орфографии и пунктуации» вряд ли может быть сведено к простому аутентичному воспроизведению первопечатных текстов с «ерами» и «ятями». Да и при нынешнем полиграфическом опыте фототипических изданий это требование по меньшей мере наивно. Так, например, поглавное издание романа Пушкина «Евгений Онегин» (1825 — 1832) было фототипически воспроизведено в 1989 году Волго-Вятским издательством в г. Горьком (Нижегород) тиражом 25 000 экземпляров, а последнее прижизненное издание 1837 года — в 1991 году издательством «Книга» в Москве тиражом 50 000 экземпляров. Нетрудно снова повторить их, а заодно воспроизвести и издание 1833 года. В то же время при *новом наборе* классических текстов старым шрифтом перед текстологами неизбежно встанет не решенная на сегодняшний день проблема о параметрах догровотской системы орфографии и пунктуации. Не решив ее, просто невозможно разграничить норму и типографский произвол. Желающих заняться этой темой среди дипломированных специалистов-языковедов до сих пор не нашлось. Может быть, лингвисты считают задачу в принципе неразрешимой и готовы навсегда остаться при своих (воспользуемся определением Лотмана) «приблизительных знаниях» на этот счет?

Заметим также, что некритически принятая орфография и пунктуация печатных изданий порой способна ввести читателя в заблуждение, искусственно «затемнив» для него смысл авторского текста. Один из классических примеров — пушкинская строка «Сатиры смелый властелин» (гл. 1, XVIII, 2), в прижизненных изданиях печатавшаяся: «Сатиры смелой властелин». «Почти наверняка, — пишет по этому поводу М. И. Шапир, — поэт говорил не о „смелом властелине“, а о „смелой сатире“: чуть выше я писал, что, за редчайшими исключениями, прилагательные мужского рода в середине строки имеют окончание *-ый*. Согласно произведенным мною подсчетам, вероятность того, что в изданиях 1820 — 1830-х годов Фонвизин назван „смелым властелином сатиры“, — меньше одного процента» (стр. 162). Лучше бы критик, прежде чем делать подсчеты, заглянул в пушкинские автографы. И в черновом

⁴⁷ Лотман Ю. М. К проблеме нового академического издания Пушкина. — В кн.: Лотман Ю. М. Пушкин, стр. 372.

(ПД 835, л. 20 об.), и в беловом (ПД 153, л. 30) автографах стих читается: «Сатиры смелый властелин». Причем окончание слова «смелый» написано совершенно отчетливо и не оставляет ни малейшего повода для сомнений. Другие приведенные критиком примеры толкований пушкинских строк тоже заслуживали бы подробного опровержения, которым мы не хотим здесь обременять уже и без того, вероятно, утомленного нашими возражениями читателя.

В заключение заметим: мы нимало не сомневаемся, что высказанные нами критические замечания не помешают М. И. Шапиру успешно продолжать работу над онегинской текстологией. Тем более что в его статье есть ряд интересных и достойных внимания рассуждений. Например, наблюдение о Проласове — Оленине (стр. 153 — 155). И еще — мысль, вынесенная в эпиграф к нашему отклику.

С.-Петербург.



О П Ы Л Т Ы Л

ОЛЬГА ШАМБОРАНТ

*

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

Памяти А. А. Носова.

Упал! Упал!..

А. Блок, «Вольные мысли».

Смерть стала чем-то обыденным. Это ненормально, и мы категорически против...

*Председатель Союза журналистов
Богданов (выступление на Дне памяти
журналистов, погибших при исполнении...).*

С какого-то момента мы начинаем выбирать себе смерть. Особенно это занятие становится активным, когда урожай смертей в относительно близком кругу превысит вдруг многократно обычные показатели и в закрома еще очень не подготовленного сознания повалят диагнозы, эпизоды и обстоятельства, к этим смертям приведшие (а когда-то все мы были склонны посмеяться над группками старух во дворе, которые во времена, предшествовавшие появлению мексиканских сериалов, собирались исключительно для обсуждения того, кто и как помер, — до всего надо дожить или лучше не дожить). Бывают такие периоды, прямо как путина.

Помните, как бывало когда-то давно, во время какого-нибудь незапамятно прекрасного летнего отдыха, когда ближе к ночи в природе вместо обычного умиротворения и затишья, вместо серого, мутновато-лунного тихого снотворного покрова земли и небес случится вдруг какое-то нарастающее оживление: ветер, шелест, стук ставен или сухих веток, град шишек или чего угодно еще, вплоть до крупных жуков, — и поднимается сухая, не вполне как бы обоснованная буря. Это прекрасный момент в жизни отдыхающего: какое-то новое получается дыхание, в новом ракурсе — мерцание звезд, крыш, горных вершин или черной воды — ну что там у вас под рукой. Хорошо и тревожно. Тревожно и хорошо. Но это — тогда, раньше, в молодости, когда отдых еще возможен был в принципе и доступна была физически и душевно практически любая дивная природа. В молодости и мысли о смерти тоже такие нарядные. Разве могла предполагать Цветаева, как она умрет на самом деле, когда писала, по существу, гимн самой себе и своей жизнеспособности — под видом стихов о смерти: «Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали...» Вот именно что — вдали. А сейчас? Да нет, лучше все же не углубляться в настоящее так, как можно позволить себе безнаказанно скользить, да хоть штопором уходить — то ли в прошлое, то ли в небывшее.

Зато теперь бывает так — все кругом через одного взяли и умерли. И все они не вполне близкие, просто — очень близко. Короче, получается, что умерли они вроде бы чуть ли не для примера. Согласились — после того, как жили и жили подряд, день за днем, свою уникальную единственную жизнь, — взять и послужить наглядным пособием для других. Быстро и решительно покон-

Шамборант Ольга Георгиевна — постоянный автор журнала «Новый мир». См. циклы ее эссе: «Признаки жизни» (1994, № 2), «Занимательная диагностика» (2000, № 4), «Срок годности» (2001, № 5) и «Жизнь как римейк» (2001, № 9).

чить эту суету с помощью диагноза и малого набора стечения обстоятельств. Или наоборот — стечения обстоятельств и диагноза уже, так сказать, на вскрытии. А нам, оставшимся после этого концептуального спектакля, когда со сцены косяком ушла толпа знакомых людей, — в зрительном зале нам остается обдумывать, перебирать, выбирать, примерять на себя.

Внезапная и мгновенная (по крайней мере для тех, кто остался) смерть на первый взгляд кажется наиболее привлекательной. Хотя прошу обратить внимание на тот факт, что опыта нет ни у кого и суждения никакого, стало быть, тоже. Но все равно — привычка. Мы привыкли полагать, что «плохое» пусть лучше будет недолгим. Это при том, что почти все недовольны своей жизнью и в то же время жить хотят вечно. А помните, в так называемом «культовом» фильме «Белое солнце пустыни» есть действительно очень хороший эпизод, где один другого спрашивает что-то примерно такое: «Ты как хочешь, сразу умереть или помучиться?» На что тот, по горло закопанный в горячий песок, ему естественным образом отвечает: «Лучше, конечно, помучиться». Звучит очень убедительно.

С другой стороны, когда медленно и мучительно умирает старый человек, утрачивая на этом пути постепенно все: зрение, хоть какие-то силы, мозги, — он как будто — *возвращается*. Будто его жизнь на свете была равносильна попаданию в «дурную компанию», а теперь перед лицом действительно серьезного момента он узнает наконец, как были правы папочка и мамочка, которые грозили пальцем: мол, не ходите, дети, в Африку гулять. И вот сейчас только они, из родителей превратившись в прародителей, чудесным образом приблизились из небытия, как в беге с барьерами, перескочив все отделяющие их от настоящего, вставшие дыбом от ужаса исторические моменты ушедшего века, — и только они могут сейчас принять этого старенького маленького обратно. (Они и Бог, который тоже, кстати, оказывается в этой ситуации почти что под рукой.) И вот он возвращается к ним ни с чем, только шишки набил да колени содрал, вернее, забились сосуды, истрепалось сердце, ну и т. д.

Когда человек умирает у вас на руках, конечно, совершенно очевидно, что ему прощительно все: и астенические капризы, и тирания, и эгоизм. Он уходит. Он — один. Мы его вежливо пропустили вперед — предстать перед *Неизвестным* и *Необратимым*, а сами на кухне сидим, чай с оладьями пьем. Мы — предатели поневоле, ну а по воле — тоже, разумеется, предпочли бы предать. Вина чуть более крепкого здоровья, чуть менее завершеного жизненного пути... Я спрашиваю: «За сколько времени или чего еще там до смерти мы становимся невиноватыми?» Этот вопрос столь же справедлив, как и другой, симметричный и не менее серьезный: с какого возраста или момента человек виноват в своих поступках? Что в два года не виноват — это ясно. А вот когда? Означает ли смертность человека, что он вообще не виноват? Нет, конечно. Но он со всей очевидностью не виноват изначально и не виноват в самом конце. Значит, все-таки *Прощение* есть некая сень, понятие не только нравственное, но и пространственно-временное. Выходит, нравственность имеет свои координаты. Тогда, возможно, и «грехи отцов падут на головы детей» — это тоже просто-напросто божественная формулировка закона генетики?

Скоропостижность не то что бы пугает — чего уж там бояться? Нет, это не страх, ибо переход из жизни в смерть всегда, наверно, занимает одинаковое время и охватывает одинаковый путь. Просто можно промотать все до копейки, а можно быть ограбленным. Дело вкуса. (Обычно промотавшийся человек считает, что его ограбили.) И все же, услышав о чьей-то внезапной смерти, по всей видимости, следует опрометью нестись домой и приводить в порядок свой «архив». Чтобы не осталось ничего, только вам понятного и только вам дорогого. А вот я никак не могу взять и все выкинуть. Все мне кажется, будто «все это» мне нужно, чтобы помнить, что вот была такая юбка, такое письмо, такая глупость в газете. И знаю прекрасно, что все эти потайные возможности вдохновения и осмысления, скрытые в недоразгаданных ранее справках и квиточках, рухнут и будут разметаны «мусорным ветром». Ибо я никогда не забуду, как в первый (последний?) раз видела погром, учиненный родней в дере-

венском доме после смерти благородной старухи Софьи Павловны, на которой держался порядок во всей малой и сильно пьющей деревушке (пасли коров, чистили пруды и т. д.). Все годное смели наследнички, а на вздыбленном из-за внезапно же давшей течь крыши полу валялись старые мокрые письма, обрывки фотокарточек и какие-то невероятно трогательные охметки старушкиного белья: фрагменты ночной рубашки, клочки кружева... (А кружево, надо сказать, — это совершенно особая стихия. Даже «плохие», машинные, кружева содержат в себе так много мечты о прекрасном, и притом мечты настолько не сбывшейся, что буквально дух захватывает. И это вот захватывание духа и есть, в сущности, — сущность кружева.) Так вот, все это мокло, письма стали никому не адресованными, наволочки — ни к одной подушке, бретельки не помнят, что следовало держать. Такая боль. Прозрачно крашенный белой масляной краской буфет оставлен (не понадобился), но он демонстративно оставлен распахнутым, и из него вывалены эти вот никчемные внутренности, потроха чужой былой внутренней жизни. А умерла она зимой. Принесла воду и упала вперед чуть ли не на керосинку, однако пожара не случилось. Была только смерть среди ясного неба, на исходе, стало быть, тяжелого и гордосмирного жизненного пути.

Никто, разумеется, не спорит о закономерности и законности нашей смертности. Все даже в общем и целом — в курсе. И все-таки ощущение краха присутствует, присутствует, и никуда от него не денешься. С другой стороны, единственное, чем мы на самом деле в жизни руководствуемся, — это правильно или неправильно понятый инстинкт самосохранения. Даже если мы хотим сохраниться только в высоком, так сказать, смысле, мы по умолчанию должны худо-бедно сохранять свое тело — как инструмент. В чем на практике состоит наше богочеловечество? Да, главным образом в том, что мы инстинкт самосохранения облакаем в мотивировки, которые крадем у Бога. Инстинкт самосохранения — инструмент Спасения? Или Господь Бог — инструмент инстинкта самосохранения?

Во что должна превратиться вера в Бога, если в Бога не верить? Вероятно, тогда мы верим, что «не от нас зависит», что нельзя объять необъятное, а потому невозможно предвидеть и предусмотреть. Получается, что невозможность контролировать ситуацию автоматически оформляется в веру. Это очень смахивает на сказки про первобытного человека, который боялся грома и молнии и, не понимая, откуда они взялись (физики еще не знал), придумал в меру своих сил силу Вышнюю.

И только когда человека хоронят — не Сталина, конечно, какого-нибудь, а нормального, хорошего знакомого человека, — так очевидно, что перед лицом смерти прощительно любое несовершенство, в мелочь на берегу этого ледовитого океана превращается все. Потом в процессе поминальной эйфории те, мимо кого на этот раз просвистело, промазало, — близкие и знакомые очень быстро набираются и набирают некую вдруг откуда ни возьмись приподнятость духа, юбилейную высоту полета, а может быть, даже в какой-то степени — испытывают облегчение. Тяжелая сдавленность души после лицезрения неправдоподобно и бесповоротно мертвого товарища своего, подспудная мысль, что все усилия и столь естественные трепыхания этого еще недавно такого живого человека в мгновение ока обращены в необъяснимо хладный (холоднее воздуха вокруг) и сверх всех ожиданий чрезмерно неживой — *предмет*, что конец всему вдруг с головокружительной быстротой подоспевает, словно неожиданная платформа под ногой, — как будто не жизнь кончается, а смерть подкатывает, — все это постепенно отступает. Все равно, по нашим представлениям, жизнь не может так быстро кончиться, у нее ведь такая инерция, столько дел, она так со многим управлялась... Как же так вдруг все бросить? Прошло немало времени, а я как раньше рассказывала ему что-то мысленно, гуляя с собакой (каждый наш добрый знакомый и воображаемый собеседник имеет как будто некую определенную географическую широту и долготу), так вот и теперь я все еще по привычке направляю какое-нибудь, как мне кажется, достойное соображение — туда, к нему, на северо-запад своего сознания...

Холодное сиротство по мере убытия (в ослабленном варианте не на тот свет, а хотя бы просто, допустим, за бугор) наших близких и даже не очень близких друзей и знакомых настигает и нас — оставшихся. К знаменитой формуле «ждать и догонять» я еще в детстве догадалась добавить «оставаться». Мы ведь действительно толком не знаем, с кем мы живем на самом деле. Ну, кошки-собаки, ближайšie родственники — безусловно, а вот из враждебного и окружающего мира — не так очевидно. И тут дело даже не в привычке или привязанности. Иной человек может исчезнуть из поля зрения, вы и не заметите, а некоторые персонажи, с которыми в непосредственные отношения вы вступаете весьма редко, по полгода-году не видите, — нужны: оказывается, они держат ваше хрупкое, но необходимое представление о мире в своих равнодушных руках. И это полотнище иллюзий трепещет и хлопает на ветру непостоянства бытия, а теперь еще и выпущено из рук в энном количестве точек. Они — те, кто невольно помогает нам сохранить наши иллюзии, — и есть в конечном счете наши ангелы-хранители, знают они об этом или, что гораздо чаще, нет — не важно.

Всю жизнь мы бредем вдоль глухого забора, огораживающего «секретный объект», и не знаем, где кому из нас откроется вход. Что там? Музыка сфер? Бесформенный покой? Веселый пир в кругу близких душ среди кудрявых лоз? Или же — мрак с тяжелым ощущением времени? Гигантский выставочный комплекс, заполненный толпами занимающих очередь? Скучный музей жизненных путей? «Бесконечные тупики»? Очная ставка с собой в «истинном свете»? Или, может быть, там раскинулись тарковско-стругацкие поля орошения, по которым бродят несметные одинокие сталкеры, сталкивающиеся как машинки на соответствующем аттракционе и обменивающиеся паролем: «Смертью смерть поправ?» — «А чем же еще?»...

Где сейчас безвременно ушедший? Очевидно, что не только под ядовитожелтым холмиком, утыканном гвоздиками с обрубленными лопатой стеблями, — под Мытищами, между лесочком и шоссе. Ибо — *не может быть*.

Неужели все, чем мы так одержимы, все, что мы принимаем за свое предназначение, за свой с трудом различимый дар, наш жар души и невероятная на самом деле физическая сила, — нужны нам в первую очередь для того, чтобы скрыть наше подлинное сиротство, имитировать нашу востребованность? Человек думает: «Я никому не нужен», а потому все время стремится быть нужным — так или иначе. Что-то сотворить, оставить после себя или стать объектом поклонения, звездой, иглой... Или же — служить непосредственно. Растить, помогать, ухаживать — то есть делать все то же самое, только гораздо эффективнее и с гораздо меньшим радиусом действия. Человек стремится быть нужным, а кое-кто и незаменимым. И это конечно же удастся.

Что нами движет? Мы никак не можем поверить в слепоту сил. Как можно поверить, что в то время, как мы наслаждаемся лицезрением Божьего мира, не понимая, *Что* им движет, *То* или *Тот*, кто им движет, — слеп? А ведь мы все, как один, страстно любим жизнь. Нет, правда — так любим, так остро любим, что для того, чтобы выразить нашу любовь к жизни, жизни, как правило, не хватает. И только созерцание самых величественных или «до боли родных» картин природы дает нам возможность приблизиться к нашим же глубоким чувствам. Для кого что. Каньоны, холмы Тосканы, пустыня, горная страна, большая вода, стук падающих яблок в саду на даче, узкая тропинка через бескрайний сочный луг, любая местность, стократно пересеченная вами на протяжении жизни. Многослойные небеса, ярусы растительного покрова, краски, дрожание воздуха, ястребиное чувство полета, парения бессмертной души над этим драгоценным ландшафтом будущей утраты, — это ощущение вечности жизни и благодарности Творцу, эта заветная мечта — присутствие и отчуждение в одном флаконе.

Ладно. Спускаемся на землю. Ну любим, любим мы жизнь. И эту, и люблю. А если кто-то делает вид, что не любит, ноет, — так это из суеверия, для профилактики. Есть, есть такие особи, которые ведут себя так, будто бы

жизнь им дана в нагрузку к билету на тот свет. Их любовь к жизни омрачена еще более страстной любовью к себе. Они не согласны на горечь. Нет у них нежности к невезению, неудаче, они не способны насладиться полифонией болевых точек при перемене погоды...

И все-таки постарели не только мы с вами. Все-таки, как ни банальна попытка утащить за собой весь «объективный мир», она — не тщетная; все-таки рушится на этот раз не только поколение — сдувает ветхий брезент с нашего циркового павильона имени Федерико Феллини, опирающегося на таинственное слово *парадигма* — слово, которое в сознании упорно ассоциируется со скелетом какого-то гигантского ящера. Просто о парадигме начинают поговаривать, когда она уже вымирает и испускает тлетворный дух. Похоже, что от нас, от нашей некогда необычайно пышной парадигмы осталось несколько рваных больших полиэтиленовых пакетов, приготовленных на выброс. Как после уборки торгового ряда. Гадость, вонь, нет нужды разбираться даже, что выбрасываем. Шекспир, «Чайка», Мартин Лютер Кинг, Хемингуэй, «Титаник», Бритни Спирс, Юдашкин... — не разлепляя комок, не «анализируя это», — все долой, без малейшего оттенка внутренней борьбы — на выброс. Все, что мы знаем, любим, ненавидим, на чем выросли, что отторгаем органически, — все исчезает одновременно. И не рассуждать, орудя метлой, о парадигме. Иначе это напоминает так называемого хорошего ученика, который по интонации педагога, задающего вопрос, угадывает правильный ответ. Нет, пожалуйста, без этого разнузданного поддакивания и подмахивания воображаемому покровителю, воображаемому Путину или воображаемому Господу.

IBM создал новые наручные часы, которые могут все. Когда вы проходите регистрацию в аэропорту, они запоминают все необходимое — от номера терминала до местоположения ближайшего кафе, где вы можете с комфортом подождать посадки на рейс или еще чего-нибудь такого же для вас естественного. Так что — говорят нам по «Евроньюс» эксклюзивно скрипучим голосом — с этими часиками вы не заблудитесь. С этакой скромной будничной самоуверенностью нас уведомляют, что проблема взаимоотношений пространства и времени теперь тоже становится практически только вопросом наличия денег на эту игрушку и все сопутствующие ей обстоятельства жизни, при которых в ней может возникнуть если даже и не необходимость, то хотя бы идея потребности. Ибо хоть и можно, конечно, продолжать игнорировать существование глуши, куда не ходит даже разбитый автобус, можно безнаказанно жить, не решая проблемы по мере их возникновения, а порождать их ради безостановочной гонки, движения... но — чего? духа?.. денег?.. Для чего? Неужели для того, чтобы все-таки не осталось ни одной разлагающейся деревушки, где электрические провода давно пропиты, а избы пусты изнутри, — в которой не «задудонил» бы (здесь годится только язык Петрушевской) в нужный момент какой-нибудь «воздухотон», «эйрлазер»? Иными словами, чтобы суметь оповестить мертвецки пьяного пастуха, укрывшегося там от непогоды, то ли о Втором Пришествии, то ли о решении Страшного Суда? Не важно. Существенно было бы понять, *что* в бытии терпит крах, а *что* пребывает в перманентном становлении. На самом деле отличить распад от становления не так-то просто. И тут уж угол зрения — хозяин барин. Пришел конец жизни на лоне, где роскошь доступна только глазу и где правит аскетическое согласие с естественными метаморфозами самого лона? Или роет себе техногенную катастрофу тела и души передний край науки и техники? Чего должно не стать раньше: «кукареку» на рассвете или часов, позволяющих обокрасть банк, сидя в уютном кафе в ожидании самолета, которому суждено протаранить очередной стеклопакет металлолома, начиненный массой жертв новейших представлений о смысле существования? Наверно, все идет-таки к тому, чтобы накрыться одновременно. В какой-то степени чудо-часы пассажира лайнера призваны не дать также и вам заблудиться в бескрайних лесах и болотах, над которыми сей пассажир незаметно для себя пролетает. И подойти к последней черте вместе в Назначенное время. Как этого можно достичь? Да хоть рухнуть в эти самые болота — прямо на вас.

Не следует, однако, драматизировать трагедию. Не следует воображать, будто мы догадались, что пришла пора менять парадигму, — и вот мы, такие догадливые, своими шаловливыми ручонками ее сами и меняем по мере сил или, хуже того, подначиваем «массы» на борьбу за смену парадигмы. Это вообще потрясающее свойство человека: обнаружив некий процесс, провозгласить борьбу за его протекание, превратить закон бытия — в цель, в идеал. Этот пируэт очень сродни виртуозному отнесению в будущее всего того, что лениво делать в настоящем. И будущее автоматически превращается в позорную свалку отложенных усилий. Этакое *отложеноз*. Отложить на потом, не доделать сейчас, пожить в кредит, загадочно мигая на таинственное Грядущее, а главное — отсрочить расплату за грехи. Вот вам и концепция Страшного Суда — в Конце Времен...

Однако по мере старения представления о будущем расширяются, а глаза при этом расширяются от ужаса. Вообще такое ощущение, будто смысл выражения «огромный запас оптимизма» заключается в том, что некто, обладатель этого неприкосновенного запаса, способен очень долго, вплоть до старческого упрощения личности, не приходиться в себя, не просыпаться утром с ясной картиной истинной сущности механизмов собственного поведения, с трезвой оценкой своей жизненной ситуации, с точным диагнозом. Конечно, существует масса способов преодоления этого тяжелого момента — репетиции очной ставки с «собой в истинном свете» (звучит как название консервов) — любой категорический императив. Немедленно вставать кого-нибудь будить и кормить завтраком, вести на утреннюю прогулку собаку, выгонять скотину, на худой конец — бежать на работу. Да мало ли. До какого-то возраста большинство людей ухитряются организовать дело таким образом, чтобы встреча с собой поутру заменялась почти автоматическим нежным обхватыванием чьего-то рядом лежащего плеча...

Способов уйти от правды о себе и своей жизни несметное количество вообще и поутру в частности. Одиноким людям, не обремененным удобной версией обязанности служения, те, кого труба сама уже никуда не зовет, могут отряхнуть подкативший ужас, условно принимая его за симптом неполадок с печенью, за некую разновидность несвежего дыхания, — вскочить и начать очистительные мероприятия, сводящиеся в основном к гигиеническим процедурам. «Рондо» сблизает. В том числе и с собой. Из ямы своей прозревающей души можно карабкаться с помощью молитвы и поста, комплекса утренней зарядки, бега трусцой, гимнастики тибетских монахов, медитации (считать хотя бы от 100 до 1), а можно еще проще: резко встать (если вам сильно за, опасайтесь ортостатического коллапса!) и подойти к окну. Внешний мир обязательно что-нибудь да предъявит: небо, погоду, двор, напоминающий конверт неотправленного письма; фигурки спешащих людей и клубящиеся дымом автомобили, трогательные позы писающих, какающих и нюхающих собак, низенькие загородочки, отделяющие «по газонам не ходить» от пешеходных троп, худосочные деревца и неряшливые кусты — все это выглядит сверху как неразборчивый адрес на конверте. Можно даже лениво укрепиться духом, удостоверившись, что все живут примерно так же — суетой, что никто не отказался от своих привычных ужимок и прыжков, не ужаснулся в полной мере «истинным смыслом» своей ежедневной халтуры, своего хронического отлынивания от «самого главного» и т. д. Нет, за окном, если не случился какой-то срыв в форме собачьей грызни или праздничного скандала, выплеснувшегося на улицу, не видать никаких следов личных озарений. Никто из окна не выбрасывается, не бежит с изменившимся лицом к пруду. Все относительно спокойно, буднично и равносильно счету от 100 до 1.

И все же этот личный крах, этот «истинный свет» исподволь неуклонно подтачивает наш «заряд оптимизма». Как его ни откладывая, ни оттягивая, ни маскируй, ни драпируй неотложными делами, этот гоголевский черт за плечами, этот черный человек, этот нехороший гость, этот страх Божий — да назовите его хоть Великим Аудитором, — он обязательно если и не развалится на против вас в кресле, ожидая вашего Пробуждения, то уж по крайней мере

промелькнет где-то в области вашего изголовья и направится то ли в окно, то ли в ванную, чтобы усвистеть до поры через вентиляцию или канализацию и не быть замеченным никем, кроме вас.

Почему так страшна смерть? Не потому даже, что все перестанет быть, а потому, что вдруг все предстанет в «истинном свете» (Тот свет!), притом не так, как утром, бегло, а — окончательно, и не будет подлежать не только обжалованию, но и малейшему даже исправлению. А вот это уже покруче, чем на рассвете, когда можно еще заставить себя встать и не слишком убедительно убедить себя, что то-то и то-то еще можно попробовать изменить.

К концу жизни стремительно наполняются смыслом все набившие оскомину банальности. А там, в смертный час, небось выскакивает этакий джекет — вся нелепая отгадка смысла жизни вроде того, как беспомощно пытались это изобразить Стефан Цвейг в «Амоке» и даже Набоков в изысканно-слабом рассказе «Ultima Thule». Нет, без Бога — невыносимо.

Проходит пора юношеских догадок о существовании загадки, проходит долгий период увлечения разного сорта отгадками, и наступает молчаливая сосредоточенность — уже лицом к лицу с этой таинственной границей. Переход от жизни к смерти переходит-таки в разряд события обыденного. Уже на очередных похоронах мы ловим себя на том, что с недетской любознательностью наблюдаем за последовательностью ритуала, кто-нибудь жадным литературным глазом сверлит пережившего своего сына старичка с капризным личиком одряхлевшего херувима, мы рассматриваем диковинную по форме специальную лопату — так, словно присматриваем себе «вещь». Прицениваемся к смерти, ищем смысла уже не в жизни, которая в значительной степени прошла, а та, что некогда предстояла, если и случилась, то не с нами. Поменялся ракурс. Собственно, именно это все время и происходит в нашем пространственно-временном пристанище с течением жизни. Это напоминает удивительный эффект, когда поезд подъезжает к городу, — как раскручивается вдруг туманная, сверкающая огоньками гигантская воронка и, начиная с пригородов, населенный пункт разматывается узкой лентой вдоль железной дороги. Так и жизнь. Так, наверно, и смерть.

Вся загадочность и неистоцимость темы жизни и смерти происходит из-за непомерной высоты того забора, который их разделяет. Какими хитростями, уловками, шашнями с чистыми и нечистыми силами ни проковыривай дырочку, как ни сворачивай шею, чтобы заглянуть, как ни приближайся асимптотически к концу своих дней, минут, секунд, — тайна сия велика есть. Не понять, отчего так катастрофически мертв мертвец, почему не удастся рассказать ему про его похороны, почему ему это уже не нужно. Мертвого так безумно жалко даже не потому, что он уже не сможет и не будет делать и видеть того-то и того-то, а потому, что он никак не мог желать стать беззащитным зрелищем и стал. У мертвого перед живым можно предположить наличие некоего немого комплекса неполноценности вроде того, что был всегда у скованного полуживого советского человека перед подвижным и непостижимо нормальным иностранцем. Господи! И этого забрала старая парадигма!

Сейчас, когда официальной религией стали деньги, вместо «Ныне отпускаеши...» было бы уместно произносить что-нибудь вроде «Благодарим бутик „Мир Божий“ за предоставленное тело». Ибо в этом тексте есть даже завуалированные вежливые, на грани унижения, хлопоты — на случай реальности реинкарнации.

Неотправленное письмо всей нашей жизни лежит и мокнет. В небесной канцелярии уже давно не принимают почту. Сгорбленный ангел только подвылезшим крылом махнет. Куда там! С 33 года н. э. прекратили прием. Ничего нового все равно не сообщат. Только на разных языках, диалектах — все одно и то же. Шелуха. Пусть все лежит, может быть, во что-нибудь спрессуется. В какую-нибудь новую нефть...



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ПО ХОДУ ТЕКСТА

МАРИЯ РЕМИЗОВА



СИСТЕМА СТАНИСЛАВСКОГО

Никто толком так и не смог объяснить, отчего один текст вызывает доверие едва ли не с первой строки, а другой и на пятой, и на десятой, и на сотой странице все кажется какой-то неловкой, нелепой выдумкой. Сидящий внутри маленький Станиславский уже сорвал горло и лишь сипло хрипит свое: «Не верю! не верю!..» Почему не веришь-то? Молчит, подлец.

Литература вообще-то в главной своей ипостаси все-таки вымысел (типа *слезами обольюсь*, ну и так далее). По-английски так просто *fiction* — то есть впрямую обозначена как «фикция» — то, что не существует. Есть очень большой соблазн продолжить: но *могло бы* существовать. В смысле — верим тому, что с большим или меньшим усилием можем себе представить. Но тут же вспоминается, к примеру, «Нос» — и версия, понурившись от стыда, отправляется в мусорную корзину.

Что же тогда?..

Суша теория, мой друг, а древо жизни вечно зеленеет... Прочь холодный анализ, прочь умозрительные кабинетные выкладки, да здравствует жизнь в ее цветении и полноте. Пусть явится на сцену живая полнокровная литература, пусть сама говорит за себя. Долой внутреннего Станиславского, пусть поперхнет своей жалкой системой. Плевать мы хотели на все его вешалки — текст начинается со слова и им же заканчивается. Даже шрифт не имеет значения, тем паче любые другие внешние обстоятельства. Просто возьмем два текста...

...два текста 2002 года. Пусть одним будет повесть «Звездочка» хорошо всем известного прозаика **Алексея Варламова**, опубликованная в журнале «Москва» (№ 6), а другим — повесть «Крайняя хата» решительно никому не известной **Елизаветы Романовой** (ныне, увы, уже покойной), напечатанная в июньском же номере «Нашего современника».

Сопоставить эти тексты позволяет прежде всего то, что они в конечном счете затрагивают одну тему, которую в общих чертах можно было бы сформулировать так: советская история и человек в ней — отдельный и совсем-совсем маленький. Кроме того, в обеих повестях задействована ситуация воспитания *чужих* детей. По мере прочтения могут открываться и другие интересные параллели.

Варламов начинает свое повествование просто и без затей: «В семидесятые годы прошлого века в Москве на углу улицы Чаплыгина и Большого Харитоньевского переулка на первом этаже старого пятиэтажного дома жила хорошенькая, опрятная девочка с вьющимися светлыми волосами, темно-зелеными глазами и тонкими чертами лица...» В принципе, этот абзац — вполне достаточный образец письма, по которому можно составить исчерпывающее представление о поэтике целого. Автор с первых слов задает тон *литературной игры*, началом фразы отсылая к безошибочно узнаваемому зачину каких-нибудь *губернских записок* второй половины *позапрошлого* века.

Но сам же и не выдерживает этого тона, тут же сбиваясь на столь же ошибочно восстанавливаемый образ Мальвины (из произведения несколько более позднего). Можно предположить, что игра затеяна более тонкая и «нестыкующаяся» поэтика выступает продолжением и своеобразной поддержкой сюжета: белокурый ангелок воспитан бабушками — яркой антисоветчицей и истой богомолкой — так, что о *советском* настоящем, окружающем его со всех сторон, бедное дитя узнает, лишь поступив в школу. Что и оказывается причиной драматического конфликта.

Бабушки были, естественно, происхождения самого благородного. Потому «детских книжек для советских детей ей не читали вовсе <...> Баба Аля читала ей Жития святых по старым дореволюционным изданиям, баба Шура — рассказы из истории древнего мира, легенды и мифы о подвигах греческих и римских героев и богов, к коим она чувствовала сердечную склонность. Из литературы светской старушки предпочитали Пушкина, Аксакова, Одоевского, Мамина-Сибиряка и Лидию Чарскую». К заявленному ряду добавлен еще и Пришвин, интерес к которому испытывает Алексей Варламов в ипостаси филолога — что позволяет ему ввести в повествование дружбу одной из бабушек с его вдовой и даже описать интерьер писательской квартиры.

Отметим попутно, что уже упомянутую игру Варламов поддерживает еще и легким, едва уловимым флером иронии по разным литературным поводам — как, например, манифестация Чарской в этом *благородном собрании* или рассказ наивной Лизы при поступлении в школу, когда при виде картинки с изображением первомайской демонстрации на Красной площади ангелочку с домашним воспитанием привиделась пришвинская утопия Дриандия...

Но вернемся к сюжету. Бабушки не признают советской власти. Обе отсидели в лагерях, причем та, что антисоветчица, родила там дочь, от которой отказалась, а другая, религиозная, ее удочерила. Так что по документам Лиза (ангелочек) — внучка одной, а по крови — другой. Мать Лизы, по версии бабушек, умерла (автор тут нарочно напускает туману, так что можно предполагать все, что угодно, — например, покончила с собой, бросила ребенка и исчезла, в общем, что-то темное и нехорошее). Отец — прочерк.

И вот девочку, обученную музыке, математике, истории, чистописанию, двум иностранным языкам и хорошим манерам, приводят во французскую спецшколу, одну из лучших в Москве. Лиза производит такое впечатление на экзаменаторов, что сам (сама) директор становится ее негласным патроном. В Лизу влюблены все одноклассники (и мальчики, и девочки), учительница не чаёт в ней души, родители мечтают, чтобы их дети дружили именно с ней...

Но счастье длится недолго. Лизу принимают в октябрюта. Гордясь новой звездочкой, Лиза является пред очи старух. Ружья на изготовку, пли! «Ты никогда не будешь носить эту гадость» — таков вердикт. Бедная Лиза! Ей приходится пройти через все тяжкие — и кнутом, и пряником школа пытается заставить девочку принять существующую систему. Лиза страдает и чахнет, но не может предать бабушек. Кончается тем, что с ней начинают обращаться как с прокаженной — чтобы по крайней мере заставить ее уйти из школы. Бабушки поначалу артачатся, но, когда Лиза наконец слегла по-настоящему, да еще на квартиру нагрянули с обыском, бабушки сдались. В один прекрасный день они исчезли — все трое. Забрали документы из школы и переехали в город Кашин. Однако ни в одной кашинской школе бедная Лиза так и не появилась...

Только Боже упаси прочесть этот текст как какую-нибудь разоблачительную антисоветчину. Если он и разоблачает, то только жестокость взрослых, закосневших в своей ненависти к режиму, окоченевших в своем неприятии его, сделавших — любимого, горячо любимого! — ребенка заложником своего личного диссонанса с бытием. Варламов нарочно довел конфликт до абсурда, до кукольно-масочной буффонады, чтобы как можно ярче вывить его, так сказать, высшую неправоту. Для этого он прихлопнул сачком порхающую Мальвинку и колот ее булавкой до тех пор, пока не прожжет сердце последнего упорного отказника *слезинкой ребенка*, полученной путем вивисекции.

Мы уже оговаривались, что приговор «так не бывает» не может служить аргументом для генерального недоверия к тексту. Во-первых, бывает всяко — и даже какое-нибудь кафкианское «Превращение» совершенно возможно, вопрос лишь в том, какую реальность иметь в виду, например, индивидуальное сумасшествие или, наоборот, обобщающую аллегория, личный бред — или метафору. И тогда проблема правдоподобия оказывается решаемой, не напрямую, конечно, но так — по разным косвенным признакам.

Можно ли представить, чтобы две столь противоречащие друг другу личности, согласные лишь в любви к ребенку да в неприятии окружающего строя, которые из дому-то никогда вместе не выходили и жили каждая в своей комнате, стараясь не пересекаться даже в квартире, воспитали ребенка, сияющего всеми мыслимыми и немыслимыми добродетелями? Прибавим к тому оговоренное автором общение Лизы с дворовыми детьми (как же ей все-таки удалось прожить «до семи с половиной лет <...> в полном неведении о вещах, которые были хорошо знакомы ее маленьким ровесникам»? Или все они были немые, не рассказывали анекдотов (в том числе и не вполне приличных), не произносили сакральную клятву «честное ленинское», не пересказывали фильмов, не хвалились значками и вообще не болтали всей той детской чепухи вроде «Летит, летит ракета...»?

Нет, то, что бабушки действительно могли выдрессировать *очень хорошую девочку*, сомнений никаких быть не может. Но весь жизненный опыт вопиет против подлинной добродетельности такого искусственного существа. Невероятно, чтобы в таких обстоятельствах могла бы сформироваться цельная натура — скорее это было бы лишь внешнее благообразие, под которым скрывался бы привыкший принаравливаться и лгать маленький раздавленный человек. И тогда весь школьный конфликт выглядит совсем надуманным: она просто приспособилась бы *еще* к одной среде и чувствовала бы себя там как рыба в воде. Или уж — если бы натура была очень сильной — она была бы *вынуждена* занять глухую оборону, она отстаивала бы свою цельность в противостоянии любой среде. Была бы дерзкой, упрямой и скорее всего капризной. Уж во всяком случае, не тем сусальным ангелочком, которого нарисовал Варламов.

Но Варламов, кажется, и сам не очень-то верит в нарисованный им образок. Помесь мальчика у Христа на елке с девочкой со спичками, святочного рассказа с очерком нравов ни на минуту не устает быть литературной игрой. Все персонажи кажутся какими-то неправдоподобно знакомыми, будто одетая во взятые напрокат костюмы труппа актеров — среди них нет ни одного *живого лица*, все сплошь «биониклы», собранные по частям из скелетов уже кем-то и когда-то использованных героев. Даже фразы здесь кажутся заимствованными — и часто далеко не из лучших источников: «И Лиза тоже ее невероятно полюбила, умным сердцем поняв...» Уж не из Чарской ли?..

Ни на секунду не допуская, что автор сделал такой текст по профессиональной неискушенности, остановимся на версии, что все это было нарочно. Или — отчасти нарочно. Зачем? Ну, например, затем, чтобы и самому понадежней спрятаться под маской. Варламов, и это надо иметь в виду, человек *литературно* крайне нерешительный. А здесь, похоже, речь идет о вещах, спрятанных где-то в самых глубинах души.

Нет, не о жестокости и жесткости взрослого мира, поставившего под удар нежную душу ребенка, идет речь в повести «Звездочка». Это так, поверхность. Речь идет о внутренней раздвоенности самого автора. Раздвоенность эта проявляется прежде всего в том, что он сам ощущает себя одновременно и бедной Лизой, которую заставляют отречься от любимой звездочки (и которую ему страшно жалко), и кем-то гораздо более мудрым и объективным, способным и над этой Лизой, и над всей ситуацией слегка поиронизировать.

В рассказе «Присяга» («Новый мир», 2002, № 8), кстати, очень неплохо, потому что там он не придумывал «сюжет», а исходил из прямого личного опыта, Варламов передоверяет рассказчику пережить эмоцию, которая крайне показательна для его мироощущения: на военных сборах студентов филфака,

где царит полная лафа и халява, во время абсолютно абсурдного и для всех неожиданного ночного броска под дождем для уничтожения несуществующего вражеского десанта герой вдруг переживает катарсис. «Я не знаю, действовала ли на меня какая-то неведомая <...> спецпропаганда, но в эту минуту, идя в тяжелом ватнике и хлопаящих сапогах, с противогазом и бесполезным автоматом сквозь незнакомую русскую деревню, я понимал, что если потребуются, то умру за эту деревню, за церковь Покрова, за своих ребят, за отца и даже за майора Мамыкина». Дальше герой как сумасшедший копал еще более абсурдный окоп и заслужил благодарность затеявшего весь этот бред командира. «Служу Советскому Союзу! — сказал я хрипло <...> в эту ночь я принял присягу».

К слову сказать, подобные эмоции, но, конечно, совсем не такого накала, если память не изменяет, «лирический» герой испытывал и в романе «Купавна». То есть тема для Варламова не новая.

А вот подход новый. В завуалированном виде Варламов в «Звездочке» бьет в ту же точку — только с другой стороны. Вместо личного объяснения в сентиментальной привязанности к советскому прошлому на этот раз он саданул по тем, кто это прошлое — в этом же прошлом, не теперь — на дух не принимал. Он нарисовал в каком-то смысле карикатуру и на несчастных старух, и на их искалеченную внучку, но самое главное — на саму ситуацию такого лобового и негибкого противостояния. Можно как угодно относиться к нонконформизму — уважать или презирать. Это вопрос личной позиции автора, посторонним тут делать нечего. Только при чтении повести «Звездочка» обязательно надо иметь в виду — все это немножко неправда...

То, что предлагает повесть «Крайняя хата» Елизаветы Романовой, гораздо проще — в смысле литературной изощренности (если под изощренностью понимать то, что принято понимать сейчас, — способность придать тексту такую сложность, чтобы он потерял всякую функциональность. Модель от кутюр существует лишь для разового показа на подиуме, а вовсе не для того, чтобы хоть в какой бы то ни было мере выполнять роль одежды).

Во-первых, это совсем другая школа (Елизавета Романова родилась в 1922 году). Во-вторых, и это, быть может, даже важнее, она наверняка видела своими глазами столько *подлинного горя*, что сочинять что бы то из собственной головы у нее нет нужды (редакционная справка сообщает, что она прошла войну буквально *насквозь*, ступив на путь полевой медсестры 25 июня 1941 года).

Но это вовсе не военные мемуары. Хотя действие начинается во время войны. Украинское село у польской границы. Оккупация. Хохлушка Галя слышит ночью робкий стук в дверь. Женская фигура за дверью молча сует в руки непонятный узел и растворяется в темноте. Узел оказывается младенцем. «...продолговатые темные глазки, черная крутая прядка...»

«— Жиденя, — упавшим голосом сказала Галя». Потом пришла догадка, что скорее всего это родила «у гети» (не сразу понимаешь смысл — у какого еще гети? — и только потом доходит: в гетто) некая «Шлемкина Ривка». Так сразу же начинает обозначаться главный конфликт повести — между обыденной, обыкновенной, всем понятной жизнью, где все друг друга знают как свои пять пальцев, расплавляются друг с другом ведрами яблочной сушки и надеванными, но еще крепкими пиджаками, ведут счет родне до какого-то там колена и о политике не только не думают, но даже и знать не знают, что это за штука, — и свалившимся на их головы ужасом с расстрелами, с гетто, с этапами угоняемых в Германию родных и соседей.

Конечно, они боятся. Советской власти они толком еще не понюхали (вспомним географическое положение села). Так что к зверствам как бы не привыкли. А вот то, что «враг застрелят из-за этого жиденка», уже видели собственными глазами. Но вопрос вовсе не в том, брать или не брать подкинутую девочку, а в том лишь, как половчее выдать ее за свою — или хотя бы свою *по*

национальному признаку. Галя-то двадцать лет замужем — и до сих пор ни одного ребенка...

Но как-то все улаживается. Одна сельчанка, укрывавшая свою девку от угона в Германию фальшивой справкой о беременности, прилюдно с громкими криками побила венником якобы принесшую в подоле дочь, а Галя, якобы взявшая ее «байстрючонка», надев младенцу нательный крестик, методично выстригает предательскую курчавую прядку, а едва та подросла, начинает плести ей тугие косички, поверху повязывает платок да погромче ворчит, «отмывая» слишком смуглые ручки: «Опять ты вывозилась, как поросся».

Но вот и война позади. И Галя, и ее муж, и маленькая Ганка живут, сами не подозревая, как они счастливы вместе. И тут из небытия возвращается настоящая мать, чудом сбежавшая в ту ночь накануне всеобщего расстрела. Конечно, она хочет забрать свою дочь, а та, вцепившись в мать, которую считает своей, кричит дурным голосом и ругает «тую тетку» поганой жидовкой...

Галя мечется, плачет, грозит, предлагает взамен все, что у нее есть, умоляет поселиться рядом, даже жить в одной хате. Нет, Ривка с новым мужем едут в Израиль. Протестуя всем сердцем, Галя сдается — хотя больше всего ее мучает, что Ганка-то, несмотря на подарки и конфеты, так и не признала Ривку матерью, и как же она теперь где-то там, без нее?..

Ганки нет, Галя надолго замыкается в своем горе, но едва начинает отходить, является новый подкидыш. Городская барышня родила от немца, а теперь вот-вот вернется жених, которого считала убитым... Галя не хочет этого мальчика (разве можно заменить того, кого любишь?), но ребенка-то надо куда-то девать... Так в доме появляется Павлушка. И когда они со Стефаном уже успели привыкнуть (а любить они умели как бы *изначально*), в хату врывается тот самый молодой лейтенант. Они испугались — хочет убить. Но оказалось — просто забрать.

И вновь пустота. К счастью, ненадолго. Лейтенант нелепо гибнет в автокатастрофе (страшный все-таки закон сохранения энергии — если где-то чего-то прибавится, в другом месте столько же и убудет). И беспутная мать возвращает ребенка.

Потом приходит еще один десятилетний мальчик. Городской. Интеллигентный. Сирота. С поезда на поезд зайцем он добирался в Москву к бабушке (не хотел верить, что она умерла), заблудился. Занесло сюда. Люди на станции сказали: иди туда-то, постучись в крайнюю хату. Вошел и спросил: «Можно я у вас поживу?» (А только вчера Галя слышала, как на этом языке, на русском, читали приговор перед расстрелом трех односельчан, якобы сотрудничавших с немцами, и после дома в истерике кричала: «Зачем детей? Что их ждет? Люди — звери! Правды нет! Я б этих кацапов собственными руками сейчас бы душила!»)

И пока она, ошеломленная, стоит молча с опущенными руками, Стефан спокойно говорит: «Исты йому дай».

Так в этом мире решаются неразрешимые проблемы. И трудно представить себе что-то более мудрое.

И еще много-много предстоит пережить Гале. Смерть мужа. Трудности с маленьким, но уже изломанным жизнью Егором. Предстоит научиться лгать, чтобы избавить Павлушку от груза, которым наградили его взрослые, — званием фашиста (в селе-то все всё друг о друге знают и не всегда стараются держать язык за зубами). А когда мальчики подрастут, на голову постаревшей Гале вдруг свалится необузданная и почти дикая девочка Марийка, рожденная в зоне той самой Лесей, которую когда-то определили матерью Ганки и которую вместе со всей семьей посадили после войны за «измену родине» — мать работала на немцев судомойкой. И эту кривоногую некрасивую девочку Галя тоже — даже вопреки неприязни — начинает любить и в финале повести видит в ней пробуждающееся ответное чувство...

Я позволила себе пересказать этот текст так подробно по двум причинам. Во-первых, потому, что вероятность знакомства с ним очень мала: он напеча-

тан в журнале, который читает достаточно специфический круг. Точнее, *другой* круг его практически не открывает. А повесть, ей-Богу, заслуживает общего внимания. Во-вторых же, потому, что эта история дышит такой подлинностью, которую трудно просто холодно анализировать, не показав для начала, о чем же все-таки идет в ней речь.

История эта действительно очень проста: хотя и написанная в третьем лице, она воспроизводит прежде всего внутренний мир очень простой, даже почти неграмотной женщины, обладающей — вместо, быть может, и многомудрых, но в основе своей суетных знаний о мире — некой высшей и очень цельной *мудростью*, не допускающей никаких отклонений. Голодного — накорми. Холодного — согрей. Просящему дай.

Лишенная материнства и как-то легко обходившаяся без него, Галя оказывается открыта приятию *любого* нуждающегося в заботе существа именно потому, что в ней говорит не внутренней ущербностью порожденная (и в основе своей, как ни кощунственно это звучит, глубоко эгоистическая) потребность иметь детей, а врожденная *высшая жалость* ко всему беспомощному и слабому и неосознаваемое и тем более несформулированное, но очень четкое понятие о том, что правильно и что неправильно устроено в жизни. Она стремится устранить то неправильное, что попадает в круг ее бытия, не потому, что сознательно хочет исправить мир, но потому, что сама невыносимо страдает от этой неправильности.

В тексте есть во многом наивный, но чрезвычайно характерный эпизод мучительного для Гали воспоминания. Однажды она видела, как идущие вереницей муравьи несут своих «лялек» — уставшие падают, а другие, со свежими силами, подхватывают деток. Жалость пронзила ей сердце — куда же, бедные, бегут, холодно, темнеет?.. И вдруг увидела, что на муравьиной дороге стоят и болтают, переминаясь с ноги на ногу, две женщины и топчут, сами того не замечая, муравьев... Много лет прошло, а Галя все не может себе простить, почему не попросила женщин отойти, почему постыдилась, что будут смеяться...

Сравнивая эти повести, можно было бы сказать, что в первой, в «Звездочке», как будто решается та же проблема, но доказательством от противного. Эгоцентризм бабушек у Варламова калечит душу ребенка, а самоотверженная самоотдача героини «Крайней хаты», напротив, эту душу выхаживает и лечит. Можно было бы — если бы не было в первом случае этой легкой издевательской нотки, этого странного авторского равнодушия к придуманной им маленькой жертве. Варламов, если угодно, ставит своеобразный литературный эксперимент, и Лиза для него в каком-то смысле — подопытный кролик, на котором он обкатывает сформировавшуюся в его голове версию. Он сам прекрасно знает, что никакой Лизы не существует. Девиз «Эмма Бовари — это я» в данном случае не работает.

А в «Крайней хате» все настоящее — независимо от того, жили все эти люди на самом деле или их от начала и до конца сочинила авторская фантазия. Потому что здесь *болит*, а там — *не болит*. И потому Варламов предлагает в лучшем случае пищу для ума, а Елизавета Романова — для сердца.

Исты йому дай можно прочесть как своеобразный девиз этой нехитрой повести. Кстати, она написана очень хорошим языком...



Р Е Ш Е Н И Я . О Б З О Р Ы

ПИСЬМА МЕЛКИМ ПОЧЕРКОМ, ИЛИ ОПРАВДАНИЕ КРИТИКИ NON-FICTION

Василий Голованов. Остров, или Оправдание бессмысленных путешествий. М., «Вагриус», 2002, 460 стр.

... Даже и говорить лишний раз не стоит, что литературной критики как единого словесного и смыслового пространства больше не существует. Особо — критики «рецензионной»: слишком многое зависит от прагматики и политики издания, для которого рецензия пишется. Добротный и почтенный толстый журнал, интеллектуальный еженедельник, глянцевого ежемесячника, приложение-дайджест к популярной газете, рекламное обозрение культурных событий, наконец, сетевой обзор — в каждом случае задаются совершенно разные параметры рецензионного сочинения. Миниатюрная аннотация в половину старой машинописной странички, хлесткая рекламная информашка с цитатами-выжимками, наконец, взвешенный академичный разбор с осторожными оценками — все это, как ни странно, рецензии.

Новации последних лет раскололи единый язык рецензии (или, если угодно, рецензионный дискурс) на множество замкнутых говоров и диалектов; однако как же все-таки хочется иногда думать, что правила игры predeterminedены не только «форматом» газеты, журнала или сайта, но и самой книгой! Чтобы, приступая к чтению рецензии, читатель (как в пору старых добрых русских журналов позапрошлого века) мог надеяться, что критик будет разгадывать загадку, «на что похожа книга», а не отвечать на заранее предreshенный вопрос, стоит ли брать книгу в руки читателю «Афиши» или «Итогов» (пардон, «Еженедельного журнала»)?

«На кого похож слон?» — спрашивали друг друга слепцы из знаменитой восточной притчи. Их экзальтированные попытки вывести дефиницию толстокожего великана с хоботом и бивнями были причудливы, но притягательны — поскольку непредсказуемы. Критик при всех условиях должен сохранять мужество самоумаления, держа при себе хоть маленькую толику высокой слепоты, которая препятствует заданности и заведомой прозрачности мнений и оценок. Иначе — в отсутствие слепоты этой самой — получаются какие-нибудь курицынские сетевые «уикли», полные брюзгливых и однообразных эскапад. Хоть и пишутся тут литеры «ы» после шипящих — все равно скука смертная, все известно заранее: литературы нет потому, что м н е она надоела, такова-то жизнь, мужыки!

Сочинение Василия Голованова как раз принадлежит к тому счастливому ряду книг, о которых нельзя написать просто так, с разбегу, в координатах обычной рецензии. Книга прямо-таки провоцирует на «критику нон-фикшн», без занудных академических оговорок в обход прямых оценок, однако и без эмфатических надрывов, демонстрирующих эти оценки слишком явно. Книга и сама-то «нонфикционна»: некий беспокойный душою человек в поисках себя самого вдруг едет куда-то далеко на север, на неведомый остров Колгуев, почти правильным эллипсом вписанный на карте в просторы рокового Баренцева моря. И человек, сам себя называющий Беглецом, бесхитростно записывает подробности поездки, ночевку в выстуженном номере нарьянмарской гостиницы, свои страдания от гайморита; вспоминает, как накануне отъезда, под утро, любимая прильнула к нему под одеялом — спина к спине, отдавая тепло... Записчик ежеминутных впечатлений не забывает упомянуть о жителе северного, очень северного города, только что приколотившем к стенке сарая во дворе длинный шест с новеньким скворечником. На свой недоуменный вопрос Беглец слышит ответ совершенно спокойный и недвусмысленный: «Нет, скворцы сюда никогда не прилетают». Этот диалог никак не комментируется, но ясно же, что вывешивание скворечника в отсутствие птиц — вовсе не безумие, а, напротив, акция осмысленная и даже многосмысленная, если угодно, ритуальная. Помните, как одинокие насельники дальней космической

станции из «Соляриса» Лема — Тарковского прикрепляли к кондиционеру шелестящие бумажные лоскутья, напоминающие о земном ветре? Порывистый и чудной побег из объятий любимой на далекий северный остров — для автора такое же действие, попытка выстроить собственные контуры новой реальности в отсутствие прямой выгоды и даже — какой бы то ни было прагматики. Отсюда, кстати, в названии книги «...оправдание бессмысленных путешествий».

Вот что написал Георгий Иванов в прозаической поэме «Распад атома»: «Сердце перестает биться. Легкие отказываются дышать. Мука, похожая на восхищение. Все нереально, кроме нереального. Все бессмысленно, кроме бессмыслицы». Лучше не скажешь: это и есть изначальная эмоция, породившая пеструю книгу Василия Голованова. Не какого-нибудь там условно-литературного «Беглеца», но живого человека, в девяностые годы несколько раз все бросавшего и ехавшего (плывшего, летевшего) на остров Колгуев — прочь от самого себя, однако, как всякий раз оказывалось, — все-таки к самому себе, подлинному и вечно ускользающему.

Можно сколько угодно проследивать литературные параллели, обозначать истоки: бегство прочь от «неволи душных городов», Чайльд Гарольд, Робинзон Крузо, Моби Дик, Уолден. «Хронотоп» острова как модели мира... Еще — традиция философской и литературной исповеди — от Руссо и Толстого до необъятности современной прозы без вымысла. Между прочим, и сам Голованов прочерчивает генеалогию своего текста, доводя традицию интеллектуального побега вплоть до экзистенциализма и широко понятого эскапизма прошлого столетия. Мне подобные рефлексии кажутся лишними: к чему теоретические вкрапления в тексте, в котором имеются такие вот зарисовки: «Это лицо выражало беспечность отчаяния, которую в равной мере можно было принять и за радость, и за безумие». Можно, не задумываясь, угадать — это сказано о человеке, подверженном греху «пития хмельного», который почти уже не помнит своего подлинного имени и судьбы. Редкий дар зрения, умение увидеть под слоем сиюминутной мути чистую субстанцию человека или события! Нынешняя театральная звезда Евгений Гришковец еще в давнюю пору обучения на филфаке, где мне тогда довелось служить, произнес замечательную фразу о своем почти пугающем даре мима-имитатора: да нет тут ничего сложного, просто иду и смотрю, как стоят люди на троллейбусной остановке.

Подобной незамутненности зрения и стремится достигнуть головановский Беглец, хоть все привычки и чувства человека цивилизованного остаются при нем даже в приполярной тундре. Избавиться или хотя бы на время забыть о них не получается, избыток культурной оценочности мешает нашему герою слиться с неброским бытом и непростым бытием островитян. Ненцы рутинно режут оленя — он не без содрогания обдумывает хирургическую точность последних ударов ножом, прерывающих жизнь огромного животного. Они уверенно и просто идут по тундре — он рассуждает про себя о «походе», «экспедиции», расслабленно курит на берегу ручья, думает о значительности момента. Кто же он, этот «серийный» неудачник, натуралист-дилетант, идущий по следам былых серьезных научных экспедиций? Оживший персонаж давно минувших дней, предпринимающий очередное «хождение в народ» и на практике убедившийся в собственной интеллигентской двойственности и отчужденности от мира простолюдинов? Коли так — можно было бы тут же захлопнуть сочинение о «бессмысленных путешествиях», однако... Разгадка обаяния головановской книги очень проста. Эта книга вовсе не о заполярном острове и не о метаниях интеллектуала в смутное постперестроечное время. Здесь нет обобщений: «Остров» — не географический феномен, один среди других Гренландий и Исландий, а просто букет из порывов ветра, красок заката и запахов костра. «Комплекс ощущений», значимых по самой природе своей, а не в качестве объектов интереса какого-нибудь нового Паганеля. Читателю (вслед за автором книги) важнее всего — возвращаясь к аналогии Гришковца, — «как стоят люди на остановке», а не «по какому маршруту следует ожидаемый ими троллейбус».

«Метания интеллектуала» — тоже даны не как социальный факт, но как феноменология чувств единственного и конкретного человека по имени Василий Голованов. Стоит это понять, и тут же перестанут раздражать сомнения и комплексы, сто раз описанные в великой и невеликой русской литературе от Льва Николаевича

ча до Дмитрия Александровича. С читателем говорит не создатель «типических характеров в типических обстоятельствах», а как будто бы случайный собеседник, вдруг, однако, подобно отцу Сонечки Мармеладовой, начинающий рассуждать о странном: «...надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти». Тут раздражением не отделаешься — на живую боль невозможно ответить обобщенно (дескать, все это уже случалось тыщу раз) и — пройти мимо, по своим важным делам. Вот Голованов говорит: «В любовь, которая связывает двоих только узами влечения и тем более „долга“, я не верю. Я верю в любовь, которая возрастает подобно дереву, помогая двоим раскрываться, требуя, неустанно требуя от них пищи для роста, новых смыслов, новых, все более сложных ролей, все более прозрачных, промытых оттенков чувств». Избито и банально? Да, во всех случаях, кроме беседы по душам, не запланированной в органайзере, случившейся как-то вдруг и накоротке и запавшей в память...

Вот, оказывается, на кого похож слон! Книга Голованова предполагает не рецензионные разборы-анализы, но вполне «нонфикционную» реакцию частного человека. Что ж, лет десять с небольшим тому назад был я на вечере журнала «Новая Юность», только что отпочковавшегося от «Юности» (простите за оксюморон) «старой», позднедементьевской и агонизировавшей, подобно тому, как более или менее достойно отходили в мир иной «Огонек» Коротича, «Московские новости» Яковлева и «Литобозрение» Лавлинского. Волна сверхпопулярности перестроечных изданий-анфантерриблей схлынула так же стремительно, как и, незадолго до того, стойкая популярность честных газетно-журнальных детищ эпохи застоя. Именно слушая почти юных в те годы ребят из НЮ (аббревиатура что надо!), я понял, что секретарская литература в респектабельных «толстяках» советского времени попросту породила собственный недолговечный антипод в лице изданий политизированных, взалхлеб рассуждавших о литературе «потаенной» и «возвращенной», а боковым зрением по привычке следивших за колебаниями линии партии, то есть бонапартии проворных прорабов и торопливых межрегиональных разоблачителей. Ступор после статьи «Не могу поступиться принципами» помните? Впрочем, шут с ними, с принципами, я понял тогда, что существует еще один вариант журналистики или, если угодно, журнальности. Василий Голованов, Рустам Рахматуллин, Гела Гринева (а также В. Пуханов, М. Кудимова, В. Бибихин...) во многом, как это ни покажется странным, предвосхитили сетевую словесность. Они делали журнал словно бы для самих себя, для внутреннего пользования: обменивались эссе, стихами, рисунками, беседовали друг с другом словно бы «в присутствии» читателя, который находил на страницах «Новой Юности» все, кроме фронтовых сводок с полей сражений за перестройку и гласность.

Последняя книга Голованова несет на себе ощутимый след журналистских находок тогдашней «Новой Юности» — в конце помещена подборка из научных статей, стихов, быличек и эссе, в основной текст не вошедших. Здесь герои повествования Беглеца обретают самостоятельное лицо: жители ненецких поселков ведут неторопливые рассказы от первого лица, а Любимая, к которой то и дело обращается в своих записках Беглец, обретает собственный голос, откликается на зов друга, внезапно сбегавшего на северный остров.

...Где-то у Кортасара есть рассуждение о том, что в «правильной» книге должны быть заранее прочитаны будущие обстоятельства ее прочтения. Ну, скажем, книга для пассажира переполненного трамвая должна содержать паузы, во время которых мимо могли бы протолкнуться ломящиеся к выходу соседи слева и справа. Василий Голованов почти никогда не забывает о том, что «есть книги для глаз и книги в форме пистолета», как пел некогда рок-мэтр эпохи «Новой Юности». Ну разве что в тех случаях, когда пытается имитировать подлинные научные разыскания. Едущему в трамвае ни к чему знать, сколько именно ящиков в библиотечном каталоге перелопатил Беглец, прежде чем найти ссылки на труды братьев А. С. и П. С. Савельевых. Уважающий себя гуманитарий-специалист по крайней мере одного из братьев (П. С.) знает прекрасно. Дилетант же забудет это имя уже через несколько минут, как только пробежит глазами соответствующую страницу. Бахтин. помнится, прекрасно объяснил отсутствие в своих работах подробного научного аппарата. Знающие поймут все и без ссылок, а незнающим никакие цитаты

не помогут. Вот и кажется при чтении некоторых страниц, что тебя либо лишают точной и строгой информации, либо снисходительно потчуют жиденьким бульоном популярщины вместо подлинной науки — отрывочными упоминаниями о Марко Поло или Рене Геноне.

Со странным чувством закрыл я книгу. Что — разве не ушло навсегда время вылазок за туманом и за запахом тайги? Пафосных и все же таких трогательных выпусков «Алого паруса» на страницах ветхозаветной «Комсомолки»? Журналов «Наука и жизнь», «Вокруг света» и «Техника — молодежи», на которые невозможно (или снова возможно?) подписаться? «Космических» статей Ярослава Голованова? Неужто кому-то до сих пор охота «трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете», а вовсе не ради отчета по гранту? Иногда невозможное кажется почти реальным. А коли так, Вася и Гела, то пишите мне электронные письма, только кеглем поменьше, поскольку места на жестком диске вечно не хватает...

Дмитрий БАК.

*

КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ДАМЫ

Юрий Ряшенцев. Любовные долги. Баллада и семь поэм. М., «Тайдекс К^о», 2001, 112 стр.

Юрий Ряшенцев известен прежде всего как лирический поэт, причем делающий ставку на стихи, как это раньше было принято говорить, социально окрашенные.

Так хорошо начинать стихотворную повесть,
веря в талант и о краткости не беспокоясь
(эту сестренку таланта я видел в гробу!).
Только для повести нет ни сюжета, ни навыка.
Да и с мгновеньем повязан однажды и накрепко —
Ветка и та мне способна напомнить судьбу...

(«Отрицание „бабьего лета“»)

Однако не так давно Ряшенцев представил на читательский суд книгу поэм — «Любовные долги». Открывает ее «Баллада» с весьма экстравагантным сюжетом. Школьник глазееет на полуобнаженных участниц Дня физкультурника. «Почему эти ноги так пышно растут, не кончаясь так долго? В этом мире, скупом на погляд, их не может быть столько — столько смуглых колен из-под шелкового полотна!» «Искушение святого Антония» в условиях пионерского детства может быть истолковано не столько как «аморалка», сколько как инициация, один из первых шагов по лестнице, ведущей во взрослую жизнь.

Тема взросления звучит и в поэме «Кирзовое солнце»: роман с «дворовой примой» Жаной, соперничество мальчишек и их любовные переживания.

...Передо мной уже не сверстник,
а горький раненый мужик.
Я был — как веник против танка.
И вмиг все было решено:
я тем был, кто танцует танго,
он тем был — про кого оно!

«Царь горы» — пожалуй, лучшая из поэм, самая задушевная и пронзительная. Военное время, эвакуация, тяжелый быт тех лет глазами подростка («взрыв бомбы во дворе, бомбежка эшелона»). В провинциальный тыловой городок съезжаются несколько семей. Мальчик из Москвы влюбляется в девочку из Киева. Романтическая школьная дружба на фоне вьюг, заснеженной улицы с единственным санным путем, очередей у колодца, «жалкого жмыха» на ужин и детских дворовых игр в «царя горы» («войне скончанья нет, но есть преграда — детство»).

Ретроспекции, отроческие воспоминания, юношеские увлечения героев сменяются чередой серьезных, «взрослых» переживаний. Суть их — одна. Везде речь — о *свойствах страсти*. Что мы можем узнать de rebus amori из этой небольшой, в общем-то, книжки? Интимные потрясения подростка ничем не отличаются от потрясений взрослого. Якорь прошлого чувства может тянуться за человеком всю жизнь. Век женской красоты пугающе краток.

У глагола «хотеть» есть три однокоренных существительных — хотение, прихоть и похоть. Эти корни тянутся через всю книгу, как линейки ноты, на котором и разыгрываются партии отношений героев. Страсть — отказ, страсть — разлука, страсть — томление... Всегда побеждает страсть. И только исход партии «страсть — старость» предрешен в пользу последней. Время добывается реванша и у любви, и у красоты — одерживает победу надо всем.

Итак, сюжеты почти всех поэм сводятся к романам: отроческим («Кирзовое солнце», «Царь горы»), курортным («Белый танец»), служебным («Генеральша», «Пятый павильон»), туристическим («Гора Медовая»). И только в «Случайной встрече» нет ни развития, ни развязки. Есть лишь одна точка — куст между двух дорог, по которым ведут женский и мужской отряды заключенных.

Излюбленная схема автора, по сути, проста: он и она любят друг друга, жизнь разводит героев в разные стороны, годы спустя они снова встречаются, на мгновение вспыхивает былое чувство — и все. И больше ничего. Он и она уже не те, и возраст не тот, — когда герой видит свою бывшую возлюбленную постаревшей и утратившей прежнюю привлекательность — все проходит. Наступает освобождение:

Она меня чуть-чуть и молча проводила.
И адресов не брать в нас трезвости хватило.
И я пошел один, спокойный и ничей,
в безлюдной полумгле каштановых свечей.

И еще. Под занавес Ряшенцев непременно разрушает образ Прекрасной Дамы. Если в начале поэм героини предстают ослепительными, цветущими и счастливыми, то к финалу картина меняется. В конце произведения автор еще раз выводит их на подиум — мы видим Жану, согрешившую на глазах у героя с «седоватым пижоном» прямо в подъезде, состарившуюся Леду, раздавленную после родов Шурочку, разочаровавшуюся в жизни подругу Сценариста. Былые красавицы превращаются в беззубых старух, и это повергает героя в состояние ужаса:

Вот откинется марля. И выйдет оттуда старуха.
И не хватит у жалкой душонки ни власти, ни духа
Изменить выражение глаз, спрятать ужас тоски
От бездушной виктории тлена над прелестью жизни,
От ничтожества плоти в наглядной ее дешевизне...

Страх, испытываемый перед старением тела, угасанием красоты, становится лейтмотивом.

«Любовные долги» — название весьма точное. Жизнь задолжала героям любовь, и — по цепочке — молодость, красоту, свободу.

Мотив везде один — разочарование. Все могло бы сложиться совсем иначе, если бы... Пауза, взятая вместе с многоточием, длится долгие годы. В конце концов герой возвращается к прошлому, ищет встречи с ним, находит ее — но в одну и ту же реку дважды не войти. *Panta rhei*. В любовных делах время — ненадежный процентщик.

И веки набрякли. И шея не та. И главное, смотрит, как будто ей стыдно
за скардность Бога,
чей жесткий лимит на женскую свежесть исчерпан, истрачен.

Дважды повторяется: она, конечно, постарела — ну, да я без очков. Это обстоятельство словно бы слегка уравнивает положение героев, но повода для оптимизма не прибавляет.

На протяжении поэм беспрестанно меняются ритмические рисунки — семь погод, семь пятниц на неделе. Можно сказать, что чередование размеров в круп-

ных стихотворных формах — фирменный знак этой книги: своего рода война, объявленная инерции, «нет» накатанной колее.

Уже в открывающей книгу «Балладе» использован провокационный графический прием — строки разбиты так, что рифмы образуют как бы внутреннюю диагональ:

Просверк женского тела нагого был смерчем, метелью,
самумом! Август шел. Теребя серебро, я глядел
толстосумом. Дело было в метро. Среди дня. Подъез-
жая к «Охотному ряду», я форсил — я в жиганстве
разгульном являл себя миру и граду.

И это при том, что в лирических стихах и песнях Ряшенцев часто стремился к ритмике чеканной, даже жесткой:

Когда оглушила моя рука
в будильнике жившую мразь,
то им оказалась недорога
нетленная наша связь.

(«Сон на берегу»)

Повествование «Любовных долгов» разворачивается на фоне целого собрания примет, следов, символов хроноса. В книге точно передана атмосфера московских переулков и дворишков, провинциальных городишек и приморских курортов. Да, Ряшенцев — заядлый «коллекционер времени». Он по крупичкам собирает лом минувшей эпохи, реставрирует ее великую ржавчину. «Мяч, корябающий лица шнуровкой», проходные дворы, звуки радиолы, выставленной на подоконник, доносящееся танго, Армстронг, московский коммунальный быт, статья УК — «тунеядство», керосиновые лампы, вуалетки, лимонник на окошке, настенные поделки из папье-маше и картона, аккордеонист на танцплощадке в военном санатории, «деревянный пол верандочки крутой», слоу-фокс из рупора...

Добротный стих, интригующая проблематика, удачно созданная атмосфера — это и держит читателя до последней строфы.

Евгения СВИТНЕВА.

*

ЗАПИСКИ АУТСАЙДЕРА

П. П. Перцов. Литературные воспоминания. 1890 — 1902 гг. [Вступительная статья, составление, подготовка текста и комментарии А. В. Лаврова]. М., «Новое литературное обозрение», 2002, 496 стр.

Петр Перцов прожил жизнь долгую и странную. Живи он в наше время, его, наверное, назвали бы аутсайдером. Он и был аутсайдером — последовательным, можно сказать, принципиальным и вместе с тем как бы невольным. В его аутсайдерстве не было и тени позерства. Меньше всего напоминает он традиционный образ литературного маргинала, отщепенца, «проклятого». Путь Перцова как бы сам собой сложился таким образом, что, побывав гостем нескольких станом, он везде занимал позицию особую и, этой особостью дорожа прежде всего, всегда находился не в центре, а где-то сбоку, на периферии.

Совсем молодым человеком оказавшись сотрудником народнического «Русского богатства», Перцов вместо ожидавшейся от него популяризации идей Михайловского и компании попытался донести до читателей журнала мысль о самоценности искусства. После отлучения от журнала он уехал на родину, в Казань, и там, по его собственному выражению, «отвел себе душу за весь великий пост „Русского богатства“», внушая «казанскому обывателю уважение к поэтическому творчеству и его независимости от злободневных потребностей».

Эволюция взглядов Перцова естественным образом заставила его искать союзников среди приверженцев едва начинавшего тогда зарождаться модернизма. Переписку Брюсова с Перцовым А. В. Лавров в предисловии к изданию «Литературных воспоминаний» определяет как «наиболее пространный, многообразный по содержанию и напряженный по мысли эпистолярный диалог из всех, которые вел сначала отверженный поэт-декадент, а потом мэтр русских символистов со своими именитыми современниками». Парадокс в том, что к своим спутникам Перцов и на этот раз относился с изрядной долей скептицизма. Поэзию Брюсова он признавал, но она никогда не была ему особенно близка; Бальмонт же и вовсе представлялся Перцову литературным недоразумением и фигурой откровенно комической. Достаточно прочесть тот эпизод «Литературных воспоминаний», где Перцов рассказывает, как лежавшего на парижской мостовой пьяного Бальмонта переехал фиакр: в этот момент, резюмирует автор, «он чувствовал себя, вероятно, наиболее законным наследником „безумного Эдгара“». Поэтическим идеалом для Перцова навсегда остались Фет, Полонский и Майков, и сам он всю жизнь писал стихи, лишенные какого бы то ни было следа модернистских влияний.

Став редактором-издателем «Нового пути», Перцов использует открывшиеся перед ним возможности лишь для того, чтобы напечатать программное предисловие к первому номеру журнала и написанную несколькими годами ранее книжку о венецианском искусстве. Вскоре он, разочаровавшись в позиции своих «содейтелей» по Религиозно-философским собраниям, и вовсе отходит от участия в журнальных делах, проводя большую часть времени в Казани.

Тем не менее, несмотря на несходство во взглядах и вкусах с большинством представителей новых направлений, Перцов расценивал модернизм как единственное живое течение в тогдашней литературе. Став в 1906 году редактором литературного приложения к газете «Слово», он способствовал появлению в нем стихов А. Блока, И. Анненского, Ф. Сологуба. Однако после перехода «Слова» к новому владельцу непосредственные контакты Перцова с символистами практически сошли на нет.

В 1910-е годы Перцов активно сотрудничал в газете «Новое время», где опубликовал в общей сложности несколько сот статей и заметок на самые разные темы: от литературно-критических эссе до негодующих замечаний по поводу состояния крымских курортов или предложений по улучшению трамвайного движения в Санкт-Петербурге. Написал Перцов за этот период еще больше, кое-что было напечатано в других изданиях, но многие его статьи, в том числе и яркие этюды о русской литературе, в печати так и не появились. А. В. Лавров замечает, что «даже небольшая часть этих публикаций, извлеченная из газет и объединенная в авторские книги, позволила бы читателю составить представление о литературном облике и интеллектуальном потенциале их автора с достаточной ясностью и полнотой». Но выпускать свои статьи отдельными изданиями Перцов не стремился: три небольших сборника за тридцать лет — вот итог его газетной работы.

Отметим, что и в «Новом времени» Перцов и по политическим, и по эстетическим вопросам занимал опять-таки особую позицию, не вполне совпадающую с «генеральной линией». В литературных статьях это, пожалуй, с наибольшей отчетливостью проявлялось в той как бы раздваивающейся точке зрения внешнего/внутреннего наблюдателя, с которой Перцов судил о новых течениях. Критически относясь ко многим конкретным явлениям модернизма, он вместе с тем пытался понять их внутреннюю природу, осмыслить их закономерность и обусловленность временем. Кто еще из сотрудников «Нового времени» мог бы написать в рецензии, пусть резко критической, на брошюру Бальмонта «Поэзия как волшебство»: «Именно так *мы* (курсив мой. — М. Э.) „рассуждали“ и „философствовали“ еще очень недавно. И даже приблизительно в течение целого десятилетия, если не больше»? Не Буренин же.

Излишне объяснять, что «особость» Перцова, его изолированность от литературного процесса многократно усилились после революции 1917 года. Драматическая парадоксальность литературного пути Перцова состояла в первую очередь в том, что как мыслитель он развивался весьма медленно. С 1890-х годов едва ли не до последних дней он работал над созданием огромного философского труда

«Основания диалогии», представляющего собой, по авторской характеристике, «попытку установления точных законов мировой морфологии». Может, именно в этом и заключается причина того, что Перцов не заботился об изданиях сборников своих статей: для него это были лишь подступы к тому, что он считал делом всей жизни. В «серьезнейшее будущее» этого труда автор верил безоговорочно. Но если философская система Мережковского, стартовавшего практически одновременно, была в основных чертах сформирована в начале XX века, то система Перцова получила относительно завершённый вид лишь к концу 1920-х годов, когда никаких надежд на ее публикацию и широкое обсуждение уже не оставалось. То же можно сказать и про другие итоговые работы Перцова: «Литературные афоризмы» и «Историю русской живописи». Именно их имел в виду автор, когда в 1930 году писал Д. Е. Максимову: «Настоящие мои работы лежат в параличе».

«Основания диалогии» с достаточным правом можно назвать запоздавшим эпилогом серебряного века. Работы Перцова 1920 — 1930-х годов поражают прежде всего тем, насколько мало сказались на них потрясшие страну и мир перемены. Тип мышления Перцова, его язык сформировались на рубеже веков и остались в основах своих неизменными. «Литературные афоризмы» вполне могли бы быть написаны в 1900-е годы; в записных книжках Перцова послереволюционных лет отсутствуют практически всякие упоминания о политических и литературных событиях эпохи; из «Литературных воспоминаний» явствует, что одним из самых актуальных мыслителей для Перцова и на рубеже 1920 — 1930-х годов остается всеми забытый Минский. Взгляд «внутреннего эмигранта» оказался гораздо более консервативным, чем взгляд эмигрантов действительных. В то время как русский Париж и русская Прага горячо спорили о Бабеле и Леонове, Перцов продолжал полемизировать с Мережковским или развивать какое-нибудь розановское наблюдение...

Сам всю жизнь державшийся в тени, Перцов прекрасно осознавал значимость для литературы фигур второго-третьего ряда. «Литературные воспоминания» его тем и замечательны, что о казанских журналистах 1890-х годов Перцов рассказывает не менее подробно, чем о Брюсове и Бальмонте. Чрезвычайно характерен и взгляд автора «Литературных воспоминаний» на самого себя, на свое место в описываемых событиях. Перцов не сообщает о себе ничего лишнего, никаких дополнительных деталей, кроме тех, что помогают читателю разобраться в той или иной ситуации или почувствовать атмосферу эпохи.

В блестяще подготовленный и прокомментированный А. В. Лавровым том вошли кроме основного корпуса «Литературных воспоминаний» разного рода приложения: некоторые из них извлечены из периодики, другие публикуются впервые. Наследие Перцова-мемуариста теперь доступно нашему читателю фактически в полном объеме. Остается надеяться, что вскоре увидят свет собранные вместе литературно-критические статьи Перцова, а также его итоговые труды, до сих пор ждущие своего часа в архивах.

Михаил ЭДЕЛЬШТЕЙН.



В ЖАНРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ БИОГРАФИИ

Ф. Буббайер. С. Л. Франк. Жизнь и творчество русского философа, 1877 — 1950. Перевод с английского Л. Ю. Пантиной. М., «РОССПЭН», 2001, 328 стр. («Люди России»).

Писать творческую биографию Семена Людвиговича Франка нельзя без присущей ему самому основательности, немислимо превратить ее как в собрание отвлеченных идей, так и иллюстративных картинок жизни. Английский историк Филипп Буббайер взялся за написание книги¹ — а в основе ее докторская диссертация — с убеждением, что «философия и опыт неразделимы», что творчество Франка нельзя отделить от его жизненного пути, «чтобы понять Франка, нужно

¹ Boobbyer Philip. S. L. Frank. The Life and Work of A Russian Philosopher, 1877 — 1950. Athens, Ohio University Press, 1995, 292 p.

знать его жизнь». Для этого больше всего подходил жанр интеллектуальной биографии, традиционный для западных ученых и так мало освоенный в нашей академической среде, в которой диссертационная работа в русле биографического метода вызовет скорее неодобрение, чем восхищение.

Надо признать и то, что биографию, подобную этой, в самое ближайшее время написанную специалистом из России, вряд ли посчастливится увидеть. Столь впечатляющей проработкой архивных источников, российских и западных, личных собраний трудно достичь за непродолжительный срок. Буббайер работал над книгой более пяти лет, с момента, когда выпустил в 1988 году свое магистерское сочинение «Либеральный консерватизм: политическая философия Семена Франка» (Джорджтаунский университет, США). Затем он углубился в религиозно-философские искания русского мыслителя. К тому времени был накоплен определенный опыт изучения идей и биографии Франка. Молодой исследователь, блестяще знающий русский язык, познакомился с основной частью автографов философа, хранящихся в Бахметевском архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке (они были переданы туда женой Франка после его смерти в 1950 году).

Татьяна Сергеевна Франк (урожденная Барцева) была составителем «Сборника памяти Семена Людвиговича Франка» (Мюнхен, 1954). Ее стараниями был сформирован замечательный авторский состав: прот. В. Зеньковский (редактор), Н. С. Арсеньев, Л. Бинсвангер, Б. П. Вышеславцев, Л. В. Зак, В. Н. Ильин, Н. О. Лосский, Г. П. Струве, о. Г. Флоровский и другие. Буббайер записал многочисленные интервью с членами семьи Франка в Лондоне и Мюнхене, прежде всего с дочерью философа Натальей Семеновной Франк-Норман и сыном Василием Семеновичем. А. Солженицын и Н. Струве предоставили исследователю материалы из своих собраний. Английского историка привлек незаурядный по концептуальности труд американца Ф. Свободы «Философская мысль С. Л. Франка, 1902 — 1915» (1992).

В 1991 году Буббайер изучал документы философа в архивах Москвы и Ленинграда. Это РГАЛИ, Отдел рукописей РГБ, ГАРФ, Московский городской архив, РГИА, Пушкинский дом. Он сотрудничал с историками русской философии (Ю. П. Сенокосовым, М. А. Колеровым), публикации которых пересекались с предметом его занятий².

Научный аппарат рецензируемой биографии чрезвычайно насыщен и составляет 63 страницы: примечания, список сокращений, описание архивных источников, интервью, библиография опубликованных книг и статей, рецензий, писем Франка, работ о философе, именной указатель. Особо помечены некоторые прижизненные статьи Франка, неизвестные составителю его парижской библиографии 1980 года. Американское издание книги включает и предметный индекс. Русский вариант библиографии дополнен новыми публикациями. Биография снабжена редкими фотографиями из альбома семьи Франков.

Весь этот огромный пласт сведений в книге серии «Люди России» дает необычайно много для познания наследия русских гениев религиозной философии. Сам же текст биографии читается с неослабным интересом: в ней отразились и напряженность философских раздумий, и глубина религиозного чувства, и перипетии судьбы, волею Провидения вплетенные в главные события российской и европейской истории, эпоху революций и двух мировых войн.

Книга очень четко и ясно построена. Читатель не найдет в ней рыхлых мест. Большинство глав отражают идейные веяния в судьбе Франка, моменты выбора, колебаний, разрывов и новых обретений, творчества мысли: «Марксизм», «Идеализм», «Политика», «Веги», «Обращение в православие», «Предмет знания», «Спор со Струве», «Непостижимое», «Религиозный опыт», «Христианская политика». Они соответствуют отдельным периодам в его жизни. Хронологически выделены «Ранние годы», «Война и революция», «Годы одиночества», «1938 — 1945 гг.». Названия

² Сочинения Франка переиздаются в России вот уже более десяти лет: вышло как минимум шесть солидных сборников его работ: «Сочинения» (сост. Ю. П. Сенокосов; М., 1990); «Духовные основы общества» (сост. П. В. Алексеев; М., 1992); «Предмет знания. Душа человека» (отв. ред. И. И. Евлампиев; СПб., 1995); «Русское мировоззрение» (сост. А. А. Ермичев; СПб., 1996); «Реальность и человек» (сост. П. В. Алексеев; М., 1997); «Непрочитанное...» Статьи, письма, воспоминания (сост. А. А. Гапоненков, Ю. П. Сенокосов; М., 2001).

еще двух глав — «Саратов» и «Лондон». В первом городе он пережил Гражданскую войну, во втором, в доме дочери, последние пять лет подводил итог своим мыслям и, предавшись созерцанию, перешел в иной мир.

Одна из главных особенностей философии Франка, подмеченная Буббайером, утверждается в книге с завидным постоянством: «В каком-то смысле все творчество Франка до самой его смерти в 1950 году было посвящено тому, чтобы примирить противоположности, навести мосты между различными учениями. В этом проявлялся его так называемый монизм».

Дед Франка хотел, чтобы внук занялся изучением Библии и Талмуда. Под влиянием отчима Сеня предался радикальным взглядам. Марксизм стал для него одним из ранних ответов на страстное желание иметь целостную картину мира, «научность» и веру сразу. В первой своей книге 1900 года «Теория ценности Маркса и ее значение» Франк стремился примирить политическую экономию марксизма и австрийские экономические школы. Но, прочитав Ницше, он открыл метафизический взгляд на мир — и совершился духовный переворот. Следом была кантианская защита личности («Будь тем, что ты есть»), сформировавшая его «гуманистический индивидуализм» 1904 — 1906 годов. Автор биографии не перестает повторять: «Связь, устанавливаемая Франком между его нравственной философией и чувством личного одиночества, показывает, насколько его философский путь являлся личным поиском смысла жизни, а не отстраненным ее анализом. Философия, на глубинном уровне, была его верой».

Обращение к Гёте побудило Франка отказаться от прежней субъективистской позиции. Теперь уже на всю жизнь он «раскрыл объятия „объективизму“, то есть стал рассматривать мир как систему бытия, а не сознания», — пишет исследователь. 1908 год — переломный в судьбе Франка. Он устремился к цельной монистической системе, совместив для себя материю и сознание под влиянием Вильяма Штерна и Анри Бергсона, отказался от кантианства и преодолел его потенциальный скептицизм. В это же время женитьба завершила «годы ученья и скитаний». Франк стал профессиональным философом и преподавателем.

Чуть раньше он осознал невозможность занятия политикой в силу своего характера. Тщетными оказались попытки объединить социалистов и либералов в революционном движении. Ему был близок политический реализм П. Б. Струве, друга и наставника. Оба исповедовали объективизм, государственное сознание, ценности культуры и права — политическую философию либерального консерватизма. Одна из лучших статей сборника «Вехи» принадлежала Франку. Буббайер считает, что «было бы неверно рассматривать „Этику нигилизма“ как совершенно оригинальное произведение. Значение ее в другом — в той четкости, с которой очерчены определенные идеи». Нравственное мировоззрение русской интеллигенции было названо в статье «нигилистическим морализмом».

Постепенно складывалась «монодуалистическая» философская система Франка. Она имеет свой контекст, носит отпечаток его личности, на нее повлияла среда, в которой он жил: «Контекст философского дискурса Франка — традиционная битва между эпистемологическим идеализмом и эпистемологическим реализмом в европейской философии». По Франку, абсолютное бытие — это всеединство, частями которого являются субъект и объект, мысль и объективный мир. «Предмет знания» имманентен сознанию. Поэтому возможно интуитивное, «живое знание». Франк пришел к истинам, которые не могут всех удовлетворить: «Философия Франка ближе всего тем, кто стремится к синтезу за пределами разума, кто ставит жизнь выше мышления».

Среди философских источников «Предмета знания» обычно выделяют традицию платонизма и в ней Платона, Плотина и Николая Кузанского. Буббайер прибавляет к этому «непосредственное влияние» Бергсона, Спинозы и Гёте, немецкий идеализм и неокантианство. К сожалению, исследователь недооценивает русскую литературную и философскую традицию в формировании идей Франка («живознание» славянофилов А. С. Хомякова, И. В. Киреевского, «живая жизнь» Достоевского...). Но это влияние требует дополнительного изучения. Справедливо отмечено в биографии различие в интуитивизме Франка и Н. О. Лосского.

Антимонархическую революцию Франк, как и П. Струве, встретил с осторожным энтузиазмом, а все, что за ней последовало, — с нарастающей тревогой, в

итоге признав «библейской катастрофой». Испытав на себе тяготы Гражданской войны, философ уже после высылки из Советской России спорил со Струве о причинах большевизма и возможном его поражении. Он не разделял безоговорочную защиту белого движения. Для того чтобы произошла смена режима власти в России, необходим «длительный процесс изменений в народном сознании». Спор этот Буббайер объясняет не только разной оценкой текущих событий, но различием концепций истории у двух мыслителей: «Струве был убежден, что человеческая воля первична», а Франк защищал «безличный» взгляд на историю. Он искал духовных причин крушения страны: «Россия была вовлечена в этот исторический процесс и пострадала, восприняв светские аспекты европейского общества без должной оценки их религиозных корней».

Сцену прощания Франка с Россией Буббайер воспроизвел по воспоминаниям современников — патетично и предельно точно: «Когда Петроград стал удаляться, Татьяна вышла на палубу и нашла там Франка, плачущего о том, что никогда больше не увидит Россию. Но тем не менее ему повезло, как он понял позже: он ни за что не выжил бы, если бы остался».

Книга написана не сухим комментатором философских положений, а человеком высокой религиозной культуры, живо сопереживающим своему герою. Автор проникает в его психологический тип: «Эта печаль при виде красоты, недостижимой в реальной жизни, — типичное проявление меланхолии Франка».

В устройстве межвоенной Европы философ был разочарован. Пессимизм его усиливался. Интерес к религии все возрастал. Приход к власти Гитлера вынудил Франка покинуть Германию, в которой он чувствовал себя ранее «как дома», переехать во Францию и в самые тяжкие годы ее оккупации скрываться от гестапо в горах под Греноблем. В Париже Франк выпустил главную философскую книгу своей жизни «Непостижимое» (1939). Достаточно подробный ее анализ в биографии оправдан: «В сущности, „Непостижимое“ представляет собой попытку выразить словами опыт того, что Франк ранее называл „живым знанием“; попытку создать философскую систему, признающую живой религиозный опыт... Фактически жизненный опыт есть осознание всеединства... Когда читаешь вторую часть книги, не оставляет ощущение, что опыт самого Франка сыграл здесь большую роль... Написав „Непостижимое“, Франк сделался в равной мере философом и мистиком. Его вселенная персонифицировалась».

Всю жизнь Франк хотел примирить философию и религию, создать «всеобъемлющий синтез», соответствующий ощущаемой им гармонии мироздания. Он не был богословом, но искал он не философии как дисциплины, а мудрости в ее мистической глубине, защищая средствами философии идею личного Бога. «Появившийся у Франка акцент на мотивы любви, прощения и покаяния придает его позднему творчеству более прямой религиозный характер. В этом плане его христианский реализм имеет нечто общее с идеями Александра Солженицына...»

В письме от 28 марта 1946 года к швейцарскому психологу Людвигу Бинсвангеру, духовному собеседнику последних лет жизни, Франк признавался: «Мое творчество и мышление движутся теперь преимущественно в двух направлениях — философско-систематическом... и экзистенциально-религиозном, хотя я сам воспринимаю это как духовный скандал, и мне рисуется работа, где можно было бы осуществить последний синтез, но написать ее мне, вероятно, неостанет ни времени, ни сил»³. Отчасти «попыткой» «всеобъемлющего синтеза», по словам Буббайера, стала последняя книга Франка «Реальность и человек».

Написанная Буббайером биография подчинена единству жизни как духовного опыта и интеллектуальных запросов времени, среды, энтелехии личности Франка. И это ощущает сам автор, когда говорит в конце о своем герое: «Ему удалось связать грандиозные абстрактные проблемы с личными потребностями и тайнами души».

Алексей ГАПОНЕНКОВ.

Саратов.

³ Письма С. Л. Франка Л. Бинсвангеру — в кн.: Франк С. Непрочитанное... М., 2001, стр. 343 — 344.

КНИЖНАЯ ПОЛКА ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО

-4

Джон Хорган. *Конец науки. Взгляд на ограниченность знания на закате века науки.* Перевод с английского М. В. Жуковой. СПб., «Амфора», 2001, 479 стр. («Эврика»).

Читая «Конец науки», я неоднократно вспоминал замечательного физика и переводчика Ю. А. Данилова. (На этой книжной полке книг в его переводах три, и все с плюсиками.) Я как-то уже привык читать его точные и осмысленные переводы, привык к тому, что переводчик понимает то, что переводит, и стал считать это чем-то само собой разумеющимся. Оказывается, бывает и не так. По переводу М. В. Жуковой иногда можно только догадываться, что же, собственно, было сказано в оригинале и от чего остались лишь невнятные намеки.

Джон Хорган — профессиональный коллекционер знаменитостей и сенсаций. Он пишет, что в молодости занимался литературной критикой, но потом бросил ее потому, что в этой области все слишком неопределенно. Никто никому не может доподлинно доказать, что Джойс гений потому-то и потому-то. Особенно опечалила Хоргана современная — «ироническая», по его выражению, — критика, которая, как будто нарочно, взялась его поддразнивать, не считаясь с авторитетами, не принимая никаких окончательных аргументов. Тогда Хорган оставил литературу ради научной журналистики. Но наука, оказывается, тоже не дает той последней строгости и определенности, о которой мечтал Хорган. И тогда он взялся доказать, что наука уже кончилась. И написал книгу «Конец науки».

Аргументация Хоргана очень проста. Конца у науки — два. Конец первый. Физика занимается исследованиями, подтвердит или опровергнет результаты которых можно только на таком высоком уровне энергий, какой сегодня недостижим и вряд ли когда-нибудь достижим будет. А значит, физика из экспериментальной науки становится наукой «иронической» — то есть не наукой вовсе. И все эти суперструны и супергравитации — не более чем сказки на ночь, вроде рассуждений о Джойсе. Конец второй. Несмотря ни на что, будет построена окончательная физическая модель Вселенной, полная и непротиворечивая, и произойдет это буквально со дня на день, что и будет исчерпанием научной программы в том виде, в котором ее представляет себе современная цивилизация.

Либо так, либо так, а третьего не дано. Хорган доказывает свой тезис, опрашивая знаменитых физиков, математиков, биологов, философов науки, — и удивительное дело, каждый из них подтверждает или первый, или второй вывод.

Хорган слышит только то, что хочет услышать. Но что можно возразить по существу? Действительно, чтобы ставить эксперименты, подтверждающие новейшие физические теории, нужен ускоритель, радиус которого будет иметь размеры Солнечной системы, и, конечно, такой ускоритель в обозримом будущем построен не будет. Но, может быть, он и не нужен? Рассуждения об ускорителях невероятных размеров — это линейное прогнозирование, которое всегда ошибается в своих предсказаниях, потому что эти предсказания — всего лишь прямое продолжение сегодняшнего состояния науки и общества в будущее без учета новых технологических решений. Мак-Каллок полагал, что компьютер с памятью, по количеству бит информации равной числу нейронов человеческого мозга, будет иметь размеры Эмпайр Стейт Билдинг, что совершенно несравнимо с сегодняшним микрочипом.

Одним из направлений экспериментальной физики становится компьютерное моделирование. Ограничения роста мощности компьютеров пока не видно. При исследовании систем, построенных в соответствии с новейшими теориями, могут выявиться неожиданные явления, зафиксировать которые можно будет уже с помощью прямого наблюдения. Модель может подсказать, куда надо смотреть.

Большой Взрыв как начало Вселенной был чистой гипотезой, и никто не предполагал, что ее в принципе можно подтвердить или опровергнуть. Так было до тех пор, пока Гамов в конце 40-х годов не показал, что, если Большой Взрыв дей-

ствительно был, должно остаться реликтовое излучение. И это излучение в начале 60-х было обнаружено. Если бы не результат Гамова, физики просто не обратили бы внимания на посторонний шум.

Когда философ-позитивист Огюст Конт (1798 — 1857) привел как пример того, чего мы никогда не узнаем, химический состав звезд, он был абсолютно убежден в неразрешимости этой задачи. Буквально через несколько лет после того, как он обнаружил свое представление о границе познания, в 1859 году Бунзенем и Кирхгофом был открыт спектральный анализ, позволивший изучать химический состав любых излучающих объектов, в том числе Солнца и звезд, и проблема была решена.

Если видна граница современных возможностей познания, это не значит, что перед нами граница познания вообще.

Другим направлением физики, которое интенсивно развивается сегодня, является физика макроскопических тел. Оказалось, что облака, подводные течения или такой вроде бы простой объект, как линейная молния, таят в себе множество загадок, которые неразрешимы средствами традиционной физики и не менее сложны, чем микромир. И они требуют совершенно других подходов, кардинально отличных от тех, с которыми работали, например, астрофизики или физики, исследовавшие элементарные частицы.

Если подходить к проблеме так, как это делает Хорган, — с готовым ответом, — то и подходить не стоит. Книга представляет собой развернутую тавтологию. Она ничего не говорит читателю, только сбивает с толку своими необоснованными декларациями.

В. В. Низовцев. Время и место физики XX века. М., «Эдиториал УРСС», 2000, 209 стр.

В книге есть глава «Уроки литературы», в которой широкообразованный автор объясняет физикам, что литература тоже занимается физической реальностью. Надо же. Правда, сама она свои открытия принципами не называет, а вот Низовцев находит принцип «Ломоносова — Мандельштама — Карасева». (Л. Карасев здесь фигурирует как современный исследователь Платонова, а занимались они все, как выяснил Низовцев, мировым эфиром.) Насколько смешно такое соединение фамилий, да еще и произнесенное совершенно всерьез, автор, видимо, не чувствует. Остается добавить еще одну, чтобы все было по справедливости: «Принцип Ломоносова — Мандельштама — Карасева — Низовцева». А что? Звучит гордо.

Томас Кун. Структура научных революций. Перевод с английского. Составитель В. Ю. Кузнецов. М., «Издательство АСТ», 2001, 608 стр. («Philosophy»).

В эту книгу вошли работы не одного, а сразу трех авторов. И заглавная работа Куна занимает менее половины общего объема. Такое впечатление, что книгу собирали по алгоритму упаковки в контейнер: кроме Куна, не менее знаменитая работа Имре Лакатоса «Фальсификация и методология научно-исследовательских программ», которая почему-то не вынесена на обложку издания, и небольшая статья Поппера. Работы хотя и связаны друг с другом общей проблематикой и взаимными ссылками, но связаны как-то необязательно. Можно было собрать и другие.

Обсуждать, хороша или плоха книга Куна — одна из тех основополагающих работ, в терминах которых мы думаем сегодня о науке, — как-то не очень удобно. Но, может быть, уже пора издать ее нормально? С хорошим комментарием, с индексом терминов и имен, списком литературы, который был бы не просто воспроизведением авторского, а содержал ссылки и на переиздания, и на соответствующие переводы. То есть издать ее так, как она давным-давно заслужила.

Не очень понятно, кому вообще адресована серия «Philosophy». Или у нас все еще рвут с руками философскую классику двадцатого столетия? Все равно, как она издана, лишь бы было?

Если я работаю с текстом Куна или Лакатоса — тогда это издание меня совершенно не удовлетворяет. А чтобы читать такие трудные книги из чистого любопытства, нужно быть уж слишком свободным человеком. Боюсь, таких осталось не много.

В. В. Белоусов, О. Д. Тимофеевская, О. А. Хрусталеv. Квантовая телепортация — обыкновенное чудо. Ижевск, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000, 256 стр.

По моей беспредельной наивности я полагал, что название должно хоть как-то отражать содержание — по крайней мере в научных книгах. Что думает человек, видя название «Квантовая телепортация — обыкновенное чудо»? То, что изложение будет вполне популярным, раз авторы в своем заглавии воспроизводят название пьесы Шварца. Ничего подобного. В какой-то момент — и довольно быстро — авторы переходят на язык вполне эзотерический: они свободно пользуются не самым простым математическим аппаратом квантовой механики. И что обидно, книга-то интересная и изложение достаточно полное и не без изящества. Но чтобы оценить достижения авторов, нужно по крайней мере прослушать университетский курс квантовой механики. «Обыкновенное чудо» — совершенно ни при чем. Это такая обманка — зазывалочка. Купи сначала, а потом хоть выкинь.

Чтобы разбираться с проблемой телепортации по существу, я никогда книгу с таким названием не куплю. А если мне нужно популярное изложение, то непременно куплю и буду озадачен и разочарован, так как ничего о телепортации не узнаю. Ориентируясь на название и аннотацию, эту книгу купят в точности не те люди, которым она может быть интересна.

Вслед за названием и изложение как-то колеблется между доказательством и разъяснением, наукой и популярным ее изложением.

Популярный текст — это изложение существа проблем на общедоступном языке, но при этом необходимо не потерять ничего ни в глубине, ни в ясности. Часто популярный текст написать гораздо труднее, чем собственно научный. А вот какие цели ставили перед собой авторы «Телепортации», для меня так и осталось непонятным.

Но все-таки популярное изложение идеи квантовой телепортации есть в книге. Точнее, на ее обложке. Там изображены: темный мужской силуэт, светлый женский и их зеркальное отражение, но отражение темного мужчины оказывается темной же женщиной, а светлая женщина, отражаясь, становится светлым мужчиной. Эта зеркальная четверка совершенно корректно иллюстрирует идею квантовой телепортации.

Светлая пара — это частицы, находящиеся в сцепленном состоянии. Дик Боумистер¹ — один из тех физиков, которые поставили первые эксперименты по телепортации, — говорит: «Можно дать такую аналогию с поведением сцепленной системы: пусть есть два человека. Вы их разлучаете, и кто-то интервьюирует одного, кто-то — другого. Потом оказывается, что, когда первый отвечал „да” или „нет”, второй всегда отвечал противоположное». Они не обмениваются информацией, никак не согласуют своих действий, но их ответы всегда взаимосвязаны — противоположны. Это и есть сцепленное состояние.

Начнем с «темного мужчины» — с той частицы, которую мы хотим телепортировать. Если эта частица взаимодействует с первой из сцепленных частиц («светлой женщиной»), а вторая сцепленная частица («светлый мужчина») взаимодействует с «темной женщиной», то эта «темная женщина» может быть переведена в состояние частицы, с которой мы начали. То есть «темная женщина» станет «темным мужчиной».

Сцепленные частицы — это инструмент передачи состояния на макроскопическом удалении.

Эксперимент, в котором сцепленные частицы были фотонами и телепортировался тоже фотон, был поставлен в Университете Инсбрука в 1997 году и подтвердил: квантовая телепортация — реальность, а не химера, как полагал Эйнштейн.

Дик Боумистер предупреждает: «Но во всех этих схемах — вот что важно понять! — вы не переносите материю как таковую. Вы передаете только состояние, в котором она находится. Причем при квантовой телепортации исходное состояние разрушается. Это очень существенно, правда?» Правда.

¹ Левкович-Маслюк Леонид. Дик Боумистер: телепортация — это самое простое... — «Компьютерра», 2001, 26 февраля (<http://www.computerra.ru/offline/2001/385/7510>).

+6

Дж. Глейк. Хаос. Создание новой науки. Перевод с английского М. Нахмансона, Е. Барашковой. СПб., «Амфора», 2001, 398 стр.

Несмотря на то что английское издание вышло довольно давно — в 1987 году, — книга Глейка остается замечательным введением в науку о хаосе. Конечно, такой науки как таковой не существует. Есть несколько направлений, которые работают с непериодическими сложными системами. Об этих направлениях в физике, экспериментальной математике, геометрии фракталов и написана книга. Написана с настоящей страстью, и то удивление, с которым автор открывает новые области и методы научного исследования, замечательно передается читателю.

Одна из глав — «Геометрия природы» — посвящена Бенуа Мандельброду, первооткрывателю фракталов. В ней очень хорошо передано то новое, что приносит в науку экспериментальная, компьютерная математика. Геометрия фракталов — это геометрия объектов дробной размерности. Например, очень сильно изломанных линий, которые не являются ни одномерными, ни плоскими фигурами. Примером фрактала является береговая линия. Фрактальная геометрия не содержит почти никакой традиционной теории (аксиом, теорем...), вся она состоит из нескольких очень простых компьютерных программ, которые рисуют изящные геометрические фигуры, в том числе удивительное множество — множество Мандельбро, которое стало символом новой геометрии и новой науки. Фрактальная геометрия настолько нетрадиционна, что математики до сих пор отказываются рассматривать ее построения всерьез. Да и можно ли считать картинку доказательством? Нет, конечно.

История, рассказанная Джеймсом Глейком: «Один математик рассказал друзьям, как проснулся ночью в холодном поту, дрожа всем телом. Ему привиделся жуткий кошмар: математика умерла и голос с небес — голос Бога, вне всякого сомнения, — прогремел: „Знаешь, в этом Мандельбро действительно что-то есть”».

Г. Г. Харди. Апология математика. Перевод с английского Ю. А. Данилова. Ижевск, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000, 104 стр.

Это — трагическая книга. Она написана одним из крупнейших математиков XX века о том, чем была для него эта наука, как он к ней пришел, что в ней любил и ценил. Но книга написана уже *post factum*. Пишет ее человек, который продуктивно заниматься математикой уже не может — просто он постарел.

«Апология математика» — это прощальный взгляд. Все было: и красота, и глубина, — и все это в прошлом. Можно еще попробовать рассказать о любимой науке, но это не очень занимает автора.

Харди важна его личная причастность к вечным вещам — к «настоящей» математике, которую он резко отделяет от «тривиальной», «расчетной», или, как ее обычно называют, «прикладной». Настоящая математика — принципиально бесполезна. Он говорит: «Математик, подобно художнику или поэту, создает образы». Но главное для самого Харди — то, что настоящая математика бесполезна для войны, а значит, его совесть чиста.

Работа математика требует постоянного усилия воображения. И человек устает. Лопату можно бросить и закурить, а голову как бросить?

Харди любил крикет. Ч. П. Сноу, чей биографический очерк предшествует «Апологии математика», приводит слова уже тяжело больного Харди: «Даже если бы я знал, что умру сегодня, мне все равно хотелось бы узнать последние результаты крикетных матчей». Так он и умер.

Мишель Уэльбек. Элементарные частицы. Роман. Перевод с французского Ирины Васюченко, Георгия Зингера. М., «Иностранка»; «Б.С.Г.-Пресс», 2001, 412 стр.²

Я ждал сына после математического кружка в круглой рекреации между 01 и 02 у ДК МГУ на Воробьевых горах. В простенке между дверями висела афиша:

² Роман М. Уэльбека уже был отрецензирован В. Липневичем на страницах «Нового мира» (2001, № 12). Но здесь книга рассматривается под иным углом зрения. (Примеч. ред.)

«Элементарные частицы. Лекция по теоретической физике». Я достал книгу из кармана и показал Ване на афишу и на книгу. Он по младости лет Уэльбека не читал, но трезво заметил: «Папа, это, наверное, другие элементарные частицы». Я с ним согласился. А потом задумался. А почему, собственно? Нет, не другие, те же самые, только описанные несколько иначе. Когда Уэльбек пишет о современной квантовой физике, он понимает, что пишет, в отличие от многих писателей, которые очень любят щегольнуть полупонятными терминами типа «нелокальность», «скрытые параметры» или что-то в том же духе. Но важно не только это. (Хотя это *очень* важно: нельзя врать в фактах, это уничтожает доверие, и его уже ничем не восстановишь.) Уэльбек строит интерпретацию квантовой аксиоматики. Чем характерны элементарные частицы? Они бессмертны и неразличимы. Неразличимость — это плата за бессмертие. А смерть человека — это расплата за уникальность и существование на пределе сложности. Об этом и написан роман.

И. Пригожин. Конец определенности. Время, Хаос и Новые Законы Природы. Перевод с английского Ю. А. Данилова. М., Ижевск, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001, 208 стр.

Книга хороша, как почти всегда у Пригожина. Он тонко чувствует грань, за которой формулы уже перестают быть иллюстрациями, а становятся неотъемлемой частью изложения, становятся доказательствами — то есть тем, чем они и должны быть в научном тексте. Но в научном, а не в популярном. И Пригожин эту границу никогда в своих текстах-размышлениях не переходит (в отличие от авторов «Квантовой телепортации»).

Основные идеи, на которых сосредоточился Пригожин в книге, в общем, возвращают нас к его же более ранней работе «Время. Хаос. Квант». Главные мысли Пригожина — о том, что корректные и устойчивые решения — это капля в море, что подавляющее большинство систем — «сложные» и макроразведение системы зависит от микропроцессов; эти мысли, по-моему, совершенно верны, и мы находимся в самом начале изучения нелинейных систем, что бы по этому поводу ни говорил всезнающий мистер Хорган.

Саймон Сингх. Великая теорема Ферма. История загадки, которая занимала лучшие умы мира на протяжении 358 лет. Перевод с английского Ю. А. Данилова. М., Издательство Московского центра непрерывного математического образования, 2000, 288 стр.

Книга написана не математиком, а корреспондентом Би-би-си. Но тем не менее Саймон Сингх — человек достаточно компетентный, несмотря на некоторые упрощения, иногда даже ошибочные.

История доказательства теоремы Ферма (Последней, Великой, Большой) — это история надежд, которые крепили, становились уверенностью и разбивались в пыль. И так повторялось многократно и с самыми выдающимися математиками последних трех столетий. И вот она доказана.

Но история ее не окончена. Полученное доказательство очень сложно и недостаточно убедительно несмотря на точность и полноту. Это доказательство с позиции силы. По существу, она доказана так: если математика едина в самых глубоких своих положениях, то теорема Ферма верна. Это единство и было доказано в одном частном случае — в случае гипотезы Таниямы. Ей посвящены работы Анджо Уайлса и Ричарда Тейлора, которые и стали фактически доказательством теоремы Ферма. Саймону Сингху удалось интересно и популярно обрисовать главные этапы.

Но хочется получить прямое, элементарное доказательство, то, которое станет понятно бесчисленному множеству ферматистов.

Это доказательство зряжеству может не существовать! Но раз оно не найдено, все новые и новые люди, может быть, уже без прежнего рвения, но с неизменным упорством будут снова и снова пытаться доказать теорему Ферма.

В. В. Налимов. Разбрасываю мысли. В пути и на перепутье. М., «Прогресс-Традиция», 2000, 344 стр.

В книгах Василия Налимова собрано, кажется, все, что я не люблю и в науке, и в философии. Цитатный коллаж, хотя заведомо не все цитаты действительно необходимы его тексту и он их подбирает по-принципу: «Веровочка? И веровочка пригодится». Есть у него и неприемлемое наукообразие, и выходы в астрал — то бишь в трансперсональный смысловой континуум. И универсальная отмычка ко всем проблемам бытия — вероятностная логика (бейсовский силлогизм). И всякая разная междисциплинарность. И тем не менее.

Мне интересно его читать. Интересно вопреки его же тексту. Один поэт сказал о первых стихах Бродского: «Как хороши были бы эти стихи, если бы не были так обезображены словами». Это в полной мере относится и к работам Налимова. Им не хватает скромности — нормальной научной скромности. Налимов слишком часто увлеченно и уверенно рассуждает о вопросах совсем пустых, но он успевает походя коснуться и очень важных.

И его вероятностная модель языка содержит в себе замечательные догадки, хотя в ней нет ни одного доказательства, несмотря на весьма математизированный вид.

Одна из этих догадок: смысл — это не результат, смысл — это процесс, и он существует только в движении, в продолжающемся, непрерывном вопрошании.

КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА

КРОТКАЯ

«**Н**астрелялся, повоевал?» Да, настрелялся. Война окончена. Односторонний мир. Не капитуляция — разрядка напряженности, дружба. Баллистические ракеты зачехлены, авианосец дислоцирован в порт приписки, то бишь приписки, в Тулу. Ми-и-ир!

Прежде чем окончательно дезертировать с поля боя, прокрался в НИИкиноискусства, что в Дегтярном переулке, где выпросил «сухой паек» — видеокассету ТДК с записью трех кинокартин, которым суждено стать предметом последнего кинообзора года. «И чем случайней, тем вернее», никакого предварительного отбора. Просил свежее, импортное, характерно-типичное. Три совсем новых, весенних картины, записанных в информационном режиме, в режиме лонг-плэй. Случайная выборка, полное доверие текущему моменту и судьбе.

Ныне плотность информационного пространства так велика, что рецензент не имеет никакого морального права описывать штучный художественный продукт, самонадеянно полагая, что способен безболезненно вычленив его из среды и контекста. Одновременно с кинокартиной желательно отслеживать информационный фон и режим потребления. В полумраке типовой совковой квартиры, чередуя коньяк, кофе и минеральную воду «Краинская». Лонг-плэй, сносное информационное качество. «Monsteg's Ball» Марка Форстера, любопытный американский продукт, первый номер программы.

Нет, я всегда верил Судьбе: она определенно что-то задумала, она, без сомнения, имеет меня в виду. «Бал монстров» — навязчивая рифма к фильму Алексея Мурадова «Змей», описанному мной раньше: главный герой картины служит в американской тюрьме! Более того, обслуживает электрический стул. И это не все: персонально отвечает за то, чтобы приговоренный никогда с этого стула не поднялся. Кто не помнит, у Мурадова главный герой, офицер тюремной системы, исполняя приговор, стрелял преступникам в затылок.

Ну ничего себе глобализация! То есть средние наши и средние американцы параллельно лудят одни и те же сюжеты! А может, это Путин договорился с Бушем, а Швидкой с Голливудом? Может быть, так задумано на самом веру? Неужели

мировое правительство, закулиса? Нет, идти так далеко я себе не разрешаю. Не пить, не пить, пару бутербродов, смотреть на вещи трезво. Стоп, кассета. Что там у нас по ОРТ?

Судьба решила меня доконать: «Убойная сила» — это наши менты, «Убойная служба» — американские. А между ними — «Китайский городской». Но если так, все еще хуже, чем я предполагал: мир под полным полицейским контролем! Сойти с ума и умереть: по пятницам еще и бесконечная «Полицейская академия». А «Каменская», а «Менты» просто, а «Инспектор Деррик», «Инспектор Рекс» и новоиспеченный российский «Закон» по РТР? Господи, помилуй, вот это информационный фон: менты, детективы, органы, спецотделы, средства слежения, зона, тюрьма, преступление и наказание...

То есть социальный заказ (чей? неужели Интерпола?) очевиден: мировое равновесие в опасности, на покой и порядок покушаются, посему стоять мордой к стене, порядок будет восстановлен с применением жестких полицейских мер. Словом, моя милиция меня бережет, в том числе от меня самого. Телепрограмма — квинтэссенция коллективного бессознательного. На первых полосах ежедневных газет я бы печатал аналитические разборы телепрограмм: мировая политика и способ существования общества как на ладони¹.

Это открытие, открытие нового мирового порядка, вненационального и внеидеологического, сильно меня смутило. Ведь я-то, я-то оружие сложил! Демонтировал боеголовки, собирался всех полюбить. Предпослал статье соответствующую жанровую характеристику: *кроткая*. Может, напротив, в перспективе возглавить какой-нибудь истребительный отряд, какой-нибудь убойный отдел? Может быть. В духе времени.

Ладно, значит, «Бал монстров» — не худшее зло, а типовое. Не столько даже кино, сколько заклинание. Америка и без того хороша собой, но хочет быть совершенной, мечтает избавиться от недостатков и воспарить. Какое-то квелое заклинание, неуверенное, какая-то растерянная тоска.

Крепкий, жесткий сорокапятилетний Хэнк, как уже было сказано, отвечает за электрический стул. Хэнк — представитель трудовой династии. Его батяня, старина Бак, отдал тюрьме лучшие годы. Его сынок, симпатяга Сонни, служит под началом отца теперь. Сынок — сопля, и Хэнк его презирает, и Сонни об этом догадывается. А старина Бак — этот оголтелый расист в аккуратную папочку собирает газетные материалы о преступниках-ниггерах. Пеняет Хэнку, указывая в окно: «Что тут делают малолетние черные? Чертовы дьяволы, недоростки! Было время, когда они знали свое место, а теперь творится чертово кровосмешение. Твоя мать тоже ненавидела их».

А сам Хэнк внушает впечатлительному Сонни после очередного электрического стула: «Ты можешь не раскаиваться, не размышлять, главное, делай свое дело правильно!» (Кстати, в «Змее» сын героя — калека. Определенно оппозиция «отцы и дети» — ключевая для нашего беспокойного времени!) Короче, все трое — какие-то моральные уроды. *Расист, садист и пацифист*. Важно, что это не моя оценка, но авторская. То есть на этом, белом, англосаксонском, берегу — упадок нравов, агония, кризис.

Значит, надежда на черных и цветных! Ничего подобного, эти тоже мерзавцы. Муж — безусловный враг общества, доживающий последние денечки в пресловутой тюрьме, на глазах у Сонни и Хэнка. Его симпатичная темнокожая жена Летиция устала без мужчины и разговаривает со смертником отчужденно. Хуже того, она терроризирует их общего десятилетнего мальчика: мальчик непрерывно жрет. Толстый, огромный, сластолюбивый парнишка, прячущий какие-то отвратительные сникерсы в тумбочках, под матрасом, едва ли не в помойном ведре. (Что происходит?! В фильмах последних лет все, кто помоложе, предельно омерзительны. Коротко: потому что публичная речь узурпирована «старшими», так они дискредитируют потенциальных конкурентов.)

¹ Заодно напоминаем читателю об эссе Татьяны Чередниченко «Силовики» в № 9 «Нового мира» за этот год. (Примеч. отдела критики.)

Черные тоже не оправдали надежд: *бандит, похотливая истеричка, хомячок*. Итак, все американские комплексы в двух разноцветных флаконах. Такова исходная ситуация, но дальше персонажи начинают взаимодействовать и разваливают свой прогнивший рай. Вначале Хэнк и Сонни долго, точно так же, как в фильме «Змей», ведут бандита тюремными коридорами, чтобы усадить на электрический стул. Чувствительного юношу рвет прямо по дороге. Чуть позже брутальный Хэнк устраивает ему обструкцию с мордобоем: «Знаешь, что ты сделал? Ты испохабил последний путь этого человека! Тебе бы понравилось, если бы так поступили с тобой?! Ты как баба! Получай, трус, сопля, какашка, говнюк!»

Все это происходило в общественном тюремном туалете, но Хэнк не унимается и дома: «Убирайся вон, к чертовой матери!» Заплаканный Сонни выхватывает табельное оружие и направляет на папку: «Сам убирайся! Ты, вшивый кусок дерьма! Ты ненавидишь меня? Отвечай!» — «Да, я всегда тебя ненавидел». — «Но я всегда любил тебя!» — мычит рыдающий юноша, направляя дуло пистолета себе в живот и спуская курок. (Не так давно я утверждал, что даже в плохих американских картинах диалоги — хороши. Не то чтобы лгал, но лукавил. Конечно, за вышеприведенные художества не отвечаем ни я, ни видеотолмач.)

На похоронах напаявший форму тюремного офицера старина Бак презрительно кривит губу, не оставляя даже мертвому внуку никаких шансов: «Он был слаб». Зато ниггер, с достоинством занявший электрический стул, отказался от последнего слова и прокричал в подсунутой охранником микрофон, точно какой-нибудь Майкл Джексон: «Жмите на кнопку!» Дымился, бился в конвульсиях, пока его черномазый сынишка собирал по всей квартире килограмм шоколадных конфет из схронов и тайников; пока сынишку безжалостно лупила по лицу горячая маманя: «Я тебе говорила, чтобы не ел это дерьмо! Толстая задница! Сто восемьдесят девять фунтов! Неделю есть не будешь!»

Впрочем, очень скоро ребенок попал под машину, а совсем одинокая темнокожая Летиция, случайно познакомившись с Хэнком, без особого труда его соблазнила. На этот факт неадекватно отреагировал старый чудак Бак: «Когда я был в расцвете сил, тоже любил ниггерского сочку. Тот не мужчина, кто не вскрыл *черный сейф!*» Летиция закономерно оскорбилась, а Хэнк сдал папашу Бака в дом престарелых. Ближе к финалу Летиция понимает, что Хэнк и Сонни — фактические убийцы ее бывшего мужа, бандита. Поначалу это ее напрягает, но старина Хэнк, еще недавно отличавшийся редкой бесчувственностью, теперь сильно изменился. В лучшую сторону: «Я хочу заботиться о тебе!» От такого предложения никакая летиция не откажется: «Хорошо, потому что мне очень нужно, чтобы обо мне заботились». Хэнк: «Думаю, у нас все будет нормально». Я: не устаю удивляться американской самоуверенности, американскому прагматизму.

Собственно, картина эта — ответ сверхдержавы на вызовы двадцать первого века. После того как Америку разбомбили, Америка слегка призадумалась и ревизовала свои духовные ценности. Выяснилось, что на деле все очень и очень запущенно: об этом две трети картины. Однако таков уж американский характер, таквы эти сильные белые парни и сексапильные афроамериканские девчата, что никакие повороты судьбы не скорректируют их поступательное движение в рай. Они быстро позабыли, как мордовали своих несчастных, своих нелюбимых детей, как предавали своих отвратительных, своих преступных мужа и отца. Слились в чувственном экстазе, предъявили друг другу «заботу», ключевую категорию политкорректной идеологии, у них все будет нормально, хорошо, местами отлично. Все же магия — объективно существующая технология, позволяющая изменить реальность в нужном тебе направлении. Не очень-то напрягаясь. На время. Не без последствий.

На самом деле «Убойная служба» — это бессовестный произвол российского телевизионного менеджмента. Эдак люди ОРТ срифмовали заокеанский продукт с уже раскрученной, отечественного производства «Убойной силой», клоном «Ментов». Понадеялись, что таким образом свежий (2001 года) американский сериал будет лучше продаваться. На самом же деле оригинальное название «Убойной службы» — «The Job», просто «Служба», «Работа». Без сомнительных, двусмысленных прилагательных. Без натужного пафоса, без понтов. Почувствуйте, осмыслите раз-

ницу! Просто «Работа», «The Job» — в сегодняшней России не катит, не продается. Всем, и начальникам, и подчиненным, хочется карнавала, чудес. Не у одних американцев, но и у нынешних россиян магия в изрядном почете. Просто «работы» — чураются, стыдятся.

По моей наводке «The Job» смотрят в Туле. Начиная со второй серии. Нравится далеко не всем, но всем любопытно, что нашел в полуночном криминальном продукте восторженный кинокритик. Стоп, кассета. Снова — ОРТ, время очередной серии. С тех пор как два года назад наш телевизор вторично показал гениальный штатовский сериал «Элли Макбил», не встречал ничего столь же качественного, как «The Job». Разве что новая работа Каурисмяки, но по поводу этой патологической привязанности я уже отчитался, и не раз.

Думаю, сегодня игровой кинофильм — это архаика, анахронизм. Имею в виду способ организации текста, художественную форму, еще точнее — технологическую нишу. Почти все великое кино снято давным-давно. Недавно, позавчера и вчера, сделано еще несколько необязательных шедевров. Как всякая технология, кино стареет, теряя смысл существования.

В более узком смысле, как социальная технология, кино теряет специфического потребителя: единство социума ныне настолько же проблематично, насколько исчерпала себя идея коллективной аудитории и сопутствующих коллективных просмотров. *Вечное возвращение* героев и архетипических фабульных ходов, характерное для телесериала (впрочем, Акунин доказал: не только для телесериала), сегодня куда органичнее *окончательных решений* большого кино. «Элли Макбил» или «The Job» — полноценные художественные продукты, которые я предпочту почти любому новоиспеченному фильму или роману.

Едва ли не главный механизм сериала — механизм самоидентификации зрителя, если угодно, механизм самонастройки. Лишь на первый, поверхностный, взгляд массовая культура однородна. Навряд ли качественный масскульт нивелирует, скорее наоборот. Допустим, вопреки ожиданиям собеседников, которых я буквально принуждал смотреть по ночам «The Job», не переносу такой популярный и дорогостоящий американский телепродукт, как «Скорая помощь». С десятков раз я пытался включиться в историю жизни заокеанских докторов и пациентов, но ломался в самом начале, переключая канал на десятой минуте. Почему, разве сериал плох, — недоумевали собеседники. Для меня — плох. Так сложилась жизнь, что ни разу, никогда люди в белых халатах не оказали мне квалифицированной помощи! Напротив, на их сомнительной совести несколько противоправных и даже безнравственных действий, жертвой которых стал мой отнюдь не двужильный организм. Поэтому для меня абсолютно невозможно внутреннее совпадение с героями, которых я заведомо и не без оснований подозреваю в глупости, подлости, корысти и некомпетентности. Зато я видел благодарные слезы у тех зрителей «Скорой помощи», чьи родные и близкие были спасены, вылечены, реанимированы. Механизм очевиден, но несколько не примитивен!

Гротесковый американский сериал «MASH», посвященный рабочим будням и личному времени врачей передвижного госпиталя, развернутого на переднем крае военных действий во времена Корейской войны, напротив, радовал меня без меры. Здесь перед медициной не заискивали, предлагая взглянуть на доблестных военных хирургов как на безответственных балагуров и озбоченных эротоманов.

Археология повседневности — вот жанровая упаковка нормального телесериала. В отличие от Титанов и Монстров, то есть Героев большого кино, персонажи сериала, чем бы они ни занимались в своем уютном мирке, вполне соизмеримы с повседневными людьми, с нами. Мы бессознательно соотносим свои антипатии и предпочтения с социопсихологическим строем неистребимых персонажей. Естественно, человеку, которому близка и понятна мифологема «врачи-убийцы», станет яростно ненавидеть политкорректную «Скорую помощь» и обожать в меру циничный «MASH». Традиционные критерии качества, и это важнейшая отличительная черта эпохи технологического совершенства и унификации, не работают!

Хорошо известен следующий феномен: самые знаменитые «книжки для мальчиков», воспевающие жизнь вне системы ролей, были написаны тогда, когда их авторы находились в подобном «пограничном» состоянии, в ситуации перехода от од-

ной установленной социальной роли к другой. Едва ли не самый показательный пример — легендарный «Том Соьер», которого Марк Твен написал в период ухаживания за своей будущей супругой. Вечно ускользающий из-под опеки социальных институтов, нарушающий установления социального регламента Том Соьер — проекция внутреннего мира автора, попавшего в межумочное пространство, находившегося на распутье, между семьей и свободой.

Эту же самую схему реализует предельно качественная (гениальная!) телевизионная травестия «The Job». Расстановка сил и краткое содержание серий для тех, кто не смотрел (а никто не смотрел, кроме дюжины туляков, которую я убедительно предупредил): Америка 2001 года, мегаполис, отдельно взятая полицейская часть, все плохо.

Но — весело. Кроме того, точно, умно и даже врачует, а взятку не берет. Но как убедительно показать, что в Америке все плохо и при этом не обидеть, не оскорбить нацию в целом и среднестатистического янки в частности? Реализовав стратегию еврейского анекдота, где «еврей» — инопланетное существо, в силу своей гипертрофированной инаковости то и дело провоцирующее комические обстоятельства и становящееся их первоочередной жертвой. В отчетном сериале на роль *другого* и *чужого* выбрали католиков-ирландцев, мексикашек и негров. Весь этот обаятельный сброд назначили охранять неприкасаемый американский правопорядок! Для душевного равновесия придали тридцатилетнюю белую женщину и, недолго думая о последствиях, запустили маховик.

Тех, кто делает нашу «Убойную силу», по-настоящему интересуют деньги и сопутствующие большим деньгам неинтересные преступления вкупе с невыразительными, похожими как две капли воротилами и заправилами. По сравнению с первоисточником, «Ментами», в «Убойной силе» резко снизилась доля человеческого содержания. Менты еще общаются, еще пытаются прикалываться и балагурить, но делают это все натужнее, все менее обаятельно. Потому что деньги в современной России — несравненно важнее человека. Как и в нашем «большом» кино, диалога нет. Менты не подразумевают собеседника, почти в каждой реплике обращаясь через его голову — прямо к зрителю. Таким убогим образом наши делают предсказуемое преступление: менты пересказывают его обстоятельства, точно анонимный повествователь, как по писаному, в рамках устной, организованной по другим законам речи!

В связи с этим два слова о категории достоверности. В ранней картине Аки Каурисмяки «Тени в раю» нетривиально решена ключевая любовная сцена. Он и она, финские пролетарии, делают движение навстречу друг другу: каждый на своем среднем плане. Планы монтируются встык, их логическим завершением, по идее, должен стать *крупный план* объятий и поцелуя. Но у Каурисмяки хватает своих идей: ровно в то мгновение, когда влюбленные предельно сближаются, режиссер выбрасывает зрителя как можно дальше, в самый дальний уголок смежной с местом действия комнаты. Таким образом, объятия, поцелуи и сопутствующую тактильную чувственность мы очень недолго наблюдаем на самом *общем* из всех возможных в предложенной квартире планов.

Вот это и есть уровень мышления, уровень режиссуры! Нетрудно догадаться, что крупный план обоюдоострого поцелуя не обеспечен психологически достоверной точкой зрения! Крупный план поцелуя, равно как и «крупный план» преступления или иной столь же нелегитимной акции, — это *немиметическое зрение, коллективный фантазм*, скорее «литература», нежели кино. На поцелуй или преступление можно, если очень повезет, посмотреть издалека, из надежного укрытия, через подзорную трубу. Нашим — плевать на качество и достоверность. Плебс схавает все, что ни покажешь. Очень любят в подробностях, в деталях демонстрировать теньевую жизнь. Простите, как вы туда попали? Почему вы остались живы? Может, вы там — свои?!

«Шкрабов все рассказал Телятникову!» — «Звони в прокуратуру, Телятникова надо выпускать!!» — «Сволочь Шкрабов!! Все равно достану!»

А теперь почувствуйте разницу: «Если я не могу доверять женщине, с которой изменяю жене, то кому же я вообще могу доверять?!» Услышав из телевизора эту роскошную реплику, я моментально сделал вывод, что продукт, составной частью которого она является, следует смотреть не отрываясь.

И все-таки — «Том Сойер», в смысле «The Job». Сериал придумали Дэнис Лири и Питер Толан. Дэнис Лири играет главную роль. У него белая жена с ребенком и темнокожая любовница. Вышеприведенная реплика тоже принадлежит ему. Еще у героя — занудливый темнокожий напарник, полная противоположность: никогда не изменял своей свирепой супруге, никогда. Убеждает себя в том, что не больно-то и хотелось. Дэнис Лири, по сюжету инспектор Макнейл, протестует: па-рень, ты плохо знаешь себя, познакомься с собой поближе! «Хочешь сказать, что ты счастлив, тебе хорошо?» — ехидно интересуется напарник. Макнейл хотел бы сказать именно это. Хотел бы, да не вправе: бравый инспектор, сердцеед — запутался, пропадает.

Однако в том же самом *межролевом пространстве*, в той же самой ловушке то и дело оказываются и все прочие герои сериала. Осмелюсь сказать, ни на что другое, в том числе на добросовестную службу, у них не остается ни времени, ни сил. Взрослые, вооруженные кольтами (или что там у них?) мужики и одна очаровательная дама, потерявшая надежду на брак, достойный ее лучших качеств, — не что иное, как травести. Помнится, в одной из картин Алана Паркера дети изображали взрослых. Здесь, наоборот, в совершенно жизнеподобном, стилизованном под документ (дрожащая ручная камера) мире под видом ответственных, умудренных опытом взрослых поселились и заварил кашу недоросли, дети.

Безукоризненный шедевр! Актерская игра между хорошим вкусом и фарсом. Диалоги в диапазоне от Бернарда Шоу до Вуди Аллена и Граучо Маркса. Но главное — точная, емкая фабула, ненавязчиво подталкивающая зрителя к самостоятельным выводам. Впрочем, можно просто смеяться. Можно не просто, а истерически.

Выводов много, вот хотя бы некоторые. Никогда ничего не решено окончательно. Никогда ничего. Биологический возраст, кольт, магнум и даже диплом о высшем образовании не гарантируют элементарной вменяемости. Всякий раз, здесь и сейчас, собирать себя заново. И завтра, в следующей серии. И через полгода, если не снимут с эфира, — собирать. Невзирая на былые победы, на должность и авторитет. Я собрал необходимую информацию, я заметил: сериал «The Job» не нравится тем, кто слишком сроднился со своей социальной ролью. Кому нравится полагать эту роль за человеческую сущность. Для подобных людей оказаться в межролевом пространстве, на территории стерильной экзистенции — значит потерять все. Таким я советую «Времена» и «Поле чудес», передачи с жестко закрепленными ролевыми установками: ты учитель, я дурак... И тут-то, после спора, вспоминаю, что даже второй фильм с заветной видеокассеты еще не просмотрен и не описан.

Вот вам второй, осилил: «The Salton Sea», режиссер Д. Дж. Карузо. Рифмой — Андрон Кончаловский! Не в первый, не в первый раз этот *матерый человечеще* приходит в мои сны, то бишь на мои страницы. Что же делать, если все открыл и предвосхитил? Все не все, но *человек с трубой* — кончаловское ноу-хау. Помните, в «Романсе о влюбленных» на трубе играет Смоктуновский (он?). Каждое утро трогает чувствительные сердца. Боюсь, правда, здесь легкий плагиат. Десятью — пятнадцатью годами раньше тему открыла Эдита Пьеха: «...а у нас сосед играет на кларнете и трубе!» Вот откуда торчат уши американского сюжета — из нашего коммунального быта.

Герои отчетной картины — наркоманы. Тоже живут коммуной, вповалку. У главного героя — красивая жена, в минуту нежности и страсти он наигрывает мелодии. Жену убивают бандиты в масках, муж собирается отомстить. Для этого внедряется в преступную наркоманскую тусовку и потихоньку сдает ее лидеров — полиции (Господи, куда же без нее!). Где-то на середине картины я, трезвый и внимательный, потерял ориентацию во времени и пространстве. Хорошо, вон тот урод — Бобби-океан, дилер, но кто же тогда этот, по внешнему виду ничуть не лучший? Противник, друг или полицейский? Не знаю, американцы свели меня с ума! Последние пятнадцать минут непрерывно стреляли друг в друга, кое-кто пал смертью храбрых. Самый финал очень хорош. «Чего ждать от мексиканца? Пулю, только пулю». Разухабистый пожар, соло на пресловутой трубе.

Думайте обо мне плохо: вернулся в начало и пересмотрел, на промоте. Местами прояснилось. «Зачем тебе пистолет?» — «Это опасный мир!» Уже кое-что. «Ха-ха, это, в упаковке, — телячьи мозги! А ты думал, человечьи?» А я думал — да. Но потом передумал: это же прямая трансляция американского подсознания, минуя рацию, минуя орган мышления. Слив американского страха! Неважное качество изображения лишь усугубляет эффект: таково всякое подсознание, туманится, клубится, мерцает. Бояться, определенно бояться все потерять. Хорошо бы отключиться — и в Рай! Но и это непросто, этому мешают, за это убивают, преследуют, предают. Месть и Закон: языческая архаика в жестких либерально-демократических тисках.

Вот предельная, ключевая сцена. Главному герою придумали пытку: спустили с него штаны и притащили к вольеру с какой-то визжащей зверушкой. Опоссум или хорек? Очень кровожадный и злой, метался по клетке, посверкивая клыками. «А мы его не кормили, сейчас он отгрызет тебе *это самое!*» Потом парня простили и увели в соседнюю комнату, а зверьку скормили *это самое* кого-то другого. Из-за стены раздавались крики: «Не надо, медведь, не надо! Не трогай *его*, не трогай!» Почему медведем они называют хорька, не знаю. Возможно, чтобы оскорбить нашу национальную святыню, но даже это оскорбление испуганным американцам необходимо простить. Представляете, что у заокеанского общества в подкорке? Бояться виртуального Бен Ладена невозможно, но персонифицировать глобальный ужас бытия все же необходимо. Древние эксплуатировали категорию «гнев Божий», эти — назначили голодного хорька. Очень мусорный чердак. Гуд-бай, Америка. Береги свои золотые яйца.

Немедленно очиститься, опроститься! Как и было обещано, гонорар за восьмой номер потратил на «Все романы про Фандорина». Очищался, не спал, читал Акунина до утра. Об этом необходимо сказать: в выходных данных «Любовника смерти» могла бы стоять и моя фамилия! На потиражные не претендую, но безусловно подписываюсь под каждым словом. В своем экземпляре так и сделал: первый роман, который захотелось присвоить. Лучше «Статского советника». По мне (спаси, Господи, от сварливых филологов!), лучший русский текст со времен Платонова. Комикс-роман, пустотный канон, без остатка вместивший Россию. Без остатка, без пафоса, без соплей. Поскольку, к счастью, роман еще не экранизировали, я не имею оснований о нем говорить. Придется ограничиться парой наблюдений, подобрав содержательную кинематографическую рифму.

Как-то не замечают: не то чтобы Акунин хорошо *пишет*, пишет Акунин так себе, нормально. Акунин хорошо *видит*. Именно точка зрения, а не линейная повествовательная логика, логика письменной доказательной речи обеспечивает у него решающий критерий достоверности. (Полезно бы сопоставить с упомянутой выше стратегией Каурисмяки.)

Акунин, хотя и называет себя беллетристом, унижает саму идею самодовольного «красивого письма», неантропоморфного по своей природе. Зато он воспекает антропоморфное физическое пространство, которое и является главным героем его романов. Более того, это физическое пространство Акунин социально маркирует, размечает. Его городская топография — всегда и только топография социальных различий. У Акунина — и в этом главная его заслуга, главный вклад в русскую письменную культуру — едва ли не впервые исчезает пространство как «трехмерная пустота», бессмысленное вместилище земли, воздуха, зданий, предметов и людей. Пространство Акунина всегда содержательно, социально напряжено. Оно — не резервуар, а плотное, неоднородное, спрессованное в силовые линии — *человеческое*.

Стратегия Акунина неожиданно, но убедительно рифмуется с «классической» социально-экологической теорией отцов основателей Чикагской школы социологии Парка и Бёрджесса, полагавших город естественной социальной лабораторией, в которой посредством эмпирических методов возможно изучать «человеческую природу» и содержание общественной жизни. Городская общность рассматривалась в виде сложной мозаики различных социальных групп, каждая из которых претендует на определенную территориальную зону.

Изменение в соотношении сил между группами приводит к очередному переделу городской территории. Основной предмет изучения составляли миграционные

процессы, межэтнические отношения и явления социальной дезорганизации общества. На основании разработанной Эрнстом Бёрджессом «Карты социальных исследований города Чикаго» (1923 — 1924) было выделено 75 «естественных зон» и более 3 тысяч локальных сообществ, которые затем исследовались методами включенного наблюдения, интервью, анализа документов. Поэтика городского пространства, понимаемого как напряженное взаимодействие силовых полей, грелилась всякому сообразительному человеку, мало-мальски знакомому с ключевыми идеями упомянутых отцов основателей. Именно в этом смысле главные романы Акунина представляются мне бесконечно близкими и родными. Ежели мы хотим увидеть Россию целиком, без изъятий, мы должны разметить пространство и прислушаться к русской речи, проанализировать русские социальные диалекты. Акунин успешно справляется и с тем, и с другим.

Я уже писал о том, что технология акунинских романов предполагает в качестве «окна в мир» двумерную плоскость динамической графики, комикс-картинку. Зато пресловутый «мир» — проработанная в деталях совокупность агрессивно взаимодействующих объемов, трехмерных по определению.

Уникальность «Любовника смерти» вот в чем. Внимательный и неангажированный читатель то и дело перескакивает из 1900 года в 2000-й, в 2002-й! Действие развивается вдалеке от дворцов и приемных, где вершится официальная, повествовательно оформленная Большая История, — на территории *повседневности*, отчего непрерывные скачки через столетие, вперед и обратно, вперед и обратно, становятся естественным делом. Таким образом оформляется параллельная, на деле куда более существенная, нежели фабульная, стратегия чтения.

Акунин навязчиво маркирует персонажей посредством социодиалектов. Главный конфликт романа — отнюдь не криминальный. Центральное противостояние: *Сенька — Фандорин*. Плебс, устная речь-сумятица, подземелья Хитровки. Аристократ, доказательная грамота, письмо, все права наверху, то бишь «на Москве». «Что вы хренью маетесь? — не выдержал Сенька. — Делать-то чего будем?» — «Не „хренью маетесь“, а „занимаетесь ерундой“». Наконец-то, впуская в свой текст человека из-под земли, автор дает ему *все права!* Только не упоминайте при мне народолюбивые литературные образчики: классическая технология психологического письма неизбежно создает дистанцию, отчуждая «грамотного» автора от вроде бы симпатичного ему плебея.

Акунин расшифровывает содержание любой русской эпохи, когда демонстрирует Сенькин «духовный рост» в процессе Сенькиного же обучения новому, благородному языку, *языку власти*: «У этого инцидента были важные последствия, а от важных последствий проистекли эпохальные результаты». Не правда ли, сильно напоминает горбачевский «консенсус»?

Но вот страшная российская драма: и Фандорин, дюже грамотный аристократ, не соответствует актуальным задачам, проявляет какую-то инфантильную, какую-то безответственную фанаберию. Не разбирается, сколько чего стоит. Непрактичен. Плохо считает деньги, слабо понимает новую российскую повседневность. Верит в безусловный прогресс, дескать, скоро и повсеместно железные кони вытеснят парнокопытных. Между тем, не прошло и столетия, на дворе — *новое средневековье!* Как человек подземелья, человек темной, неартикулированной *глубины*, Сенька отслеживает и фиксирует навязчивую *поверхностность* барина. Барин все еще благороден, но для того, чтобы удержать страну от пространственного переворота в параметрах «верх — низ», этого уже недостаточно.

Самый стр-рашный эпизод романа — вот он. Что нам свирепые убийства — всего-навсего жанровые кружева. Страшно, когда Сенька читает *чужие письма*. То есть он же положительный герой, мы ему сочувствуем, почти любим, и вдруг: черная дыра, а в ней окаменевший кусок дерьма. Читает письмо за письмом! Его без труда уличают, а он врет в глаза, бессмысленно отпирается, хнычет, читает снова. Ему укоризненно говорят: «Сеня-Сеня», и он снова хнычет, снова лжет, снова читает! «Зачем обижаете? Грех вам. Уж, кажется, себя не жалею, как последний мизерабль. Верой и правдой...» Совершенно Достоевская бездна, только конкретнее, ближе, страшнее.

Важнейшая кинематографическая рифма? Классная картина Ильи Авербаха по сценарию Натальи Рязанцевой. Так и называется: «Чужие письма», середина 70-х. Этот фильм качественно срежиссирован и потрясающе снят оператором Дмитрием Долининым, однако, в отличие от акунинского гипертекста, социопсихологически ограничен. Впрочем, этой наивной односторонностью он нам и интересен. Девочка, старшеклассница, читает чужие письма. Вообще говоря, это *та же самая Сенька*. Кажется, теперь ее называют Зинкой. С девочкой беседует интеллигентная учительница, строгая и достойная Ирина Купченко. Накося выкуси! Хочу и читаю.

Не поспоришь, коли умный. Однако и авторы, и сопутствующая самоуверенная русская интеллигенция — спорили, доказывали, составляли логические цепочки, подбирали доводы: «Нехорошо, Сеня. Зачем прочел? Разве к тебе писано?» Или: «Ох, Сеня, что мне с тобой делать? Опять нос совал». По всей стране, не умолкая добрый десяток лет, гремели назидательные дискуссии: «Читать чужие письма нельзя. Потому что нельзя!» Ой, барин, не аргумент!

Я глубоко люблю Акунина за то, что он громко и членораздельно произнес: *человек — не — пластилин!* Не надо безответственно уговаривать Другого на языке, которого Другой не понимает. А надо тупо и методично делать свое дело.

Вот именно, Акунина — на книжную полку. Третий фильм на кассете: по роману Роберта Харриса, по сценарию Тома Стоппарда поставил режиссер Майкл Эптинг. Фильм британского производства, номинировался на «Оскара», может быть, что-то получил. Исключительно качественно прописано, еще лучше сыграно: все же именно английская актерская школа лучшая в мире. Блестяще воссозданы 40-е годы прошлого столетия: достаточно сказать, что исполнитель главной роли в отдельных ракурсах поразительно напоминает Гари Купера, знаменитого киноактера 30 — 40-х, олицетворявшего эпоху, ставшего визуальным символом. Вот на каком высоком профессиональном уровне делают свое кино англичане!

Однако меня будет интересовать только центральная коллизия фильма «Энигма», которая вполне недвусмысленно напоминает о наступлении нового столетия, новой эпохи и пророчит какие-то радикальные, какие-то жестокие перемены: кинематограф, фиксирующий на пленке подсознание социума, объявляет тревогу первым.

Вторая мировая война, недалеко от Лондона, Британский центр по дешифровке секретных кодов нацистской Германии. Чтобы открыть немецкие коды, англичане решают пожертвовать огромным океанским конвоем, доставляющим военный груз из Америки в Европу. Немецкие подлодки, словно акулы стерегущие корабли союзников, передают друг другу координаты будущей жертвы. Англичане пеленгуют немецкие сигналы, но не спешат предупредить своих, потому что для успешной дешифровки нужно проанализировать как можно больше радиоинформации. Иначе говоря, в благородных глобальных целях совершают необходимое *жертвоприношение*. При этом оправдываются так: «наш союзник Сталин пожертвовал пять миллионов», «они, моряки, на своей войне, а мы, аналитики, — на своей».

Главный герой и его подружка пытаются выяснить, почему из внутреннего обращения аналитиков изъято энное количество немецких сообщений. Выясняется: это была информация, предназначенная противнику, где поименно назывались четыре тысячи польских офицеров, расстрелянных и захороненных под Катынью. Британский премьер-министр лично дал распоряжение изъять сведения, дискредитирующие советского союзника. «Что эти поляки в сравнении со страшными потерями нашего конвоя!» — успокаивает один британец другого.

Вот что существенно: приходит конец риторике и практике гуманизма. Уже не за горами те времена, когда о правах и свободах отдельно взятого человека не захотят вспоминать даже американские либералы. Судя по всему, грядет эпоха геополитических деформаций и великого переселения народов (а местами — и уничтожения). Глобальные задачи требуют широких и решительных жестов, жертвоприношения какого масштаба человечество XXI века согласится принять за *цивилизованную норму*? Все же людей слишком много, и под землей, и даже на земле.

Ежели сузить, картина наследует традиции британского «шпионского фильма», в 30-е годы единолично созданной сэром Альфредом Хичкоком. Он и она еще не влюблены, скорее недовольны друг другом, но незаслуженное подозрение со сто-

роны сил правопорядка вынуждает их совместно скрываться, а потом и жениться. Конечно, никакого сравнения с 30-ми, с Хичкоком, но дело даже не в индивидуальном гении толстяка: мне уже случилось говорить, что почти все свои художественные задачи кино успешно решило, выдохлось, поскучнело и вот-вот отбросит копыта.

Однако это вовсе не означает, что я не стану защищать его классических представителей от необоснованных дилетантских наездов. Положим, в любимом мною новомирском разделе «Периодика» (№ 8) встретил вопиющую реплику недавно умершего писателя Фридриха Горенштейна: «Вообще немецкое кино традиционно плохое. Фасбиндер ужасен... Но поскольку в Германии, как и в любой небольшой стране, наблюдается дефицит с гениями, то они его объявили гением». Немножко коньяку, *успокойся*.

Во-первых, как ни крути, Германия — большая-пребольшая. Во-вторых, дефицит с гениями — в «совке» и «постсовке», а в Германии все нормально, достойно. Наконец, в-третьих. Немецкое кино 20-х годов — безусловно *лучшее в мире* на тот период, лучше даже героического советского! Половина Голливуда его золотого периода, 30 — 40-х, — выходцы из Германии!!! О какой такой *традиции* толкует шибко осведомленный Горенштейн?

Наконец, Фасбиндер. Самое смешное, что гением его объявили за пределами Германии, а у себя в стране он долгое время считался бессмысленным маргиналом. Но главное, главное — всегда ищите корпоративную корысть и уязвленное *тщеславие*. Грамотные, они процентов на сто двадцать состоят из этих сомнительных субстанций. Внимание: сказать, почему унылый, многословный писатель Горенштейн сводит счеты с гениальным, хотя тоже невеселым режиссером Фасбиндером? В своей картине «Третье поколение» (1979) Фасбиндер справедливо приложил фальшивый советский «Солярис», сценарий которого Тарковский писал вместе с Горенштейном. Писатели, они все *обидчивые*. Даже смешно.

А еще Горенштейн последними словами ругал «Астенический синдром» Киры Муратовой. Типа разбирается. Господи, что эти писатели себе позволяют! Господи, прости мне вспышку благородного гнева. Я ли не присягал кротости и любви?

Врете, только одной любви не изменил ни в этом обзоре, ни в пяти предыдущих. Любовь — это всегда революция, алогизм, необусловленность, *просто так*. Любовь — полная противоположность детерминированному письму. У влюбленного человека предательски горят глаза, а мысли скачут с предмета на предмет. Вот именно, самого главного про мою тульскую экспедицию я не рассказал: не тот жанр. На самом деле все это время, весь этот производственный цикл, *весь этот текст* — я думал совсем про другое (-ую).

У влюбленного человека в рукаве всегда припасена пара-тройка козырей. На всякого Кончаловского отыщется свой Михалков, на всякого Тарковского — свой Фасбиндер, на заунывного Горенштейна — роскошный Акунин. И конечно, грубой «Убогой силе» возразит повседневная «The Job», просто «Работа», честная, без дураков. Главное — делать свое дело, терпеливо, обстоятельно, невзирая на *интеллигентские истерики*. Чистить запущенные конюшни, демонтируя постсоветский маразм. Пускай недоброжелатели прицельно палят с обеих рук.

Как научил все тот же Акунин, *пули повывокывриваем после*.

CD-ОБОЗРЕНИЕ МИХАИЛА БУТОВА

ЕЩЕ ОДНА ЧАШКА КОФЕ...

Robert Plant, «Dreamland», Mercury/Universal, 2002

К руче Роберта Планта из «Led Zeppelin» не пел никто.

Вообще-то рок-н-рольное пение сродни актерской песне. Физиологические свойства горла и диафрагмы тут большого значения не имеют. Можно петь маль-

чуковым ломающимся тенорком или сиплым басом с диапазоном в пол-октавы, можно хрипеть, рычать, шептать, реветь. Потому что пение здесь выполняет прикладные функции: транслирует слова, транслирует энергию, создает нужную эмоциональную ауру, обозначает артиста как персонажа brutального или, напротив, искреннего и нежного, с претензией на интеллект, или демонстративно отказывающегося от всякой мыслительной деятельности; наконец, просто выделяет певца как главное действующее лицо, вещателя, фронтмена. Все это не так уж легко и само собой получается не всегда, но требует профессионализма, школы, умений. На Западе, где откровенную туфту слушателю не втюхать, многие певцы на раннем этапе карьеры берут уроки, довольно серьезно учатся. И все равно в истории рок-музыки было лишь несколько человек, чей голос, за вычетом перечисленных полезных задач, сохранял еще и собственное, темное, как правило, качество, уже несводимое к выразительной какой-нибудь хрипотце, или уникальной технике, или суггестивному интонированию — тут уже все сразу пребывало в мифологической, первобытной слитности и нераздельности. Высокий, упругий, собранный в узкий луч голос молодого Планта, выделяющийся невероятные вещи и словно взвешивающий на караты каждое свое движение, способен и сегодня погрузить в состояние замороженности — я слышу в нем трансцендентное отчаяние.

Рок-певец, однако, — не Паваротти. Если он будет вести размеренную жизнь, спать по часам, избегать стрессов и придерживаться правильной диеты — какой из него, к черту, рок-певец. Голос у Планта начал садиться уже в последние годы существования «Led Zeppelin». И последующие двадцать пять лет жизни певца выглядят как сплошная попытка научиться жить с этой потерей.

Стареть всем страшно — знаменитым, незнаменитым. Художникам или там литераторам — еще туда-сюда. Остается надежда, что годам к восьмидесяти наконец помудреешь, соберешься и сочинишь своего «Хаджи-Мурата». А вот рок-н-ролл, как ни крути, совсем не старческое занятие — и на что надеяться стареющей рок-звезде? Не живому национальному классику вроде Боба Дилана, по текстам которого аспиранты-филологи защищают диссертации; и не рок-интеллектуалу, знающему слово «фрактал», — такой возьмет изобретениями и концепциями и плавно переползет в разряд полуфилармонических авангардистов, а там возраст безразличен. Нет, простому, пусть и гениальному, нутряному рокеру, который очень хорошо знает, как вырастает настоящий рок из молодого куража, молодой злости и силы, а в нем год от года, день ото дня все это испаряется, убывает, гаснет. А ум или опыт, которые в лучшем случае приходят на смену, нужны этой музыке в последнюю очередь. То есть гениальному-то, как Плант, еще как раз и хуже других. Можно отмахнуться от соревнования с молодыми, поняв, что рядиться за первые места имеет смысл только в своем поколении, — а там, при всей его, поколения, мощи, мало кто был способен к Планту даже приблизиться. Но как отделаться от сравнения с самим собою, от сознания, что нынешнее твое существование есть род небытия в тени собственного прошлого, поскольку уже никогда и ни при каких обстоятельствах ты не будешь значить того, что значил когда-то. Ну да, оставил свое послание, след, вписан в историю — и не дуриком; но ведь и не исчез вовремя, не превратился в легенду, как Моррисон, Хендрикс или Дженис Джоплин, а все еще коптишь небо тридцать лет спустя, бодрисьешь, даже выпускаешь пластинки, в то время как про эпоху, когда ты действительно чем-то являлся и был к месту, уже снимают фильмы, словно про наполеоновские войны или юрский период. В пятьдесят лет рок-н-рольщики бывают внешне очень успешны, импозантны, приобретают некий особый шик, эдакую патину. Но и путь к успеху у рок-папиков один-единственный — выжимать последние капли из собственной давно канувшей молодости и запыленной давней славы, постепенно превращаясь в пародию на себя самих. Вот и разъезжают по миру вполне карикатурные «легенды рока». Пристойный вариант — «Роллинг Стоунз». Непристойные... Ну, таких много периодически налетает на многострадальную землю русскую. Иногда мне кажется, что в свободное время эти люди просто лежат в гробу. А в нужный момент подключаются к шлангу с искусственной жизнью — и едут выступать в Россию. Немудрено, что попытки как-нибудь измениться и усилия по переплавке трупа в меч здесь не в чести — велик риск потерять последнее.

Роберт Плант вытащил себя за блюзы, словно Мюнхаузен за косичку.

Я отдаю себе отчет, что мои рассуждения — типический «голос из России». И никто из моих седовласых героев даже не поймет, о чем это глаголет какой-то фрустрированный русский литератор, в чем, собственно, проблема. На концертах аншлаги, баксы капают на счет тысяча за тысячей, и красивые девушки не обходят вниманием — известно: были бы денюжки, будут девушки и у дедушки. Может быть, проблемы-то вовсе и не у нас? Давно ли русский литератор посещал психоаналитика? Никогда не посещал? Никогда?! О, дикая страна — борщ, водка, медведи...

«Led Zeppelin» прекратили существование вовремя — и благородно. После смерти барабанщика просто не стали искать ему замену. В этом странном ансамбле, где люди чувствовали себя уже не шестым, а десятым каким-то чувством, иначе никогда не сыграли бы того, что играли, — о каких заменах могла идти речь, не футбол. Все, что Плант делал в 80-х, стараясь найти модус взаимодействия с актуальными на тот момент рок-стилистами, неудачами никак не назовешь: материал был сильный и убедительный. Но у молодых уже завелись свои кумиры, Плант находился вне сферы их внимания, а старые поклонники упорно вспоминали «Zeppelin» и ждали от Планта того, чего дать он уже и не мог, и не хотел. Настойчиво дистанцируясь и от музыки, которую играла группа, и от собственной прежней манеры пения, Плант терял позиции, в итоге сольная его карьера почти угасла. В конце 90-х он все же решился вновь взяться за старые Zeppelin'овские песни — вместе с гитаристом группы Джимми Пэйджем и большим количеством всяких этнических музыкантов. Альбом вышел яркий, хотя всем известные вещи буквально требовали того, бывшего, молодого голоса — а где его взять, и несоответствие зияло. Можно было предположить, что вот и Плант запоздало вступает на проторенную дорожку, тем более что музыка «Led Zeppelin» активно пошла в ход в разнообразных вариантах, и даже в саундтреке к фильму «Годзилла» прозвучала сделанная популярным рэпером компиляция обычной ритмической бормоталки со знаменитым риффом из «Кашмира».

Когда-то французские авангардисты из группы «Magma» записали пластинку с подзаголовком «Шесть рассказов о смерти» — а музыка на пластинке была в духе расхожей дискотечной попсн. Последний альбом Планта называется вполне сентиментально: «Dreamland» — страна снов, грез, мечтаний и т. п. (возможно, по-английски есть неизвестные мне коннотации и дальние смыслы). Мечтания Планта открываются версией блюза «Fixin' to Die» — «Сосредоточен на смерти», — написанного в 30-е годы черным боксером и легендарным блюзовым исполнителем Букка Уайтом, посаженным в тюрьму за убийство; Уайт сочинил это веселое произведение, ожидая отправки на электрический стул. (Кстати говоря, значительная часть подлинных блюзов — бандитские и тюремные песни; но отчего-то они начисто лишены развесистой и слюнявой пошлости, какой отличается «русский шансон» с уголовно-тюремной тематикой.) И далее в том же духе, без потери напряжения: не проигрывающие одна другой семь чужих песен и три своих, все с блюзовыми корнями. При том, что звучат они отнюдь не так, как полагается сегодня звучать блюзу, чтобы его опознавали как блюз. Здесь много от опыта Планта 80-х годов, но теперь у альбома есть тема, способная «зависнуть» и над течением времени, и над сиюминутностью, — она придает работе измерение вглубь, которого до сих пор Планта не удавалось нащупать. Очертить ее... — достаточно назвать помимо блюза Уайта еще несколько вещей. Старая, наивная, из шестидесятых песенка про утреннюю росу — ей не на что будет лечь после атомного пожара. Песня Боба Дилана о последней чашке кофе, которую хочется выпить перед тем, как начинать спуск в долину (человеку, мало-мальски знакомому с блюзовой поэтикой, не нужно объяснять, какая именно долина имеется здесь в виду). «*Neu Joe*», некогда фирменный номер Джимми Хендрикса — о парне, направляющемся купить пистолет, чтобы застрелить свою неверную подружку; по сравнению с классическим хендриксовским исполнением вещь перекинута в совершенно иной, жуткий темпоритм, хотя и с вежливыми цитатами... Холод, боль, страх. Плант, чей голос звучит теперь все время как бы чуть сдавленно — как у человека, влекомого

к виселице, — ничему больше не желает соответствовать: ни собственному образу, ни принятым в шоу-бизнесе нормам приличия.

Ибо все, что всерьез, в шоу-бизнесе запрещено. Сегодняшний потребитель рок-музыки сам по-настоящему ничего переживать не желает. В рок-н-ролл отсылаются изгнанные из жизни экзистенциальные и психические надломы точно так же, как в массовое кино — авантюры и насилие (а сближает рок и кино перегретый пар сексуальной активности). Рокеру тем лучше платят, чем успешнее он изображает мятущуюся душу. Но самый внешне безумный нынешний панк настолько же «человек на краю», насколько какой-нибудь Клод ван Дамм — уличный боец.

Я бы написал, что это великий альбом, если б не боялся что-нибудь замкнуть в тонких сферах и повлиять на его участь. Сколько было вроде бы очевидно великих пластинок, буквально на глазах истиравшихся от слишком частого повторения эпитетов превосходной степени. Послание Планта ясно и бьет как пуля. Его альбом как будто вынырнул из другого времени — протекающего не через определенную эпоху, а через определенных людей. Протекающего, возможно, и сейчас, только у тех, через кого, — горло окончательно перехватило от ужаса. Плант успел еще что-то выговорить на последнем дыхании, на несмыкании связок — и цена такому слову велика. Роберт Плант знал бешеную, мгновенную, почти волшебным образом спустившуюся к нему славу, знал деньги, знал чудесное и злое вдохновение, и отсутствие всякого вдохновения, и долгую, год за годом, не востребованность. Потерял ребенка, страшно ломался, проходил через тяжелейшие внутренние кризисы. Прожил свою судьбу. Не чужую.

WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО

Правые интеллектуалы о сегодняшней общественной, политической и культурной ситуации в России — интернетовская публикация сборника статей «Термидор»

10 августа 2002 года на сервере информационного агентства «Regnum» (<http://www.regnum.ru/>) был выставлен сборник статей под названием «Термидор» (<http://www.regnum.ru/allnews/46946.html>). Пять авторов, пять статей, пять тем: эволюция исторического сознания (Дмитрий Шушарин), практика гуманитарного образования (Кирилл Кобрин), проблема русской философии (Николай Плотников), цели и формы политики (Модест Колеров), современная и будущая левизна (Павел Черноморский). Сборник претендует — и, на мой взгляд, вполне заслуженно — на прочтение его в контексте уже установившейся традиции русской общественной мысли («Вехи», «Из глубины», «Смена вех», «Из-под глыб»...).

Из предисловия составителя: «С некоторых исторических пор конкретная идейная солидарность отступает перед более важным. Перед солидарным признанием самой ценности, непрременной необходимости идей, способных обеспечить человеку смысл и напряженность его общественной жизни. Идейная свобода, критическое переживание актуальности — то важное, что объединяет часто разномыслящих авторов сборника... Нам важно выяснить и назвать то, что появилось или стало понятным сегодня, актуальность чего уже меняет „новый режим“, ставя ему новые препоны и преподнося ему новые ресурсы».

Задачи мои как обозревателя в данном случае сводятся к представлению (реферированию) этого сборника с минимумом комментариев — количество затронутых авторами проблем и их серьезность, а также нестандартность авторских подходов к ним предполагают детальный разговор, невозможный в рамках этого обзора.

Центральными, так сказать, опорными текстами сборника следует, вероятно, считать статьи Дмитрия Шушарина «Discipula vitae» (<http://www.regnum.ru/allnews/46947.html>) о новом историческом мышлении и Модеста Колерова «Смерть политического» — о феномене современной политики.

Одной из самых актуальных проблем сегодняшней общественной жизни Шушарин считает выработку языка новейшей истории, способного зафиксировать и соответственно осознать сегодняшние реалии нашей общественной жизни: «Возвращение России в историю, превращение русской нации в нацию историческую зависит прежде всего от возникновения системы интегрирующих ценностей, установления в обществе аксиологического консенсуса не репрессивно-тоталитарными и не потребительскими способами. Основой такого консенсуса, безусловно, является историзм национального самосознания, не превращающего историю ни в фетиш, ни в товар, возникающего исключительно в ментально-вербальной, а не во властной или рыночной сфере. Другими словами, новый историзм должен обрести адекватное языковое воплощение, пробиться через обломки тоталитарного лексикона и словесную пустоту масскульта».

Демонстрацию бессодержательности (в лучшем случае, а в худшем — бегства от реального исторического содержания) языковых клише Шушарин начинает с привычных словосочетаний «конец эпохи Ельцина» («...эпоха „отцов основателей” заканчивается только вместе с тем, что они основали, в данном случае — вместе с демократическим национальным русским государством, коим является Россия после Беловежья») и «конец революционной эпохи» («...именно революционному периоду русской истории положил конец Ельцин в октябре 1993 года: это был первый в России (ну разве что после Александра III) победивший контрреволюционер»).

Далее автор переходит к анализу новых понятий, претендующих на образование нынешней «системы интегрирующих ценностей». В частности, к понятию и соответственно явлению «нового популизма», грозящего, по мнению автора, новым тоталитаризмом. Идеологи «нового популизма» ориентируются на лозунг Ле Пена: «Правый — в экономике, левый — в социальной политике». «Можно радостно заключить, что русский путь в Европу — через популизм, да только стартовые позиции разные. Европейские новые правые поставлены в жесткие рамки конституционных норм, институциональных и общественных ограничений. У нас же... в России нет ясного понимания того, что между провозглашенным конституционным порядком и его реальным институциональным воплощением должна быть прямая связь». И если в Европе популисты обращаются к представителям «среднего класса», то у нас «имеет место апелляция к люмпенским, социально-паразитическим настроениям, а выиграть от этого собираются даже не новые олигархические группировки, а властные слои, связанные с силовыми институтами, не отличающимися высокой компетентностью в рыночной экономике».

Соответственно «новая стабильность» (еще одно сегодняшнее понятие) грозит русской нации выпадением из истории: «Мы находимся в такой точке общественного развития, после которой событий может и не быть. Потому что таковыми следует именовать нечто, имеющее субъект действия и влекущее за собой изменение действительности. Если же, как в последние два года, наблюдается проявление одной и той же тенденции или нескольких взаимообусловленных, причем персонафикация этих проявлений совершенно не важна, то это уже не события, а воспроизводство статичного состояния общества». И вот здесь автор подходит к своим главным темам — понятиям «частного лица», «государства», «гражданского общества» и их взаимоотношениям. Качественные изменения в обществе автор ставит в прямую зависимость от утверждения «статуса частного лица как фундамента общественного и государственного устройства». В противном случае человек выключается из истории. «Если у человека нет приватного пространства и приватного времени, то у него нет ни чувства истории, ни гражданской позиции, которые, в общем-то, суть одно и то же».

«Между тем природа гражданского общества такова, что как раз власть для него имеет сугубо прикладное значение. Гражданское общество возникло не в противостоянии власти и конституируется не в оппозиции ей — для него первично частное, а не общее. Собственно, приватность как высшая ценность и делает общество гражданским, именно защита частного и составляет то общее дело, по которому так тосковали русские мыслители — как революционеры, так и консерваторы, граница между которыми в России всегда была зыбкой». Проведенный в 2001 году «Гражданский форум» Шушарин оценивает как обреченную изначально

на неудачу попытку «основать» гражданское общество — устроители форума проигнорировали феномен частного лица. «Исторически и социально жизнеспособна модель из трех элементов: частное лицо — гражданское общество — государство. Без первого (и главного) члена этой формулы общество является не гражданским, а тоталитарным, традиционным, посттрадиционным — название значения не имеет».

Здесь автор переходит, так сказать, к шокowym средствам: чтобы показать, насколько чужеродным для традиции русской общественной мысли (но не жизни!) является понятие «частного лица», он обращается к литературе и, игнорируя эстетическое содержание художественного образа, в качестве знаковой фигуры такого частного лица приводит Чичикова: «Павел Иванович есть подлинный, настоящий, единственный „лишний человек” в русской литературе, так и не давшей обществу санкцию на частную жизнь и жизненный успех. Он борется только за одно — за свою частную жизнь... Не злодейство, не подлость. Но само стремление к приватности в системе ценностей патриархального общества — подлость, отказ от статусно обусловленной ролевой функции и социального поведения — преступление».

Завершается статья попыткой сформулировать понятие «русского национализма», точнее, его опор — Шушарин приводит диалог Мережковского и Гиппиус: «На вопрос мужа о том, что для нее предпочтительнее — Россия без свободы или свобода без России, — Гиппиус ответила: свобода без России. В этих словах — отказ от вошедшего в современный анекдот убеждения в том, что „русский — это судьба”. Национализм свободных людей начинается с неприятия любого предопределения, с непризнания любой силы, препятствующей собственной свободе... оба этих понятия — и свобода, и истина — имеют религиозный смысл. Истина в Боге и свобода от Бога, а Россия — от истории, результат человеческих деяний и надеяний... Новый национализм может возникнуть из свободы и ответственности, а не из стремления доверить свою судьбу и судьбу отечества анонимным силам».

Надо сказать, что следить за мыслью автора бывает сложно — следуя поставленной перед собой задаче, он пытается выявлять историческое в сиюминутном, но подводит темперамент — публицистический напор перевешивает аналитичность. Это сказывается и в разбросе тем (Шушарин пытается сказать сразу обо всем — о Чечне, об отделении России от СССР, о новой бюрократии и т. д.), и в некоторой излишней лихости оценок и формулировок, предлагаемых в русле интонации «само собой разумеется, что...», тогда как широкому читателю (к которому вроде как и обращается автор) хорошо было бы показать всю цепь умозаключений, сделавших для автора ту или иную формулировку «само собой разумеющейся» (ну хотя бы процитированное выше определение Ельцина как победившего контрреволюционера). Иначе статья воспринимается как беседа в достаточно узком кругу «своих». Но это, на мой взгляд, недостаток прощительный — статья явно рассчитана на обсуждение, содержание статьи — это скорее начало работы, нежели ее, работы, итог, так что элемент провокативности здесь необходим.

Таким же началом разговора представляется мне статья **Модеста Колерова** «Смерть политического» (<http://www.regnum.ru/allnews/46956.html>). Мысль, на которую нанизывает автор свои наблюдения и суждения о современной политике, проста: когда мы говорим о «смерти политического» в нашем обществе (в данном случае «политическое» как «соревнование интересов»), «снижении гражданских чувств», «равнодушии общества» (а говорение об этом стало повсеместным), мы не туда смотрим и не там ищем эти проявления политического. Колеров считает, что те, кто констатирует ослабление гражданского темперамента в обществе, потерю его интереса к политической жизни внутри страны, лукавят, потому что обращаются к тем сферам общественной жизни, откуда нельзя ждать политической воли:

«Они почему-то не хотят признать, что и для власти теперь профессионально прозрачны и методы информационных наездов, и заказушная природа крупнейших национальных СМИ, по прейскуранту торгующих „общественным мнением” в упаковке желтого примитива (ярчайший пример — желтый гигант „Комсомольская правда”). Они почему-то забыли (хотя по-прежнему прекрасно понимают), что сколь-нибудь самопроизвольного воздействия общественности через СМИ почти не было даже в медовую эпоху межолигархических „информационных войн” 1996 — 1998 годов...»

Гражданственными реками вытекают публицистические слезы о слабом развитии отечественной партийности. При этом уж кому, как не серьезным людям, хорошо знающим цены на самые высокие места в партийных списках, депутатские запросы, судебные решения, „беспристрастность” избиркомов и т. п., очевидно, что настоящая политическая партия, с реальным членством (свыше 300 тысяч человек) и партийной жизнью, в России одна — КПРФ. Все остальные — лишь формы частного бизнеса: ЗАО „Яблоко”, ООО „Союз правых сил”, Некоммерческое партнерство „Единая Россия”, с гендиректорами, штатом, процветающим внутрикорпоративным воровством, практикой „кормлений”, „откатов” и инсайдерских сделок, — абсолютно без активистов, партийной массы, хоть чуть-чуть на деле превышающей число штатников, внештатников или временно работающих по договору».

Правда, и сам Колеров не отрицает некоего ослабления «политического» в обществе. Более того, он признает, что «современная верховная власть в России, заслонившись „судьбоносностью” от шкурной повседневности, не служит и не может служить прямой выгоде масс. Не создает, не терпит настоящей партийности, выходящей за рамки вполне прагматического манипулирования законодательным процессом. Не любит частных экономических интересов. Равнодушна к „разоблачительной” активности СМИ, диктуемой не только участием в заказных „медиакампаниях”, но и реальной борьбой с бесконечными русскими безобразиями. Строга к региональным вождям, блестяще овладевшим законной тактикой апелляции к воле избирателей. Одним словом, не любит политики.

Однако нестыковка и фальшь антипутинской гражданской обеспокоенности витий в другом: какие бы идейные платформы ни принимали партийные силы, какие бы ни декларировали они смены курсов — опору на средний класс, опору на молодежь, на интеллигенцию, — бюрократически-бизнесовые „схемы” сами точно так же совершенно не нуждаются в открытой политике, в каждый ответственный момент предпочитая лоббизм, паркетный сговор или просто продажу».

Ситуация складывается опасная:

«В таком раскладе *любая* идеологическая определенность будет, несомненно, выигрышной идеологического ничтожества „партии власти”... Но идейная и электоральная катастрофа, происходящая с „партией власти”, открывает перспективы не только традиционным ее оппонентам, так или иначе принадлежащим к федеральному контексту. Гораздо серьезнее стимулируемый этой катастрофой рост региональных, традиционно ксенофобских движений, их все более очевидный успех — например, в Краснодарском и Красноярском краях или даже в Санкт-Петербурге».

Главную причину ослабления политического Колеров видит не в происках власти, поступающей сообразно своей природе, но в отказе от идеологической и политической работы как раз тех, кто сетует на смерть политического, а между тем пережевывает бессмысленные, с точки зрения Колерова, понятия «имперские амбиции», «путинский прагматический национализм» и молча соглашается с заменой необходимого для движения вперед «внятного культурно-исторического пафоса» пафосом «возвращения».

«Не видно того, ради чего мы хотим этого „возвращения”». «Бессмысленно подстегивать свое слабое и потому грубое и продажное государство, жестко гнать его в окопы защитников национальных интересов, когда нации нет, а есть лишь национальные корпорации, вся доблесть которых состоит в скупке собственности в сопредельных государствах... Смешно вменять государству внешнеполитические национальные задачи, не имея национального консенсуса и сложившейся идентичности внутри страны».

Проблема соответственно в «национальном консенсусе»: «...состоявшаяся языковая идентичность, патриотическая солидарность, сознание единства исторической судьбы — всего лишь желаемое, не всегда достижимое благо, а не самоцель. Точно так же не может быть самоцелью и формирование конфессиональной идентичности. Кошунственно само подчинение религиозных потребностей человека каким бы то ни было „интересам”, превращение современного воцерковления людей... в самодостаточную задачу этнического или культурного самоопределения.

Словно не решения своей личной судьбы и не следования справедливости ищет в вере человек, а поверхностной инициации как члена даже самой достойнейшей паствы... Не церковная лояльность, а капитализм, не этническая археология, а ответственная свобода — вот настоящая, требующая серьезного, не риторического человеческого самоопределения среда, в которой только и может родиться современная „русская национальность”».

Статья Колерова написана напористо, формулировки размашисты и категоричны («когда нации нет...»), необходимая здесь публицистическая энергия опять-таки перехлестывает через край, в ущерб все той же аналитичности. Двусмысленным выглядит и сам пафос статьи — трудно уяснить до конца, в чем, кроме оценок конкретных явлений, позиция автора отличается от позиции его оппонентов. И что такое «политическое», по мнению Колерова? — как раз парламентарии-лоббисты, партийцы-лоббисты, заказная пресса и все тому подобное, никуда не денешься, всегда были неотъемлемой частью любой политической борьбы. Колеровскую статью, как и статью Шушарина, повторяю, следует рассматривать как начало разговора.

По степени строгости мысли и проработанности материала от этих двух работ выгодно отличаются статьи Кирилла Кобрин и Николая Плотникова. Возможно, это связано с локальностью тем, выбранных авторами.

В статье «Культурная революция в провинции» (<http://www.regnum.ru/allnews/46952.html>) Кирилл Кобрин обращается к провинциальной ситуации с высшим гуманитарным образованием. Это заметки теоретика и практика — Кобрин суммирует сороклетний опыт собственной работы вузовского преподавателя в провинции.

Исходные посылки его таковы: «Система образования, тем более высшего, — важнейшая сфера именно государственной деятельности. Так сложилось еще в эпоху романтизма и формирования национальных государств. Именно образование представляло собой те железные скрепы, которые держали этнически неоднородные группы в рамках „Британии”, „Германии”, „Франции” и т. д. „Немец” определялся вовсе не формой носа или головы, а тем, что (будь он баварцем или саксонцем) говорил по-немецки, закончил школу с общей для всей страны программой и университет — с общей в основном. Именно образование воспроизводило (и воспроизводит до сих пор) государствообразующую нацию».

То, что произошло с высшим гуманитарным образованием в провинции, Кобрин называет катастрофой. И проведенный им в статье анализ материальных, социопсихологических и идеологических составных этого процесса доказывает справедливость такого определения. Он описывает крайне убогое материальное положение вузов, отток наиболее энергичной талантливой молодежи, превращение гуманитарных отделений в прибежище обремененных комплексами научной и социальной неполноценности преподавателей — в «национал-коммунистические заповедники». Уровень преподавания опустился до немыслимо, скажем, для 70-х — начала 80-х годов низкого уровня. Отсутствие единых учебников, единых программ и полная зависимость провинциальных вузов от идеологического и политического влияния местных элит раздробили пространство гуманитарного образования на множество почти феодальных владений. Местные учебные заведения, по сути, обслуживают интересы местных властей. Вопрос образования перешел в чисто «номенклатурную» сферу. Дипломы и научные степени имеют смысл только как обозначение социального положения. «Получается то, что в стране произошла „культурная революция” на манер той, что отштамповало серое поколение, пришедшее к власти в СССР в тридцатые годы. По своим качествам выпускник Скотопригоньевского педагогического университета 1999 года мало отличается от выпускника самарской Академии красной профессуры 1923-го... Выполнена главная задача „культурной революции”, как понимал ее Ленин или Мао. „Культурная революция” как разновидность (иногда дополнение, иногда замещение) „социальной”».

Процесс шел стихийно, и это производит самое тяжелое впечатление: «Анализируя ход культурной революции 90-х, можно понять, чего на самом деле, бессознательно, хотело постсоветское общество...»

Статья Николая Плотникова (<http://www.regnum.ru/allnews/46953.html>) посвящена феномену русской религиозно-философской традиции. Статья эта тоже не требует от читателя доформулирования мысли. Автор свою работу закончил и знакомит с итогом. Взгляд его на русскую философскую традицию для кого-то может выглядеть неожиданным и даже шокирующим. Но отмахнуться от предложенной точки зрения нельзя. Это вызов серьезный.

Автор назвал свою статью «Философия для внутреннего употребления» и начал с того, что «русская философия как тема и лозунг исчезла с горизонта общественной полемики и перестала занимать интересующую публику». «Для национал-большевистских идеологов геополитики и православных фундаменталистов вся линия мыслителей от Соловьева до Лосева — это декадентский прозападный феномен, оторванный от „истинного“ православия и монархически-коммунистической преемственности великой империи. Лишь консервативная революционность евразийства находит еще применение в творческих мастерских национал-патриотов. Для авторов же, работающих в западном дискурсе, русская философия уже давно перестала представлять какой-либо интерес, ее почти сразу сочли не имеющей отношения к „актуальной“ мысли и объявили сугубо прошедшим явлением, которое невозможно связать с импортируемой традицией. В этих кругах русская философия воспринимается подобно провинциальной родне — вроде и показать стыдно, а избавиться совестно».

Но при этом это самая пропагандируемая сегодня, более того, ставшая отдельной университетской дисциплиной часть культурного наследия. В принципе, это нормально, закономерно, когда «некий круг интеллектуальных занятий институционализируется, превращается в научную отрасль и получает свое место в номенклатуре философских наук. Но, как считает автор, в том-то как раз и парадокс, что таким институциональным статусом наделяется дисциплина, по своему когнитивному содержанию равнозначная астрологии или алхимии».

Доказательству этого суждения и посвящается статья. Автор знакомит с итогами своей попытки «уточнить, каковы фундаментальные сомнения в отношении всех трех составляющих названия *история русской философии*».

«История...» ли?

«История философии имеет смысл в постоянном сопряжении с продолжающимся процессом организованной философской рефлексии», но «„русская философия“ рассматривается даже ее историками как некий сугубо прошедший и завершённый феномен... сегодня мы не встречаем никаких попыток всерьез воспользоваться в современных философских построениях наследием этой традиции. Напротив, усилия критической рефлексии наследия... встречаются представителями дисциплины в штыки как „очернение“ устоев самобытности. А то массовое и почти маниакальное повторение расхожих формул русской религиозной философии — „онтологизм“, „софийность“, „антропологизм“, „историсофичность“ и проч., — которое заполняет нынешние раздумья о русской духовности, демонстрирует как раз полное отсутствие работы по переводу этих формул на язык современных проблем».

Основные представления об «истории русской философии» возникли, по мнению Плотникова, не «в пространстве исторического сознания, а в пространстве мифа. Причем мифа о „русской философии“, созданного в эмиграции участниками духовного движения начала века и ныне определяющего всю систему оценок и предпочтений... Этот миф отложился во всех исторических компендиумах Зеньковского, Лосского и их последователей (Левицкого, Полторацкого)... И он же вплоть до мельчайших деталей воспроизводится во всех новейших учебниках и курсах по истории русской философии».

«...русской...» ли?

«Если национальный предикат составляет главное основание легитимности русской философии, то следовало бы рассматривать эту дисциплину наподобие „identity studies“... Тогда она заняла бы место в рамках некоего свода знаний о русской национальной идентичности и ее исторических формах... Однако даже в деле прояснения специфики национальной идентичности эта дисциплина вряд ли может дать какой-либо прирост знания, поскольку ее основные формулы скроены по

совершенно архаической модели постромантической идеологии XIX века с ее „народными духами“, „национальными характерами“, „душами“, „мировоззрениями“ и прочими тавтологиями, полученными в результате скудных индуктивных обобщений, а затем используемыми в качестве универсального средства объяснения исторических явлений. Как раз при уяснении деталей формирования национальной идентичности в связи с политикой, языком, религией русская философия оказывается на удивление беспомощной. Ни исследования русской идентичности в рамках многонационального государства, ни изучения специфики русского философского языка, ни, наконец, анализа истории православия в его взаимодействии со светской культурой она дать не в состоянии».

«...философии» ли?

От размышлений на этот вопрос автор уходит, сославшись на необъятность дискурса. Автор просто обозначает свое отношение к русской религиозной философии как к некоему «туманному образованию мировоззренческо-нравоучительно-исповедального характера». Аналогии русских религиозных мыслителей с Кьеркегором, Паскалем или Ницше не кажутся ему убедительными — скажем, Ницше, по мнению автора, стал восприниматься философом только после того, как «его тексты были затянуты в поле рационального философского дискурса благодаря интерпретациям» профессионалов.

Вывод: «Дисциплина, именующая себя „историей русской философии“, содержание не соответствует ни одному из критериев, заявленных в ее названии: она занимается не историей, а мифологическим воспроизведением лишь одного субъективного взгляда на историю; действительные вопросы складывания русской идентичности, равно как и проблема формирования языка, на котором эти вопросы можно было бы проговорить, ее не интересуют; наконец, и на статус философии она вряд ли может претендовать, ибо не осуществляет ту работу перевода и реконструкции прошлого наследия, которое могло бы найти применение в сегодняшней философской рефлексии».

Все как бы логично: если ограничиться тем количеством посылок, из которых исходит автор, его итоговые заключения кажутся почти неопровержимыми (почти! — специалисты, скажем, по Лосеву могут вполне обоснованно оспорить, например, утверждение о полном отсутствии интереса русских философов к проблемам формирования языка философии). Но если бы автор углубился в определения собственно философии, ситуация, возможно, не показала бы ему столь однозначной. И если к тому же учесть краткость философской традиции в России и сравнить с достигнутым уровнем. Или если сравнивать путь русской философии с историей философии других европейских стран, не обязательно Англии, Германии, Франции, а, к примеру, Испании. Да и потом, кто может знать, что станет актуальным в европейской философии через несколько десятилетий? Кто может гарантировать, что «провинциальная родня» не преподнесет сюрприза?

Завершает сборник статья Павла Черноморского «Когда наступит Жерминаль: в ожидании новой русской левой» (<http://www.regnum.ru/allnews/46957.html>). Автор пытается заглянуть в ближайшее будущее, которое он связывает с появлением в России полноценных левых движений. Только откуда их ждать?

Пока ситуация выглядит парадоксально: при том, что по политическому самосознанию русские несомненно страна левых, в России нет ни одной политической силы, которая бы выражала левую идею. «Официальные коммунисты... декларируют скорее дремуче-правый, патерналистский проект, а их деятельность скорее напоминает разнящийся по успешности шантаж власти и популистский спектакль, чем классическую борьбу за интересы наемных работников. Социал-демократами спешат назвать себя все, кому не лень, — между тем классических социалистов в России как не было, так и нет. Кружки новых левых, троцкистов и лучших представителей радикальных компартий сталинского толка немногочисленны и слабы. Интеллектуальная левизна в России тоже, как правило, занимается лишь трансляцией западного дискурса, при этом часто в искаженном и непонятом виде... Однако появление (возрождение) русских левых все-таки выглядит неизбежным... это будут совершенно новые люди, лишённые отживших местных совет-

ских и раннедемократических страхов и комплексов... Левизна скорее будет опираться на традицию Запада, нежели на опыты СССР».

Далее следует обоснование этих утверждений. В первой (и, на мой взгляд, самой интересной) части Черноморский анализирует нынешнее состояние политических сил, которые могли бы претендовать на выражение левых настроений, но сделать этого не в состоянии. Во второй части автор дает социопсихологическую характеристику двух сформировавшихся уже в условиях новой России поколений: «Девяностые годы, как всем известно, создали в России новую эстетику, замешенную на примате высокого качества продукта и холодном ироническом отстранении комментатора. Поколение, эту эстетику создававшее (Леонид Парфенов, Артемий Троицкий, Сергей Шолохов, круг газеты „Коммерсантъ” и часть ведущих авторов московского глянца), выросло при упадке социализма, и любой пафос ассоциировался у этих людей с пошлостью юбилейной ленинианы и вызывал моментальное отторжение. Это первое по настоящему успешное постсоветское поколение считало себя абсолютным западным — хоть таковым и не являлось».

Ну а поколение более молодое, за которым и просматривается будущее неизбежное полевение общества, — это те, «кто родился во втором брежневском десятилетии — с 1974 по 1984 год. У этих молодых людей было больше времени, в начале девяностых они были подростками или детьми и не могли принять участия в эстафете молниеносного обогащения и мгновенного карьеризма, и в результате они часто образованнее и глубже, чем предшествующее поколение. Ранняя юность их прошла под череду жестоких обид, унижительной родительской ненужности и нищеты, теперь же, когда они учатся или получают дипломы, они находят все теплые места уже занятыми. Они знают иностранные языки, прочли нужные книжки и посмотрели нужные фильмы, но дверь захлопывается буквально перед их носом. Престижные места отошли либо „умным жуликам”, сумевшим правильно сыграть в начале девяностых, либо детям тех же самых жуликов... Конечно, в этом новом поколении будут и те, кто полностью подчинит себя конъюнктуре и постарается по головам окружающих добраться до успеха. Но найдутся и другие, те, кто не захочет играть по общепринятым теперь правилам».

Именно это поколение, считает автор, и возродит в России левое движение. И их левизна будет определяться западными образцами. Тому, что происходит с левыми движениями на Западе, посвящена заключительная часть статьи. Автор констатирует расслоение левых на два течения, ссылаясь на авторитетное мнение Ричарда Рорти. Похожий процесс расслоения автор отмечает и в России: «Вполне реальна ситуация, когда два собеседника, представляющие разные профессиональные страты, произнося одно и то же слово „левый”, просто не могут понять друг друга. Первый под „левым” подразумевает защиту классовых интересов наемных трудящихся, второй — критику большой реальности при помощи неких новых идей».

Заключительные строки статьи («Самосознание большинства русских тоже лежит в левой плоскости, хоть эта левизна и представляет собой странный компот из патернализма, сильной армии, ненависти к крупному капиталу и требований полных социальных гарантий. Мы левые изнутри и снаружи...»), как, впрочем, и автор, выстраивающая основную часть ее содержания, наводит на мысль, что автор в своих размышлениях больше полагается на интуицию. Новых фактов, новой методики в анализе этой темы он не предлагает. И тем не менее полевение нашего общества (происходящее уже сегодня) — тема острая, актуальная, и хорошо уже то, что автор обозначил подступы к ней.

В целом впечатление от собранных в «Термидоре» текстов остается пусть и противоречивым, но сильным. Сборник предлагает обществу серьезную и необходимую работу по осмыслению ситуации, в которой оно находится. Будет досадно, если предложенное окажется невостребованным.

Р. С. Когда я заканчивал составление этого обозрения, «Термидор» вышел книгой — см. «Библиографические листки. Книги» в этом же номере журнала.



КНИГИ



Я. Аким. Из тишины осторожное слово... Стихотворения. М., РИФ «РОЙ», 2002, 132 стр.

Новая книга Якова Акима, известного детского поэта, содержит цикл поздней, «взрослой», лирики и небольшую подборку стихов из «Книг для детей».

Александр Балтин. Раковина. Стихи. М., РИФ «РОЙ», 2002, 72 стр.

Пятая книга стихов московского поэта; поэмы «Тридцатилетняя война» и «Осеннее происшествие», философская лирика («Я вижу то, что я хочу, / и я поэтому молчу, / картины мира не приемля... Реальность? Или показалось? / Как будто август на дворе, / светло об утренней поре, / не верю жизненной игре — / здесь все всерьез! Какая жалость...»).

Александр Барикко. City. Роман. Перевод с итальянского Е. Дигтярь, В. Петрова. СПб., «Симпозиум», 367 стр., 5000 экз.

Новый (для нас; в Италии вышел в 1999 году) роман одного из самых известных современных итальянских писателей — психомоторика и социопсихология современного города.

Сэмюэль Беккет. Мерфи. Роман. Перевод с английского М. Кореневой. М., «Текст», 2002, 282 стр., 3500 экз.

Новый перевод.

Семен Файбисович. Невинность. М., О.Г.И., 2002, 248 стр., 4000 экз.

Книга прозы, в которую вошли повести «Детство Семы», «Невинность», «Богема», рассказы из циклов «Соседка», «Путь домой», «Приближается царство небесное» и другие. Стилистика этой вполне бытописательной, отчасти — лирико-исповедальной прозы вполне сравнима со стилистикой Файбисовича-художника. Художественная фотография, приемы которой виртуозно имитируются в гиперреалистических полотнах Файбисовича, способна лишь на фиксацию художественной интенции, первоначально художественного импульса фотографа — полностью выявить содержание мотива по силам только художнику, не ограниченному возможностями техники и химии. Похожая манера и в прозе Файбисовича — полноценное эстетическое проживание как бы «фотографически» воспроизведенных картин реальной жизни автора — детство, отрочество, среда коллег-художников, быт Москвы перестроечных времен в подчеркнуто «низовом их воплощении»: магазинные очереди, троллейбусные перебранки, полусумасшедшая соседка по лестничной площадке, алкаши, милиционеры, художественная богема и т. д. И кажется неувимой та грань, за которой бытовое становится под пером Файбисовича бытийным. Неожиданный эффект «непритязательной», веселой и одновременно грустной бытописательной прозы объясняется просто — талантом повествователя.



Апология Украины. Сборник статей. Редактор-составитель Инна Булкина. М., «Модест Колеров и „Три квадрата”», 2002, 224 стр.

Новая украинская интеллигенция в поисках национальной и культурной самоидентификации — Юрий Андрухович, Игорь Клех, Наталка Белоцеркивец, Александр Гриценко, Оксана Пахлёвска, Мыкола Рябчук, Тарас Шумейко, Кость Бондаренко, Тарас Возняк, Владимир Золотарев; а также Милан Кундера. Сборник замысливался как диалог, но «русские и украинские авторы не просто пишут про Украину по-разному, они в принципе пишут о разных вещах». И потому «все авторы этого сборника — украинские авторы. При том, что не обязательно они живут в самой Украине, но это всегда внутренний взгляд». «Всего проще было бы сказать сейчас, что Украина — это своего рода terra incognita, и нам следует приучать себя к неким „открытиям” вне зависимости от того, что мы когда-то об этих вещах думали или продолжаем думать. Но именно потому, что мы уже думаем про эту Америку, что она Индия, может быть, для начала...

попробуем выслушать другую сторону. Потому что до сих пор мы слышали себя только» (Инна Булкина).

Петр Григорьевич Богатырев. Воспоминания, документы, статьи. Составитель Л. Солнцева. СПб., «Алетейя», 2002, 366 стр., 6000 экз.

Книга о выдающемся русском этнографе, специалисте по культуре западных славян П. Г. Богатыреве (1893 — 1971) — воспоминания коллег и близких, статьи о творчестве ученого.

Книга Бытия. Перевод с древнееврейского и арамейского, вступительная статья и комментарии М. Г. Селезнева. М., «Российское библейское общество», 2002, 128 стр., 3000 экз.

Почти светское издание. «Впервые за всю историю перевода Священного Писания на русский язык создатели серии поставили перед собой задачу осуществить научно корректный и в то же время литературный перевод всего ветхозаветного канона. Ветхий Завет был создан тысячи лет назад... его образы, характер изложения, реалии нередко трудны для понимания современного человека... мостом между трудными местами Ветхого Завета и современным читателем должны стать историко-филологические примечания, ориентированные на самый широкий круг читателей» («Книжное обозрение»).

Симон Кордонский. Кристалл и кисель. Е-мейлы и статьи 1989 — 2000. М., «Модест Колеров и „Три квадрата”», 2002, 222 стр.

Собрание работ одного из современных социологов, активно выступающих в печати с аналитическими и публицистическими статьями. «Политики в нашей стране не могут иметь и не имеют политических убеждений, а партии — политических программ. Все партии и политические организации в разной степени представляют собой лоббистские структуры», — привычная для нас размашистость и категоричность подобных высказываний у Кордонского, как правило, подкрепляется логикой и опорой на научные данные современной социологии.

Лео Мулен. Повседневная жизнь средневековых монахов Западной Европы. X — XV века. М., «Молодая гвардия», 2002, 346 стр.

Книга вышла в серии «Живая история: повседневная жизнь человечества», автор ее не является, строго говоря, медиевистом, а выступает как историк, пишущий для широкого читателя, но, как отмечает рецензент «НГ Ex libris», «материал здесь представлен самый разнообразный, все аспекты монастырской повседневности разобраны подробно, с юмором и с явным желанием понять суть, насколько это возможно».

Александр Мыльников. Петр III. Повествование в документах и версиях. М., «Молодая гвардия», 2002, 511 стр., 7000 экз.

Новая книга в серии «Жизнь замечательных людей».

Набоков о Набокове и прочем. Интервью, рецензии, эссе. Составление, предисловие, комментарии Н. Мельникова. М., «Независимая газета», 2002, 704 стр.

Впервые под одной обложкой — «Интервью и эссе Владимира Набокова, никогда у нас доселе не публиковавшиеся, да и на Западе давно затерянные. Во-вторых, все эти, с позволения сказать, „сильные высказывания”, все эти „символы веры” самого „неверующего” из писателей XX века самым тщательным образом изучены и прокомментированы молодым набоковедом Николаем Мельниковым» («НГ Ex libris»).

Владимир Новиков. Высоцкий. М., «Молодая гвардия», 2002, 413 стр., 10 000 экз.

Биография Владимира Высоцкого, написанная известным литературным критиком и прозаиком в жанре документального романа, вышла в серии «Жизнь замечательных людей». Главы из романа публиковались в «Новом мире» (2001, № 11, 12; 2002, № 1).

Омри Ронен. Поэтика Осипа Мандельштама. Предисловие М. Гаспарова. СПб., «Гиперион», 2002, 240 стр., 3000 экз.

Сборник статей профессора Мичиганского университета о творчестве Мандельштама в контексте поэзии русского серебряного века.

Термидор. Статьи 1992 — 2001. М., «Модест Колеров и „Три квадрата”», 2002, 144 стр.

Сборник общественно-политических статей, посвященных актуальным вопросам эволюции исторического сознания, практике гуманитарного образования в русской провинции, проблеме русской философии, целям и формам политики, в том числе левизне в современности и в будущем. Авторы: Павел Черноморский, Дмитрий Шушарин, Кирилл Кобрин, Николай Плотников, Модест Колеров. Более подробно о сборнике смотри в «WWW-обозрении Сергея Костырко» в этом номере

Александр Фадеев. Письма и документы. Составление, вступительная статья и комментарии Н. Дикушиной. М., Издательство Литературного института им. А. М. Горького, 2001, 360 стр., 3000 экз.

Драма талантливого писателя, попытавшегося сочетать несочетаемое: преданность искусству и служение власти (Сталину) — и вынужденного идти на страшные, самоубийственные компромиссы. Даже в вышедшей в 70-е годы монографии С. И. Шешукова «Неистовые ревнители» (писалась она, несомненно, как апология Фадеева) фигура писателя и соответственно пафос книги производили двусмысленное впечатление. Тональность же предложенной новым изданием композиции документов и писем откровенно драматична. Писатель, пытавшийся спасти русскую литературу, спасти ее творцов и одновременно вынужденный быть их палачом, — ситуация почти трагическая. Здесь можно прочитать, в частности, текст предсмертной записки, в которой Фадеев перекладывает вину за свою смерть на новое партийное руководство, поменявшее идеологическую политику в литературе.

Илья Эренбург. Портреты русских поэтов. Издание подготовлено А. И. Рубашкиным. СПб., «Наука», 2002, 352 стр., 2000 экз.

Откомментированное переиздание книги Эренбурга 1923 года — четырнадцать эссе, посвященных Маяковскому, Пастернаку, Цветаевой, Брюсову, Балтрушайтису и другим.

Евгений Ясин. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ. М., ГУ ВШЭ, 2002, 437 стр.

В основе книги одного из ведущих современных экономистов — курс лекций, прочитанный автором в Высшей школе экономики.

Составитель **Сергей Костырко.**

ПЕРИОДИКА



«Время МН», «Время новостей», «Гражданинъ», «GEO», «GlobalRus.ru», «Демократический выбор», «День литературы», «Еженедельный Журнал», «Завтра», «Знание — сила», «Известия», «Интеллектуальный Форум», «Лебедь», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Любимый президент», «Left.ru/Левая Россия», «LiveJournal», «Москва», «Московские новости», «Наш современник», «НГ Ex libris», «Нева», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Новая газета», «Новая Польша», «Новое время», «Новый безбожник», «Новый ковчег», «Огонек», «Подъем», «Русский Базар», «Русский Журнал», «Русский Удодъ», «Скепсис/ScepsiS», «Спецназ России», «Топос», «Труд», «Урал»

Лев Аннинский. «От нуля». — «Нева», Санкт-Петербург, 2002, № 8.

Об Окуджаве. См. также: **Лев Аннинский**, «Если встанет...» — «Литературная Россия», 2002, № 34, 23 августа, — *обо всем*.

Виктор Астафьев. «Русский человек — такая бездна». Беседу вел Кирилл Андреев. — «Литературная газета», 2002, № 35, 28 августа — 3 сентября <<http://www.lgz.ru>>

«Первое в моей жизни потрясение, когда мою маму-утопленницу вытащил сплавщик и отрезал тесаком палец с обручальным кольцом! Вот первое мое потрясение. А потом я это все увидел на фронте...»

Ольга Балла. Человек Возможный. Компьютерная игра как этап в истории человека. — «Знание — сила», 2002, № 8 <<http://www.znanie-sila.ru>>

«Может быть, дальний предел развития того, что мы знаем под именем компьютерных игр в виде всяких „стрелялок” и „бродилек” — многомирие как реальное состояние культуры и цивилизации...»

Здесь же: **Господин Пэ. Жэ.**, «Продолжим наши игры!»; **Сергей Смирнов**, «Моя игра, его игра...».

Владимир Березин. Рождение героя. Шестьдесят лет назад началась публикация поэмы Твардовского «Василий Теркин». — «НГ Ex libris», 2002, № 31, 5 сентября <<http://exlibris.ng.ru>>

«<...> это был человек, ковыряющийся в земле, работающий на ней, и поэтому он — крестьянин. Он перекопал половину Европы саперной лопаткой, будто возделывая страшную пашню. Шестьдесят лет назад, когда Твардовский начал во фронтовой газете Западного фронта печатать фрагменты своей поэмы, родился настоящий крестьянский герой».

Ср.: «„Настоящих крестьянских героев” в русской литературе довольно много (это „университетских профессоров” мало), а главное — и у самого Твардовского Василий Теркин — не первый „настоящий крестьянский герой”. Был еще и Никита Моргунок из поэмы „Страна Муравия”. Поэма эта, воспевающая коллективизацию, воспринимается сейчас диковато, но Никита Моргунок в ней — вполне себе живой, „настоящий крестьянский герой”...» — размышляет **Александр Агеев** («Время MN», 2002, № 160, 7 сентября <<http://www.vremyamn.ru>>).

См. также: **Владимир Березин**, «О Твардовском» — «Новый мир», 1996, № 3.

Юрий Бобров. Григорий Распутин. Миф развенчан? — «Литературная Россия», 2002, № 35, 30 августа <<http://www.litrossia.ru>>

«Зафиксированы случаи, когда высокопоставленные чиновники, наблюдая разгульное поведение „Распутина” [провокаatora-двойника] и спеша рассказать об этом императору, находили во дворце настоящего Распутина, смиренно молящегося перед распятием».

Владимир Бондаренко. Отверженный поэт. — «Наш современник», 2002, № 8 <<http://read.at/nashsovr>>

Николай Тряпкин — *наш русский дервиш*. См. эту статью также: «Завтра», 2002, № 20 <<http://www.zavtra.ru>>

А Юрий Мамлеев — *наш русский национальный упырь*. См. об этом статью **Владимира Бондаренко**: «Завтра», 2002, № 35, 27 августа.

Владимир Бондаренко. Разумное убийство. — «День литературы», 2002, № 8, август <<http://www.zavtra.ru>>

«Смиренный человек», как аттестует себя Бондаренко, пророчит время «разумных убийств», когда «начнут убивать врагов Божиих».

Тут же: «Но меня поразил этот новый Сорокин со своим античубайсовским романом [„Лед”]».

Ср.: «Нужно очень сильно не любить президента, чтобы из нелюбви к нему поддерживать [сорокинское] „кало”», — пишет **Илья Смирнов** («Голубое кало» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/culture>>).

Семен Букчин. Польские страницы Валерия Брюсова. — «Новая Польша», Варшава, 2002, № 7-8 (33).

13 августа 1914 года Брюсов выехал в Польшу военным корреспондентом газеты «Русские ведомости».

В защиту свободы совести и светского государства. — «Новый безбожник», 2002, № 2, июнь <<http://www.atheism.ru/press>>

«Мы, участники 1-й антиклерикальной научно-практической конференции „Наука, религия, атеизм”, выражаем глубокую тревогу <...>». *Вместо журнала с одиозным названием «Новый безбожник» в настоящее время выходит журнал с respectableм названием «Скепсис», оба издания представлены на сайте «Научный атеизм».* См. «WWW-обозрение Владимира Губайловского» в № 1 «Нового мира» за 2003 год.

Алексей Варламов. Ойоха. Рассказ. — «Литературная газета», 2002, № 35, 28 августа — 3 сентября.

«Я никогда не жил в провинциальном русском городе. А в американском прожил почти год». См. также: **Алексей Варламов**, «Присяга» — «Новый мир», 2002, № 8.

См. также: **Алексей Варламов**, «...встреча дана нам в оправдание прошлого» — «Подъем», Воронеж, 2002, № 7 — *о семейных проблемах Пришвина*.

Виталий Василевский. «Нет леса — нет дров». Публикация и предисловие Андрея Василевского. — «Литературная газета», 2002, № 37, 11 — 17 сентября.

«5 ноября 1950 г. я вечером зашел в союз, в Белый дом. На столе у секретарши лежали конверты с деньгами: Фадеев посылал свои деньги к празднику старикам и старухам — писателям, писательницам, вдовам» (из записной книжки советского литератора — *моего отца*).

Михаил Веллер. «Экстремистам позволяют быть экстремистами». Беседу вел Михаил Бузукашвили. — «Русский Базар», Нью-Йорк, 2002, № 24, 6 — 12 июня <<http://www.russian-bazaar.com>>

«Если пять миллиардов переселятся туда, где живет один миллиард, что и произойдет раньше или позже, то получится то, что было с Римом в IV — V веках. То есть наступает новая эпоха средневековья на новом уровне. Происходит великое переселение народов, вымирание белой расы, замена одного этноса другими. <...> То, что говорят сегодня правые [такие, как Ле Пен], не более чем элементарная справедливость и элементарный здравый смысл».

«<...> проблема нелегальной эмиграции не должна даже стоять. Если она нелегальная, то это нарушение закона. Нарушивший закон человек, которого сюда никто не звал, должен отвечать согласно этому закону. Этот человек либо депортируется, либо отправляется на общественно полезные принудительные работы за нарушение границы, что есть уголовное преступление. После отработки его должны депортировать».

«Скинхеды — это реакция значительной части молодежи на вопиющую социальную несправедливость, на вопиющее неравенство, на гибельное положение в обществе».

Сергей Волков. Последний бастион, он же соломинка. Или еще раз о «коммунистической державности». — «Гражданин». Ежемесячная политическая газета. [Возобновленное издание. Издавался с 1872 по 1914 г.]. 2002, № 6 (15), июнь.

«Либо Россия, либо Совдепия».

«<...> в 1917 году, когда новая власть, порожденная шайкой международных преступников <...>»

«Никакого примирения красных и белых не может быть уже потому, что абсолютно отсутствует почва для компромиссов».

Андрей Волос. «Меня держит за фалды „Маскавская Мекка“». Беседу вела Светлана Родина. — «Литературная Россия», 2002, № 33, 16 августа.

«Дописываю новую главу в „Хуррамабад“. Пробую обрести понимание того, как можно построить повесть, главным героем которой является великий таджикско-иранский поэт Абдаллах Рудаки...» Фрагменты нового романа **Андрея Волоса** «Маскавская Мекка» см.: «Время MN», 2002, № 129, 26 июля; «НГ Ex libris», 2002, № 27, 8 августа.

Владимир Воропаев. Кончина Гоголя. — «Литературная Россия», 2002, № 33, 16 августа.

«Насильственное лечение, вероятно, ускорило смерть Гоголя». См. также: **Владимир Воропаев**, «Полтора века спустя. Гоголь в современном литературоведении» — «Москва», 2002, № 8; **Владимир Воропаев**, «Жизнь с Гоголем» — «Литературная Россия», 2002, № 35, 30 августа.

Юрий Вронский. Казнить? Или миловать? Отмена смертной казни — это не гуманизм, это демонстрация равнодушия к жертвам преступлений. — «Литературная газета», 2002, № 32, 7 — 13 августа.

«[Царская власть отличалась] преступно гуманным отношением к уголовникам. До революции в России ведь не было смертной казни даже для самых кошмарных мокрушников. <...> К началу марта 1917 года, когда Временное правительство объявило поголовную амнистию, на каторге и в ссылках накопилось достаточно головорезов, чтобы через несколько месяцев привести к власти преступный режим».

Алексей Герман. Никого не расстреливают, но все боятся. Разъяснения кинорежиссера Алексея Германа по поводу «Открытого письма» лично к нему сценариста Эдуарда Володарского. Записала Арина Яковлева. — «Новая газета», 2002, № 64, 2 сентября <<http://www.novayagazeta.ru>>

«<...> мне стало трудно жить вообще и в этой стране в частности. Из-за предчувствия надвигающейся старости. И серости. Из-за ощущения, пусть и неверного, что я умею делать свое дело лучше других. Из-за ощущения, что это мое умение никому не нужно. Бывают ситуации, когда хотелось бы наплевать, но — нельзя. Я не хочу, чтобы надо мной опять был Демичев. Я не хочу, чтобы на меня опять орали, сидя на столе и помахивая ногой. Я не хочу, чтобы меня непрерывно увольняли, я уже устал. Мне никогда не хотелось уехать из страны. Это желание впервые возникло сейчас, но оно безнадёжно, потому что нет такого места на земле, где мне будет лучше. <...> В картине, которую я сейчас снимаю, есть ключевая фраза: „Там, где ликуют серые, к власти всегда приходят черные“. У меня ощущение надвигающегося ужаса. Как тут быть? Я надеюсь, что у Владимира Путина *хотя бы хватит мудрости* не закрывать остатки оппозиционных изданий, *не закрывать картины оппозиционных режиссеров вроде меня* (курсив мой. — А. В.)».

Михаил Гохман. С Дзержинским за спиной. Подсудны ли писатели. Беседа с Натальей Горбаневской. — «Московские новости», 2002, № 31 <<http://www.mn.ru>>

Михаил Гохман: «Вы говорите о Лимонове-Савенко так, будто он подросток». *Наталья Горбаневская:* «Гомосексуальная инфантильность — вещь известная».

См. также: «<...> на процессе, который вскоре начнется, Лимонову придется выбирать между „величием” и оправдательным приговором, а суду придется заняться своего рода литературной критикой — разграничением художественного вымысла и реальности», — пишет Алла Латынина («Время MN», 2002, № 151, 27 августа).

Владимир Губайловский. Онлайн-журнал. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/kgug>>

Онлайново/офлайновый критик об онлайн/офлайне. К пятилетию «Русского Журнала».

Роберт Дарнтон («*The New York Review of Books*»). Расправа над книгой. Перевод Юрия Колкера. — «Интеллектуальный Форум». Международный журнал. Выходит один раз в три месяца. Издатель — Глеб Павловский. Главные редакторы — Елена Пенская (Россия), Марк Печерский (Германия). 2002, № 10, август <<http://if.russ.ru>>

Микрофильмирование библиотечных книг и газет с последующим уничтожением оригиналов — это гуманитарная катастрофа. Убийцы! Убийцы!

См. также: **Ларри Макмуртри** («*The New Republic*»), «Почему не умирают книги». Перевод Артема Осокина — «Интеллектуальный Форум», 2002, № 10; *о книжных магазинах и Интернете.*

См. также: **Джейсон Эпштейн** («*The New York Review of Books*»), «Оцифрованное будущее». Перевод Игоря Поспехина — «Интеллектуальный Форум», 2002, № 10; *о соединении традиционного книгоиздательства с Интернетом.*

Добро пожаловать, господин Маузер! — «Известия», 2002, № 136, 3 августа <<http://www.izvestia.ru>>

Дискуссионная полоса по следам статьи **Олега Осегинского** «Господин Маузер» («Известия», 2002, 16 июля). В частности: «Нам говорят: вот американский школьник расстрелял свой класс! А отчисленный немецкий выпускник убил всех учителей! Уволенный французский работник положил в гробы родную контору. А наш солдатик порешил весь караул вместе с лейтенантом, отличником боевой подготовки. <...> Однако теперь учителя Германии десять раз подумают, прежде чем оскорбить туповатого ученика. Дети в США поостерегутся травить изгоев. Во Франции при увольнении работнику выплатят достойную сумму отступных. А российский лейтенант по-человечески поговорит с новобранцем», — пишет читатель **Игорь Шприц.**

«Европа совершает самоубийство». Перевод с немецкого Анны Кляйн. — «Завтра», 2002, № 34, 20 августа <<http://www.zavtra.ru>>

Интервью с американским публицистом, телекомментатором и многократным кандидатом в президенты США, автором книги «Смерть Запада» (2002) **Патриком Бьюкеноном** (*Patrick Buchanan*) было опубликовано в немецком журнале «Нацзон унд Ойропа».

«<...> ни одно европейское государство — за исключением исламской Албании — не располагает данными о рождаемости, которые бы позволили им в своей нынешней форме пережить 2050 год».

«Европейцы совершают этническое самоубийство. То, что мы переживаем в Европе и зачастую повсюду на Западе, является закатом христианства и западноевропейской традиции».

«В Америке и в Европе революция 60-х годов одержала победу и стала доминантой культуры. Эта революция присягнула на верность абортам и феминизму, праву гомосексуалистов заключать браки и усыновлять детей, она присягнула эгалитаризму, эвтанизии и мировому правительству. <...> Речь идет о старом фаустовском выборе. Но я считаю: сопротивление этой революции — это наиважнейший долг западного человека».

Виктор Ерофеев. Открытое письмо президенту России В. В. Путину. — «Время MN», 2002, № 158, 5 сентября.

«Хочу сказать с полной ответственностью, что каждый настоящий писатель — экстремист в той мере, в какой он берет на себя смелость говорить о вещах, противостественных обыденному сознанию». *Апология «настоящих писателей» или донос на них?*

Владимир Забалуев, Алексей Зензинов. Возвращение блудного «Инопланетянина» на историческую родину. Стивен Спилберг и все-все-все. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/culture>>

«<...> гениальный манипулятор и компилятор. Причем источником заимствований для него [Спилберга] станет не столько голливудское наследие, а в большей степени

ленты все еще недооцененного у нас режиссера Александра Птушко. Конечно, киневеды помнят, что Птушко первым в мировом кино использовал технику совмещения анимации с натурной съемкой — за 50 лет до „Кролика Роджера“, снятого лучшим учеником Спилберга (на наш взгляд, превосходшим учителя) Робертом Земекисом. Задолго до „Конана Варвара“ и „Властилина Колец“ Птушко снял лучшие фильмы в жанре фэнтези — „Илью Муромца“ и „Садко“. На перемонтаже его фильмов училось киноискусству поколение американских режиссеров 50-х годов. Но со смертью Птушко эпоха советских блокбастеров сошла на нет. <...> Спилберг, словно Али-Баба, проник в пещеру с сокровищами мирового (в частности — советского) кино, вынес на свет сюжетные ходы и мифологемы, а потом весьма технологично организовал распродажу.

Марк Зальцберг. *Good bye, America.* — «Независимая газета», 2002, № 179, 28 августа <<http://www.ng.ru>>

«Концентрация человеческого материала, способного воспроизводить западную культуру и технологию, в Америке катастрофически снижается. Я не употребил некорректного термина „ухудшение человеческого материала“ сознательно. Этот растущий количественно, но не соответствующий западной культуре качественно человеческий материал был бы очень хорош в иной, присущей ему культуре, в которой „западоид“ выглядел бы абсолютным болваном. Но в культуре западной единственное, что остается им делать, — это употреблять все силы на приспособление к ней. Их же политические лидеры при потворстве идиотов либералов делают все возможное, чтобы западную культуру приспособить к их требованиям. Последствия будут катастрофическими и для тех, и для других». Автор — профессор физического факультета Хьюстонского университета, штат Техас.

Григорий Злотин. Урезание языка. — «Литературная Россия», 2002, № 35, 30 августа.

«По вине отмены различия „они — оне“ (с ятем) умерли десятки рифм, целые стихотворения, где игра слов построена на разнице между мужскими и женскими местоимениями...» См. также: **Максим Кронгауз**, «Язык мой — враг мой?» — «Новый мир», 2002, № 10.

Михаил Золотоносов. Игра в классики. Римейк как феномен новейшей литературы. — «Московские новости», 2002, № 33.

«По некоторым признакам, которые нам удалось отыскать в тексте, новые „Отцы и дети“ [мифического Ивана Сергеева] написаны Сергеем Шаргуновым (род. в 1980), в 2000 году дебютировавшим в „Новом мире“ (см. также его повесть „Ура!“ в „Новом мире“, 2002, № 6). Возраст бойкого автора, еще студента, объясняет всю концепцию „новых“ „Отцов и детей“ (старые, кстати, написаны 40-летним автором): с одной стороны, именно для этого возраста характерен выраженный в романе страх оказаться ничем, много обещавшим мыльным пузырем; с другой стороны, вряд ли случайно Вокзалов крайне неприязненно относится и к „поколению, которое дорвалось до кормушки“, к нынешним сорока-пятидесятилетним „политическим стратегам и финансовым гениям“ („Боже, какие они все толстые!“), и к новорусскому „растерянному поколению“, к которому принадлежит 28-летняя Лиза Леденцова, вдова „авторитета“ Леденцова, мающаяся от избытка денег и безделья (в романе Тургенева ей соответствует богатая вдова Одинцова). Первые не пускают поколение Леденцовой во власть, не дают влиять на развитие событий, вторые этого страстно жаждут. Но и те и другие лживы, лицемерны (образом лицемерия для Вокзалова является Окуджава, квинтэссенция духа шестидесятничества) и просто хотят иметь власть ради власти и собственного благополучия. Вокзалов, которому то ли 20, то ли 30 лет, подвергает всех тотальной „подростковой“ критике, не верит в демократию, плюрализм, либерализм, в „команды“, в „возьмемся за руки, друзья“, а вслед за Базаровым верит в то, что „надо раз и навсегда исправить общество“. Эта подростковая утопическая формула вкруп с ненавистью к „старикам“, возможно, есть точка зрения поколения разочарованных, обманутых и уже не верящих ни во что и ни в кого двадцатилетних, ровесников автора. Может быть, средствами плагиата, поверх неумения создать оригинальное произведение, поверх всей детской ерунды в новых „Отцах и детях“, выразилось нечто подлинное, некое „зернышко истины“?..»

Составитель «Периодики» не может ни подтвердить, ни опровергнуть авторство Сергея Шаргунова.

Геннадий Зюганов. О национальной гордости патриотов. — «Завтра», 2002, № 36, 3 сентября.

«<...> отмена графы „национальность“ в новом российском паспорте. По сути дела, гражданам запрещено иметь и обнародовать свою этническую принадлежность в качестве обстоятельства, имеющего общественное значение. Это, мол, „сугубо личное дело“ каждого, до которого обществу нет будто бы никакого касательства».

«В итоге борцы с „пятым пунктом” скатились к примитивнейшей полицейской антропометрии <...>. В подобной системе координат уже нет ни русских, ни евреев, ни татар, ни чеченцев — вообще никаких наций. Остались лишь некие аморфные „россияне”, делящиеся в соответствии с узкополицейскими нуждами сысского ведомства на „лиц” „кавказской”, „еврейской”, „славянской” и прочая и прочая „национальности”».

«Русские оказались крупнейшим в мире разделенным народом. И это разделение настолько глубоко и многомерно, что заставляет говорить о реальной угрозе исчезновения русских как нации».

Наталья Иванова. Сезон скандалов. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«При падении читательского интереса к журналу и книге, к художественной словесности, к фигуре писателя, к литературному факту становится литературным фактом сам скандал (как одно из явлений литературного быта)». В частности — Войнович/Солженицын. Цитата: «Нетрезвыми глазами Войнович смотрит только на себя».

См. также: «В отличие от Войновича я убеждена, что наши беды не в выдуманном „кумиротворении”, а совсем в противоположном направлении», — пишет **Елена Чуковская** («Первый признак вандализма...» — «Новое время», 2002, № 2961, 25 августа <<http://www.newtimes.ru>>).

Светлана Иванова. «Звуку не хватает скорости света». Беседу вела Анна Саед-Шах. — «Новая газета», 2002, № 60, 19 августа.

«Ее мать Раиса Орлова и ее отчим Лев Копелев — известные правозащитники. Ее муж Вячеслав Иванов — выдающийся ученый-энциклопедист», — представляет А. Саед-Шах свою собеседницу. Говорит **Светлана Иванова**: «[Лиля] Брик любила рассказывать историю о том, как Косиор (известный большевик, бывший совдеповским наместником на Украине) наказывал своего сына. Тот очень плохо и учился, и вел себя в школе. А на любое замечание учителей кричал: „Руки прочь, я Косиор!” Тогда отец брал ремень и, лупя, говорил: „Запомни на всю жизнь — это я Косиор!” Так вот, ее муж Василий Катанян настолько привык видеть в доме выдающихся людей, что начал думать, будто Косиор — это он».

Маруся Климова. Моя история русской литературы. № 8. — «Топос». Литературно-философский журнал. 2002, 28 августа <<http://www.topos.ru>>

«Бунин в старости, признающийся в любви к Твардовскому, чем-то напоминает мне дряхлеющего Вергинского, жеманно исполняющего под фортепьяно песни на стихи советских поэтов в провинциальном театре советской эстрады».

Вадим Кожинов. Чья инициатива? — «Наш современник», 2002, № 8.

Против антисемитизма. Да.

М. Кошкин. «Горе от ума» как конфессиональная драма. — «Топос». Литературно-философский журнал. 2002, 20 августа <<http://www.topos.ru>>

«Так Чацкий — *Зарубежная (РПАЦ и РПЦЗ) церковь*: умник, впавший в ревность. Молчалин — *Православная (МП)*: приспособленец, конечно. Софья — *народная русская душа*: поле битвы и сама битва. Наконец, Фамусов — *государство*: хозяин дома и отец Софьи. Теперь сделаем паузу на несколько секунд — и читатель, я надеюсь, прокрутит в уме и оценит все богатство и полнокровие соответствий».

Константин Крылов. Последние вопросы. — «GlobalRus.ru». Информационно-аналитический портал Гражданского клуба <<http://www.globalrus.ru>>

Вопросы неправильные, *левые*: кто виноват? что делать? с чего начать? Вопросы правильные, *правые*: кто прав? чего не делать? чем закончить? «Получается, что „правое” является не только (и даже не столько) отрицанием „левого”, но еще и его дополнением до целого. <...> „Левый” дискурс *необходим* — в математическом смысле этого слова. Правый же дискурс — в том же самом смысле — *достаточен*». См. эту же статью в газете «Спецназ России» (2002, № 8, август <<http://www.specnaz.ru:8101>>).

См. также: «Современный мир устроен так, что в нем „есть чего *хотеть*”, но в нем нет ничего, что можно было бы *любить*. Более того: любовь в современном мире — это „заведомо неадекватная реакция”, и осмеивается это чувство, в общем, вполне справедливо, поскольку для него (по дефиниции) отсутствует адекватный объект. Что, впрочем, не умаляет ценности „объектов желания”. Мир недостойн сентиментальных чувств, но *есть* его, потребив все „объекты желания”, — и хорошо, и правильно, и полезно. В этом смысле маниакальное „хочу” вполне совместимо с депрессивным „а пошло оно все”...» — пишет **Константин Крылов** в своем сетевом дневнике от 30 августа 2002 года <<http://www.livejournal.com/users/krylov>>

См. также: «<...> сорокинское „Сало” и ван-зайчиковское *много томье* описывают одну и ту же альтернативную реальность, только в разные моменты времени. В обоих

случаях: китайско-русская империя, с четким распределением ролей. Китайцы доминируют в „гуманитарной” сфере, причем двояко: материально (их много) и культурно (принципы управления, законы, обычаи — все ихнее). Они же и держат масть. Русские занимаются наукой и технологиями (в особенности — опасными) и литературой (как „опасной” разновидностью культуры). <...> При этом относительно пристойная „Ордуь” конца XX века и довольно-таки крышесносный мир русско-китайской империи конца XXI (или XXII?) века отличаются довольно сильно <...>», — читаем в дневнике **Константина Крылова** от 4 сентября 2002 года <<http://www.livejournal.com/users/krylov>>

Павел Крючков. Грустная сказка Корнея Чуковского. — «ГЕО». Ежемесячный журнал. 2002, № 9, сентябрь <<http://www.geoclub.ru>>

«Ему удалось почти невозможное: стать народным писателем еще при жизни. Он это знал и очень этим гордился. Но это же его всегда очень печалило». Автор статьи кроме того, что служит в «Новом мире», еще и старший научный сотрудник Дома-музея Корнея Чуковского в Переделкине.

Алла Латынина. «Автор должен мне доказать». Беседу вела Ольга Славникова. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«Нельзя ни про что сказать, что это провально, потому что [постмодернисты] всегда могут ответить, что это вот такой прием. И поскольку авторитеты не могут существовать без критериев, то была предпринята попытка сделать таким критерием экспертную оценку. В изобразительном искусстве мы видим именно такую ситуацию. Зрители и потенциальные покупатели не понимают, как им относиться к тому или другому, пока эксперт не скажет им, что это хорошо или, наоборот, плохо. Но в литературе такое все равно не удастся. Здесь не один коллекционер покупает вещь, здесь мы имеем дело с тиражом. Вещь может висеть в музее современного искусства или быть в частной коллекции на основании экспертного мнения десяти компетентных людей. Но если даже сто критиков договорятся считать такой-то роман гениальным и он выйдет в количестве ста экземпляров, это не будет успехом. <...> Потому возвращение к сюжетности почти неминуемо».

«Логос» и его культурная экономика. Беседу вела Наталия Осминская. — «НГ Ex libris», 2002, № 28, 15 августа.

«То есть иллюзия начала 90-х — что мы издадим все, что было хорошего на Западе, и у нас философия расцветет — себя не оправдала», — говорит главный редактор журнала «Логос», издатель **Валерий Анашвили**.

Любимый президент. 2002, № 2.

Есть и такая общественно-информационная газета — учредитель и редактор В. Нестеров. Носителями информации оказываются стихотворные сочинения типа «Госдума за президента Путина!», «Слава героям ФСБ!!!» и даже «На брифинге Любви Константиновны Слизки в Госдуме». Образчик стиля: «В его Указах смысл жизни узнаем». Распространяется бесплатно.

Игорь Манцов. Нарцисс на кухне. Коллективное тело и трепетная душа советской интеллигенции. — «НГ Ex libris», 2002, № 29, 22 августа.

«Альбом [„Александр Кайдановский. В воспоминаниях и фотографиях”. М., „Искусство”, 2002] ошеломляет однородностью материала. 44 человека транслируют одно и то же восторженное упоение собой и своим сословием. Отражаются в образе главного героя лишь затем, чтобы заявить абсолютную значимость собственного интеллектуального продукта и сопутствующей жизни. Вязкая, однородная фабула. Безудержное самоутверждение коллективного тела, молекулы которого вечно настаивают на своей автономности, независимости, оригинальности».

См. также «Кинообозрение Игоря Манцова» в четных номерах «Нового мира».

Сергей Мельников. Нет мира в «Зеленом мире». За деятельностью известной экологической организации стоят интересы, далекие от природоохранных. — «Независимая газета», 2002, № 185, 4 сентября.

«<...> подозрение, что прицельные удары „Гринписа” по отдельным компаниям производятся в интересах конкурентов».

Олег Михайлов. Шестидесятники. [Фрагмент автобиографической повести «Звезда печальная»]. — «Литературная газета», 2002, № 32, 7 — 13 августа.

«Но Евшенко упустил шанс на гребне 60-х годов стать певцом нации, предпочтя этому роль интернационального легата и перманентного гастролера — проповедника советского образа жизни и светлого явления Ленина народу <...>».

«Мы не были диссидентами, мы просто игнорировали эту власть...» Разговоры Михаила Гробмана о товарищах по живописи и литературе. Беседовала Лилия Вьюгина. — «НГ Ex libris», 2002, № 31, 5 сентября.

«Я был хорошим конспиратором благодаря Гершуни. Я был очень хитрый, меня трудно было подловить. Я и „Хронику текущих событий“ передавал на Запад, и КГБ тоже не узнал. Вообще Первая волна авангарда была очень асоциальна, жила своей отдельной от советской власти жизнью. Это были „лианозовцы“, мы с Яковлевым, Зверев с Плавинским, Вейсберг, Краснопевцев. Было два типа людей, которые жили автономно, не по-советски, — художники-авангардисты и воры в законе, для них не было ни власти, ни законов». В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга дневников поэта и художника **Михаила Гробмана** — одного из основателей Второго русского авангарда. В дневнике упоминается около 1500 имен. С 1971 года Гробман живет в Израиле.

Александр Никонов. Пятый пункт. — «Огонек», 2002, № 33, август.

«<...> если человек ее [национальность] меняет, как ему выгоднее, это абсолютно нормально», — считает директор Института этнологии и антропологии РАН, доктор исторических наук, профессор, вице-президент Международного союза антропологических и этнологических наук **Валерий Тишков**.

Владимир Новиков. Смерть Ивана Карамазова. Кризис антиутопического мышления на рубеже XX — XXI веков. — «Вестник», Вашингтон, 2002, № 16, 7 августа <<http://www.vestnik.com>>

«Мир, в котором мы живем, остается „достоевским“ и таковым, по-видимому, пребудет вечно».

«<...> любой жанр по закону, открытому Тыняновым и Шкловским, когда-то съезжает с „центра“ на „периферию“, с парнасских высот — в коммерческий масскульт. Не миновала эта участь и антиутопизм <...>».

«„Кысь“ — выдающееся произведение декоративного искусства <...>».

Об упомянутом выше романе Татьяны Толстой см. также: **Мария Ремизова**, «GRANDES DAMES прошедшего сезона» — «Континент», № 112 (2002, № 2) <<http://magazines.russ.ru/continent>>

Владимир Новиков. Песни и «перепесни». Окуджавы и пародии. — «Вестник», Вашингтон, 2002, № 17, 21 августа <<http://www.vestnik.com>>

«Главный парадокс этого историко-литературного сюжета заключается в том, что <...> в пародийном дискурсе этих [60-х и последующих] лет складывается образ Окуджавы как живого классика, как прославленного поэта с неповторимым голосом и узнаваемым стилем».

Евгений Носов. Как же обидно за нас. Материал подготовили Владислав Павленко и Евгения Спасская. — «Труд-7», 2002, № 147, 28 августа <<http://www.trud.ru>>

«Но ведь [нынешние] недовольные в свое время потихонечку разрушали то, о чем сейчас жалеют <...>». Фрагменты разных выступлений, интервью последнего десятилетия. Евгений Иванович Носов скончался 13 июня на 78-м году жизни.

Вячеслав Огрызко. Этнофутуризм: спасет нас или погубит. — «Литературная Россия», 2002, № 36, 6 сентября.

Удмуртские литераторы. 20 — 30-е. Ашальчи Оки (Акилина Григорьевна Векшина). Кузубай Герд. См. также: **Виктор Шибанов** (г. Ижевск), «Зигзаги современности, или Ростки этнофутуризма в удмуртской литературе» — «Литературная Россия», 2002, № 37, 13 сентября.

Валерий Окулов (г. Иваново). Цитаты всегда лгут. О книгах и чтении в творчестве Стругацких. — «Литературная Россия», 2002, № 34, 23 августа.

«А в „Малыше“ книг нет совсем...»

Майкл О’Махони. Записки из подземки: московское метро и физкультура в 30-е годы XX века. Перевод С. Силаковой. Вступительная статья Евгения Добренко. — «Неприкосновенный запас». Дебаты о политике и культуре. 2002, № 3 (23) <<http://magazines.russ.ru/nz>>

«<...> почему не архитектура „русского классицизма“, не стиль доходных домов XIX века и не стиль модерн, а именно памятники той эпохи продолжают вызывать столь живой интерес?» (Е. Добренко). Здесь же: **Биргит Боймерс**, «Путешествия под землю: метро на экране» (перевод Е. и Н. Мельниковых). См. также сайт <http://www.metro.ru>

Олег Осетинский. Если б я был Бен Ладеном... — «Известия», 2002, № 165, 13 сентября, 26 сентября, 3 октября, 10 октября.

«Гости — по домам! — вот новый парадигм для общения народов! Просто и ясно — закрыть границы насмерть».

«Потому что основное право человека — это право жить в своем доме — с теми, с кем он хочет жить!»

«<...> вне христианской основы демократия не помогает духовному росту нации, а, напротив, стремительно снижает нравственный тонус общества <...>».

В редакционной врезке статья Олега Осетинского заранее названа скандальной и провокационной.

Александр Павлов. «Джозеф Бродски». — «День литературы», 2002, № 8, август. Памятника — на Васильевском — недостоин.

Олег Павлов. Остановленное время. — «Литературная газета», 2002, № 35, 28 августа — 3 сентября.

«У прозы девяностых остался лишь образ и подобие читателя — литературный критик».

Александр Панфилов. Момент ясности. 8 августа замечательному прозаику Юрию Казакову исполнилось бы 75 лет. — «Литературная газета», 2002, № 32, 7 — 13 августа.

«Еще в годы учения в Литературном институте <...> Казаков задумал — ни много ни мало! — возродить „жанр русского рассказа“...»

См. также: **Андрей Немзер,** «Бедный певец» — «Время новостей», 2002, № 142, 8 августа <<http://www.vremya.ru>>

Никита Петров. Список «Мемориала»-2. Беседу вела Ирина Прусс. — «Знание — сила», 2002, № 8.

«Бериевская формация [чекистов] — первая, которую мы можем назвать отрядом советской интеллигенции».

Лев Пирогов. Ольшанский и бесы. — «Топос». Литературно-философский журнал. 2002, 29 августа <<http://www.topos.ru>>

«Читал ли ты, консерватор Митя [Ольшанский], что-нибудь отвратительнее ершалаимских страниц „Мастера и Маргариты“?.. Конформный идеал Булгакова (вечный дом, венецианское стекло и виноград, поднимающийся к самой крыше) нуждается именно в таком — „либеральном“ — Иисусе <...>».

Александр Портнов. Слепой Гомер? Откуда вы это взяли? — «Знание — сила», 2002, № 7.

«Конечно, он мог ослепнуть в старости, но на его творчестве это никак не отразилось».

Правильное использование людей. Беседу вел Дмитрий Быков. — «Огонек», 2002, № 32, август.

Говорит **Андрон Кончаловский:** «Для Тарковского, например, это [эмиграция] была гибель, он и заболел от нервов, я думаю. И не надо было ему уезжать. Это его все Володи Максимов разагитировал. Я отговаривал».

«Это вам он [фильм „Андрей Рублев“] кажется лучшим. На самом деле у меня к „Рублеву“ отношение сдержанное. Это была блестящая неудача. <...> Надо было просто рассказывать историю, блюда некое единство формы... Я только в конце работы над сценарием понял, как это надо было делать. Надо было взять одну историю с колоколом, с начала до конца. Льют колокол, и ходит на фоне всего этого какой-то монах, вообще не говорящий ни слова за всю картину. Обет молчания. А уж потом, флешбеками или как хотите, можно было дать его воспоминания, татарский набег, дружбу с Феофаном... Колокол — это такая структура всеобъемлющая, он как чаша, и у нас в эту чашу все бы поместилось. Вот тогда это было бы по-настоящему хорошее кино. Но я это поздно понял...»

Александр Проханов. Гигантские лилипуты. Глава из романа. — «Завтра», 2002, № 35, 27 августа.

Последний из семи романов о генерале Белосельцеве. На этот раз — август 1991-го. «Белосельцев медленно брел по площади. В одном месте натолкнулся на огромный бюстгальтер, сшитый на самку гренландского кита, с неумелой, нитками выведенной надписью „Демсоюз“...»

Станислав Рассадин. «Не утешайтесь неправотою времени». — «Новая газета», 2002, № 60, 19 августа.

«Нет ли опасности соблазна и сегодня, когда так наглядно хамство справляет свою победу, махнув рукой на мир, на людей, утешаясь сознанием своей непонятости, то бишь — избранности?» В название статьи вынесена фраза из письма Пастернака Шаламову.

Рустам Рахматуллин. Нашедшему череп. Кто он, на троне со скампелью? — «Независимая газета», 2002, № 167, 14 августа.

«Пирогов с черепом в руке изваян на Девичьем поле перед фасадом университетских Клиник, на полпути от Института акушерства с церковью при нем к Патолого-анатомическому институту с его церковью...» См. также: **Рустам Рахматуллин**, «Облюбование Москвы» — «Новый мир», 2001, № 10; 2002, № 11.

Михаил Ремизов. «Ковчег» vs «локомотив». — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«<...> трудно даже вообразить более радикальный вызов „глобализму“, чем наш активный „изоляциялизм“, некий немногословный реалполитический опыт государства-континента, призванный всего-навсего доказать, что быть суверенным — возможно».

Павел Руднев. Депрессивный драматург. 65 лет со дня рождения, 30 лет со дня гибели Александра Вампилова. — «Время новостей», 2002, № 149, 19 августа <<http://www.vremya.ru>>

«О том, что Александр Вампилов был главным драматургом советской эпохи, еще 15 лет назад догадывались многие. И только сейчас об этом можно говорить громко и вслух. Становится стыдно думать иначе».

«В драматургии Вампилова реализм трещал по швам. Это главное, что отличало Вампилова от коллег — Розова, Арбузова и Володина. Сквозь бытовые зарисовки у Вампилова неожиданно пробивался нешуточный мистический ужас».

«Современному прочтению [Вампилова] мешает знание о советском бытии, с которым постановщики все еще упорно выясняют отношения. Вампилову как классику пока только предстоит родиться. Видимо, случится это тогда, когда опыт советской жизни перестанет ранить и постановщиков, и зрителей. Можно никогда не забывать, как выглядело кафе „Незабудка“ и чем занимались сотрудники бюро технической информации. Но должны пройти и мстительная обида на советский строй, и приступы ностальгии. Как только общество признает современность как свое единственное настоящее, в Вампилове увидят не только могильщика былой общественной формации, но драматурга, описавшего, в традициях отечественной литературы, предельные житейские страсти».

Бenedикт Сарнов. Дыхание Чейн-Стокса. — «Литература», 2002, № 32, 23 — 31 августа <<http://www.1september.ru>>

Из автобиографической книги «Скуки не было». Другой фрагмент см: **Бenedикт Сарнов**, «Таинственные лучи» — «Литература», 2002, № 13, 1 — 7 апреля.

Александр Сегень. Пасха в Иерусалиме. — «Наш современник», 2002, № 8.

Среди прочего:

«Старики-ветераны, такие же, как в этот день в любом городе России, — в мундирах времен Великой Отечественной, сверкающие орденами и медалями Советского Союза. <...>

— Дорогие друзья! Должен вам сказать. Что этот день всегда будет для нас самым святым днем календаря. В этот день, 9 мая 1945 года, Израиль победил главного врага всего человечества — фашистскую Германию, — говорил один ветеран.

— Благодаря победе над фашизмом, которую еврейский народ одержал в 1945 году, Израиль получил свою государственность, — выступал другой.

— Воюя с гитлеровцами, народ Израйля спас миллионы своих соотечественников, для которых были уготованы крематории Освенцима и Трeблинки, — утверждал третий <...>».

Сергей Секиринский. Самопознание путем просмотра телесериала. Советское общество 70-х годов в зеркале «Семнадцати мгновений весны». — «Независимая газета», 2002, № 175, 23 августа.

«Но соблазн сделать „фильм с намеками“ в условиях нарастающей ресталинизации скорее всего был чужд его сценаристу Юлиану Семенову и режиссеру Татьяне Лиозновой. <...> [Тем не менее] получился оригинальный источник, несущий в себе приметы времени и страны, его породивших».

Наталья Серова. Неформальный Судья Линч. «Преступная власть» и «народ-экстремист». — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«<...> невозможно не признать факт отвратительного отношения либеральных СМИ к своему народу. Здесь уместно напомнить о том, как изгоняли русских из Средней Азии и из республик Закавказья, а потом и из вполне российской Чечни, — и это воспринималось [такими СМИ] как должное».

Игорь Сид. Молюсь за Африку. Аксенову — 70 лет. Он все чаще думает о проблемах третьего мира. — «Независимая газета», 2002, № 172, 20 августа.

Говорит **Василий Аксенов**: «Я когда долго не бываю в России, то по возвращении одно из самых сильных ощущений от Москвы — это что я попал в огромный город белых! Да-да, здесь именно невероятно мало и черных, и азиатов по сравнению с другими большими городами мира. Таких городов, как Москва, почти не осталось в мире». Тут бы и *остановиться*, но нет: «И я думаю, что русские должны открыть пошире свои двери для людей других рас и, может быть, даже стать в авангарде этого сближения...»

См. также мемуар **Василия Аксенова** «ЦПКО им. Гинзбурга» («Московские новости», 2002, № 32) — *об одном июньском дне 1960 года*. «„Кто он такой, этот Алик?“ — спросил я Илью [Авербах]. „Это Алик Гинзбург“. — „Неужели тот самый?“...»

След Улитки. Беседовала Жанна Анциферова. — «НГ Ex libris», 2002, № 31, 5 сентября.

Говорит прозаик и эссеист **Игорь Клев**: «Хороших писателей всегда было немного — скорее десятки, чем сотни. Не всякий год прозаик пишет книгу, не всякая его книга удачна, и когда за несколько десятков авторов стали наконец бороться почти столько же издательства, я не вижу серьезных перспектив для сколь-нибудь длительной и, что важнее, качественной прозаической серии. Нельзя издать книги лучше тех, что пишутся, а издавать-то хочется, приходится изобретать, что хуже — назначать, вкладывать деньги, морочить читателям голову. Что не только подрывает репутацию серии и издательства, но и вообще отвращает людей от чтения: если эти „лучшие“, то я лучше телевизор посмотрю или журнал полистаю».

Илья Смирнов. Голубое кало. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/culture>>

«В начале 90-х годов выражение „либеральный фашизм“ воспринималось как полемическая метафора. Сегодня это медицинский диагноз».

Разные материалы отечественных и зарубежных исследователей о прошлом, настоящем и будущем либерализма см.: «Неприкосновенный запас». Дебаты о политике и культуре. 2002, № 3 (23) <<http://magazines.russ.ru/nz>>

Смысл нашей жизни — неведение. С Тадеушем Конвицким беседует Агнешка Кропельницкая. — «Новая Польша», Варшава, 2002, № 7-8 (33).

«Я знаю, что человечество вымрет, так и не узнав, зачем жило. И стараюсь перед лицом этой тайны вести себя по-мужски», — говорит знаменитый писатель в беседе для «Ньюсуик-Польша» (2002, 31 марта).

Сергей Соболев. Алхимия война света. — «НГ Ex libris», 2002, № 30, 29 августа.

«Сборник нравоучительных банальностей, каковым и является произведение Пауло Коэльо [„Книга война света“], несомненно, претендует на место в массовом сознании, освободившееся после заката звезд Кастанеды и Ричарда Баха...» *Стоит отметить, что книги Коэльо постоянно присутствуют в рейтинге книжных продаж, публикуемом газетой «Книжное обозрение».*

Александр Соколянский. Материнское право. Можно ли обвинять Русскую православную церковь в агрессивности. — «Литературная газета», 2002, № 34, 21 — 27 августа.

«Обвинять Русскую православную церковь за исключительное место в России — все равно что упрекать мать за то, что она имеет особые права на своих детей». Автор — заведующий кафедрой русского языка Северного международного университета (Магадан).

Владимир Соловьев. Болевые точки учебников истории. — «Литературная газета», 2002, № 36, 4 — 10 сентября.

«[Школьный] учебник не должен быть книгой для взрослых». Автор — доктор исторических наук, профессор.

С. Соловьев, Дм. Субботин. Необходимость скепсиса. — «Скепсис/ScepsiS», 2002, № 1 <<http://www.atheism.ru/press>>

«Мы понимаем скепсис в широком смысле: как конструктивное сомнение, как основу любых форм рационализма и прежде всего научного знания. <...> Сейчас, объ-

явив себя сторонниками строгого рационализма, вряд ли можно рассчитывать на популярность в интеллектуальных кругах. <...> Научно-просветительская ниша остается практически пустой». *Новый журнал «Скепсис» является правопреемником ранее выходившего журнала «Новый безбожник».*

См. также: **Илья Смирнов**, «Право на разум. Воспоминания и размышления в связи с международным симпозиумом „Наука, антинаука и паранормальные верования”». — «Скепсис/ScepsiS», 2002, № 1.

Дмитрий Стахов. Три этажа народной этики. — «Огонек», 2002, № 31, август.

«Язык неизбежно репрессивен. Контекст решает, что можно, а что нельзя. Конечно, очень хочется освободиться из языковой тюрьмы, говорить свободно. Но такая речь прозвучит либо как бред безумного, либо как вообще „не речь”. Полный отказ от запретов приведет к разрушению не только коммуникаций, но и вообще, извините за выражение, к концу света», — говорит **Алексей Плуцер-Сарно**, автор *словаря русского мата*. Он же: «Сделаю этот трехтомник, а там видно будет. <...> сменю тему и сделаю словарь жаргонов панков и хиппи. Потом попытаюсь сделать словарь жаргона наркоманов. Кроме того, очень интересный материал я собрал в армии, на Северном флоте. Так что можно издать словарь военно-морского жаргона. <...> В принципе, хотелось бы сделать просто новый хороший словарь русского языка, ну, эдак в пятидесяти томах. Но ежели я за двадцать пять лет сделал один словарь, то, пожалуй, не успею». См. также: **А. Плуцер-Сарно**, «Словари мертвых слов» — «Новый мир», 2001, № 3.

Игорь Таранов. Промах майора Мартынова. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2002, № 287, 1 сентября.

«Никто из пишущих *сам* этой ссоры и вызова не видел, а слышал от других».

«Зато у дуэли свидетелей было сверх меры (для такого обычно тайного для посторонних „мероприятия”)».

«Но где взять такое „хорошее” ранение? <...> Да на дуэли! Только, конечно, на *фальшивой* „дуэли” с верным другом, отменным стрелком, заранее обговорив все подробности».

Александр Тарасов. Революция и джихад, или Должны ли левые объединиться с исламскими радикалами? — «Left.ru/Левая Россия», 2002, № 17 (67), 3 сентября <<http://www.left.ru/2002/17/>> [«Left.ru» издается на общественных началах группой социалистической интеллигенции].

«Посылают какие-то провинциальные девочки в левую прессу антибуржуазные стихи — подписываются „Светлана бин Ладен” да „Оксана бин Ладен”. <...> Потому бессмысленно сливаться в экстазе с исламскими радикалами, что они — не более чем *боевое крыло исламского фундаментализма*. А исламский фундаментализм, как *любой религиозный фундаментализм*, — *сила реакционная*, то есть, если угодно, *крайне правая*. <...> Между левыми — сторонниками социализма и исламскими радикалами и фашистами — существуют не только *фундаментальные классовые* противоречия, но и *фундаментальные мировоззренческие*: противоречия между материалистами и гуманистами, с одной стороны, и идеалистами, мистиками и *потому* антигуманистами — с другой». Автор — заведующий отделом ювенологии Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс», эксперт Информационно-исследовательского центра «Панорама».

Владимир А. Успенский. Привычные вывихи. — «Неприкосновенный запас», 2002, № 3 (23).

«Подстрочные примечания из „Войны и мира” — отличный учебный материал на тему „Как не надо переводить”. Убогость языка переводов с французского особенно выпячивается на фоне языка основного русского текста романа. Не знаю, обсуждались ли когда-либо причины того, что в романе величайшего русского писателя присутствует в сносках столь плохой русский язык. Причины эти, на наш взгляд, очевидны: русские переводы французских текстов из „Войны и мира” не принадлежат Толстому. Он поручил их сделать кому-то — скажем, гувернантке или дальней родственнице (не решаюсь сказать: «Софье Андреевне» — но все же интересно бы выяснить, кому). Вряд ли он их и читал. Поскольку эти переводы появились в прижизненном издании романа, они были как бы освящены именем Толстого и, возможно, по умолчанию даже приписывались ему. Поэтому при последующих изданиях, вплоть до наших дней, никто не решался их поменять. А надо бы».

Илья Утехин. Стекло на вырез. — «Неприкосновенный запас». Дебаты о политике и культуре. 2002, № 4 (24).

Что ищут в Сети? Семерка самых популярных — по статистике «Яндекса» — запросов из одного слова: *порно, секс, sex, тр3, ротю, эротика, знакомства*. Семерка самых популярных запросов из двух слов: *детское порно, расписание поездов, эротические рассказы, эротические фото, бесплатное порно, поиск работы, прогноз погоды*. А уж из трех слов...

См. также: **Ирина Каспэ, Варвара Смурова**, «Livejournal.com, русская версия: поплачь о нем, пока он живой...». — «Неприкосновенный запас». Дебаты о политике и культуре. 2002, № 4, — о сетевом проекте «Живой Журнал».

Леонид Фризман. Чичибабин и Израиль. — «Новый ковчег». Литературно-художественный альманах. Харьков, 2002, № 1 <<http://www.davar.org.ua>>

Как и сказано, Чичибабин и Израиль.

Егор Холмогоров. На стене висит топор и простынка розовая... 70 лет назад погиб Павлик Морозов, но дело его живет в наших сердцах. — «GlobalRus.ru». Информационно-аналитический портал Гражданского клуба <<http://www.globalrus.ru>>

«Что действительно заставило мальчика двенадцати лет надеть пионерский галстук, а потом заложить сперва отца (председателя сельсовета, кстати, что в 1931 году было истощающей характеристикой подонка), а затем и многих иных родственников (почему-то исключительно родственников)? Не природная подлость русской души и не большевицкая идеология, а тот вечный конфликт, которым раздираемо любое сельское крестьянское общество, — конфликт между старшими и младшими».

Игорь Шевелев. Острова в океане. — «Время MN», 2002, № 157, 4 сентября.

«Поразительно, что среди того мусора, который, случается, издает „Вагриус“, книга [Василия Голованова] „Остров“ смогла быть изданной лишь за счет автора». См. также: **Василий Голованов**, «Видение Азии. Тывинский дневник» — «Новый мир», 2002, № 11. См. в этом номере: **Дмитрий Бак**, «Письма мелким почерком...».

Алексей Шорохов. Дорогами Апокалипсиса. Еще один взгляд на «проблему Запада и Востока». — «День литературы», 2002, № 8, август.

Победа СССР в Великой Отечественной войне объясняется действием «остаточной благодати».

Глеб Шульпяков. Автор горизонтального времени. — «НГ Ex libris», 2002, № 30, 29 августа.

Говорит критик и прозаик **Дмитрий Бавильский**: «<...> занимательность — это вежливость писателя».

«Толстые книги читали при советской власти».

«Мне жутко не нравятся такие писатели, как Маканин. Для того чтобы прочитать его книгу, требуется усилие. <...> Кто они такие, чтобы меня напрягать? Почему они считают, что имеют право меня напрягать?»

Михаил Эпштейн. Любля. — «Новая газета», 2002, № 61, 22 августа.

В русской эротической лексике не хватает стилистически нейтральных слов. Предлагается: *любля* (ударение на первом слоге, ср. «купля», «ловля») — физическая близость, плотская любовь, любовь как игра и наслаждение.

«„Любля“ — слово мягкое, как воркотня; его хочется погладить, как голубя. Любля — это „Темные аллеи“ Бунина: вуалька, перчатка, шпильки, фиалки, легкое дыхание, зеленоватый чулок, теплое розовое тело... Достоевский, Толстой, Чехов, Блок, Маяковский — все писали про любовь, и только Бунин сумел найти чарующие слова для любви. <...> А впрочем, еще Пушкин — разве он любовные стихи писал? Скорее любные. „Ходит маленькая ножка, вьется локон золотой“. Это все — „ля“, а не „овь“».

См. также: **Михаил Эпштейн**, «Эля» — «Новая газета», 2002, № 65, 5 сентября. *Эля* — это электронное письмо: «Английское „e-mail“ вдвое длиннее, чем „эля“, а главное, звучит сухо и функционально, лишено тех экспрессивных оттенков, ласковых и насмешливых, которые и составляют силу русского языка». А слово «емеля» Эпштейн предлагает сохранить для контекстов экспрессивно-отрицательных или иронических, где уместен оттенок небрежности, фамильярности и проч.

См. также: **Михаил Эпштейн**, «Лжизнь» — «Новая газета», 2002, № 69, 19 сентября.

О проекте Михаила Эпштейна «Дар слова» см. «WWW-обзорение Владимира Губайловского» в июльском номере «Нового мира» за этот год.

Галина Юзефович. Сухая проза рынка. — «Еженедельный Журнал», 2002, № 33 <<http://www.ej.ru>>

«<...> за последние пять лет средний тираж издаваемых в России книг упал с десяти до семи с половиной тысяч экземпляров».

Олег Юрьев. Новый Голем, или Война стариков и детей. — «Урал», Екатеринбург, 2002, № 8, 9.

Автор — петербургский поэт, прозаик, драматург, живущий в Германии. О его преддущем романе «Полуостров Жидятин» («Урал», 2000, № 1, 2) см. *полярные* отзывы: **Аркадий Райнер**, «Поток мыслей больного человека» — «Независимая газета», 2000, № 46, 15 марта; **Виктор Мясников**, «Два полуострова — остров» — «Новый мир», 2002, № 4.

Сергей Юшенков. «Слепая любовь к Отечеству на деле оборачивается антипатриотизмом». — «Демократический выбор». Еженедельная либеральная газета. 2002, № 37, 26 сентября <<http://www.demvyb.ru>>

«Либерал не может не приветствовать процесс превращения всего мира в единое Отечество, ибо для либерала Отечеством является весь мир и либерал делает все возможное, чтобы на его Родине утверждались великие принципы свободы, частного предпринимательства и правозаконности» (из выступления на съезде партии «Либеральная Россия», Москва, 21 сентября 2002 года).

Кирилл Якимец. Вот я, вот я превращаюсь в ничего. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«<...> всякий, кто претендует на „полюсность“, должен отдавать себе отчет в том, что для США этот второй полюс неизбежно окажется именно полюсом *зла* — поскольку полюс добра уже занят самими американцами».

«Как союзник США мы оказываемся в ряду бомжей, зато как противник представляем собой „державу № 2“ (что переводится как „враг № 1“). С главным врагом считаются больше, чем с неглавным союзником <...>».

За родимый Мордор!!! Ура-а-а!!!

Кирилл Якимец. Квасной патриотизм как политический фактор. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Современный русский человек мечется между патриотизмом и космополитизмом — не столько в поисках „разумного, доброго, вечного“, сколько наоборот — стремясь от всего этого „доброе“ скрыться подальше. Для откровенного цинизма не всем хватает интеллектуальной смелости, но мнимая борьба двух (мнимых же) ценностных систем позволяет (тайно!) сохранить русскому человеку — крайнему индивидуалисту, способному на коллективизм либо под дулом, либо в порыве массовой (военной, голодной) истерии».

Кирилл Якимец. Свиное рыло в калашном ряду... Точнее, на книжном развале. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Смысл государства состоит в насильственном управлении, а культурное поле — одно из самых главных полей. Поэтому вмешательство государства в „творчество“, ограничения „свободы слова“ — все это неизбежно и необходимо не только в контексте СМИ (которые свободными не бывают по чисто экономическим причинам), но и в контексте литературы. <...> У нас же пока всерьез занимают только средствами массовой информации, полностью игнорируя тот факт, что многие писатели готовы сотрудничать с властью. Не из страха, а просто за деньги. Главное, не жалеть денег на управление литературой — и не допускать к этому управлению думских кретинчиков или недоделанных юных карьеристов. Серьезным делом должны заниматься профессионалы».

Кирилл Якимец. Русский август — начало мировой осени. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Терроризм исламского типа, таким образом, оказывается вариантом „молодежно-го бунта“...»

Кирилл Якимец. Против «площадки». — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Впрочем, многие, казалось бы вполне грамотные, люди уже давно всерьез *верят в науку*».

Лео Яковлев. «Двадцать пятый кадр» в романе «Братья Карамазовы». Глава из книги «Достоевский: призраки, фобии, химеры». — «Новый ковчег». Литературно-художественный альманах. Харьков, 2002, № 1.

Какую такую книгу «про жида этого» читала юная Лиза Хохлакова? Допустим, «Гражданин», 1878, № 2.

Составитель **Андрей Василевский** (www.avas.da.ru).

«Вопросы истории», «Вопросы литературы», «Вопросы философии»,
«Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Наше наследие», «Октябрь»

Виктор Астафьев. Без выходных. Из писем Валентину Курбатову. — «Дружба народов», 2002, № 8.

«<...> вытаскивал людей из петель; видел на Житомирском шоссе наших солдат, разрезанных в жидкой грязи до того, что они были не толще фанеры, а головы так

расплющены, что величиной с банный таз сделались, — большего надругательства человека над человеком мне видеть не доводилось. Отступали из Житомира, проехали по людям наши машины и танки, затем наступающая немецкая техника, наступая в январе, мы еще раз проехали машинами и танками по этим густо насоренным трупам. А что стоит посещение морга, где лежал задушенный руками женщины (!) поэт Рубцов (я был в морге первым, ребята, естественно, побаивались, а мне уж, как фронтовику, вроде и все равно...). Привычен!» (1976).

«Ахти, ахти, бес-от так вокруг и вертится! Так и тянет к легкой жизни, к воровству, плутовству и духовным прегрешениям. А ты вон подвигам требуешь! И тоже духовных. Может, плюнуть на тебя и поддаться бесу?! Ахти, ахти, а тут лето, ягоды поспели, грибы наросли, рыба клюеть... бабы ходят кругом, жопами вертют! Ведь зачем-то они имя вертют же?! Как ты думаешь, зачем?» (1982).

«<...> одиночество никакое меня не мучает, даже, наоборот, радуюсь, когда удается побыть с самим собой. От народа и рад бы оторваться, да передохнуть не удастся. А народ становится все хуже и подлей, особенно наш полусельский, полугородской — междомок ему имя» (1994).

«<...> и Курицын, и оппоненты евоные как бы и не замечают, что литература от литературы приняла массовый характер и давно уже несет в своем интеллектуальном потоке красивые фонарики с негасимой свечкой, обертки от конфеток, меж которых для разнообразия вертится в мелкой стремнине несколько материализованных щепок, оставшихся от строившегося социализма, и куча засохшего, натурального говна. <...> начинается самопоедание, разжижение крови, обесточивание мысли, обессиливание слова и смерть, которую жизнерадостные критики в силу своей беспечной, святой молодости, конечно же, не чувят и не понимают, да и не надо им этого понимать, как нам, молоденьким солдатакам-зубоскалам, на фронте не дано было понять, что его, солдатака, тоже могут умертвить».

См. также переписку Виктора Астафьева и псковского критика Валентина Курбатова: «Огонек», 2002, № 32, август. Полностью переписка выйдет в Иркутске в издательстве «Издатель Сапронов» (том самом, где вышел последний сборник писателя «Пролетный гусь»).

Дмитрий Бобышев. Я здесь. — «Октябрь», 2002, № 7.

Фрагменты книги «Человекотекст». Здесь о Давиде Даре, Геннадии Шмакове, Евгении Рейне, Белле Ахмадулиной.

«Наш приход (визит вместе с Рейном к Ахмадулиной во времена ее жизни с Евшенко, начала ее славы. — П. К.) был данью признания именно ей, и хорошо, что она оказалась одна: мы смогли это высказать. И мы застали ее, может быть, в последние „пять минут“ ее литературной жизни, когда она еще была для нас „своей“ — такой же, как мы. „Они“, то есть официальная, организованная и в сущности своей сервильная, а стало быть, бездарная литература, старались загнать нас в самодеятельность, помещая куда-то в один ряд с выпиливанием лобзиком и уроками игры на баяне. Мы возмущенно сопротивлялись, и Ахмадулина, казалось, была с нами, а Евшенко, хоть и двусмысленно и с оговорками на талант и прогрессивность, все-таки с „ними“. Но эта граница иронически исчезала где-то там, в комканой пестроте одеял и подушек супружеской комнаты».

Начало см.: «Октябрь», 2001, № 4.

Константин Ваншенкин. В мое время. Из записей. — «Знамя», 2002, № 8.

Запись называется «Поэма без героя»:

«В течение ряда лет регулярно *занятие* Ахматовой, ее изощренный, уплотненный пасьянс». Всё. Действительно, чем еще на старости заниматься, когда годы идут? В течение ряда лет.

Владимир Гандельсман. Новые стихи. — «Октябрь», 2002, № 8.

Первое стихотворение называется «Развивая Бродского»: «Не надо обо мне. Не надо ни о ком. / Просили ведь тебя. Увы. Все суесловишь. / Есть блюдце в уголке с прокисшим молоком. / Молчи себе, лакай, когда мышей не ловишь». Ну и так далее: «ах, памятник вот-вот откроют грызуну словарного запаса» и «льни к посмертной славе» и прочее в том же духе. Несведущих отсылаем к стихотворению Бродского «Письмо в оазис», к соответствующему мемуарному эссе Александра Кушнера и разно(одно)образным воспоминателям.

...Вот и одаренный поэт Гандельсман — вслед за владимирами соловьевыми и викторами топорowymi — пришел забить свой гвоздь. Он, очевидно, думает, что развивает Бродского, а развивает-то, как я вижу, к сожалению, лишь себя, безгрешного. Даже злоба (пардон, праведный гнев) его не спасает в этом тщательно зарифмованном фельетоне. Как жаль, как же за вас стыдно. Цитату из Пушкина, про кормилицу и зубки, я приводить не буду, ни к чему.

К. И. Глобачев. Правда о русской революции. Воспоминания бывшего начальника Петроградского охранного отделения. — «Вопросы истории», 2002, № 7, 8.

«Протопопов, как я уже говорил, в управлении министерством ничего не понимал, но очень был горд тем, что выбор для замещения такого ответственного поста в России пал на него; это льстило его самолюбию. Не менее его радовало и то, что, будучи министром внутренних дел, он в то же время был главноначальствующим над Отдельным корпусом жандармов; он даже поспешил сшить себе жандармскую форму. Смешно было видеть действительного статского советника Протопопова в шпорах, генеральских чакчирах, в офицерском пальто с красной подкладкой и гражданскими погонами. Появление его в этой форме в Государственной думе вызвало общие насмешки, после чего он носил эту форму только дома».

Кстати, очень интересно и, как кажется, достоверно описан «распутинский сюжет»: от вознесения до убийства.

О. В. Головникова, Н. С. Тархова. «И все-таки я буду историком!» О новых следственных материалах по делу Льва Гумилева и студентов ЛГУ в 1938 году, найденных в российском государственном военном архиве. — «Звезда», 2002, № 8.

На мой взгляд, это стержень номера. Впервые представлены *оба* письма Ахматовой Сталину — и 1935, и 1939 года. О втором письме Ахматова никогда никому не говорила. Описание (по документам и воспоминаниям) поведения властей в отношении поэта — все тот же дьявольский спектакль, прихотливый и предсказуемый одновременно.

Денис Гуцко. Апсны букет. Вкус войны. — «Знамя», 2002, № 8.

Грузинско-абхазский конфликт. Кровь, пот, слезы, безумие.

«Вот — потрогайте эту чужую войну».

Владимир Дегоев. Трагедия как диагноз. — «Дружба народов», 2002, № 8.

«России следует *помочь Соединенным Штатам ужать пространство их господства* (ну не мило ли? — П. К.) с минимальным ущербом для всеобщей безопасности. А это значит — соблюдать крайнюю осмотрительность, избегая резких и угловатых движений. Стоит приложить усилия к тому, чтобы ослабление американского могущества и восстановление российского стали сообщающимися сосудами, чтобы на просторах бывшего Советского Союза и за его границами не образовался вакуум влияния с перспективой заполнения его деструктивными и безответственными силами. Оправившаяся от потрясений, стабильная, предсказуемая демократическая Россия выгодна всем вменяемым государствам на Западе и Востоке. Без ее деятельного участия немыслимо построение устойчивого миропорядка. Но статья вровень с такой грандиозной задачей предстает ей самой. Сделать это за Россию никто не в состоянии».

Арнольд Каштанов. Миф об эгоизме. — «Дружба народов», 2002, № 8.

«Душа человека, которую мистики полагают божественным подарком, легко определяется в психофизическом и даже биохимическом плане. Ее можно выразить и химической формулой: это и есть немотивированная тревога человека, которая „приводит организм как целое в состояние беспокойства“. По ее приказу собирают, ищут, хранят, улучшают то, что есть, и воображают то, чего нет. Сочиняют стихи и музыку. <...> Материальное — аккумуляция духовного. И в этом смысле все материальные блага являются частью нашей души. Я испытываю неловкость, относя накопительство и стяжательство к проявлениям духовности, в то время как их называют проявлениями бездуховности, но это неудобство лишь семантическое, связанное с определением понятия. У моего определения души одно лишь преимущество: оно может быть выражено химической формулой».

Так и вижу новую главу в школьном учебнике по химии.

Л. Коган. «И внял я неба содроганье...» О философии пушкинского «Пророка». — «Вопросы литературы», 2002, № 4, июль — август.

Относительно новая трактовка «диспута между Пушкиным и Филаретом». «Пушкин не менее Филарета чуток к тайнописи Бытия. Однако их представления о жизни существенно различны. У первого — бурная динамика становления, у второго — фатально предустановленный статичный архетип». Много — о противоестественности распространенного в критике «филаретизирования» поэта и «пушкинизирования» митрополита. И об отношении к свободе, естественно.

Б. Крутиер. Крутые мысли. — «Вопросы литературы», 2002, № 4, июль — август. «Если яйца учат курицу, значит, они крутые».

Ловкая сентенция профессионального изготовителя парадоксальных афоризмов, многолетне работающего в нелегком жанре, напомнила слышанную мной реплику великого языковеда Дитмара Эльяшевича Розенталя. Пятнадцать лет тому назад этот похожий на сказочного гнома человек говорил студентам МГУ: «Вы, конечно, думаете,

что знаете русский язык? Не втирайте мне пенсне!» И через паузу с удовольствием объяснял, что «втирать очки» — это выражение из жаргона карточных шулеров. Очки на картах.

Виктор Куллэ. Литературный текст, или Почти без брезгливости. Стихи. — «Знамя», 2002, № 8.

Сыгравший соло на душе,
потешив милых дам,
как прежде, мается *chercher* —
но не идет *la femme*.
У ней семья, карьера, цель;
ее страшит молва,
ей просто страшно... И в конце
концов — она права.

Н. Лейдерман. Траектории «экспериментирующей эпохи». — «Вопросы литературы», 2002, № 4, июль — август.

«Видимо, парадигма социалистического реализма не так проста и однозначна, как полагают ее современные критики». Внимание, сейчас и ответ: «<...> декорум, маскируемый под „типические обстоятельства“, порой запечатлевал эти самые обстоятельства, идеализация иногда становилась средством такого экспрессивного освещения явлений, которое проникало в их эстетическую сущность. Да и само направление соцреализма как историко-литературная система, включающая в себя жанровые и стилевые процессы, при всей своей „зажатости“ имело некоторый „люфт“, „зыбь“ на границах».

Единственным выдающимся, художественно совершенным произведением соцреализма здесь полагают «Василия Теркина».

Афанасий Мамедов. Фрау Шрам. Роман. — «Дружба народов», 2002, № 8, 9.

Интеллигентный бакинец в Москве девяностых годов. Очень доверительная, почти дневниковая беллетристика. Эпизод бритья перед зеркалом (и струящихся при том мыслей), — как подслушал да подсмотрел, ей-Богу.

Б. А. Нахапетов. Придворная медицинская часть в России. XIX век. — «Вопросы истории», 2002, № 8.

«Предупреждение заноса заразных болезней в Августейшую семью, как указывалось в одном из отчетов Придворной врачебной части, „дело <...> очень трудное и не всегда выполнимое, особенно если принимать во внимание условия придворной жизни и громадное число лиц, занимающих самые разнообразные социальные положения и имеющих доступ во дворцы?».

Письма Д. Я. Дара к В. А. Губину. Публикация, вступительная заметка и примечания Владимира Губина. — «Звезда», 2002, № 8.

«Именно эта особенность, умение увидеть себя и свои страдания со стороны, помогла мне перенести войну, блокаду, гибель семьи. В самые тяжелые минуты — когда я лежал раненый на поле боя, когда я мерз и голодал в окопах, когда все мое существо возмущалось и негодовало против того, что мною командуют люди, не заслуживающие моего уважения, я умел сохранить какую-то такую точку зрения, что все окружающее представлялось мне громадной героической трагедией, и я сам представлялся участником этой трагедии. <...> Я не знаю, поймешь ли ты это чувство, и поймешь ли ты, какое великое благо обладать этим чувством и что только оно и отличает художника от не художника, но я думаю, что ты все это поймешь и уже понимаешь».

В. Порудоминский. Энергия просвещения. Юрий Овсянников. Наброски портрета. — «Вопросы литературы», 2002, № 4, июль — август.

Памяти замечательного писателя, редактора и издателя. Настоящего подвижника — страстного и страдающего.

Оказывается, именно благодаря Юрию Максимилиановичу Корней Чуковский расширил для будущего издания «Чукоккалы» свои эссе о Мандельштаме и Пастернаке (полностью они увидели свет лишь в 2000 году). Вслед за В. Порудоминским об Овсянникове вспоминает А. Пятигорский.

Николай Работнов. Иосиф Виссарионович меняет профессию. Метаморфозы подхода к избранию государственного насилия в русской литературе. — «Знамя», 2002, № 8.

«Я категорически отказываюсь искать хоть какие-то бездны в личностях Гитлера и Сталина и никому не советую этого делать. Их основная черта — плоскодумие, абсолютное отсутствие того измерения, в которое нас все чаще приглашают углубляться. Страшнейшими злодеями становятся прозаичнейшие, ничтожные пошляки, и эта пара не исключение. <...> Амебы с амбициями».

Объекты анализа — роман Дмитрия Быкова «Оправдание», а также «Палисандрия» Саши Соколова и «Голубое сало» Владимира Сорокина.

Разбирая «<НРЗБ>». Отклики на роман Сергея Гандлевского. **Дмитрий Кузьмин.** О любви и неловкости. — «Дружба народов», 2002, № 8.

«Но, вероятно, начав эти заметки с признания в любви поэту Гандлевскому, я предупредил тем самым о выходе за рамки критического дискурса, — а потому, возвращаясь к субъективистски-читательскому взгляду и рискуя повториться, скажу в завершение: я, допустим, люблю Сергея Гандлевского. Но одно дело — любить того, кто говорит тебе о том, как слаб, ничтожен *он сам* (и, домысливаешь ты от себя, ты сам вместе с ним). И совсем другое — того, кто рассказывает, как слабы и ничтожны *такие, как он сам* (и ты заодно)».

К. Э. Разлогов. Экран как мясорубка культурного дискурса. — «Вопросы филологии», 2002, № 8.

«<...> Новый этап, на который сейчас выходит и кинематография, и телевидение, и видеокomпьютерные системы, оказывается ведомым с помощью компьютеров. Первыми идут компьютеры, потом за ними — телевидение, а по стопам телевидения следует кинематограф. Еще 20 — 30 лет назад все было наоборот. <...> Как долго игра будет занимать ведущее положение в экранной культуре, сказать трудно. Думаю, что, может быть, и недолго, потому что в жизни, при том, что игра имеет огромное значение, она не занимает ведущего места».

Мария Ремизова. Война внутри и снаружи. — «Октябрь», 2002, № 7.

«Времена неумолимо изменились, и мы, как и положено, столь же сильно изменились вместе с ними. Военная история *народа* на сегодняшний день, видимо, закончена. Потому что об этой истории сказано уже достаточно. В ход пошла не написанная пока на русском языке *личная история индивидуума*, волею не зависящих от него обстоятельств заброшенного в кровь и смерть. Потому что теперь человек — не только на войне, вообще всюду — ощущает себя не столько частью общего, сколько отдельным, почти не общающимся с другими космосом и разглядывает — соответственно — мир, заключенный в нем самом. Это не хорошо и не плохо. Это — данность, с которой литература обязана считаться. Именно поэтому *настоящая* литература о войне стала теперь очевидно другой. Нетрадиционной. Не укладывающейся в рамки привычных представлений о русской военной прозе. Так случилось, что европейцы прошли этим путем несколько раньше. Ничего страшного. Русская литература всегда сперва отстает. А потом нагоняет. И так нагоняет, что ее — потом — уже никому никогда не догнать».

Русский антикварный рынок на рубеже XX — XXI веков. Беседу вел В. П. Енисерлов. — «Наше наследие», 2002, № 62.

Говорит **Н. Д. Лобанов-Ростовский:** «Деньги, которые были заплачены на аукционах „Сотбис“ и „Кристис“ в Лондоне и Нью-Йорке за Шишкина и Айвазовского, скорее отражали не художественные качества этих произведений, которые, безусловно, присутствуют, а „динамические стереотипы“ мышления богатых русских, покупающих работы в этом жанре. Мне кажется, что знакомые всем шишкинские мишки были в каком-то смысле символом устойчивой России и нормального детства с обязательным визитом в Третьяковку. Или Айвазовский, живущий уже не как художник, а как многомиллионная копия самого себя, знакомый всем и каждому. От музеев до станционных буфетов и вырезок из журнала «Огонек» в коммуналках или школьных классах. Почему, собственно, советская власть так горячо любила Шишкина и Айвазовского, скорее всего, останется тайной века. Но осмелюсь предположить, в этой части прошлого — детства с Третьяковкой и конфетными обертками — и таится один из резонансов, почему именно за этих художников, объективно хороших, платят огромные, не соответствующие живописным реалиям деньги».

А. Н. Сахаров. О новых подходах к истории России. — «Вопросы истории», 2002, № 8.

Очередной ретроспективный очерк, на сей раз принадлежащий перу директора Института российской истории РАН. В целом ученый настроен оптимистично, у российской историографии, по его мнению, хорошее будущее. Строй статьи похож на путь канатоходца. Тем, кто сетует на забвение истории «трудящихся классов», разъясняется, что «изучение рабочего движения в России, российского радикализма и декабризма продолжается», может, не так гипертрофированно, как раньше. И через два абзаца — оговорение: «До сих пор не поставлены кардинальные вопросы о реальном значении места народных масс — рабочих, ремесленников, крестьян в российской цивилизации, в создании и развитии общечеловеческих ценностей, которые, как показал опыт истории, в том числе и советского общества, являются категориями непреходящими». Баланс. Идем дальше.

С высоты престола. Из архива императрицы Марии Федоровны (1847 — 1928). Публикация, сопроводительный текст и комментарии Ю. В. Кудриной. — «Наше наследие», 2002, № 62.

Датская принцесса Мария София Фредерика Дагмар (Мария Федоровна — после перехода в православие), ставшая супругой императора Александра III и матерью последнего российского императора Николая II, прожила в России более пятидесяти лет. Публикуются ее письма, дневники, море фотографий. О величии императрицы, ее уме, интуиции ходили и ходят легенды. Как жаль, что до этого номера журнала не дожил Юрий Владимирович Давыдов, ведь императрица Мария Федоровна — героиня его последнего произведения...

Вот конец ее письма 1917 года сыну в Тобольск (единственного сохранившегося письма этого периода): «6 дек<абря> (день именин Николая II. — П. К.) все мои мысли будут с тобою, мой милый, дорогой Ники, и шлю тебе самые горячие пожелания. Да хранит тебя Господь, пошлет тебе много душевного спокойствия и не даст России погибнуть! Крепко и нежно тебя обнимаю. Христос с вами. Горячо любящая тебя твоя старая Мама».

Ф. А. Степун. Ленин. Перевод с немецкого А. А. Ермичева. — «Вопросы философии», 2002, № 8.

Работа из наследия философа и публициста. Читается как поэма.

Из вступительной статьи А. А. Ермичева: «На все утверждения об отрыве интеллигенции от народа, послужившем будто бы причиной революции, Ф. А. Степун отвечает парадоксально и внятно: „отрыв“ (он берет это слово в кавычки! — А. Е.) интеллигенции от национально-религиозных корней России вовсе уже не так антинационален и безрелигиозен... Нельзя не видеть, продолжает Ф. А. Степун, что „западническое <...> отрицание Руси, начатое Петром и законченное Лениным, — явление Западу неизвестное, явление типично русское”».

Н. Трауберг. Жизнь как благодарность. Беседу вела Е. Калашникова. — «Вопросы литературы», 2002, № 4, июль — август.

«— Как вы считаете, верна ли фраза Короленко: „Человек рожден для счастья, как птица для полета”?»

— Не думаю. Пушкин сказал очень верно: „На свете счастья нет, но есть покой и воля”. И он прав — в Писании счастье не упоминается. <...> Счастье очень непрочное. А покой и воля — и внутренне, и внешне — гораздо прочнее. У Христа просят именно покоя, а не счастья. Воля как свобода — великое счастье. Вудхауз и Честертон — люди большого внутреннего покоя и свободы».

В. П. Шестаков. Философия и теннис. — «Вопросы философии», 2002, № 8.

Без комментариев и цитат.

Нет, не могу: «Современная литература о теннисе разнообразна по характеру и системе ценностей, но в ней сохраняется стоическая тема, которая так характерна для европейской традиции. В ней теннис — метафора героической борьбы человека с судьбой».

С нетерпением ожидаем исследований про городки и боулинг.

А. Г. Шляпников. За хлебом и нефтью. — «Вопросы истории», 2002, № 7, 8.

Напоминающие своей дотошностью (цифры, документы) длинный отчетный доклад воспоминания народного комиссара труда рисуют события 1917 — 1918 годов в Екатеринодаре и Ставрополе. «Во время беседы представители союза мукомолов выразили свою готовность работать на пользу Советского государства и просили только трезво на них смотреть и не зачислять их в ряды врагов».

В. Шкловский. Письма внуку. Вступительная заметка и публикация Н. Шкловского-Корди, комментарии Н. Белосинской. — «Вопросы литературы», 2002, № 4, июль — август.

«Заслуженный внук 50-ти лет», как аттестует себя публикатор, пишет во вступлении, что «каждый из нас — внук или внучка, а значит, именно вам писал Виктор Борисович Шкловский».

Письма теплые и взволнованные, часто кажущиеся посланиями самому себе. Почти в каждом из них совет (завет, просьба, требование) — учить языки. Вот — из Италии (1967): «В среду полетим в Москву. Устал. Вчера встретил в трактории очень известного режиссера и поэта Пазолини. И познакомился с ним. В его новой трагедии я оказался хотя и не героем, но темой речи героя. Очень мешает незнание языка. Все ругают Вавилонское столпотворение, при котором, по библейскому мифу, бог смешал языки. Пока учи языки».

«Я сжигал огромный талант в печке. Ведь печь иногда приходится топить мебелью» (1969).

«Мы в искусстве и науке не дрова, а спички, зажигающие костры.

Так береги руки от ожога.

Я очень люблю тебя, мальчик.

Дед» (1971).

Н. Шмелев. «Мотив был неистребимое любопытство». Беседа вела Т. Бек. — «Вопросы литературы», 2002, № 4, июль — август.

«<...> Холодрыга, тарелка включена, мы с мамой под всяким тряпьем спасаемся, и голос Левитана: „Войска под Сталинградом перешли в наступление...” А еще... неприятно вспоминать, но была и такая вещь: дикое нашествие клопов на Москву. Это признак умирающего мира, когда клоп свирепеет. И — ножки диванов и кроватей, поставленные в тазики с водой; бензин-керосин; обливания всего горячей водой...»

«Вот Юру Давыдова я знал плотно, его проза была колоссальной заслугой в нашей литературе, исключением, которое „большевики” каким-то образом прохлопали. Конечно, все вышли из „Бесов”, но его „Глухая пора листопада” — это самобытное продолжение „Бесов” на своем, на новом витке...»

«А вообще Господь его (Солженицына. — П. К.) хранит — столько пережить и так сохраниться до 85-ти. Значит, небеса его уполномочивают на что-то особое».

Составитель Павел Крючков.



АЛИБИ: «Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста: <...> если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации» (статья 57 «Закона РФ о СМИ»).



ДАТЫ: 29 декабря (10 января) исполняется 120 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1882/1883 — 1945); 21 декабря (3 января) исполняется 100 лет со дня рождения Александра Альфредовича Бека (1902/1903 — 1972).



АДРЕСА: сайт движения «Идущие вместе»: <http://iv.com.ru>, <http://www.idushie.ru>



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Декабрь

15 лет назад — в № 12 за 1987 год напечатана подборка стихотворений Иосифа Бродского «Ниоткуда с любовью».

25 лет назад — в № 12 за 1977 год напечатаны «Главы из блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина.

40 лет назад — в № 12 за 1962 год напечатана повесть Александра Яшина «Вологодская свадьба».

75 лет назад — в № 12 за 1927 год напечатана поэма Ильи Сельвинского «Ход коня».

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»

ЗА 2002 ГОД



РОМАНЫ. ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

Анатолий Азольский. Диверсант. Назидательный роман для юношей и девушек. III — 11; IV — 12.

Борис Акунин. Гамлет. Версия. Трагедия в двух актах. VI — 65.

Аркадий Бабченко. Алхан-Юрт. Повесть. II — 12.

Игорь Булматы. Самтредиа. Маленькая повесть. V — 98.

Михаил Бугов. В карьере. Рассказ. VII — 110.

Алексей Варламов. Падчевары. Повествование в рассказах. II — 84; Присяга. Рассказ. VIII — 45.

Андрей Волос. Мупоон. Рассказ. I — 78.

Дмитрий Галковский. Друг Утят. Сценарий фильма. VIII — 57.

Василий Голованов. Видение Азии. Тывинский дневник. XI — 91.

Нина Горланова. Рассказы. IX — 117.

Нина Горланова, Вячеслав Букур. Два рассказа. II — 71.

Ева Датнова. Война дворцам. Четыре года. II — 54.

Борис Екимов. На хуторе. Рассказы. V — 55; Рассказы. X — 14.

Владимир Лорченков. Дом с двумя куполами. Рассказ. IV — 92.

Мария Лосева. Садовое товарищество. Рассказы. VII — 84.

Владимир Маканин. Неадекватен. За кого проголосует маленький человек. Из книги «Высокая-высокая луна». V — 13.

Анна Матвеева. Восьмая Марта. Повесть в диалогах. III — 107.

Вл. Новиков. Высоцкий. Главы из книги. I — 94.

Ирина Поволоцкая. После меня свет в доме стоит. Из записок «Прихожане». Между тем. Конспекты. VIII — 11.

Ирина Полянская. Горизонт событий. Роман. IX — 12; X — 38.

Валерий Попов. Очаровательное захолустье. Повесть. I — 13.

Евгений Рейн. Призрак среди руин. Повествование в рассказах. X — 110.

Роман Сенчин. Нубук. Повесть. XI — 12; XII — 35.

Алексей Славовский. Рассказы. Из «Книги для тех, кто любит читать». XII — 100.

Ирина Стекол. Рассказы для Анны. XII — 12.

Виктория Токарева. Своя правда. Повесть. IX — 65.

Людмила Улицкая. Цю-юрихь. Рассказ. III — 86.

Сергей Шаргунов. Ура! Повесть. VI — 11.

Дмитрий Шеваров. Течет река Волга. Рассказы. IV — 104.

Галина Щербакова. Ангел Мертвого озера. Истории про живых, полуживых и уже совсем... VII — 13.

Александр Яковлев. Домашние люди. Современная история. XI — 73.

СТИХОТВОРЕНИЯ. ПОЭМЫ

Людмила Абаева. Сны и птицы. X — 107.

Владимир Алейников. Вызванное из боли. VI — 7.

Максим Амелин. В огонь из омота. VII — 7.

Сергей Белорусец. Из белой тьмы. XI — 69.

Ефим Бершин. Обыкновенный снег. IX — 113.

Дмитрий Бобышев. Другой художник. IV — 7.

Сергей Васильев. Свет чернозема. VII — 80.

Дмитрий Воденников. Ягодный дождь. I — 129.

Татьяна Вольтская. Яблоки Гесперид. VII — 105.

Владимир Жилин. Знатоки заката. III — 119.

Владимир Захаров. Водяной гиацинт. IX — 7.

- Ольга Иванова. Вольный посох. XI — 7.
- Юрий Казарин. Без нажима. X — 131.
- Виталий Каплан. Звезды и яблоки. II — 80.
- Вероника Капустина. Благодаря луне. IX — 61.
- Евгений Карасев. Знобкая память. X — 34.
- Светлана Кекова. Тень тоски и торжества. IV — 100.
- Бахыт Кенжеев. Лазурная полынья. V — 93.
- Анатолий Кобенков. Откуда свет... XII — 96.
- Григорий Корин. Хлебом и солью. IV — 111.
- Григорий Кружков. Другая планета. II — 7.
- Юрий Кублановский. Yesterday. V — 119.
- Дарья Кулеш. Живые вещи. Предисловие Вл. Новикова. VIII — 40.
- Виктор Куллэ. Чистый лист. VIII — 53.
- Александр Кушнер. Путешествие. I — 89; Сквозь ночь... X — 7.
- Владимир Леонович. Изнанка льда. XII — 31.
- Инна Лиснянская. В пригороде Содома. I — 7.
- Игорь Меламед. Гроздь воздаянья. II — 68.
- Лариса Миллер. Цветные мелки. III — 103.
- Константин Мозгалов. На медовой оси. Вступительное слово Юрия Кублановского. VII — 120.
- Анатолий Найман. Прячься в свою же тень. III — 82.
- Илья Плохих. Глаза не врут. I — 75.
- Михаил Поздняев. Не остыв от плача. VIII — 7.
- Татьяна Полетаева. Скошенная трава. V — 52.
- Сергей Попов. Ранний огонь. XI — 114.
- Ольга Постникова. Седая полынья. III — 7.
- Елена Пудовкина. Собрание вод. IV — 89.
- Алексей Пурин. Ледяной улов. IX — 124.
- Евгений Рейн. Прицел. V — 7.
- Владимир Салимон. Между делом. XI — 86.
- Евгения Смагина. Города. XII — 7.
- Александр Тимофеевский. Запах сада. II — 51.

Олег Хлебников. Осенний E-mail бича. VI — 113.

Валерий Черешня. Сиротство волхвов. XII — 109.

Александр Шаталов. Продолжение жизни. VI — 61.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Борис Екимов. Люди и земля. VIII — 104.

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

Ася Адам. Три дня июня 1941. Минск. XII — 131.

Михаил Ардов. Книга о Шостаковиче. V — 124; VI — 118.

Константин Ливанов. Без Бога. Записки доктора (1926 — 1929). Публикация, предисловие и примечания О. Ю. Тишиновой. I — 157; II — 129.

Алексей Машевский. Мысль, разомкнувшая круг. III — 146.

«Откликаюсь фрагментами из собственной биографии...» Эпизод переписки Г. П. Струве и В. В. Вейдле. Публикация, подготовка текста, предисловие и комментарии Е. Б. Белодубровского. IX — 133.

«Писатель — это тот, кому писать дается всего труднее». Письма И. С. Шмелева к Н. Я. Рошину. Публикация, предисловие и комментарии Л. Г. Голубевой. IX — 128.

Григорий Померанц. Государственная тайна пенсионерки. V — 141.

А. А. Реформатский. Из «дебрей» памяти. Мемуарные зарисовки. Публикация, подготовка текста, предисловие и примечания М. А. Реформатской. XII — 113.

Корней Чуковский. К вечно-юному вопросу. Об «искусстве для искусства». Подготовка текста, вступительная статья и комментарии Евгении Ивановой. Послесловие Павла Крючкова. VIII — 112.

Дмитрий Шеваров. Жизнь окнами в сад. Памяти хранителя. VII — 123.

Города и годы

Рустам Рахматуллин. Облюбование Москвы: Кузнецкий Мост и выше. XI — 118.

Леонид Шейнин. Полуторамесячная столица — Шлотбург. XI — 133.

ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

Владимир Борейко. Дикая природа: любите или не приближайтесь. Охрана природы как культурное дело и религиозный опыт. VII — 148.

Максим Кронгауз. А был ли кризис? IV — 123; Язык мой — враг мой? X — 135.

Валерий Сендеров. Просуществовать ли российское образование до 2004 года? IV — 114.

Татьяна Чередниченко. Онкология как модель. I — 146; Саундтреки. V — 152; Силовики. IX — 160; Праздничность. XI — 155.

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ.
ПОЛИТИКА

Сергей Бочаров. «Ты человечество презрел». Об одном сюжете русской литературы и его актуальности. VIII — 141.

Рената Гальцева. Тяжба о России. На рубеже столетий. VII — 133; VIII — 123.

Владимир Губайловский. Строгая проза науки. XII — 137.

Игорь Ефимов. Краткое перемирие в вечной войне. IV — 130.

Юрий Каграманов. Какое евразийство нам нужно. III — 123.

Дина Мальшева. Ислам в современном мире. II — 115.

Александр Неклесса. Трансмутация истории. 11 сентября 2001 года в исторической перспективе и ретроспективе. IX — 143.

Георгий Хазагерев. Персонасфера русской культуры. I — 133.

ОПЫТЫ

Сергей Боровиков. В русском жанре-23. XI — 166.

Анатолий Найман. Поэтическая непреложность. VII — 167.

Алексей Плущер-Сарно. «У меня не в Мавзоле, не залежишься!» Политологические заметки о смерти. IV — 140.

Любовь Сумм. Одиссей многообразный. III — 152.

Ольга Шамборант. Свидетельство о смерти. XII — 159.

ПОЛЕМИКА

Виктор Белкин. Задались ли реформы Гайдара? I — 173.

Ревекка Фрумкина. Люблю отчизну я, но странно любовью... Идеологический дискурс как объект научного исследования. III — 139.

МИР НАУКИ

Елена Князева, Алексей Туробов. Познающее тело. Новые подходы в эпистемологии. XI — 136.

Е. О. Ларионова, С. А. Фомичев. Нечто о «презумпции невиновности» онегинского текста. XII — 145.

Галина Муравник. «Ибо прах ты и в прах возвратишься». Размышления о феномене смерти в научном и богословском аспектах. VIII — 154.

Максим Шапир. Какого «Онегина» мы читаем? VI — 147.

МИР ИСКУССТВА

Жанна Голенко. Умиравший лебедь. III — 163.

Ольга Нетупская. Драмы Лермонтова на современной сцене в свете романтизма и антиромантизма. Вступительное слово Б. Н. Любимова. III — 168.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Армейская трилогия Олега Павлова: Кирилл Анкудинов. Манихейский вариант; Евгений Ермолин. Инстанция взгляда. V — 166.

Владимир Губайловский. Обоснование счастья. О природе фэнтези и первооткрывателе жанра. III — 174; Все прочее и литература. VIII — 167.

Виктор Мясников. Историческая беллетристика: спрос и предложение. IV — 147.

Вл. Новиков. Алексия: десять лет спустя. X — 142.

Ольга Славникова. Rendez-vous в конце миллениума. II — 148; К кому едет ревьюер? Проза «поколения next». IX — 171.

Борьба за стиль

Георгий Циплаков. Свобода стиха и свободный стих. V — 177.

По ходу текста

Мария Ремизова. К вопросу о классовой антагонизме. II — 160; Вагинетика, или Женские стратегии в получении грантов. IV — 156; Свежая кровь. VI —

166; Где зарыта собака. VIII — 175; Гексоген + пиар = осетрина. X — 153; Система Станиславского. XII — 166.

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Константин Азадовский. Портрет незаговорщика на фоне эпохи (Ефим Эткинд. Записки незаговорщика. Барселонская проза). I — 194.

Дмитрий Бак. Письма мелким почерком, или Оправдание критики pop-fiction (Василий Голованов. Остров, или Оправдание бессмысленных путешествий). XII — 172.

Сергей Боровиков. Голос (Евгений Гришковец. Город). I — 182; «Над головой толклись комарики...» (Алексей Толстой. Хожение по мукам). VII — 170.

Сергей Бочаров. Узкий путь (С. И. Фудель. Собрание сочинений в трех томах. Том первый). VII — 187; Лирика ума, или Пятое измерение после четвертой прозы (Андрей Битов. Пятое измерение. На границе времени и пространства). XI — 174.

Инна Булкина. И это все о нем (Юрий Андрухович. Перверзия. Роман). X — 158.

Дмитрий Быков. Взрослая жизнь молодого человека (Евгений Гришковец. Город). I — 184.

Андрей Василевский. Попутные соображения (Дмитрий Галковский. Уткоречь. Антология советской поэзии). VII — 180.

Мария Виролайнен. Новая биография Пушкина (И. Сурат, С. Бочаров. Пушкин. Краткий очерк жизни и творчества). VI — 189.

Алексей Гапоненков. В жанре интеллектуальной биографии (Ф. Буббайер. С. Л. Франк. Жизнь и творчество русского философа. 1877 — 1950). XII — 179.

Владимир Губайловский. Жизнь и речь (Владимир Салимон. Возвращение на землю. Книга новых стихотворений). V — 191; Виноградная косточка (Всеволод Некрасов. Живу вижу). X — 162.

Татьяна Давыдова. «Чёрт советской литературы» в записях и заметках (Евгений Замятин. Записные книжки). III — 196.

Филипп Дзядко. «Однажды Барков зашел к Сумарокову...» (Г. А. Гуков-

ский. Ранние работы по истории русской поэзии XVIII века). VIII — 187.

Дмитрий Дмитриев. «...Чему-нибудь и как-нибудь...»: современная русская литература в средней школе (Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учебных заведений в двух частях. Часть 2. В. В. Агеносов и др.; Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях. Часть 2. Под редакцией В. П. Журавлева. 6-е изд.; Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий. Современная русская литература. В 3-х книгах. Книга 3. В конце века (1986 — 1990-е годы). Учебное пособие; И. С. Скоропанова. Русская постмодернистская литература. Учебное пособие. 2-е испр. изд.; «Литература в школе». Учебно-методический журнал; «Литература». Ежедневная газета объединения педагогических изданий «Первое сентября»; П. Э. Лион, Н. М. Лохова. Литература. Для школьников старших классов и поступающих в вузы. Учебное пособие. 2-е изд.; Т. В. Торкунова. Как писать сочинение. 3-е испр. и доп. изд.; 250 «золотых» сочинений). II — 184.

Виктор Живов. Двуглавый орел в диалоге с литературой (А. Л. Зорин. Корня двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX века). II — 174.

Сергей Загний. Красота сверх необходимого (Татьяна Чередниченко. Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи). IX — 192.

Алексей Зверев. Зеленые игры (Олег Постнов. Страх). IX — 182.

Александр Зорин. В поисках адресата (Лариса Миллер. Мотив к себе, от себя). VIII — 181.

Светлана Иванова. Новый русский идиот (Федор Михайлов. Идиот. Роман). II — 165; Без наркоза (Николай Кононов. Пароль. Зимний сборник). IX — 189.

Ольга Канунникова. Художник и окрестности (Мирон Петровский. Мастер и Город. Киевские контексты Михаила Булгакова). IV — 175; Люди и дибуки (Исаак Башевис Зингер. «Страсти» и другие рассказы). IX — 185.

Виталий Каплан. Полеты над плоскостью (Марина и Сергей Дяченко. Долина совести. Роман). III — 194.

Татьяна Касаткина. Человек с молотком (Борис Тарасов. Куда движется история? Метаморфозы идей и людей в свете христианской традиции). X — 174.

Василий Ковалев. Торжество тождеств (Денис Датешидзе. В поисках настоящего; Денис Датешидзе. Мерцание; Денис Датешидзе. На свете). IV — 170.

Василий Костырко. Новейший опыт инициации (Уильям Сатклифф. А ты попробуй. Роман). V — 194; Отпавшие (Павел Мейлахс. Избранник). VIII — 179.

Сергей Костырко. Одиночество как образ жизни (Владимир Березин. Свидетель. Роман. Рассказы). IV — 162.

Юрий Кублановский. В советском поэтическом зоопарке (Дмитрий Галковский. Уткоречь. Антология советской поэзии). VII — 176.

Илья Кукулин. Видения, что бродят на скрещеньях троп, протоптанных башмаками разных эпох (Григорий Кружков. Ностальгия обелисков. Литературные мечтания). I — 189.

Валерий Липневич. Волчья яма, или Стрелок в именном окопе (Василь Быков. Волчья яма. Повести и рассказы; Василь Быков. Глухой час ночи. Рассказ; Василь Быков. На болотной стежке. Рассказ). IV — 165; Энкиду не возвращается (Александр Эбаноидзе. Брак по-имеретински. Романы). XI — 178.

Александр Люсый. «Богу дописать стихотворенье» (Владимир Смоленский. «О гибели страны единственной...» Стихи и проза). VIII — 184.

Алла Марченко. В самом центре существования (Владимир Корнилов. Перемены. Стихи и короткая поэма. 1999 — 2000). II — 167.

Алексей Машевский. Плоть, ставшая словом (Алексей Пурин. Новые стихотворения). VI — 184; Опыт думанья (Ст. Юрьев. Похищение Европы). XI — 189.

Николай Мельников. Многострадальный шедевр (Джойс Кэрролл Оутс. Дорогостоящая публика). XI — 185.

Елена Меньшикова. Заложник (Рубен Давид Гонсалес Гальего. Черным по белому). VII — 184.

Елена Невзглодова. Себестоимость стиля (Самуил Лурье. Успехи ясновидения. /Трактаты для А./). X — 169.

Елена Ознобкина. Автобиография времени (Николай Одоев. Повторенное эхо. Рассказы). II — 163.

Дмитрий Полишук. Как не впасть в отчаяние (Ирина Машинская. Простые времена; Ирина Машинская. Стихотворения). II — 170; Как дева юная, темна для невнимательного света (Инна Лиснянская. Гимн; Инна Лиснянская. В пригороде Содомы; Инна Лиснянская. Старое зеркало; Инна Лиснянская. При свете снега. Стихотворения 2000 года). VI — 171.

Валентина Полухина. Поэт в эпоху перепроизводства (Глеб Шульпяков. Щелчок. Стихотворения, поэмы). XI — 183.

Павел Руднев. Юрский в борьбе с собой (Сергей Юрский. Игра в жизнь). X — 166.

Евгения Свитнева. Конец Прекрасной Дамы (Юрий Ряшенцев. Любовные долги. Баллада и семь поэм). XII — 175.

Ольга Славникова. Запретный сад (Анна Матвеева. Па-де-труа. [Повести и рассказы]). III — 186.

Анна Фрумкина. «Мы так хохотали» (Марина Москвина. Гений безответной любви; Марина Москвина. Мусорная корзина для алмазной сутры). V — 185.

Владимир Цивунин. В моей глубокой любви... (Инна Лиснянская. Гимн). VI — 180.

Сергей Шаргунов. «Проблема овцы» и ее разрешение (Харуки Мураками. «Dance, dance, dance...»). IV — 173.

Дмитрий Шеваров. Промельк неба на бедной земле (Алексей Решетов. Темные светлы. Стихотворения). III — 189.

Валерий Шубинский. Просто призрак (Андрей Николев. Елисейские радости). I — 187.

Михаил Эдельштейн. Между методом и любовью (С. С. Аверинцев. «Скворещниц вольных граждан...» Вячеслав Иванов: путь поэта между мирами) V — 195; Немецкий русофил и русский западник: опыт диалога (Райнер Мария Рильке и Александр Бенуа. [Переписка]). VII — 190; Записки аутсайдера (П. П. Перцов. Литературные воспоминания. 1890 — 1902 гг.). XII — 177.

Книжная полка Андрея Василевского. IV — 179; X — 177.

Книжная полка Владимира Губайловского. XII — 183.

Книжная полка Дмитрия Дмитриева. VII — 193.

Книжная полка Никиты Елисеева. II — 193; V — 199; VIII — 194; XI — 194.

Книжная полка Кирилла Кобрина. I — 202.

Книжная полка Павла Крючкова. III — 199.

Книжная полка Ирины Роднянской. VI — 192.

Книжная полка Дмитрия Шеварова. IX — 195.

—

Зарубежная книга о России. II — 198; VI — 200.

—

Театральный дневник Григория Заславского. I — 209; III — 207; V — 202; VII — 201; IX — 203; XI — 198.

—

Кинообозрение Игоря Манцова. II — 203; IV — 186; VI — 203; VIII — 199; X — 182; XII — 188.

Кинообозрение Натальи Сиривли. I — 213; III — 214; V — 207; VII — 208; IX — 210; XI — 203.

—

CD-обозрение Михаила Бутова. II — 209; IV — 192; VI — 209; VIII — 206; X — 193; XII — 197.

—

WWW-обозрение Михаила Визеля. IV — 198.

WWW-обозрение Владимира Губайловского. I — 218; III — 218; V — 212; VII — 213; IX — 213; XI — 208.

WWW-обозрение Сергея Костырко. II — 215; VI — 211; VIII — 211; X — 198; XII — 200.

ХРОНИКА

Сергей Боровиков. Служители русского эреса, или Мой спор с Никитой Елисеевым. IV — 213.

Никита Елисеев. «Морская болезнь» Куприна и «Солнечный удар» Бунина как прототипы «Четвертого сна» Веры

Павловой и «Похорон кузнечика» Николая Кононова. IV — 210.

Михаил Эдельштейн. Соловьевские чтения в Иванове. VIII — 217.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Наталья Герасимова. Имя Божие как орфографическая проблема. IV — 218.

Г. Дружин. Перечитывая «Хаджи-Мурата»: Чечня, горцы, пограничье. X — 205.

Вячеслав Куприянов. Свободный стих как дело вкуса. XI — 213.

С. Кутателадзе. Наш великий соотечественник. III — 223.

Александр Мелихов. Как бы резвяся и играя. II — 221.

Валерий Сендеров. Стоит ли шутить с будущим? II — 223.

Юлия Ушакова. Последний человек... X — 210.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (С. Костырко). I — 223; II — 225; III — 224; IV — 223; V — 217; VI — 218; VII — 217; VIII — 219; IX — 217; X — 214; XI — 216; XII — 208.

Периодика (А. Василевский, П. Крючков). I — 225; II — 227; III — 226; IV — 226; V — 219; VI — 220; VII — 220; VIII — 221; IX — 220; X — 217; XI — 219; XII — 211.

Авторы этого года

Абаева Л. (X), Адам А. (XII), Азадовский К. (I), Азольский А. (III — IV), Акунин Б. (VI), Алейников В. (VI), Амелин М. (VII), Анкудинов К. (V), Ардов М. (V — VI), Бабченко А. (II), Бак Д. (XII), Белкин В. (I), Белодубровский Е. (IX), Белорусец С. (XI), Бершин Е. (IX), Бобышев Д. (IV), Борейко В. (VII), Боровиков С. (I, IV, VII, XI), Бочаров С. (VII, VIII, XI), Букур В. (II), Булкаты И. (V), Булкина И. (X), Бутов М. (II, IV, VI — VIII, X, XII), Быков Д. (I), Варламов А. (II, VIII), Василевский А. (I — XII), Васильев С. (VII), Вейдле В. (IX), Визель М. (IV), Виротайнен М. (VI), Воденников Д. (I), Волос А. (I), Вольтская Т. (VII), Галковский Д. (VIII), Гальцева Р. (VII — VIII), Гапонников А. (XII), Герасимова Н. (IV), Голенко Ж. (III), Голованов В. (XI), Голубева Л. (IX), Горла-

- нова Н. (II, IX), Губайловский В. (I, III, V, VII — XII), Давыдова Т. (III), Датнова Е. (II), Дзядко Ф. (VIII), Дмитриев Д. (II, VII), Дружин Г. (X), Екимов Б. (V, VIII, X), Елисеев Н. (II, IV, V, VIII, XI), Ермолин Е. (V), Ефимов И. (IV), Живов В. (II), Жилин В. (III), Загний С. (IX), Заславский Г. (I, III, V, VII, IX, XI), Захаров В. (IX), Зверев А. (IX), Зорин А. (VIII), Иванова Е. (VIII), Иванова О. (XI), Иванова С. (II, IX), Каграманов Ю. (III), Казарин Ю. (X), Канунникова О. (IV, IX), Каплан В. (II, III), Капустина В. (IX), Карасев Е. (X), Касаткина Т. (X), Кекова С. (IV), Кенжеев Б. (V), Князева Е. (XI), Кобенков А. (XII), Кобрин К. (I), Ковалев В. (IV), Корин Г. (IV), Костырко В. (V, VIII), Костырко С. (I — XII), Кронгауз М. (IV, X), Кружков Г. (II), Крючков П. (I — XII), Кублановский Ю. (V, VII), Кукулин И. (I), Кулеш Д. (VIII), Куллэ В. (VIII), Куприянов В. (XI), Кутателадзе С. (III), Кушнер А. (I, X), Ларионова Е. (XII), Леонович В. (XII), Ливанов К. (I — II), Липневич В. (IV, XI), Лиснянская И. (I), Лорченков В. (IV), Лосева М. (VII), Любимов Б. (III), Люсья А. (VIII), Маканин В. (V), Малышева Д. (II), Манцов И. (II, IV, VI, VIII, X, XII), Марченко А. (II), Матвеева А. (III), Машевский А. (III, VI, XI), Меламед И. (II), Мелихов А. (II), Мельников Н. (XI), Меньшикова Е. (VII), Миллер Л. (III), Мозгалов К. (VII), Муравник Г. (VIII), Мясников В. (IV), Найман А. (III, VII), Невзглядова Е. (X), Неклесса А. (IX), Нетупская О. (III), Николеску Т. (II, VI), Новиков В. (I, VIII, X), Ознобкина Е. (II), Пlochих И. (I), Плущер-Сарно А. (IV), Пovoлоцкая И. (VIII), Поздняев М. (VIII), Полетаева Т. (V), Полищук Д. (II, VI), Полухина В. (XI), Полянская И. (IX — X), Померанц Г. (V), Попов В. (I), Попов С. (XI), Постникова О. (III), Пудовкина Е. (IV), Пурин А. (IX), Рахматуллин Р. (XI), Рейн Е. (V, X), Ремизова М. (II, IV, VI, VIII, X, XII), Реформатская М. (XII), Реформатский А. (XII), Роднянская И. (VI), Руднев П. (X), Салимон В. (XI), Свитнева Е. (XII), Сендеров В. (II, IV), Сенчин Р. (XI — XII), Сириwля Н. (I, III, V, VII, IX, XI), Славникова О. (II, III, IX), Слаповский А. (XII), Смагина Е. (XII), Стекол И. (XII), Струве Г. (IX), Сумм Л. (III), Тимофеевский А. (II), Тишинова О. (I — II), Токарева В. (IX), Туробов А. (XI), Улицкая Л. (III), Ушакова Ю. (X), Фомичев С. (XII), Фрумкина А. (V), Фрумкин Р. (III), Хазагеров Г. (I), Хлебников О. (VI), Цивунин В. (VI), Циплаков Г. (V), Чередниченко Т. (I, V, IX, XI), Черешня В. (XII), Чуковский К. (VIII), Шамборант О. (XII), Шапир М. (VI), Шаргунов С. (IV, VI), Шаталов А. (VI), Шеваров Д. (III, IV, VII, IX), Шейнин Л. (XI), Шмелев И. (IX), Шубинский В. (I), Щербакова Г. (VII), Эдельштейн М. (V, VII, VIII, XII), Яковлев А. (XI).



ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОГО ОТКРЫТОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА «РОССИЙСКИЙ СЮЖЕТ»

Учредители конкурса — журналы «Знамя», «Новый мир», издательство современной сюжетной прозы «Пальмира».

В жюри конкурса вошли: Валерий Попов (председатель), Алла Латынина, Елизавета Новикова, Валерий Золотухин, Александр Кабаков.

В конкурсе участвовало 903 произведения, представленных 570 писателями из всех регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Победителем в номинации «Серебряный квадрат» (военный, героический, исторический сюжет) признан **НИКОЛАЙ ШАДРИН** за роман «**БЕЗ ЦАРЯ**».

Победителями в номинации «Серебряный треугольник» (приключенческий сюжет) признаны **ВИКТОР СТРОГАЛЬЩИКОВ** за роман «**СЛОЙ-3**» и **ЮРИЙ КОРОТКОВ** за повесть «**МЕРТВЫЙ**».

Победителем в номинации «Серебряный круг» (романтический, семейный сюжет) признана **СВЕТЛАНА БОРМИНСКАЯ** за роман «**ОХОТА НА СТАРУШКУ, или ДОМ ЗОЛОТОЙ**».

Конкурс планируется продолжить в 2003 году.

Информация о новом конкурсе будет опубликована на сайте www.palmira.ru

ИЗ ПОЭЗИИ «НОВОГО МИРА»

Д. САМОЙЛОВ

*

Александр Блок в 1917-м

В потемках старые дворцы
Хирели.
Красногвардейские костры
Горели.
Он вновь увидел на мосту
И ангела и высоту,
Он вновь услышал чистоту
Свирели.

Не музыка военных флейт,
Не звездный отблеск эполет,
Не падший ангел, в кабарет
Влетевший — сбросить перья!..
Он видел ангела, звезду,
Он слышал флейту, и на льду
Невы он видел полынью
Рождественской купелью.

Да, странным было для него
То ледяное рождество,
Когда солдатские костры
Всю ночь во тьме не гасли.
Он не хотел ни слов, ни встреч.
Немела речь. Не грела печь.
Студеный ветер продувал
Евангельские ясли.

Волхвы, забившись в закутки,
Сидели, кутаясь в платки,
Пережидали хаос
И взглядывали из-за штор,
Как полыхал ночной простор,
Как пламя колыхалось.

— Волхвы! Я понимаю вас!
Как трудно в этот грозный час
Хранить свои богатства,
Когда веселый бунтовщик
К вам в двери всовывает штык
Во имя власти и земли,
Республики и братства!

Дары искусства и наук,
Сибирских руд, сердечных мук,
Ума и совести недуг —
Мы этим всем владели...
Но это все не навсегда.
Есть только ангел и звезда,
Пустые ясли и напев
Той ледяной свирели.

Увы! Мы были хороши,
Когда свершался бунт души,
Росли богатства духа!
Сегодня нам отдать их жаль,
Когда возмездья просит сталь
И выстрел ветреную даль
Простегивает глухо.

Да, странным было для него
То ледяное рождество
Семнадцатого года.
Он шел и что-то вспоминал,
А ветер на мосту стенал,
И ангел в небе распевал:
«Да здравствует свобода!»

У моста грелись мужики,
Веселые бунтовщики.
Их тени были велики.
И уходили патрули
Вершить большое дело.
Звезда сияла. И во мгле
Вдали тревогу пел сигнал.
А тут «Интернационал»
Свирель тревожно пела.

Шагал патруль. Вот так же шли
В ту ночь седые пастухи
За ангелом и за звездой,
Твердя чужое имя.
Да, странным было для него
То ледяное рождество,
Когда солому ветер скреб
Над яслями пустыми.

Полз броневик. Потом солдат
Угрюмо спрашивал мандат.
Куда-то прошагал отряд.
В котле еда дымилась...
На город с юга шла метель.
Замолкли ангел и свирель.
Снег запорашивал купель.
Потом звезда затмилась...

«Новый мир», 1967, № 12.

SUMMARY



This issue contains the ending of «Nubuk», a tale by Roman Senchin, «Stories for Anna» by Irina Stekol as well as stories from *A Book for those who are Keen on Reading* by Aleksey Slapovsky. The poetry section is made up of the new poems by Yelena Smagina, Vladimir Leonovich, Anatoly Kobenkov and Valery Chereshnyia.

The sectional offerings of this issue are as follows:

Close and Distant contains «From the Memory Labyrinth» memory sketches by Aleksander Reformatsky a distinguished Russian linguist. Also published are memories «The Three Days of June, 1941. Minsk» by Asya Adam, an eyewitness of the first days of the Great Patriotic War.

Essays section publishes «The Death Certificate», an essay by Olga Shamborant.

World of Science contains an article by Yekaterina Larionova and Sergey Fomichev «Regarding the Presumption of Innocence of Onegin Text»: the philologists are criticizing Maksim Shapir's article that had been published by the «Novy Mir» (2002, № 6)

Philosophy-History-Politics presents a Vladimir Gubaylovsky's article «The Strict Prose of Science» dwelling on the vocabulary and other characteristics of mock-scientific texts.

Under the permanent heading «As the Text Goes» there is «Stanislavsky's System», an essay by Maria Remizova, a literary critic presenting her analysis of the tales by Aleksey Varlamov and Yelizaveta Romanova.

«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров,
А. Г. Волос, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким,
А. С. Кушнер, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий,
П. А. Николаев, О. А. Славникова, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,
П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская,
О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: newworld@newtimes.ru;

по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://magazines.russ.ru/novyj_mi

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.07.2002 г. Подписано к печати 01.11.2002 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 9630 экз. Зак. 2491. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ,
101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

**РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»
ПРИСУДИЛА ПРЕМИИ
ПО ИТОГАМ ГОДА**

ВАСИЛИЮ ГОЛОВАНОВУ —

за тывинский дневник «Видение Азии»
(2002, № 11);

СВЕТЛАНЕ КЕКОВОЙ —

за цикл стихотворений «Тень тоски и тор-
жества» (2002, № 4);

ВЛАДИМИРУ МАКАНИНУ —

за рассказы из книги «Высокая-высокая
луна» (2001, № 10; 2002, № 5);

ВЛАДИМИРУ НОВИКОВУ —

за статью «Алексия: десять лет спустя»
(2002, № 10);

МИХАИЛУ ПОЗДНЯЕВУ —

за цикл стихотворений «Не остыв от пла-
ча» (2002, № 8);

РУСТАМУ РАХМАТУЛЛИНУ —

за эссеистический цикл «Облюбование
Москвы» (2001, № 10; 2002, № 11).